Авторы Рукописи Аудиозаписи О проекте Хочу помочь

Ветохин Юрий Александрович

Склонен к побегу

Оглавление Об авторе Источник

От автора

1

От автора

Я не верю в то, что какая-либо партия или организация сможет противостоять коммунизму. Они или беспомощны перед лицом мирового коммунизма, или же под его влиянием и его мощью видоизменяются сами и приспосабливаются под него.

Я верю в Илью Муромца.

Одна из самых древних и самых главных былин русского народа — это былина об Илье Муромце и Соловье-Разбойнике. Мифический Соловей-Разбойник не давал жизни народу до тех пор, пока русский богатырь Илья Муромец был болен и парализован. Зато, когда Илья Муромец исцелился от своей болезни, выпив питье из рук святых странников, то почувствовал в себе силу великую. Тогда пошел Илья Муромец на бой с Соловьем-Разбойником и победил его, освободив русский народ.

Я знаю, что сегодняшний Илья Муромец где-то есть. Вероятно, у него

другое имя. Возможно, он еще спит, набираясь во сне богатырской, чудодейственной силы, которая поможет ему одолеть коммунистического Соловья-Разбойника, заглушившего своим соловьим свистом и звериным криком правду на Святой Руси. Но он обязательно проснется и одолеет его. Моя книга имеет единственную цель — помочь скорее разбудить Илью Муромца.

Моя книга об одной личности и она предназначена для личностей. Я показал в ней, на что способна личность, если она верует в Бога и имеет великую цель.

Цель моей книги — способствовать возрождению в людях доверия к самим себе, доверия к собственным силам и возможностям в наш век ядерного оружия, многочисленных партий и общественных организаций. Человек созданный по образу и подобию Божьему, может быть сильнее ядерного оружия и сильнее партий.

Моя книга не является выражением мыслей какой-либо группы людей. Я также не задавался целью угодить кому-либо. Все мысли, изложенные в книге, принадлежат одному мне и являются следствием испытываемых мною

чувств: чувства любви к Богу нашему Иисусу Христу, любви к родине — России и чувства ненависти к врагам моим личным, моей родины и всего человечества — к коммунистам.

В моей книге нет вымысла. Все события, описанные в ней, имели место, а упомянутые люди — существовали на самом деле. Когда я дал прочитать рукопись моим друзьям, то один из них сказал, что создается впечатление, якобы я хвастаюсь своим знакомством со знаменитыми диссидентами. Будучи очень далек от подобного намерения, я немедленно после этого разговора изменил в своей рукописи фамилии этих знаменитых людей. Я также изменил фамилии нескольких человек, информация о которых была бы полезной КГБ.

От этих небольших изменений смысл и цель моей книги нисколько не пострадали, ибо моя книга — не просто мемуары. Моя книга — это прежде всего семена, брошенные в неудобренную землю. Из этих семян вырастет только несколько растений. Но для них я и написал свою книгу.

Часть 1. МОЙ ПЕРВЫЙ МАРАФОНСКИЙ

ЗАПЛЫВ НА СВОБОДУ

Глава 1. Прощание с Ленинградом

Глава 1. Прощание с Ленинградом.

Был пасмурный, прохладный июльский день 1963 года и стенные часы в пустующей по случаю каникул аудитории Ленинградского Инженерно-Экономического инсти-

тута показывали пять часов. Это было время, когда кончался мой рабочий день и я мог идти домой отдыхать, чтобы завтра продолжить свой бесполезный и бессмысленный труд. По распоряжению ректора Любавского, я занимался установкой лампового компьютера «Урал-4», против покупки которого я возражал, ибо знал, что он имел неудовлетворительную схему, и никогда не будет работать нормально. Но возражал я просто по привычке. По существу же мне было абсолютно безразлично, какой компьютер будет работать в институте и будет ли он работать вообще, ибо приходить в институт я больше не собирался. Однако, я никому не говорил об этом. Наоборот, я непринужденно прощался с заведующим кафедрой, профессором Бирштейном, высоким элегантным мужчиной в очках с толстыми стеклами, преподавателем программирования Иоанновичем, эмигрантом из Югославии и моим другом, другими преподавателями и лаборантами кафедры экономической кибернетики, где я тоже числился преподавателем, так называемым «почасовиком», являясь в то же время главным инженером вычислительного центра института. Оба моих высоких звания были своего рода насмешкой, ибо должность главного инженера приносила мне всего 150 рублей в месяц, а каждый час лекций по применению компьютеров в экономике — два рубля.

Юрий Александрович, — как всегда подчеркнуто уважительно спросил меня Бирштейн, пожимая на прощание мою руку. — Не согласились бы вы взять на себя также чтение лекций по программированию на компьютере «Урал-4» на следующий год? Я тут составляю график лекций и мне бы хотелось знать, могу ли я рассчитывать на вас?

— Рассчитывайте, Аркадий Александрович, — также уважительно ответил я, а сам подумал: «К 1-му сентября когда эти лекции должны

начаться, я уже буду в Турции или на том свете. Вам придется далеко ехать, чтобы услышать мои лекции!».

Выйдя из здания института, я перешел на другую сторону улицы Марата и там сел в переполненный трамвай №9. Пока трамвай вез меня к дому, я все время держал

руку на своем кармане, где у меня лежали деньги, документы и билет на завтрашний самолет, который я купил заранее в городской кассе Аэрофлота. Я сошел с трамвая на улице Чайковского, как раз напротив булочной, где у входа стояла длинная очередь за хлебом, прошел по Литейному, и через пять минут был около своего дома, на улице Салтыкова-Щедрина, около кинотеатра «Спартак».

Этот 6-тиэтажный старинный дом, куда я переехал 7 лет назад, после развода с женой, после революции коммунисты перепланировали по-своему. Коммунальная квартира из 4-х комнат, где я теперь жил, являлась лишь половиной той квартиры, которую до революции занимала одна семья инженера. Поскольку эта квартира раньше имела два входа: парадный и чёрный, то коммунисты и сделали из нее две. Наша теперешняя квартира имела бывший чёрный вход. Такую «роскошь», как отдельная кухня, коммунисты тоже упразднили, превратив ее в жилую комнату, и в ней теперь жил я. Все кухонные приборы и кухонные столы четырех семей, проживающих в нашей квартире, были установлены в прихожей.

Когда я своим ключом открыл входную дверь, то сразу окунулся в клубы пара и дыма, ибо в кухне-прихожей приготовление ужина для трех семей шло полным ходом. Прямо напротив входной двери, у своего стола, «колдовали» Федор Борисович Ханин и его любовница Ираида Ивановна. Ханин был киномехаником и ортодоксальным коммунистом и всегда поражал меня своим знанием газетных политических штампов и бездумным их употреблением. У соседнего с ним стола, рядом с плитой, стряпала Васильева, женщина средних лет, работавшая попеременно то уборщицей, то почтальоном. После того, как ее муж в пьяном виде упал с окна и разбился, Васильева осталась вдвоем с дочкой, озлобилась на весь свет и в те вечера, когда к ней не приходили мужчины, затевала скандалы с соседями и даже дралась.

А у крайнего стола слева находился человек с бритой головой, Алексей Михайлович Хмиров, старый коммунист, бывший начальник Отдела технического контроля Адмиралтейского завода, а ныне — пенсионер и

кварт-

уполномоченный нашей квартиры, занимавший вместе с женой самую большую и лучшую комнату. Пенсионером Хмиров вовсе не выглядел: был он очень здоров, подвижен и энергичен и особенно — любопытен. Он и теперь с любопытством оглядел меня, когда я вошел и поздоровался, и спросил:

— Что нового, Юрий Александрович?

— Завтра будет солнечная погода, — ответил я.

— Ну, это вы сочиняете! — возразила с улыбкой Ираида Ивановна, переворачивая на сковородке свои котлеты.

— Еще и недели не прошло с тех пор, как мы в последний раз видели солнце, а вы опять обещаете солнечную погоду!

Я тоже с улыбкой пожал плечами и стал открывать дверь своей комнаты, которая была закрыта на внутренний замок и на висячий замок. Моя комната была всего 8 кв. м. и в ней находились: диван, три стула, письменный стол, этажерка, приемник и круглый столик. На стене висела картина «Голгофа» — всё, что осталось от имущества моих родителей. Белье и одежду было невозможно разместить в моей комнате и для них я сделал фанерный шкаф в коридоре, который прибил гвоздями к стене. «У него и украсть-то нечего, гол как сокол, — а зачем-то закрывает свою комнату на два замка!» — услышал я однажды шепот соседей за своей спиной. Однако, я продолжал закрывать. Не мог же я сказать им, что хранил под замками не деньги и не драгоценности, а — свой дневник и оборудование для побега!

Теперь пришло время уничтожить дневник. Я поставил в кухне на газовую плиту ведро с водой и пока я ужинал вчерашним супом с хлебом, вода в ведре закипела. Тогда я принес ведро в свою комнату, закрыл изнутри дверь комнаты на крючок, а потом отомкнул ключом верхний ящик письменного стола. В дальнем его конце, под всякими письмами и бумагами лежали три толстые тетради в коленкоровых обложках. Это были мои дневники.

Я начал вести дневник с 8 лет. Мой отец, Ветохин Александр Сергеевич, может быть заметил во мне литературные способности, а может быть, сделал это для моего развития, я не знаю. Только однажды, когда я хо-

дил в первый класс, он принес и положил передо мной огромный гросс-бух, книгу с линованными страницами, весом и размером соизмеримый со мной самим.

— Эта книга — твой дневник, — сказал мне тогда отец. — С сегодняшнего дня до конца своей жизни ты будешь записывать в него всё, что ты делаешь, все что ты думаешь, о чем мечтаешь.

Полезное дело задумал для меня отец. Я вел дневник в его книге вплоть до войны и эвакуации. Потом, долгие годы у меня не было возможности быть наедине с собой и не было места, где бы я мог хранить дневник. Только в 1955 году, после развода с женой, я возобновил писание дневника и в нем было много недозволенных мыслей. Прежде, чем бросить дневники в кипяток, я открыл тетрадь №1 и углубился в чтение:

21-го декабря 1955 года.

Теперь, когда семья моя распалась и у меня больше нет необходимости лезть из кожи вон, чтобы прокормить ее, я могу вновь подумать о себе самом, о своем назначении в жизни, установленном свыше, и сделать некоторые выводы. В этом мне поможет дневник. Поскольку человек, как дерево, не может жить без корней, то я и начну мой дневник с корней, т.е. с моих родителей и моего детства. Я родился 18 марта 1928 года в Ленинграде, в русской интеллигентной семье, т.е. являюсь представителем коренного населения России, сведенного интернациональной бандой коммунистов на положение аборигенов. Первые мои детские воспоминания— это штрихи беспросветной нужды. Вот некоторые из них: мой отец, не имея денег на покупку зубной щетки, чистил зубы пальцем. Так же в целях экономии, отец не покупал бритвы и стриг волосы на лице маленькими ножницами. Подстричь волосы под подбородком отец сам не мог и иног-

да просил помочь ему. Питался отец по существу один раз в день — поздно вечером, когда возвращался с работы. Утром—только чай. С собой на работу мать заворачивала ему бутерброд. Вряд ли отец покупал к нему чай.

За всю мою сознательную жизнь мои родители не купили себе ничего из одежды. Мать без конца чинила и штопала старую одежду,ставя одну заплату на другую. Все украшения, все золотые и серебряные вещи, доставшиеся матери в наследство, были давноснесены в ТОРГСИН и обменены на продукты питания. Единственным украшением у матери был шелковый платочек, который она нашлав лесу, когда ходила за

грибами. Ни бабок, ни дедов своих я не знал. Они умерли до моего рождения. По словам отца, мой дед был незаурядной личностью. Он родился в Рязанской губернии в семье крестьянина. Будучи от природы наделен большим умом и организаторскими способностями, мой дед задумал сделать своих детей столичными жителями. Он приехал в Петербург, где завел свое дело — ресторан с национальной русской кухней, и стал преуспевающим горожанином. К конце жизни семья деда жила в собственном доме в Новой Деревне (район Петербурга), а все дети получили хорошее образование..

Рядом с домом деда по отцу стоял собственный дом деда по матери. Обе семьи жили с достатком. Все кончилось, когда в результате большевистского путча в 1917 году было свергнуто законное правительство. Дома моих родителей и их имущество пропали. Труд интеллигентного человека и высокие моральные качества обесценились. Осталась только любовь. Вскоре

мой отец женился на Елизавете Яковлевне Григорьевой. Она стала моей матерью и несмотря на безвременную гибель все же успела дать мне христианское воспитание и привить любовь к русскому языку и русской литературе.

Мой отец всю жизнь учился. Он окончил Петершуле, Реальное училище, Сельскохозяйственный и Инженерно-Экономический институты. После моего рождения он работал агрономом в Узбекистане. Жаркий климат вызвал у меня тяжелое заболевание и врачи рекомендовали родителям переехать в среднюю полосу России. Вот тогда в ответ на просьбу отца о переводе, начальство послало его во вновь организованный колхоз, хотя он не был членом партии. Отец приложил много сил и знаний и колхоз при нем расцвел. Я видел у отца фотокарточку, на которой колхозники уважительно окружали его. В знак признательности колхозники подарили отцу папаху, но он из-за своей необыкновенной скромности подарок не взял. Все кончилось, когда коммунисты обрекли колхозников на голодную смерть, силой отобрав у них весь урожай. В знак протеста отец навсегда ушел из сельского хозяйства, где политика партии сводилась к разорению земель и к физическому истреблению крестьянства, и всю свою остальную жизнь проработал инженером-экономистом на третьесортных заводишках, получая оклад 600 рублей в месяц, что в переводе на сегодняшние деньги равняется приблизительно 60-ти рублям. Работая ежедневно по 12-15 часов, отец вместо денег за сверхурочную работу приносил напечатанные на

газетной бумаге благодарности.

От своего деда-крестьянина, от отца агронома, я унаследовал любовь к земле, любовь к русской природе. Хотя я не научился ни жать, ни сеять, ни даже разбираться в злаках, однако, будь на то хоть какая-нибудь возможность, я бы бросил город и буквально прирос душой к колосьям, к коням... Как сказал поэт:

«У меня отец — крестьянин,

Ну а я — крестьянский сын!»

Город я не люблю. Город создал класс людей, который, по словам Блока «не знает ничего возвышенного, который ничем нельзя очаровать,как нельзя очаровать ехидну, и который уважает только палку». Городская цивилизация отняла у людей веру в Бога, любовь к ближнему. Она научила людей халтурить.

Соответственно своей привязанности к деревне я своей родиной считаю не Ленинград, а то место, где каждое лето жил на даче — маленький город Лугу, а если еще точнее, то место, где речка Луга сливается с рекой Ореджем. Речка Луга — символ моего детства и символ моей Родины. Свое несбывшееся счастье я всегда представлял так: идти в яркий, летний солнечный день под руку с любимой женщиной — по берегу реки Луги!

Я отложил тетрадь, достал из ящика стола альбом с фотокарточками, открыл его и нашел единственную имевшуюся у меня фотокарточку родителей. Мне было тогда 2 года, когда мы сфотографировались всей семьей на эту фотокарточку. Всматриваясь в дорогие мне лица, я думал: «Нет, никогда, никогда они не смогли бы вписаться в «нашу советскую действительность» и если бы они остались живы после войны, то их ждали бы новые неисчислимые бедствия и страдания, и их собственные страдания умножались бы страданиями их сына». Я вырезал две картонки, положил фотокарточку между ними, а потом скатал трубочкой. Трубочку я перевязал ниткой. После этого я вложил трубочку в три презерва-

тива и тоже перевязал их ниткой. Я решил взять эту фотокарточку с собой в побег.

А дневники я бросил в кипяток.

Утром я поехал во Владимировский собор, куда в свои детские годы ходил вместе с матерью. После службы я приложился к иконе Казанской Божьей Матери, а выходя из храма, роздал все свои мелкие деньги нищим, сидящим на паперти. По пути домой я прошел по Гулярной улице и зашел во двор дома, где жил в детстве вместе с родителями. Я прощался с Ленинградом навсегда.

Мой самолет должен был взлететь в полдень. Присев на минутку перед дорогой, я затем закрыл дверь своей комнаты и направился к выходу. В кухне меня увидел Хмиров.

— Вы далеко направились, Юрий Александрович? — спросил он меня.

— На Розовую Дачу ловить рыбу, — ответил я любопытному соседу и скорее вышел на лестницу.

Трамвай № 14 довез меня до Невского проспекта, а там я пересел на первый подвернувшийся троллейбус. Я вышел у кассы Аэрофлота, где несколько дней назад купил свой билет. После регистрации всех нас, пассажиров повезли в аэропорт на специальном автобусе. Короткое время из окна автобуса я наблюдал знакомые ряды старых дворцов и соборов на Невском проспекте — остатки былого величия моей Родины и моего города, превращенные теперь в разные подсобные помещения. Промелькнула мемориальная надпись на одном из домов «Эта сторона улицы наиболее опасна во время артобстрела», напомнившая мне о войне, блокаде и голоде, который унес сотни тысяч жителей города, а с ними и моих отца и мать. Потом автобус выехал на Московский проспект, где ничего подобного уже не было. Через пол часа мы доехали до аэропорта. 100-местный турбореактивный самолет ИЛ-18 ожидал нас на лётном поле. После сдачи багажа, всех нас, пассажиров этого самолета, стюардесса повела на посадку. Я улетал из Ленинграда, как конспиратор. Билет на самолет у меня был на имя Николаева и я никому не сказал о своем отъезде. Завтра я уже буду считаться человеком, не вышедшим на работу без уважительных

причин. Поэтому я не мог чувствовать себя спокойным в этом полете. «А вдруг кто-либо из пассажиров узнает меня и спросит, куда я лечу?» Только когда через 3 часа 40 минут полета наш самолет приземлился в Адлере, большом и красивом аэропорту, обслуживающим Сочи и большую часть южного Кавказа, и я снова увидел пальмы и ряд стройных кипарисов и почувствовал аромат цветов, мое душевное волнение немного успокоилось.

В Адлере я поселился в одном из частных домиков вблизи аэропорта, где сдаваемые за 1 рубль в сутки комнаты были образованы ширмами и занавесками, и имели площадь, необходимую только для одной кровати и одного стула. Жильцы там постоянно менялись. В большинстве это были пары, которые развлекались курортной любовью и снимали комнату лишь на одну ночь. В этом домике я ожидал прибытия в Сочи теплохода «Россия» — единственного лайнера Черноморского флота, на борту которого имелись одноместные каюты. Я намеревался купить билет в такую каюту, чтобы, во-первых, не иметь свидетелей моих приготовлений к побегу, а, во-вторых, — хорошо отдохнуть в ней, чтобы начать заплыв сразу после прихода теплохода в Батуми.

Ожидая прихода теплохода, я возобновил свои тренировки. Они должны были включать также ночное плавание. Это была трудная задача, ибо по правилам погран-зоны, к которой относилось все побережье Черного моря, ночное купание было запрещено. Тем более, было опасно купаться одному, ибо в этом случае пограничники могли заподозрить попытку побега вплавь. Неожиданную помощь я получил от одной скучающей женщины, которая сама пригласила меня в ресторан. После ужина в ресторане на берегу моря, я предложил ей искупаться и она сразу же согласилась. Мы разделись и вошли в воду в нескольких метрах от ресторана. «Что взять с пьяных? Захотелось освежиться после душного ресторана, а о правилах забыли!» — такая легенда была придумана мною на случай ареста.

Сперва мы плавали и бултыхались около берега, потом баловались как любовники. Когда я решил, что для

представления этого было достаточно, то повернулся и сильными гребками поплыл в сторону открытого моря. Скоро темнота окутала меня, а береговые огни потеряли свою яркость и превратились просто в светящиеся точки. Тогда я стал осматриваться вокруг и искать знакомые звезды и созвездия. Я нашел Полярную звезду, всегда указывающую на север, и Глаз Скорпиона — на юг, а также созвездие Кассиопеи и Пояс Ориона. Я поплыл на кроваво-красную звезду Глаз Скорпиона, как представлял это себе мысленно сотни раз за последнее время. Будучи штурманом на корабле, я не боялся вести свой корабль ночью. Я был уверен в себе. Постепенно такая же уверенность пришла ко мне теперь. После этого больше не стоило рисковать, продолжая свой тренировочный заплыв. Я вернулся на берег, где моя подруга уже познакомилась с каким-то грузином и собиралась уходить с ним. Увидев

ее измену, я почувствовал и облегчение и досаду одновременно. Однако, моя задача была выполнена и теперь, в ожидании теплохода, я гулял один, мысленно проверяя все подробности намеченного плана побега. Однажды, на набережной я увидел весы и взвесился. Мой вес оказался равным 80 килограммам.

Накануне отъезда я рассчитался со своей квартирной хозяйкой, на автобусе доехал до Сочи и, сдав вещи в камеру хранения, пошел в ресторан один. Был теплый и томный вечер. Пахло цветами и морем. Тысячи отпускников, съехавшихся со всех концов Советского Союза, заполнили привокзальную площадь и прилегающую к ней набережную. Здесь было много ресторанов и отовсюду слышалась музыка. Трогая рукой лежащий в кармане билет на теплоход «Россия», который должен был в полночь отойти в Батуми, я поднялся по лестнице на крышу Морского вокзала, где был ресторан, и сел за отдельный столик с видом на море. Я смотрел на причалы, у которых было ошвартовано несколько пароходов, на маяк при входе на Сочинский рейд, и еще дальше, туда, где море сливалось с небом и где мне предстояло плыть всего через несколько часов. Я думал о том, что завтра для меня наступит новая жизнь: или жизнь свободного человека, или жизнь каторжника, а может быть, — поту-

сторонняя жизнь. Впервые я не считал денег и официантка принесла мне хорошего вина и дорогой закуски. Но вино не веселило меня. Мне было грустно. Грустно не потому, что я больше не увижу этого города. Это не смущало меня. Грустно — от одиночества. Я прожил уже большую часть жизни и испытал все, кроме счастья. Мне было уже 35 лет, но я не имел ни семьи, ни дома, ни даже счастливых воспоминаний о них. Как это получилось? Почему? Проблема была субъективной. Я просто физически не мог принять лживую, людоедскую коммунистическую философию и коммунистическую систему, которая правила в моей стране, и в ответ система не принимала меня. Водиночестве есть одна положительная сторона: когда человек одинок, он волей-неволей начинает много думать о жизни. Порой эти размышления могут оказаться полезными. Мои размышления еще 3 года назад привели меня к решению бежать на Запад, чтобы там бороться против коммунизма открыто. Бежать я решил вплавь, предпочтительно спрыгнув с парохода подобно Мартину Идену, ибо мне, хорошему пловцу-марафонцу, унаследовавшему это искусство от своего отца, форсировать морскую границу было легче, чем сухопутную. Три года я посвятил приготовлениям к побегу. Мне надо было выбрать место

старта, сконструировать необходимые в заплыве технические вспомогательные средства, найти оптимальные продукты питания, изобрести методы маскировки и найти источники финансирования предприятия. Теперь все было позади. Приближался решительный экзамен, который покажет, правильно ли я все выбрал и рассчитал.

Глава 2 . Старт

15

Глава 2. Старт

Был понедельник 13 августа 1963 года. Турбоэлектроход «Россия» причалил не к Морскому вокзалу, а почему-то, — к причалу Батумского торгового порта. Увидев в иллюминатор, что швартовы заведены, я впервые за весь путь от Сочи до Батуми вышел из своей каюты. На улице был дождь, дул сильный ветер и я надел целофановый плащ. Воротник плаща я поднял. Это я сделал не только для предохранения от дождя, но и для того, чтобы никто из пассажиров или неизбежных агентов КГБ меня не запомнил.

В руках у меня был чемодан и сетка. В сетке — маска, трубка, шерстяная рубашка, плавки и шапочка. В карманах шерстяной рубашки находились завернутые в презервативы паспорт, шоколад, фотокарточка моих родителей, военный билет, диплом штурмана, 300 рублей денег, несколько пробирок с коньяком и виноградным соком, а также часы, компас, фонарик и свисток.

Ожидая очереди у трапа, чтобы сойти на берег, я случайно услышал, как коридорная сказала пассажирке, видимо своей знакомой: «Если не найдете, где переночевать, приходите на теплоход, — я вас устрою здесь!»

Надвинув на голову капюшон своего плаща, я вместе с другими пассажирами сошел с теплохода и направился к воротам, где стояла вооруженная охрана. В моей голове почему-то задержался только что услышанный разговор между коридорной и пассажиркой и я некоторое время думал о нем.

Выйдя за ворота, я направился к центру города. От сильного ветра и дождя стало прохладно. Я быстро шел по знакомым улицам и повторял подражая Есенину: «Прощай Батум, тебя я не увижу...»

Было около 3 часов дня. До сумерек, когда я намеревался начать свой

побег, оставалось еще 5 часов. «Самое разумное теперь — это не торопясь пообедать в ресторане «Интурист», — подумал я. Мне нравился этот ресторан: народу немного, официанты вежливые, блюда — настоящей грузинской кухни. Конечно, дорого. Но сейчас

деньги не представляли для меня ценности. Все равно, завтра они превратятся в простые бумажки — зачем их беречь?

Дойдя до Морского вокзала, я сдал чемодан в камеру хранения, опять-таки на имя Николаева, и взял квитанцию. В чемодане были запасные вещи на всякий случай. После моего побега никто бы не догадался кому принадлежал этот чемодан. Моих отпечатков пальцев в КГБ тогда еще не было, а всякие метки на одежде я спорол.

Теперь в руках у меня осталась одна сетка и я, облегченно вздохнув, пошел с ней в ресторан. На улицах всюду были лужи, а когда я, подходя к ресторану, взглянул на Приморский парк, то увидел вокруг высоченного памятника Сталину целое озеро. «Плохо это или хорошо для моего предприятия?» — спросил я сам себя. И решил, что — хорошо, потому что в парке в такую погоду не будет гуляющих и я без свидетелей войду в воду.

Ресторан «Интурист» находился на втором этаже одноименной гостиницы. Сев за столик, я заказал немного Цинандали, грузинский сыр, первое, второе и компот. Просидев за обедом настолько долго, насколько было прилично, я расплатился и пошел в туалет. Мне повезло. В туалете оказалось несколько глухих кабинок. Зайдя в одну из них, я скинул с себя всю одежду и надел плавки и шерстяную рубашку. Низ рубашки я стянул шнуром и два конца этого шнура, выпущенные спереди и сзади, связал между ног. Затем, другим шнуром, пришитым к рубашке, я стянул эту рубашку и концы шнура связал на груди. Карманы рубашки с разными предметами и документами были тяжелы и сильно выпирали вперед. Я натянул и застегнул на пуговицы специальный пояс, который поддерживал эти карманы. Поверх всего я снова надел свои спортивные брюки, бабочку и целофановый плащ.

Когда я вышел на улицу, то увидел, что дождь перестал. Появились гуляющие и среди них — пограничный патруль, который останавливал подозрительных пешеходов и проверял у них документы. «Что я буду делать, если патруль спросит документы у меня? — мелькнула мысль. — «Что я ему покажу? Ведь, мой паспорт

уже упакован в презервативы!» Я повернул в другую сторону от патруля и стал искать, куда бы мне запрятаться на пару часов. Мой взгляд упал на рекламу кинотеатра. Шел пресловутый хрущевский фильм «Русское чудо». Конечно, на такой фильм было мало желающих и кассирша откровенно скучала. Я подошел к кассе, сунул рубль в окошко, взял билет и, не дождавшись сдачи, проскочил в кинозал.

Кинозал был почти пустой, лишь кое где сидели парочки, которые не нашли в сырую погоду другого места для объятий и поцелуев. На экране чередовались глупо-самодовольные физиономии доярок, свинарок и, конечно, Никиты Сергеевича Хрущева. В другое время я ни за какие деньги не согласился бы смотреть этот фильм, но теперь, зная, что это — в последний раз, я смотрел даже с каким-то интересом. Подобный интерес испытывает естествоиспытатель или натуралист, наблюдая за жизнью диковинных животных. Вдруг, кто-то дотронулся до моего плеча. С удивлением и неудовольствием я увидел кассиршу, пришедшую в зал, чтобы отдать мне сдачу с рубля. «Значит, несмотря на все мои старания, я все-таки приметный, если она нашла меня в темном зале, — подумал я. — Черт дернул ее отдавать сдачу, когда не надо. Теперь она меня хорошо запомнила».

Больше мне не хотелось сидеть в кинотеатре. Я встал и вышел на улицу. Мои часы были спрятаны далеко и я стал искать уличные часы на проспекте Сталина. Когда я нашел их, они показывали восьмой час. «Еще час я должен убить, прежде чем идти к морю!» Я медленно шел по улице Сталина, зорко наблюдая, нет ли поблизости военного патруля. То и дело проезжали военные машины набитые пограничниками. Батуми напоминал собою фронтовой город. Где-то, совсем близко, всего в 15 километрах, была Турция, где шла совсем другая жизнь, где начиналась другая планета...

Я зашел в кофейную, которая попалась мне на пути, и в первый раз в жизни был обрадован тем, что там стояла очередь. Я пристроился в конец очереди и когда получил стакан кофе, долго стоял с этим стаканом у высокого столика и задумчиво смотрел в окно. К вечеру на-

роду на улицах прибавилось. Допив свой кофе, я опять стал ходить по улице Сталина взад и вперед. Наконец, стало темнеть. Наступал решительный момент. Я свернул в одну из боковых улиц, ведущих к Приморскому парку, и неторопливым шагом направился к заранее намеченному месту, равно отстоящему от пограничных вышек и от прожекторов справа и слева. Это место было почти напротив гостиницы

«Интурист».

В 1963 году еще не были вырублены вековые пальмы, растущие вдоль неширокого пляжа. Между пальмами росли декоративные кустарники и стояли скамейки. Как раз в том месте, где я собирался стартовать, скамейка оказалась занятой. На ней сидели юноша и девушка. Я сел на другую скамейку, метрах в семи от них. Скамейка была мокрая, но какое это теперь имело значение! Метрах в двадцати от меня шумело море. Ветер был балла четыре, море — балла три. Волны периодически обрушивались на галечный пляж и покрывали его весь, вплоть до линии пальм и декоративных кустарников, за которыми стояли скамейки. Затем, изойдя пеной, откатывались назад, оставляя позади тонкие струйки, текущие между

камнями. Небо было в низких, тяжелых тучах.

С моря шел туман.Чувствовалось,что опять будет дождь.

Темнеет в Батуми быстро. Буквально, на глазах. Не просидел я и десяти минут, как парочка на соседней скамейке стала растворяться в наступающей ночи. Прожекторов еще не зажгли. Я знал, что от момента наступления достаточной для моих целей темноты, до момента, когда включают прожектора, проходит около одной минуты. Для меня — достаточно. Все еще сидя на скамейке, я тихо наклонился к земле и, захватив несколько камней, запихал их в карманы моих брюк. В карманах я нащупал какие-то бумажки. «Да это же деньги — сдача, полученная в ресторане, и квитанция из камеры хранения! — догадался я, и сразу подумал: Черт с ними! Пусть тонут!»

Помедлив еще немного, пока парочка любовников не растворилась совсем в темноте, я быстро встал, стараясь ступать бесшумно, подошел к тому месту на пляже, до которого докатывались волны, и стал раздеваться. Я скинул с себя плащ, рубашку, брюки и сандалеты, и запихал все это в сетку. Ручки сетки я связал. Затем надел маску, просунул под ремень маски трубку и взял мундштук себе в рот. Схватив сетку с вещами в левую руку, я прошел еще несколько шагов к воде и лег на гальку головой в сторону моря, в ожидании очередной волны. Когда волна накрыла меня, я нырнул и, сколько позволяло дыхание, плыл под водой. Потом поднял голову, сделал выдох и вдох через трубку и опять нырнул под воду. Снова подняв голову над водой и оглянувшись назад, я увидел, что меня отделяло от берега уже метров тридцать. Тогда я разжал левую руку и дал возможность сетке с вещами уйти на дно. Освободившись от вещей, я поплыл как спринтер...

Прожектор включили через несколько секунд. Вся вода вокруг меня осветилась так, что я увидел даже мельчайшие взвешенные частички в набегающих одна на другую крутых волнах. Поднырнув глубже, чтобы трубка ушла под воду, я плыл изо всех сил. Я плыл под водой так долго, что, казалось, легкие мои больше не выдержат без

воздуха. Когда уже не было больше сил сдерживать дыхание, луч прожектора, наконец, соскользнул с того места, где я плыл, и ушел куда-то в сторону. Я сразу под-всплыл под трубку и в мои легкие влился живительный морской воздух.

«Меня не заметили, — решил я. — Если бы меня заметили, то не убрали бы луч прожектора в сторону». Радость и удовлетворение от отлично сделанной работы охватили меня. Я рассчитал все с точностью до секунд и — все совпало! Между моментом, когда я вошел в воду, и моментом включения прожектора прошло не больше одной минуты. Но за эту минуту я отплыл от берега почти на сто метров. Пока прожектор настраивали, пока наблюдатель адаптировался для наблюдения, прошло еще какое-то время. И я еще больше удалился от берега. Попробуйте в море, в трех-балльный шторм, вдали от берега обнаружить трубку пловца! Я думаю, это — невозможно. Еще во время подготовки к побегу я обрезал трубку так, чтобы только самый минимум торчал из воды. Я хотел еще покрасить трубку в зеленый или голубой цвет, но потом передумал. Какое имеет значение цвет 5-ти сантиметрового отрезка трубки, выглядывавшего над водой!

Больше луч прожектора на мне не останавливался. Он лишь временами скользил по мне. Это случалось, когда прожектор разворачивали вдоль берега и второй раз, когда его направляли перпендикулярно берегу. Я уже не боялся, а хладнокровно следил за прожектором. Когда его луч медленно подходил ко мне, то вода начинала постепенно светлеть. За несколько раз я запомнил степень освещенности воды непосредственно перед тем моментом, когда луч должен был упасть на меня, и успевал вовремя поднырнуть. Скоро начался дождь и на море опустился туман. Тогда я снял маску и трубку и бросил их в воду, так как прожектора вообще перестали представлять для меня какую-либо опасность.

Бледные пятна прожекторов, маяка и мигалок слабо просвечивали сквозь дождь и туман, но звезд не было видно совсем. «В такую погоду надо плыть недалеко от берега, чтобы ориентироваться по

прожекторам и мигал-

кам», — подумал я и изменил свой курс на 90 градусов влево. Я упустил из виду, что вблизи берега было сильное противное течение.

Едва я изменил курс, как обнаружил, что плыть стало много труднее. Ветер и волны препятствовали моему движению. Они то и дело ставили меня вертикально и забрасывали мне в рот воду и я, отплевываясь и чертыхаясь, снова возобновлял свое движение с нуля, когда вся поступательная инерция была уже погашена.

В довершение всего, температура воды в море оказалась не одинаковой. Один слой был теплый, другой — холодный. И плыло огромное количество деревьев, веток и коряг. Проливной дождь вызвал разлив пограничной реки Чорох. Река Чорох разлилась по лесам, растущим на ее берегах, и понесла в море в своем стремительном потоке все, что не было хорошо укреплено. Этот стремительный поток еще больше усилил прибрежное течение, которое и без того мешало мне плыть.

Я пожалел о том, что утопил маску. Она могла бы предохранить мои глаза от ударов встречных деревьев. Однако, делать было нечего. Я положился на Господа и продолжал плыть. Скоро туман с дождем создали такую пелену, что огни маяка и прожектора пропали из вида. С их исчезновением появились дополнительные трудности. Теперь единственным указателем курса остался компас. Когда очередная волна с силой ударив мне в лицо, как во время боя на ринге, останавливала меня и я терял направление, то приходилось вынимать из кармана компас и фонарик и определять курс по компасу. Вообще-то у компаса была светящаяся стрелка, но она светилась так слабо что я не мог быть уверенным. Поэтому я освещал шкалу своим фонариком. Я держал фонарик в одной руке и пальцем нажимал кнопку его включения. В другой руке у меня был компас. Работая ногами, я ждал, когда стрелка компаса перестанет бегать как угорелая, и снимал отсчет. Затем убирал компас и фонарик обратно в карман, запихивал туда же шнуры, которыми они были привязаны на всякий случай, и продолжал плыть на юго-восток до тех пор, пока следующая волна не сбивала меня опять с курса. Тогда все повторялось сначала.

Я тратил так много сил в этой борьбе со стихией, как никогда раньше. Мелькнула мысль подкрепиться шоколадом или коньяком, но я ее сразу

отбросил, как только подумал, сколько драгоценного времени при этом потеряю. Даже остановиться для того, чтобы посмотреть на часы я считал нецелесообразным. Я хорошо сознавал, что моя скорость при противном ветре и противном течении — минимальна. Поэтому я стремился проплыть до рассвета хотя бы только те пятнадцать километров, которые отделяли меня от Турции. Я знал, что примерно на половине этого пути находится устье реки Чорох, откуда вытекает стремительный поток, мешающий мне плыть. Когда я миную реку Чорох, плыть мне станет много легче. Поэтому я напрягал все свои силы. Я наглотался морской воды, чего со мной никогда не бывало прежде, но тем не менее, я упорно продолжал плыть на юго-восток, часто вынимая компас и сверяясь по нему.

Меня окружала такая темень, как будто мне на голову

накинули мешок. По-прежнему не было видно ни звезд, ни луны, ни маяков, ни мигалок. Даже вода не фосфоресцировала. А дождь хлестал, не переставая.

В полном смысле этого выражения, я был наедине с Богом. Единственные живые существа, которые всю дорогу сопровождали меня, были чайки. Хотя я их не видел, но по крикам мог определить, что их было две. Они летели над самой моей головой и пронзительно кричали. То ли они принимали мою голову за рыбу, то ли за какую-нибудь корягу и хотели сесть на нее, — я не знаю. Так в непрерывной борьбе с ветром, волнами и течением прошло много часов и наконец едва уловимо стали появляться первые признаки рассвета, которого я ожидал с надеждой и страхом одновременно. То тут, то там стали появляться и снова исчезать белые шапки волн. Среди них вдруг бесшумно, как видения, проплыли мимо меня два или три катера. Проплыли и растворились в тумане. Было такое впечатление, что они дрейфовали, а проплывал мимо них я. Самое странное было то, что проплывал я будто бы в противоположную сторону от направления моей головы, как бы ногами вперед. Не разгадав такую сложную задачу, я решил, что мне померещилось. Это мнение еще больше укрепилось, когда совсем рассвело и я не обнаружил никаких катеров.

Наступило хмурое, туманное утро. Ветер ослабел, но море еще штормило по инерции. С удовольствием я увидел слева от себя, милях в двух, береговую черту. Это означало, что всю ночь я плыл в правильном направлении — в сторону Турции. Но где я теперь находился: в турецких водах или все еще — в советских? Этого я не знал. На берегу я

видел какие-то заводские трубы, но не было видно гор, опоясывающих Батуми. Берег был низменный и голая равнина простиралась на несколько километров вглубь материка. Горы синели только на горизонте. «Очевидно, это — Турция!» — подумал я с радостью и стал выбирать место на берегу, куда бы лучше подплыть. Вдруг, слева от меня, в небе появилась точка. Точка стала расти и превратилась в самолет.

«Куда он летит? — забеспокоился я. — Ведь, где-то здесь проходит турецкая граница!» Я пристально,

волнуясь следил за самолетом. А он медленно долетел до траверза того места, где я находился, и стало видно, что это был пассажирский самолет АН-2. Так же медленно самолет полетел вдоль берега и через некоторое время скрылся из вида, где-то между синеющих гор, уже справа от меня.

С нарастающей силой сознание провала попытки побега вонзилось в мой мозг. «Значит, там, куда полетел самолет, все еще советская территория! Встречное течение, встречный ветер и волны не позволили мне проплыть за ночь те пятнадцать километров, которые отделяли меня от свободы!» Но предаваться отчаянию было нельзя. Надо было немедленно принимать какое-то решение. До границы было еще далеко. Об этом свидетельствовал полет самолета. «Я не смог достичь границы ночью, не смогу и днем, — подумал я с горечью,— Теперь надо все усилия приложить к тому, чтобы скрытно выйти на берег и не быть арестованным. Здесь, наверняка запретная зона, поэтому надо повернуть назад и плыть обратно, в Батуми».

Я был совершенно уверен, что берег, который я видел, является запретной зоной, к югу от Батуми. С тяжелым сердцем я повернулся и поплыл в обратную сторону. Море было пустынно: ни судов, ни катеров, ни шлюпок. Ветер стих и волны тоже постепенно спадали. «Теперь самое время подкрепиться, — подумал я. — В Батуми мне будет не до еды!» Но есть не хотелось. Тогда я достал из кармана своей рубашки пробирку с коньяком, сорвал резиновую обертку и пробку и выпил коньяк. Как же плохо мне стало после этого! Я потерял ритм, которым плыл всю ночь, и у меня появилась жажда. Напряженность и мобилизованность всех органов моего тела вдруг исчезли и я стал слабым, как тряпка.

К счастью, через некоторое время, громадным усилием воли мне

удалось вернуть себе часть той мобилизованности, которая была потеряна таким глупым образом. Я по прежнему плыл брассом на груди в сторону, противоположную той, куда плыл всю ночь. Тучи на небе редели, туман рассеялся. Скорость моя, сложенная со скоростью течения, была значительной. Я видел по береговым ори-

ентирам, как быстро и неуклонно перемещался на северо-запад. Удивляло меня то, что хотя я плыл быстро в течение уже несколько часов, но города Батуми все еще не было видно. Я не знал сколько было времени, так как останавливаться, чтобы посмотреть на часы не хотел, а солнца не было видно. Пришлось продолжать заплыв без часов. Начала чувствоваться усталость и я стал мерзнуть. А Батуми все еще не было видно. Я увеличил скорость, чтобы согреться. Это немного помогло. Плывя на северо-запад, я одновременно приближался к берегу. Когда я приблизился достаточно близко, то с удивлением обнаружил, что вдоль всего берега тянулся прекрасный песчаный пляж. На этом пляже не было ни одного отдыхающего, а на всем берегу — ни одного здания. «Как на необитаемом острове!» —с удивлением подумал я. Фабричные трубы, которые я видел на рассвете, давно скрылись позади меня и теперь ничто не оживляло пустынный, равнинный ландшафт, на котором не было даже деревьев.

Если бы мне раньше сказали, что вблизи Батуми существует такой ландшафт, я бы не поверил. Трудно поверить! Батуми — зеленый, субтропический город. На его улицах растет много пальм, магнолий и эвкалиптов. Всюду — цветы и терпкий аромат субтропиков. Особенно много зелени на Зеленом Мысе, где находится ботанический сад. И вдруг, недалеко от этого царства субтропиков — голая равнина!

Я плыл все дальше на северо-запад, ожидая, когда, наконец, появится галька вместо песка на береговой черте, что указало бы мне на приближение к Батуми. Но за каждым новым поворотом, или изгибом береговой черты, появлялся новый песчаный пляж. Что такое? Почему на берегу нет ни людей, ни строений? Все чаще стала приходить мысль: выйти на берег, отдохнуть на берегу и продолжить путь в Батуми уже пешком.

Когда, наконец, появилось солнце, я смог по нему приблизительно узнать время. Было около 16 часов. Итак, я плыл уже 19 часов. «Пора выходить на берег!» — решил я и круто повернул к берегу. И тут я увидел пограничника, который сидел у воды. Я опустил лицо в воду и, делая

слабые гребки руками, отдался на волю течению. Он меня не заметил. Когда пограничник скрылся из вида, я вновь стал грести к берегу. Усталость сковала мои руки и ноги и они с трудом делали нужные движения. Берег медленно приближался. Наконец, часов в 17 или в 18, моя нога коснулась песчаного дна. Как хорошо, что мой рассудок не был усыплен радостью достижения берега! Он подсказал мне уничтожить главную улику моего ночного заплыва: фонарик. Вместе с фонариком я оторвал от пояса, к которому они были привязаны, и свисток, и выбросил их в глубокое место. Потом, с трудом переставляя ноги, я вышел на песчаный берег. На берегу я снял с себя шерстяную рубашку и, свернув ее, подложил под голову. Потом лег на песок и мгновенно заснул.

Глава 3. Неизвестный берег

Глава 3. Неизвестный берег.

Когда я проснулся, следов непогоды совсем не осталось. Ярко светило заходящее солнце, а море, лишенное всех своих белых барашков, ласково лизало песчаный берег. «Сколько сейчас времени?» — подумал я и вынул из кармана шерстяной рубашки свои часы. Часы стояли. По солнцу время можно было определить лишь приблизительно, примерно около 8 часов. «Надо скорее идти в Батуми, к моей знакомой Евгении Ивановне, а то стемнеет и тогда пограничные строгости еще усилятся. А если сейчас пограничники заподозрят меня, то я покажу им паспорт — и всё!»

Чтобы не вызвать подозрение у проверяющих видом упакованного паспорта, я сорвал с него презервативы и положил его в карман, сверху остальных предметов. Потом встал, с удивлением потрогал кровоподтеки и стертости на теле от шерстяной рубашки, и пошел на северо-запад, так как все еще считал себя находящимся южнее Батуми. Я шел по песчаному берегу в одних плавках, с рубашкой в руках.

Берег был совершенно пустынный. Дальше от берега шла такая же безлюдная равнина. «Удивительно! — снова подумал я. — Ни домов, ни деревьев!» Мне бы остаться на том месте, где я спал, отдохнуть как следует и

собраться с мыслями. Тогда я бы понял, где нахожусь и как мне следует действовать. Но я был очень утомлен и не мог трезво оценить обстановку. Я действовал механически, по заранее выработанному плану, который, к несчастью, теперь не годился. Странное и подозрительное безлюдье не внесло изменений в мои планы.

Путь мне преградила широкая, мощная река. «Чорох!» - догадался я и хотел было переплыть ее, но спохватился, что мой паспорт уже вынут из резиновой оболочки, и пошел вверх по берегу реки в поисках переправы. Этим я опять сделал ошибку. Надо было переплыть реку, не обращая внимания на паспорт. Подумаешь паспорт! Не прошел я вдоль берега реки и пары сотен метров, как наткнулся на погранзаставу. Чекисты были настолько удивлены моей опрометчивостью, что поверили, будто я — отдыхающий, и указали место, где дед-перевозчик перевозит на другой берег. А, ведь, для них —пограничников так было бы логично спросить меня: «Если вы действительно здешний отдыхающий, то как же вы не знаете, как перебраться на другую сторону реки? И как вы вообще попали сюда?» Но они не спросили. Из этого выходит, что советские пограничники — не очень хорошие детективы. Они служат из-под палки и не заинтересованы в проявлении собственной инициативы.

Деду-перевозчику я сослался на пограничников и он перевез меня бесплатно. Не мог же я дать ему 50 рублей? Это подозрительно. А мельче у меня не было. На другом берегу реки росли густые кустарники, а почва была заболоченная. Шлепая по щиколотку в болоте, я остро вглядывался под ноги, подозревая, что в таком месте должны водиться змеи. Когда я вновь вышел на песчаный берег, то вздохнул с облегчением. Очень хотелось пить. В кармане рубашки все еще лежали пробирки с виноградным соком, но сладкого питья я не хотел. Я хотел простой воды. На моем пути повстречалась хибарка — первая за все время. Подойдя к ней, я попросил воды. Напившись, я двинулся дальше. Идти босиком по чистому и теплому песку было приятно и не очень утомительно. Я шел быстро, но солнце тоже быстро тонуло в мо-

ре. Было очевидно, что до темна до города я не дойду.

К морю приблизилась грунтовая дорога, которой раньше я не видел. По этой дороге изредка проезжали машины. Город, к которому я шел, был уже виден, виден был и крупный военный корабль на рейде, которого вчера там не было. «А что, если попробовать остановить какую-нибудь

машину? Тогда бы я успел в город до темноты!» Уже наступали сумерки и я не заметил, что в легковушке, которую я пытался остановить, ехали офицеры. Но делать было нечего и я попросил их:

— Вы не подкинете меня до города?

— Нет! — ответил офицер и машина снова поехала. Потом ехал мотоцикл с коляской. Вел его молодой парень.

— Подкиньте меня до города, — попросил я. — Так накупался, что идти пешком не хочется. Я не бесплатно... я полсотни дам!

Парень подозрительно посмотрел на меня и не отвечая поехал дальше. Я снова вернулся к урезу воды и зашагал к городу со всей скоростью, на какую был способен. Стали чаще попадаться хибарки, однако берег был по прежнему песчаный. Ничто не напоминало мне тех мест, где я был однажды, исследуя подходы к реке Чорох, и где пограничник проверял мой паспорт. На юге темнеет быстро. Вот, еще недавно, я видел окраины города и вдруг все накрыла черная южная ночь. В разных местах вспыхнули прожекторы. Изменчивыми бликами засветилась вода. Я шел по прежнему быстро, то по краю воды, то по берегу — как попадет.

У первого многоэтажного дома, освещенного светом из его окон, стояла группа молодых людей. Увидев меня, идущего в плавках и резиновой шапочке, один из них приблизился ко мне и спросил:

— Неужели вас раздели?

— Нет, все в порядке, — ответил я — Далеко еще до турбазы?

Это была моя очередная глупость. Своим вопросом я дал им понять, что эти места мне незнакомы.

— Сейчас отвечу, одну минутку, — сказал парень и исчез в темноте. Вместо него вскоре появился милиционер.

— Гражданин, у вас есть документы?

Я подал ему паспорт. Даже не взглянув в него, милиционер приказал:

— Пройдемте со мной!

Глава 4. Арест

Мы шли совсем недолго и вошли в обыкновенный одноэтажный дом, где сидело несколько человек в форме пограничников.

— Задержан на берегу моря в плавках, — доложил милиционер офицеру и передал ему мой паспорт.

— Откуда вы? Где живете? — спросил меня офицер.

— Отдыхаю в Батуми.

— В Батуми?

— Да, в Батуми.

— А как вы попали в Поти?

— В Поти?..— и тут я догадался, почему и берег был незнакомый и пляж — не галечный, а песчаный.

— А что у вас в руке?

Офицер взял у меня рубашку, развернул ее и, увидев ее странный вид, снова повернулся ко мне и долго и подозрительно рассматривал меня. Потом стал вынимать из карманов рубашки многочисленные пакеты и раскладывать их на столе.

— Снимите с себя всё! — наконец приказал он мне.

Услужливо подскочивший солдат взял мои плавки и шапочку и стал рассматривать их на свет и прощупывать швы. Потом попросил посмотреть между ног.

Надев плавки снова, я сел на стул.

— Каким же все-таки образом вы попали из Батуми в Поти? — продолжал свой допрос офицер.

— Вплавь.

— На чем вплавь?

— Ни на чем. Просто вплавь.

— Но от Батуми до Поти 60 километров!

— Я спортсмен. Я — пловец марафонец, плаваю на дальние дистанции.

— А в каком спортивном обществе вы состоите? Какое спортивное общество организовало это ваше плавание?

— Ни в каком обществе я не состою. Я — самодеятельный спортсмен.

— Хм! А встречались вам на пути пограничные катера?

Я вспомнил, как на рассвете меня обогнали какие-то катера и убежденно ответил:

— Нет, не видел!

Офицер был русским или украинцем, солдаты тоже не принадлежали к кавказским народам. Я почему-то отметил это про себя и думал об этом, а не о том, о чем шел разговор.

— А что у вас в этих пакетах? — офицер указал на свертки, выложенные из карманов моей рубашки.

— Еда, питье, ну и необходимые документы.

Офицер подержал в руках один за другим все пакеты, не вскрывая их, а лишь рассматривая содержимое на свет. Когда он взял в руки мои часы в герметическом корпусе, я сказал:

— Отвинтите крышку, посмотрите!

Он отвернул крышку и вынул из футляра часы.

— Мои часы почему-то остановились, — заметил я.

— Они остановились потому, что вы переводили стрелки и оставили шпиндель выдернутым, — ответил офицер, посмотрев на них.

— Фу, черт! — невольно выругался я с досады.

— А что в этих пакетиках? — подозрительно осведомился у меня офицер, указывая на склянки с соком и коньяком.

— Сок и коньяк.

Пограничник недоверчиво покосился и объявил:

— Придется вас задержать до выяснения. Вы сможете завтра показать нам то место, где вы вышли из воды на берег?

— Могу показать.

— Хорошо, завтра мы повезем вас туда, — сказал офицер и отдал какие-то распоряжения солдату.

Солдат принес мне одежду: солдатское галифе, солдатскую гимнастерку и сапоги. Ночь я спал на стульях, под неусыпным надзором двух вооруженных солдат.

Утром 15 августа три легковые машины, полные офицеров, поехали к тому месту, где я вышел на берег. Когда мы подъехали к реке, оказавшейся на самом деле не рекой Чорох, а рекой Риони, все вышли из машин и переправились на лодке того же деда, что накануне переправлял меня.

— Дед, ты помнишь этого человека? — спросили они перевозчика, указывая на меня.

— Конечно, помню, — отвечал дед. — Вчера они переправлялись ввечеру. Дед тоже не был грузином и говорил так, как принято в русских деревнях.

Место моего выхода на берег я нашел сразу. Там остались мои следы. Вперед выдвинулся сержант с фотоаппаратом в руках и стал фотографировать берег, мои следы на песке, ямку, которая осталась после моего лежания... Потом мне велели снять сапоги и примерить ступню к следам на песке.

— Его следы! Несомненно его следы! — послышались голоса нескольких офицеров.

Потом мы вернулись к машинам, оставленным за рекой и, делая крюк, чтобы доехать до моста, направились в Батуми. По пути меня сфотографировали еще раз на какой-то заставе.

Глава 5. Следствие

32

Глава 5. Следствие.

В Батуми меня повезли прямо в штаб пограничных войск Аджарской АССР. Когда я вышел из машины, то увидел большой двор, по которому сновали военные в форме пограничников: офицеры в зеленых фуражках, и солдаты в военных панамах. Двор замыкали несколько многоэтажных зданий, за которыми виднелся сплошной забор. Человек, к которому меня привели, был тоже в пограничной форме. Потом к нему присоединился человек в гражданском платье. Оба были кавказцы. Допрашивая меня, они советовались между собой на своем языке. Никаких ярких впечатлений от этого допроса у меня не осталось. Я сообщил им свои анкетные данные, а также то, что приехал в Батуми на

теплоходе «Россия»

Ночевал я в маленькой деревянной будке-камере,

рядом с караульным помещением. В камере стояла койка с грязным бельем. Запомнилась процедура оправки: меня водили в общий солдатский туалет через весь двор двое солдат. Один из них с поднятой винтовкой шел впереди, другой, тоже с винтовкой,— сзади меня. В туалете они стояли рядом со мной.

16 августа за мной приехал офицер КГБ, — грузин, в белой рубашке, с черными вьющимися волосами. Он уже все знал обо мне и при встрече задал только два вопроса:

— Где ваша одежда? Куда вы положили свою одежду, когда начинали свой марафонский заплыв?

— Я оставил ее на берегу, прикрыв камнями, — с наивным видом ответил я.

— Сейчас поедем, заберем ее. Еще вопрос: где вы остановились в Батуми?

— Нигде.

— Как нигде?

— Я сошел с теплохода «Россия» и решил сперва сделать заплыв, а потом уже снять комнату, чтобы не платить зря за комнату в то время, когда буду делать заплыв.

— Значит, вы плыли ночью?

«Стоп, Юра!» — спохватился я сразу «Ночь — это самая большая улика! Нельзя сознаваться, что я плыл ночью».

— Нет, я плыл днем.

— Но вы только что сказали, что решили сперва сделать заплыв, а потом уже снять комнату.

— Совершенно верно. Я не снимал комнату.

В этот момент я вспомнил, как коридорная провожала знакомую пассажирку и предлагала ей придти переночевать на теплоход, — и сразу придумал ответ:

— Я переночевал на теплоходе.

— А разве это можно?

— Я договорился с коридорной, неофициально.

— Вы ей заплатили?

— Да.

— Сколько?

Я немного подумал и ответил: «Три рубля».

Но чекист не отставал:

— Хорошо, допустим коридорная разрешила вам переночевать, кстати, в какой каюте?

— В моей каюте, т.е. в той самой каюте, что я ехал сюда. В каюте первого класса — и я назвал номер.

— Хорошо, коридорная разрешила вам переночевать в каюте первого класса. Но в тот день, когда вы приехали, произошло одно непредвиденное изменение...

Чекист помедлил, впился в меня глазами, чтобы увидеть, какое впечатление произведут на меня последующие слова, и закончил:

— В тот день, в виде исключения, теплоход «Россия» ошвартовался не на пассажирском причале, а на причале торгового порта.

Чекист изменил тон и совсем по-деловому сообщил:

— А для того, чтобы войти на территорию торгового порта, нужно иметь особый пропуск. Охрана порта знает меня, и то каждый раз проверяет пропуск!

— Я, конечно, видел будку со сторожем, — небрежным тоном ответил я. — Но я прошел через эту будку и никто у меня не потребовал никакого пропуска.

Чекист ничего не ответил, встал и пригласил меня следовать за собой.

В машине он поинтересовался:

— Вы, конечно, бывали раньше в Батуми?

— Бывал.

— Кто-нибудь видел вас? Кто-нибудь может подтвердить это?

Я подумал, что моя идентификация в моих интересах и назвал ему Евгению Ивановну, у которой всегда снимал комнату, когда приезжал в Батуми, и солдата с вышки, однажды проверявшего мои документы, когда я разведывал берег под видом рыбной ловли.

— Поехали к Евгении Ивановне! — распорядился он.

Когда машина остановилась у дома Евгении Ивановны чекист вышел из нее, оставив меня с шофером и с другим сотрудником КГБ.

Вскоре он появился вместе с Евгенией Ивановной.

— Юрий Александрович! Здравствуйте! Что случилось? Почему вы сами не зашли ко мне? — беспокойно заговорила женщина, увидев меня в машине.

— Отставить разговоры! — приказал ей чекист и велел ей сесть рядом с шофером и не поворачиваться ко мне.

— Теперь заедем за вашей одеждой. Где она находится?

— Около турбазы, у самой воды, — ответил я. У турбазы машина остановилась и начальник велел мне выйти.

— Идите, забирайте свою одежду!

Я прошел к берегу моря, где теперь не было ни купающихся, ни загорающих, и быстро осмотрел весь участок галечного пляжа. В одном месте я заметил небольшую ямку и решил указать на нее.

— Вот в эту ямку я положил свои вещи и замаскировал их, набросав сверху камней, — показал я на нее рукой.

— Да? А где же они теперь? — спросил начальник, подходя ближе и пристально рассматривая указанное мной место.

— Не знаю.

— А что у вас было?

— Рубашка, брюки и сандалеты.

Чекист оглянулся вокруг, увидел милиционера, издали наблюдавшего за происходившим и поманил его пальцем. Милиционер бегом подбежал к нему и отдал честь.

— Вы не видели на этом месте мужской одежды?

— Н-е-ет, не видел, — удивленно ответил милиционер.

— И не слышали, чтобы кто-нибудь находил?

— И не слышал.

Движением руки начальник отпустил милиционера и велел мне снова садиться в машину.

Меня привезли в здание КГБ и посадили под арест в КПЗ (камеру предварительного заключения), находившуюся в подвалах этого здания. Здание КГБ занимало старинное здание, вблизи Морского вокзала, на другой стороне улицы. Камера, куда меня заперли, не имела окна. Для притока воздуха служила узкая щель под самым потолком. Вместе с воздухом в камеру также проникали уличные звуки. Когда я вошел, через эту щель слышалась песня «Дунай, Дунай! А ну, узнай, где чей подарок?».

В камере стояли две койки и стол. С одной койки навстречу мне привстал пожилой человек и ответил на мое приветствие. С Евгенией Ивановной я больше не встречался.

Глава 6. Аджарское КГБ

Глава 6. Аджарское КГБ.

Потекли дни следствия. Каждое утро после завтрака, надзиратель провожал меня наверх, где следователь уже ждал меня, «подозреваемого Ветохина».

— Вы знаете, в чем мы вас подозреваем? — спросил меня следователь в тот же день, когда меня привезли в КПЗ. Следователем оказался грузин, встретивший меня в штабе погранвойск.

Я решил взять на себя роль чудака-технократа, якобы не разбирающегося ни в каких житейских вопросах, а занятого всецело только кибернетикой. В соответствии с этой ролью, я наивно ответил:

— Догадываюсь: я отплыл от берега дальше, чем это разрешается купающимся. Я готов заплатить штраф. Деньги для штрафа у меня есть, вы знаете,— 300 рублей. Наверно, хватит!

— Нэ-э-эт! — улыбнулся грузинский чекист, но беззлобно. — Мы подозреваем вас в другом: в том, что вы хотели бежать за кордон.

— Куда? — наивно переспросил я.

— За кордон. Иначе говоря, — за границу, в Турцию.

— Зачем мне бежать в Турцию, если я в Советском Союзе хорошо живу!

— А кем вы работаете?

— Я - главный инженер ВЦ ЛИЭИ и нештатный преподаватель этого же института.

— А сколько вы получаете?

— Основной оклад — 150 рублей. Мне вполне хватает.

— Фи-и-и! 150 рублей! Вот недавно мы поймали доцента. Он получал не 150, а 400 рублей в месяц, и то хотел бежать из СССР на Запад!

— У него, наверно, были особые причины. А у меня нет никаких причин бежать.

— А сейчас вы в отпуске, да?

Как все неудачно складывалось против меня! Но я задумал: как бы плохо ни характеризовали меня мои ответы, давать на все вопросы только правдивые ответы... на любые вопросы, кроме моих политических убеждений и кроме моего намерения бежать на Запад. Я понимал, что все сведения будут проверяться и правдивость моих показаний в конечном счете принесет мне дивиденды. И я ответил:

— У меня — прогул.

— Что-о-о? - очень удивился следователь.

— Прогул, — повторил я.

— Почему прогул? Расскажите подробнее.

— Да, видите ли, я поссорился с ректором института из-за весьма принципиальных расхождений и не пошел больше на работу.

— Не пошли на работу, а решили убежать в Турцию?

— Нет, я не пошел на работу потому, что не мог смириться с теми материальными убытками, которые повлечет за собой неграмотное техническое решение ректора, которому я не сумел воспрепятствовать. Я решил уехать на юг, успокоиться и здесь придумать какой-нибудь способ доказать свою правоту.

— Ну, а зачем же тогда поплыли в Турцию?

— Я просто совершал марафонский заплыв. Это — спортивное мероприятие. Я так всегда снимаю с себя умственную усталость и моральное перенапряжение.

«Ври Емеля — твоя неделя!» — вспомнилась вдруг подходящая пословица и я чуть было не улыбнулся. Как бы хорошо было ввернуть теперь «между прочим», тот факт, что я вышел на берег не южнее Батуми, а — севернее, но нельзя! Я сам проговорился в момент ареста: Поти принял за Батуми. Это все чекисты уже знали и на этом основании делали заключение, что я или был, или хотел быть южнее Батуми. А вот он и соответствующий вопрос:

— Когда вы выплыли из Батуми, то куда вы повернули: направо или налево?

— Налево.

— Ага! Значит, вы поплыли в сторону турецкой границы?

—Да.

— А как же вы говорите, что не хотели плыть в Турцию?

— Не хотел.

— Объясните лучше. Я вас не понимаю.

— Дело в том, что я не первый раз в Батуми и хорошо знаю, что здесь имеется очень сильное прибрежное течение. Это течение направлено от турецкой границы к городу Батуми и никакой пловец не может его преодолеть.

— Вы не можете, так не говорите за всех! — прервал меня следователь. — Недавно женщина, мастер спорта по плаванью, намазала свое тело какой-то мазью и поплыла в Турцию. Ей удалось преодолеть то течение, о котором вы говорите, но она не знала, что на границе стоят сети. Вот в эти сети она и попала.

— Естественно, я говорю о себе. Ведь, вы подозреваете меня, а не кого-нибудь другого? Так вот, поскольку я не могу преодолеть это течение, то и решил плыть против этого течения. Это давало мне возможность совершить марафонский заплыв и, в то же время, остаться в пределах города Батуми. А если бы я поплыл по течению то оно унесло бы меня очень далеко от города. «Как складно получается!» — отметил я про себя

с удовольствием.

— Почему же вы не остались в пределах города Батуми, как сами только что сказали, а оказались в Поти?

— Потому что в море внезапно появился туман с дождем, я потерял из видимости берег и не знал куда плыву. По ошибке я поплыл в сторону Поти, хотя, как я уже сказал, я не собирался плыть в ту сторону.

— Но у вас с собой был компас.

— А это недоразумение, а не компас! — с пренебрежением воскликнул я. — Ведь, море-то все время штормило и стрелка компаса, как бешеная, крутилась по всей картушке. Нельзя было разобрать, где юг, где север!

— Что-то я не помню 14 августа ни тумана, ни дождя, ни шторма, — с сомнением в голосе возразил следователь.

— Здесь, в кабинете, погода не ощущается, — пояснил

я ему. — Вот, в море выйдете — там совсем другое дело!

— Хорошо, я запрошу официальную сводку погоды на 14 августа. А сейчас скажите мне, зачем вы взяли в свой спортивный заплыв столько документов: и паспорт, и военный билет, и диплом штурмана... даже 300 рублей денег?

— Для того, чтобы не украли. Если бы я оставил документы и деньги в своих брюках, то они пропали бы вместе с брюками.

— Но вы могли сдать их в камеру хранения.

— Во всех инструкциях при камерах хранения записано: камера хранения не несет ответственности за деньги и документы.

— Но вообще, зачем вам были нужны эти документы? Почему вы взяли с собой кроме паспорта еще и военный билет и диплом штурмана?

— Ну, военный билет, ясно почему. Международная обстановка тревожная, а я — офицер запаса, должен быть всегда наготове. А диплом штурмана — для того, чтобы навести справки здесь, в пароходстве. С ректором-то я поссорился — возможно придется искать новую работу. Вот я и решил на всякий случай прозондировать почву в Черноморском пароходстве.

— А фотокарточка родителей зачем?

— С этой фотокарточкой я никогда не расстаюсь.

— Вернемся к вашей ссоре с ректором. Из-за чего произошла ссора?

«Вот самое время напустить побольше тумана!» — подумал я и начал издалека:

— Видите ли, ЛИЭИ получил средства для приобретения второго компьютера для своего вычислительного центра, главным инженером которого я являюсь. Из всех выпускаемых в СССР типов компьютеров, ректор Любавский выбрал самый неудачный, «бракованный на корню» — ламповый компьютер «Урал-4». Ректор ничего не смыслит в компьютерах и рассуждает он поэтому как обыватель: «Мол, раз Московский Инженерно-Экономический институт приобрел себе компьютер типа «Урал-4» то и мы должны последовать его примеру». Но ведь это глупо! Я настаивал на том, чтобы приобрести компью-

тер типа «Минск», полупроводниковый, надежный, современный компьютер. Так нет! Еще один глупый довод нашел ректор: он сказал, что «Урал-4» стоит 400000 рублей, а «Минск» — только 200000 рублей, значит, мол, «Урал»— лучше. Но это вовсе не так! Это же не научный, не технический подход к делу! — я даже сделал вид, что и сейчас меня все еще волнует этот вопрос и повысил голос.

Я уже праздновал в душе победу, чувствуя, что поле битвы за мной, когда следователь сразил меня таким вопросом:

— Вы из Ленинграда так и приехали в одной рубашке и брюках? Я имею в виду те рубашку и брюки, что у вас украли на пляже. Больше у вас не было с собой вещей?

И сказать — плохо, а не сказать — еще хуже. Я решил сказать:

— У меня были еще вещи.

— А где же они?

— В камере хранения.

— Где квитанция? Я сейчас пошлю за вашими вещами.

— Квитанция осталась в брюках.

— Украли, значит?

— Да.

— Ну, это ничего. Я велю выдать без квитанции. Поехали вместе и вы покажете свои вещи.

Следователь вызвал машину и мы поехали. Когда машина остановилась у камеры хранения, там была очередь, Мы вошли через служебный вход и следователь, показав заведующей свое удостоверение, велел мне искать. Я сразу нашел свой чемодан и понес его к машине.

— Минуточку! — остановила меня заведующая. — Я должна отметить в журнале, что вы получили свой багаж. Как ваша фамилия?

— Николаев, — ответил я, ибо делать было нечего. Следователь с недоумением уставился на меня.

— Почему вы сказали «Николаев»? — спросил он меня, когда мы сели в машину.

— Видите ли, я не исключал той возможности, которая и случилась на самом деле, что мои вещи, пока я плаваю, украдут. Вещи не жалко, они старые, но по кви-

танции в кармане могли получить чемодан в камере хранения, — вот его жалко. Поэтому я и сдал его не на свою фамилию. Вор, даже по квитанции, не мог его получить, потому что не знал, какую назвать фамилию на контрольный вопрос заведующей.

— А если бы вы сдали на свою фамилию? Какая разница?

— Разница та, что я собирался снять в Батуми комнату. В этом случае полагается показывать паспорт и мою фамилию могли узнать люди, которые впоследствии могли завладеть квитанцией. «Что-то уж очень замысловато я придумал, — подумал я, но тут же отмахнулся: а черт с ним!»

Мы снова пришли в кабинет следователя, где я сломал замок чемодана и стал переодеваться. Я сбросил в углу кабинета солдатскую форму и с удовольствием одел собственную одежду. Следователь просмотрел содержимое чемодана и не нашел ничего подозрительного.

На другой день я увидел в кабинете следователя солдата и еще какого-то человека в гражданском, очевидно, прокурора, который все время молчал.

— Вы узнаете этого солдата? — спросил меня следователь.

— Нет.

— А вы? — обратился следователь к солдату.

— Да, я его хорошо запомнил.

— Это тот солдат, о котором вы мне рассказывали. Он дежурил на вышке, когда вы пришли ловить рыбу, — пояснил мне следователь.

— А-а-а-! — протянул я. Вполне возможно. Даже, так и есть.

— Ну, а много вы тогда настреляли рыбы?

— Не помню точно. Несколько штук.

— А солдат говорит, что вы вообще не охотились: сразу после проверки документов повернулись и ушли.

— Какое это имеет значение! Ведь я сам сказал вам об этом солдате!

— Это верно. Вы сами сказали.

—Можете идти! — разрешил он солдату. — Дать вам провожатого, или сами дойдете?

— Сам дойду,— ответил солдат, и, взглянув на меня, вышел.

***

В воскресенье допроса не было и я весь день сидел в камере со стариком. Я уже несколько дней голодал. Питание было такое скверное, что весь хлеб, рассчитанный на день, я съедал за завтраком. Обед и ужин приходилось есть без хлеба. В этот день моему соседу принесли передачу — несколько дешевых груш. Он угостил ими меня и как же я был ему за это благодарен! Потом старик рассказал мне свою жизнь. В молодости он жил в Одессе, жил там до тех пор, пока однажды жена не изменила ему. В глубоком горе бродя по улицам, он случайно зашел в Морской порт. В порту на погрузке стоял пароход, следующий в Батуми. Не долго думая, он сел на этот пароход и уехал, как был, без вещей и без денег. С тех пор он и жил в Батуми. Работал бухгалтером. Грузины делали какой-то шахер с майками и футболками, выпускаемыми их предприятием, а он, бухгалтер, их покрывал. Теперь, когда дело раскрылось, его принесли в жертву. Печальная история. Не знаю, чем она закончилась.

***

В понедельник меня повели к начальнику Аджарского КГБ, полковнику. Кабинет полковника оказался особенно большим, а сам полковник — не особенно страшным. Сесть полковник мне не предложил. Но он и сам тоже стоял, впереди своего письменного стола и разглядывал меня.

Минуту длилось молчание, потом он заговорил:

— У вас есть друг в Горьком?

— Нет.

— А эту открытку в Горький вы писали?

Я взял протянутую мне открытку и прочитал:

«Я решил бежать за кордон.

Прощай.

Твой кацо Ю.»

Я посмотрел на адрес. И адрес и фамилия были мне

незнакомы.

— Нет, не я, — ответил я полковнику.

— А что значит по-грузински «кацо», вы знаете?

— Это, наверное, каждый знает. Кацо—друг. И вообще, какая глупая открытка! Разве человек, который собирается бежать за кордон, напишет об этом в открытке, которую каждый может прочитать?

— Мы все-таки возьмем у вас образец почерка и направим его на экспертизу. Вы не возражаете?

— Пожалуйста, берите. Я знаю, что я не писал никакой открытки.

Меня повели в кабинет моего следователя. Там следователь дал мне лист бумаги и мою авторучку, которую специально для этого принесли из моего чемодана. Потом стал диктовать текст только что прочитанного мною письма. Прежде чем писать текст, я сделал заголовок: «Текст под диктовку».

— Зачем вы это написали? — возмутился следователь. Я вам это не диктовал! Пишите только то, что я диктую!

— Извините, но мне так спокойнее.

— Мы только берем образец вашего почерка.

— Вот и берите вместе с заголовком.

Закончив диктовать, следователь забрал написанное, и перешел опять к допросу.

— Мы проверили все ваши показания, Юрий Александрович. Все, что вы сказали о себе,— правда, включая и вашу ссору с ректором, хотя ректор и не драматизирует ее так, как это делаете вы. Кроме того, мы навели о вас справки и отовсюду получили самые лестные отзывы. И ректор Любавский и профессор Бирштейн сказали, что вы во всех отношениях примерный работник. «Вот когда я получил дивиденды за правильно выбранную тактику» подумал я.

Следователь помолчал немного, а потом продолжал:

— Принимая во внимание эти благоприятные характеристики, Председатель Комитета Государственной безопасности Аджарской АССР уполномочил меня предложить вам:

— Сознайтесь в том, что вы собирались бежать в Тур-

цию, — и мы сразу освободим вас! Поедете домой, в Ленинград... Я обещаю вам: если вы сознаетесь, вам за вашу попытку ничего не будет. Поймите: как только вы сознаетесь — мы сразу вас освободим!

«Никакой логики нет в том, что они говорят мне сегодня! — подумал я. — Десять минут назад образец почерка зачем-то брали, в написании открытки обвиняли, а теперь освободить обещают».

А вслух я сказал:

— Извините меня, но я не хочу на себя наговаривать напраслину. Зачем я буду говорить о намерении, которого у меня не было и быть не могло.

— Наговаривать не нужно, но так сходится, что у нас — серьезные подозрения в этом. Вот штормовую погоду, о которой вы говорили, нам не подтвердили. Шторм действительно был, но он был ночью, а не днем. А вы утверждаете, что плыли днем.

— Да, я плыл днем.

— Вот, если бы вы доказали нам, что ночью вы были на берегу, тогда мы сразу бы вас освободили! — вдруг сделал он новое предложение. — И не только освободили, но еще и извинились бы перед вами!

— Я же сказал вам, что я ночевал на теплоходе.

— Теплохода сейчас нет в Батуми, — подтвердить это нельзя. А может быть, вы ночевали не на теплоходе? Скажите нам, где вы ночевали? Как только убедимся в том, что вы ночевали на берегу, — сразу освободим вас! Вот вам мое слово! Подумайте!

И он отпустил меня обратно в камеру.

Пока вызывали надзирателя, чтобы отвести меня в камеру, я находился в другом кабинете, где работал офицер, тоже грузин, как-то связанный с расследованием моего дела и всегда сопровождавший меня в поездках.

— Ну, как дела? — спросил он меня, когда мы остались одни.

— Да вот, не верят мне, что я только пловец-марафонец, подозревают в попытке побега в Турцию.

Офицер встал из-за стола, за которым писал что-то, подошел к двери и плотно прикрыл ее. Я обратил внима-

ние на то, что он был молод и его гибкая, почти «осиная», талия выделяла его среди многих других грузин, которых я видел, хотя и они тоже были худощавы и стройны.

Потом офицер вернулся ко мне и тихо сказал:

— Я-то уверен в том, что вы хотели бежать в Турцию, но если вы сумеете отпереться от этого, я вам мешать не стану.

Я посмотрел на него внимательно, чтобы лучше понять, провоцирует он меня или нет, а офицер улыбнулся и добавил:

— Вот, за вами надзиратель идет, до свидания!

Глава 7. Гостиница «1-ое Мая»

Глава 7. Гостиница «1-ое Мая».

На другой день, когда исполнилось 8 суток моего заключения, меня вдруг выпустили. Утром, как обычно, меня вызвали на допрос, поэтому я и со стариком не простился. Однако, вместо кабинета следователя, меня завели в соседний кабинет, где сидел офицер — мой вчерашний доброжелатель.

— Мы больше не имеем права содержать вас в КПЗ, — прямо заявил он после обмена приветствиями. — Сейчас мы вместе поедем в гостиницу «1-ое Мая» и я прикажу дать вам номер. Будете жить в гостинице. Купайтесь, загорайте, отдыхайте, только, пожалуйста, не выезжайте пока

за пределы города Батуми. Мы вам скажем, когда можно будет уехать домой.

Радость наполнила меня всего. Эти его слова давали мне снова жизнь, снова свободу, снова возможность действовать. «Моя тактика оказалась успешной! Слава Тебе, Господи!» — пронеслось у меня в голове. А вслух я спросил:

— А можно будет ходить обедать в ресторан «Интурист»?

— Можно. Ходите, куда вам хочется, но только в пределах города.

На письменном столе офицера уже стоял мой чемодан, в который снова были уложены мои вещи. По жесту начальника я взял его и мы вышли. КГБ-шная машина до-

везла нас до гостиницы, где никогда, ни при какой погоде, «свободных номеров нет». Офицер зашел к директору, переговорил с ним и, выйдя из кабинета, сказал мне:

Одноместных номеров нет. Вы не будете возражать если вас поселят в двухместный? Номер хороший: на втором этаже, с балконом.

«Буду ли я возражать? Это после КПЗ-то?»

— Нет, я не возражаю.

— Тогда, пожалуйста, оформляйтесь. Я — поехал. Зайдите к нам через три дня, в 11 часов.

— Хорошо, спасибо, до свидания.

Номер оказался действительно хороший, старинный: высокие потолки, много воздуха и света, посредине — две великолепные кровати, у стены — большое трюмо. Я подошел к этому трюмо... На меня смотрел какой-то хиппи. За 10 дней, что я не брился, моя борода отросла на палец. Мои волосы всклокочены, а рубашка — грязная выше всякой меры.

«Администратор гостиницы, конечно, уже знает, что я сидел, потому и не выразил никакого удивления моим видом» — подумал я.

После бритья и бани я выстирал и развесил на балконе сушиться свои вещи, и вспомнив об одном сомнении, которое точило меня, полез в чемодан. Я достал из него все пакеты с шоколадом, с пробирками, — и внимательно осмотрел их. Ни один пакет не был вскрыт. Что это? Необыкновенное доверие ко мне или — халатность чекистов? А вдруг

там у меня не коньяк, а — яд, или какая-нибудь проба радиоактивной воды?

«Нет, все-таки, советские чекисты — не очень хорошие детективы», — подумал я.

Потом я купил несколько пакетов сахара и несколько пачек папирос, и понес все это старику, с которым сидел в одной камере. Надзиратель очень удивился, когда увидел меня:

— Вас выпустили?

—Да.

— А как же ваш побег в Турцию?

— Никакого побега не было. Просто, я — спортсмен.

— Вот оно что! А передачу взять я не могу. Принесите в воскресенье.

— Да в воскресенье меня здесь не будет! — соврал я. — Завтра я уже уезжаю. И вот вам за работу! — я отделил надзирателю две пачки папирос.

После этого он согласился передать остальное деду.

***

Вечером я гулял по городу и остро наслаждался свободой. У меня было такое ощущение, что кроме моря, воздуха, цветов и нарядных женщин больше ничего нет, — никаких проблем. Я нашел старинную кофейную, где раньше никогда не бывал, и выпил такого превосходного кофе, какого никогда больше мне пить не приходилось. Вернувшись домой, я увидел соседа. Им оказался молодой грузин, колхозник, «приехавший в Батуми отдохнуть». Совершенно невероятный пассаж для России! Этого и представить себе невозможно, чтобы колхозник откуда-нибудь из Ленинградской или Рязанской области летом поехал на море отдыхать, но в Грузии — все возможно. Хотя я не исключаю, что этот «колхозник» работал в «колхозе» под названием «КГБ» и был поселен со мною специально. Однако, внешне это был очень приятный молодой человек и, расставаясь с ним через несколько дней, мы даже обменялись адресами. Правда, впоследствии мне не приходила идея — побывать у него в гостях.

Мой сосед спас меня от штрафа на следующий день. Мы вместе пошли на пляж. Опять был шторм и милиционер купаться не разрешал. Я хотел

было уйти на какой-нибудь дикий пляж, но молодой человек отговорил меня. Тогда я разделся и нырнул в море. Через несколько минут я был уже далеко от опасного берегового наката. Некоторое время я наслаждался вернувшейся возможностью плавать в море, а потом взглянул на берег. На берегу я увидел милиционера, который пытался забрать мою одежду, в то время, как мой товарищ не давал ему это сделать. Пришлось возвращаться. Когда я вышел на берег, то услышал как сперва они ругались по грузински, а потом по-русски. Между прочим, этот переход на русский показался мне подозрительным:

— Этот человек— мастер спорта по плаванию! — кричал мой сосед по гостиничному номеру. — Вы нэ имеете права запрещать ему купаться в любую погоду!

Поспорив немного, милиционер уступил, отдал мою одежду и ушел.

Глава 8. Очная ставка

Глава 8. Очная ставка.

Когда через три дня я пришел в КГБ, то дежурный позвонил по внутреннему телефону и ко мне вышел мой следователь.

— Сегодня, в 15 часов, прибывает теплоход «Россия». Приходите к нам в 18 часов. Мы сделаем вам очную ставку с коридорной. Если она подтвердит то, что вы ночевали на теплоходе, тогда вы сможете уехать в Ленинград.

— Хорошо, — ответил я и пошел обедать в «Интурист». Это сообщение сразу испортило мне настроение. «Возможно, в последний раз обедаю на свободе», — думал я и старался изобрести какое-нибудь новое, правдоподобное объяснение. Потом гулял по берегу моря и мысленно просил Бога надоумить меня.

В 18 часов я пришел в КГБ и меня сразу повели в кабинет следователя. В кабинете уже сидела коридорная и какой-то мужчина в морской форме. Коридорная была в слезах.

— Это первый помощник капитана, — представил мне следователь человека. — А женщину вы знаете?

— Знаю.

— Кто она?

— Коридорная.

— Так это она разрешила вам ночевать на теплоходе?

— Нет.

— Как нет? Вы говорили, что она!

— Я сказал неправду, чтобы спасти честь другой женщины.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я ночевал не на теплоходе. Я ночевал у одной замужней женщины, имя которой не могу назвать ни в коем случае, потому что это грозило бы ей развалом

семьи.

— Так я и знал!— воскликнул следователь. Первый помощник вскочил со своего стула и стал ругаться:

— Вы не отпускайте его! Он все врет! И эта его басня насчет замужней женщины — тоже просто выдумка! По лицу вижу, что фальшивый человек! Бежать он хотел в Турцию, а теперь изворачивается! Поверьте моему опыту старого большевика!

Следователь поблагодарил «старого большевика» за его визит и отпустил вместе с коридорной.

— Ну что: будем сознаваться? — обратился ко мне, когда они вышли, следователь.

— Мне не в чем сознаваться, я не хотел бежать. И наговаривать на себя я тоже не хочу. Ведь, теперь другое время, правда? Никита Сергеевич разоблачил старые приемы, когда невинных людей принуждали сознаваться в преступлениях, которых они не совершали!

—Это верно, — ответил следователь. — Партия осудила старые методы допросов. Но мы их к вам и не применяем! Разве не так?

— Верно, не применяете. Поэтому я и говорю вам правду: бежать я не хотел.

— Однако, только что, под давлением обстоятельств, вы вынуждены были сознаться во лжи! На этом основании я имею право отдать приказ

о вашем аресте и передаче дела в суд. Три года вам обеспечены! Скажите, хотите, чтобы я сейчас вас арестовал?

Я смотрел на него и не знал, как лучше ответить. А следователь вдруг разъярился, вскочил со своего места, обошел свой письменный стол и, подойдя ко мне вплотную, закричал:

— Отвечайте мне! Да или нет? Хотите быть арестованным?

Я нахожусь целиком в вашей власти. Как вы прикажете — так и будет. Если вы прикажете меня арестовать, меня арестуют. Но я бы этого не хотел, — наконец нашел я ответ, который должен был остудить его пыл.

И эти мои слова, несомненно подсказанные мне свыше, действительно его остудили. Следователь вернулся

на свое место, сел и уже спокойным голосом продолжил:

— Тогда назовите имя и адрес женщины, у которой вы провели ночь перед вашим марафонским заплывом.

— Вот это я не могу сделать даже перед угрозой попасть в тюрьму, — ответил я. — Если я выдам эту женщину, всю жизнь потом меня будет грызть совесть.

— Совесть! Совесть! — проворчал следователь. Потом помолчал и приказал:

— Завтра, в одиннадцать!

— Хорошо, я приду.

— Можете идти.

— До свидания.

Я вышел из кабинета следователя морально обессиленный. Я никогда не был остер на язык и то, что нашел правильный ответ, не моя заслуга. Само Провидение подсказало мне его.

Мой молодой сосед дожидался меня, чтобы идти в ресторан «Салхино». Возможно, он хотел что-нибудь выведать от меня, но я ничего ему не сказал. Однако, его шутки и дружественный тон (возможно, наигранный), были мне очень нужны. Они помогли мне придти в себя, вернуться на землю из тюремных подвалов, куда еще недавно тянули меня обстоятельства.

На следующий день, когда я стоял у входа в КГБ, а дежурный звонил по

внутреннему телефону моему следователю, сверху спустился председатель КГБ.

— Здравствуйте, — поздоровался я с ним.

— Здравствуйте, — ответил он. — А вы все еще не уехали? — и не дожидаясь моего ответа, добавил:

— Сегодня или завтра уедете. Прощайте! — и пошел к своей машине. Следователя я не увидел. Ко мне вышел доброжелательный офицер и сразу спросил, какой билет мне взять на поезд.

— Никакой, — так же без всяких вводных слов ответил я. — Вы знаете, что у меня есть деньги и поэтому я не хочу трястись трое суток на поезде. Я или полечу на самолете прямо отсюда, или из Сочи. Во втором случае я поеду до Сочи на пароходе.

— На поезд я могу достать вам билет, а на самолет или пароход доставайте сами! Очевидно мы больше не

увидимся. До свидания! Приедете еще в Батуми — заходите в гости, я буду рад принять вас у себя дома (и он назвал свой адрес).

Мы попрощались за руку и я пошел на Морской вокзал, Пароход отходил в этот же день, вечером. Я купил билет, потом рассчитался в гостинице и, провожаемый соседом по номеру, пришел на причал. Посадка уже началась и в числе провожающих я увидел своего следователя. Я прямо подошел к нему и заговорил:

— Здравствуйте! Вы пришли удостовериться, что я действительно уезжаю?

— Тссс!— зашипел чекист. — До свидания! И не подходите больше ко мне — я занят!

Я понял, что он кого-то караулил. «Очень хорошо, что я еще раз засвидетельствовал, какой я простачек!» — подумал я и, попрощавшись со своим приятелем из гостиницы, взошел на борт теплохода.

Прибыв в Сочи, я взвесился. Мой вес оказался 70 килограммов. Значит, я потерял 10 кило.

Часть 2. ГЛАЗ СКОРПИОНА

Глава 9. Литературное объединение начинающих Писателей

Глава 9. Литературное объединение начинающих

Писателей

Подняв воротник своего плаща, я вышел из трамвая на Литейном проспекте и направился в сторону Невского. Был тоскливый сентябрьский вечер. Шел дождь и сильный ветер бросал в прохожих жухлыми листьями. Как всегда, Невский был запружен машинами и автобусами, черное облако от выхлопных газов которых стлалось по ветру и заставляло меня поминутно плеваться и затаивать дыхание. Водосточные трубы на Невском нигде не доставали до земли и дождевая вода из них лилась на ноги прохожим. На крыше дома, над кинотеатром «Титан», был виден огромный лозунг «Слава КПСС!», а рядом с ним — портрет Хрущева без бородавок на лице. Я вспомнил, что в советских учебниках истории и туристских справочниках указывалось, что «до революции Ленинград не был таким прекрасным городом, как теперь». Однако, на деле все было как раз наоборот. Об этом мне говорили родители, родственники и их знакомые, когда они были еще живы. Позднее я нашел подтверждение их словам во многих книгах. Но с каждым годом становится все труднее находить правдивые сведения о жизни до революции 1917 года. Почти все свидетели дореволюционных лет уже умерли или настолько состарились, что ничего не помнят. Пользуясь этим, коммунисты извратили все факты, переделали книги, а старые газеты и журналы, хранящиеся в библиотеках, запретили выдавать для чтения. Теперь ложь стала называться правдой, а потому многие верят в то, что революция на самом деле принесла какие-то улучшения.

Мне хотелось есть. В сплошном потоке спешащих пешеходов, большинство которых несли в руках сумки или авоськи, я перешел на другую сторону Невского и вошел

в угловой магазин «Гастроном». В магазине было много народу и стояли длинные очереди. Я подошел к кондитерскому отделу, где народу было поменьше, и, вынув из кармана все свои деньги, пересчитал их. Оказалось 8 рублей и 25 копеек. «До получки еще 5 дней, — соображал я, — по 1,5 рубля в день, чтобы не протянуть ноги с голоду… А сегодня,

если даже 3 копейки за трамвай я платить не буду, а поеду «зайцем», все равно больше 25 копеек потратить не могу!»

Я подошел к колбасному отделу и увидел на витрине только один сорт колбасы, по 2 рубля 40 копеек за килограмм. Отстояв сперва очередь в кассу за чеком, а потом — к продавцу, который вешал колбасу, я, наконец, получил свои 100 грамм. Я съел колбасу тут же в магазине, без хлеба, а потом опять вышел на улицу.

Дойдя до набережной Фонтанки, я повернул влево. Метрах в 50-ти от Невского возвышалось старинное здание с табличкой при входе «Ленинградская Городская библиотека». Я вошел в дверь и не снимая плаща поднялся по лестнице на второй этаж. Там я прошел по коридору, откуда видны были читальные залы, и вошел в «Конференц-зал». Конференц-зал представлял собой просторную комнату с круглыми столиками и стульями. На стенах комнаты висели портреты русских и зарубежных писателей, а также Хрущева и Брежнева. За столиками сидели или стояли человек 25. Многих из них я знал, но одна группа людей, державшихся поодаль от других, была мне незнакома. Знакомые мне люди были членами Ленинградского Городского Литературного объединения начинающих писателей и среди них — руководитель объединения, писатель Виктор Бакинский, пожилой человек, начавший свою литературную деятельность еще во времена Есенина и даже написавший в то время о Есенине знаменитую критическую статью, которую теперь можно увидеть под стеклом в Пушкинском доме, но нигде нельзя прочитать. Я стал членом этого объединения 5 лет назад, когда у меня появилась и созрела мысль — написать на базе моих дневников правдивую книгу о жизни простых людей в Советском Союзе под названием «Сергей Хлебов». Писателям необходимо общение между со-

бой. Поэтому однажды я взял с собой политически нейтральный очерк «По Есенинским местам», написанный мною после посещения родины Есенина и моих дедов — Рязанской области, и пошел с этим очерком в Ленинградское отделение Союза Советских Писателей, находившееся в шикарном старинном особняке на набережной Невы. Дежурный чиновник, к которому я обратился, прочитал мой очерк, сделал несколько замечаний, а потом заполнил на меня анкету и вложил ее в свою картотеку (очевидно для КГБ, как на потенциального писателя антисоветчика). Затем чиновник дал мне направление для поступления в члены Ленинградского Городского литературного объединения

начинающих писателей, сокращенно— ЛИТО. Это ЛИТО работало при городской библиотеке и собиралось на семинары один раз в неделю, по вторникам. Сегодня был вторник.

Как всегда, члены ЛИТО сидели по группам. Каждая группа имела собственные идеи в литературе. Тут были и ортодоксальные последователи социалистического реализма, которых возглавлял украинец-офицер, и «молодые бунтари», ориентирующиеся на Запад, в основном евреи, и группа приверженцев русского классического романа, пользовавшаяся презрением первых двух групп. Я, конечно, не принадлежал к первой группе. Мои литературные интересы были ближе ко 2-ой и 3-ей группам. Общим для всех членов ЛИТО признаком было почти поголовное высшее образование в какой-либо области и любовь к литературе.

Секретарь ЛИТО и мой друг, детский врач Лида Филатова, сидела за отдельным столиком и регистрировала приходящих в специальном журнале.

— Юра-а-а! — закричала она мне в своей обычной экспансивной манере, энергично повернув ко мне голову с крашенными рыжими волосами и с неизменной сигаретой во рту. — Юра-а-а! Иди сюда, пока место свободно: я тебе что-то расскажу!

Рассказ был опять из ее медицинской практики, о смерти ребенка. Хороший сюжет для какого-нибудь другого писателя, но только не для меня. У меня были свои, особенные темы, но о них никто кроме меня не знал.

— А что это за люди, которых я не знаю? — я показал Лиде на группу незнакомых людей.

— Вот не приходил на первое заседание ЛИТО после летних каникул, потому и не знаешь! — с упреком ответила Лида. — Это члены ЛИТО Выборгской стороны. Бакинский пригласил их в порядке обмена. — Кстати, а почему ты не приходил?

— Ой, долго рассказывать, Лида!

— Ничего, время еще есть. — Она посмотрела на часы. — Еще пятнадцать минут, да и сегодняшний докладчик, Игорь Ефимов, еще не появлялся.

— Ну, ладно... С работой у меня были неприятности... Пришлось искать другую работу. Только 9 дней назад я нашел ее...

— А как же институт? Там у тебя было такое положение?! Что случилось?

— Прогулял я.

— Прогулял? Вот чего от тебя никогда не ожидала! — Лида уставилась на меня и рассматривала с минуту. Потом с убеждением она сказала:

— Ну, если уж ты прогулял, значит, нужно было. Но почему ты забыл о том, что у тебя есть друзья? Почему ты не сказал мне об этом? Я бы нашла какой-нибудь выход... справку о болезни задним числом выписала... позвонила бы своим знакомым в Куйбышевскую больницу... все бы устроили!

— Ах, Лида! Это был тот единственный случай, когда никакая липовая справка не поможет!

Лида смотрела на меня и не понимала, какой-такой случай может быть в СССР, когда всесильные липовые справки оказываются бесполезными. Потом она спросила:

— Они уволили тебя?

— Нет, они хотели выпороть меня публично: разбор персонального дела на партсобрании и тому подобное — ты знаешь! Ректор Любавский, который еще недавно говорил мне, что «мы все не только уважаем вас, но и любим!» совершенно переменился. Он прямо пылал злобой ко мне. Но им не удалось. Вместо этого я сам подал заявление об увольнении, а свой партбилет пошел и от-

дал уборщице райкома партии.

— Что ты говоришь? — ужаснулась Лида.

— Ты не вздумай об этом рассказывать другим, — предупредил я ее. — А то мне пришьют агитацию. Это только между нами. Ясно?

— Ясно-о-о, — растерянно протянула она и зажгла очередную сигарету.

Тем временем подходили новые люди. Член ЛИТО инженер Марамзин привел на заседание свою жену, актрису престижного в СССР Ленинградского театра Комедии, которая была одета по последней моде — в какое-то платье из мешковины и по покрою тоже похожее на мешок. Несколько членов ЛИТО — офицеров, пришли на заседание в военной форме. Были тут и две или три пенсионерки, старые женщины, пишущие мемуары.

Последним пришел Игорь Ефимов, чье произведение было намечено к обсуждению в этот день. Это был красивый молодой человек высокого роста с правильными чертами лица, с длинной черной бородой, по профессии инженер по турбинам. За его спиной болтался рюкзак.

— Прошу прощения за опоздание, — обратился он к Бакинскому. — Я прямо из прачечной, — указал он на рюкзак. — Отстоял двухчасовую очередь. Я бы хотел перед началом заседания ЛИТО сделать одно маленькое объявление. Можно?

— Пожалуйста, — разрешил Бакинский, благоволивший к нему.

— Я хочу сказать насчет поэта Иосифа Бродского, — начал Ефимов, на ходу снимая плащ и бросая на стул. Под плащом у него оказался сверхмодный пиджак со специально обрезанными лацканами.

— Я никому не пытаюсь навязывать своего мнения! Никому! Я хочу только предложить познакомиться с его стихами тех, кто еще не знаком. У меня с собой есть несколько его стихов. Желающие могут взять их прочитать. А о полученном впечатлении я буду просить вас написать в «Ленинградскую Правду». Дело в том, что Бродский арестован и сослан на Крайний Север — возить навоз. Его стихи названы бездарными и безидейными и на этом основании его литературная работа не засчитывается за

работу вообще, а он сам объявлен тунеядцем. Я надеюсь, что прочитав его стихи, вы будете иметь другое мнение и это ваше мнение, сообщенное в газету, поможет нашей кампании за возвращение Бродского обратно в Ленинград.

Во время этого объявления Бакинский с видимым страхом смотрел на Ефимова и вздохнул с облегчением, когда тот кончил. Чтобы не дать ему еще что-нибудь добавить о Бродском, Бакинский торопливо открыл очередное заседание ЛИТО.

— Товарищи! На сегодняшнем заседании мы разбираем пьесу Игоря Ефимова «Предки-потомки». Я надеюсь, что все члены ЛИТО уже ознакомились с ней в читальном зале.

По установленному правилу, члены ЛИТО должны были знакомиться с разбираемыми произведениями заранее. С этой целью автор сдавал свое произведение в читальный зал за две недели до обсуждения. На самом заседании автор зачитывал лишь краткий отрывок, после чего приступали к обсуждению. Пьеса Ефимова была в трех действиях, в

каждом из которых участвовали одни и те же персонажи: Демагог, Девушка, Чудак, Писатель, Художник и другие, но время действия сильно отличалось. В 1-м действии герои жили в древнем мире, во втором — в средние века, а в третьем — в наше время. В первом действии Демагог высказал вслух свою мечту — возглавить народ, а Чудак неумышленно помог ему в этом, посоветовав сперва изобрести врагов для народа, затем призвать народ на борьбу с этими вымышленными врагами и естественным образом при этом, возглавить народ. Демагог так и сделал, а Чудака убил. Во 2-м действии Демагог — уже диктатор, который велел установить Чудаку памятник, якобы как национальному герою и основателю государства и велел детям целовать у памятника ноги. В 3-м действии показан Советский Союз, только для камуфляжа КГБ названо КБГ, а все имена и названия сделаны американскими.

Откровенность критики коммунизма вызвала у многих членов ЛИТО, несмотря на «хрущевскую оттепель», нечто похожее на шок. Однако, потом они быстро приняли

правила игры, предложенные Ефимовым, и стали говорить, что «его произведение—отличный шарж на американский образ жизни». Я тоже выступил на обсуждении и сказал, что ненависть рождает только ненависть. Произведение Ефимова, очень талантливое по форме и содержанию, тем не менее страдает тем недостатком, что в нем нет ничего позитивного и поэтому оно может только усилить уже имеющуюся ненависть и ничего более. Однако, эмоциональный заряд его был так силен, что это произведение осталось в моей памяти навсегда. Заседание продолжалось до позднего вечера. После всех, Бакинский подвел итоги. Он заявил, что не сомневается в том, что Ефимов — настоящий писатель и разобранная пьеса — лишнее доказательство тому.

Мы вышли из здания библиотеки в 12-м часу ночи. Споры продолжались на улице, а на углу Невского и Литейного, где наши пути расходились, мы остановились, чтобы высказаться напоследок. Однако к нам сразу подошел милиционер:

— Граждане! Больше трех не собираться! Разойдитесь!

— Демагог велел больше трех не собираться! — шепотом пошутил кто-то и мы, попрощавшись, разошлись.

— Юра! Пошли ко мне! — взяла меня под руку Лида.

— Да ведь поздно! — возразил я.

— Ничего! Мы никогда не ложимся рано!

Лида жила недалеко от Городской библиотеки в подвальном помещении большого дома. Вместе с ней жили ее больная мать, а также муж и дочь. Пол в ее квартирке из двух крошечных комнат был на два метра ниже уровня земли, а маленькие окна никогда не давали достаточно света и в квартире круглые сутки горел электрический свет. Однако, Лида и ее муж-инженер, изо всех сил старались не только придать хоть какой-нибудь уют своей квартирке, но и зазывали к себе гостей. Я часто бывал у них.

Муж Лиды, Николай, действительно еще не спал, а работал над своей диссертацией. Лида рассказала ему новости, а затем вскипятила чай и мы стали пить втроем, обмениваясь впечатлениями.

— Как ты нашел работу? — спросила меня Лида.

— Иоаннович помог, мой друг. Он раньше работал в институте вместе со мной, а недавно перешел в Бюро Механизации инженерного труда Ленсовнархоза и меня тоже перетащил туда.

— А разве там не нужен допуск? После выхода из партии тебе вряд ли оставят допуск к секретной работе.

— Да, они уже забрали у меня допуск. Успели!

— А как же тебя приняли в Совнархоз?

— Долго рассказывать.

— В нашем распоряжении время до утра, — настаивала Лида.

— Иоаннович рассказал обо мне своему начальнику, Ивану Васильевичу Гурьеву и тот сразу проникся ко мне симпатией и заявил, что примет меня на работу без допуска и пока он жив, никто меня не уволит.

— Что же такое Иоаннович рассказал ему? О твоем выходе из партии?

— И о выходе из партии и еще кое о чем.

— Интересно! — заметил Николай. — Первый раз в жизни слышу такое, чтобы выход из партии кому-нибудь шел на пользу и служил к тому же рекомендацией для поступления на работу.

— Здесь особый случай. Гурьев не похож на других. Он — необыкновенный человек. Он сам рассказал мне все о себе.

— Что же он вам рассказал? — спросил Николай.

— Он рассказал мне, что во время 2-ой мировой войны он был морским офицером, но после потопления его корабля был направлен на украинский сухопутный фронт. Там он попал к немцам в плен. Гурьев оказался в плену, но морально не капитулировал. В лагере для военнопленных он подговорил большую группу солдат предпринять побег. И они бежали. Между прочим, Иван Васильевич признался мне, что для этого нужно было только повыше поднять ногу и перешагнуть забор из колючей проволоки.

— Хорош концлагерь, нечего сказать! — заметил Николай.

— Я уже слышала об этом от других людей, — сказала Лида. — Немецкие лагеря для военнопленных не были

такими жестокими, как их политические лагеря. Но что же дальше?

— А дальше вот что: спрятав солдат в лесу, Гурьев пошел к управляющему одного из сахарных заводов и представился ему инженером, бежавшим от большевиков. Немец-управляющий поверил ему и пригласил работать на заводе. Гурьев сделался главным инженером завода, получил квартиру и прислугу, пропуск для поездок в Киев, и главное: право принимать на работу рабочих. Воспользовавшись этим правом, он принял в качестве охранников или грузчиков всех членов своего отряда. Поправившись и отдохнув после плена, отряд по приказу своего командира сжег сахарный завод, забрал имевшееся у немцев оружие, и ушел в лес. Теперь уже Гурьев стал командиром партизанского отряда. Его отряд участвовал во многих боях с немцами. Это был, по его словам, единственный партизанский отряд на Украине, возникший стихийно. Все остальные партизанские отряды были созданы по указанию Москвы и укомплектованы профессиональными специалистами по партизанской борьбе. Там были еще отряды украинских националистов, но они представляли для отряда Гурьева не меньшую опасность, чем немцы.

После возвращения Красной армии, Гурьев сперва был награжден орденом Ленина, а затем — арестован. Ему было предъявлено обвинение в том, что он руководил «анархической бандой». Это обвинение основывалось не на тех фактах, конечно, что он, чтобы прокормить отряд, не брезговал грабежом, а только на одном факте — в

отряде Гурьева не было комиссара, а сам командир был беспартийным. Следствие шло долго и хотя, в конце концов, его реабилитировали, но пытки, оскорбления и издевательства в застенках КГБ сделали его совсем другим человеком. Затем его вынудили вступить в партию и он еще некоторое время служил во флоте. Дослужившись до пенсии, Гурьев вышел в отставку и пошел работать в Ленсовнархоз, где главным инженером был его приятель, по фронту. Там он получил должность начальника бюро механизации инженерного труда. Так что Гурьев имеет свои счеты с советской властью. Поэтому он и принял

меня к себе на работу, игнорируя запрет из райкома партии и из других мест. Я в его глазах — такая же жертва произвола, как и он сам.

— Тебе, Юра, теперь надо быть очень осторожным в словах! — заметила Лида. — Гурьев не защитит тебя от КГБ, если оно посчитает, что ты занимаешься агитацией.

Спасибо за напоминание, Лида. Я это знаю не хуже тебя.

— Хочешь, я покажу тебе твои рассказы? — вдруг переменила разговор Лида.

— Какие рассказы?

— А те, что обсуждали на последнем перед летними каникулами заседании ЛИТО. Она вынула откуда-то большую папку, открыла ее и я увидел среди других напечатанных на машинке рассказов и свои два: немного сюрреалистический рассказ «Вот», а рядом с ним — «Рыболовный рассказ». Оба они были достаточно невинны и написаны мною специально для обсуждения в ЛИТО: каждый член ЛИТО должен был время от времени представлять свои произведения на обсуждение.

— Зачем они у тебя и почему дома? — спросил я.

— Я же секретарь ЛИТО и должна хранить у себя те экземпляры произведений, которые раньше находились в читальном зале. Но в библиотеке у меня нет для этого никакого шкафа и вот, поэтому, я храню дома. Потом она посмотрела на меня многозначительно и торжественно добавила:

— Когда-нибудь эти мои архивы будут на вес золота! Никто не знает наперед, кто из членов ЛИТО станет великим писателем, но кто-нибудь станет!

Глава 10. Иоаннович

Глава 10. Иоаннович.

Я пришел домой в 1 час ночи, снял плащ в коридоре и повесил его на гвоздь, вбитый в стену у входа в мою комнату. Потом отомкнул запоры и вошел в комнату. В комнате я зажег свет и сел к письменному столу, на котором рядом с большими портретами Есенина и Достоев-

ского лежал лист ватманской бумаги, на котором красивым почерком моей сотрудницы Тани было написано «Расписание занятий». Согласно этого расписания, во вторник я должен был заниматься до 4 часов утра, а потом спать до 7 часов 45 минут.

—И что это у вас за занятия такие? — кокетливо спросила меня Таня, переписывая по моей просьбе это расписание.

Углубляю знания по электронике.

— И не надоела вам на работе электроника, что еще по ночам занимаетесь электроникой? — поджала свои красивые губки Таня. — Вот девушкам не с кем пойти в кино, а вы — электроника!

В расписании ночные занятия предполагались только по вторникам из-за ЛИТО. В другие дни расписание предусматривало ранний отход ко сну и подъем в 4 часа утра, чтобы заниматься на свежую голову. Мои «занятия электроникой» на самом деле были писанием дневника, который можно было также назвать черновиками моей будущей книги. Я возобновил писание дневника в тот самый день, как вернулся из Батуми после своей неудачной попытки побега.

Я достал дневник из ящика письменного стола, раскрыл его и записал:

«20 сентября. Сегодня Лида спросила меня, как я нашел новую работу. Я ответил, что мне помог мой друг Иоаннович. Правильно ли я ей ответил? Кто он мне на самом деле: друг или враг? С одной стороны — друг, потому что сделал для меня доброе дело, а с другой стороны — он носитель совершенно чуждой мне идеологии и его поступки в прошлом — это поступки моего идейного врага. Не предаст ли он меня в будущем? Слишком много он обо мне знает! И он слишком свободно критикует коммунизм, что подозрительно. Вчера, например, мы с ним

шли по Невскому, после работы. Увидев на крыше здания лозунг «Слава КПСС!» Иоаннович

громко воскликнул:

Посмотрите, Юрий Александрович, на этот лозунг! Кто, вы думаете, его написал? Сама КПСС! А это значит: слава мне! — и засмеялся. А несколько дней назад он вдруг объявил на работе, что сделал изобретение.

— Я изобрел альтернативный способ кормления советских космонавтов в полете, — сказал Иоаннович. — Я предлагаю кормить их через задний проход. Преимущество моего изобретения состоит в том, что больше не будет напрасной траты времени на прием пищи, рот не будет занят и космонавт сможет возносить хвалу КПСС и лично товарищу Хрущеву непрерывно в течение всего полета!

Наша сотрудница, Вера Шахова, у которой отец работает начальником политотдела военного училища, пыталась возразить ему. Тогда Иоаннович вышел на середину комнаты, встал в позу и прочитал ей стихи собственного сочинения:

Спутник реет средь небес

Мать твою, КПСС!

Когда-то в молодости, Иоаннович думал противоположно этому. Он родился в Югославии и во время войны был титовским офицером. Он хвастался мне, что лично расстреливал пленных итальянцев. «Мы их согнали в лощину, а потом—из пулеметов! А они, как овцы, мечутся во все стороны, пока не упадут!» Четыре югославских ордена украшают грудь Иоанновича, но сам он принял советское гражданство. Случилось так, что во время его учебы на математико-механическом факультете Ленинградского университета, Сталин поссорился с Тито и всем югославским студентам подсунули

подписать какие-то антититовские бумажки. Позднее, другой ГЕНСЕК помирился с Тито, но Тито не простил Иоанновичу и не разрешил ему вернуться на родину. Пришлось ему принять советское гражданство. Иоаннович знает несколько языков и он хороший математик, но он не знает главного: разницы между Добром и Злом. Он в равной степени презирает мораль христианскую и мораль коммунистическую, высмеивает капитализм и коммунизм. Однажды я при нем цитировал

Достоевского: «Русский не может быть атеистом. Атеист сразу же перестает быть русским». Иоаннович со смехом подхватил:

— Вот видите, Юрий Александрович, это значит, что мне никогда не суждено стать русским!

— Вы очень похожи на Николая Ставрогина, — сказал я ему тогда. Он ничуть не обиделся и наша дружба продолжается до сих пор. С ним всегда интересно и весело. Несомненно, в политике и в кибернетике он понимает больше, чем многие другие мои знакомые и это сближает нас. Но понимая все, Иоаннович только презирает коммунистическую идеологию, но не ненавидит ее подобно мне. Я знаю несколько человек, которые также презирают коммунистов, а в тесном кругу даже не скрывают этого своего презрения к ним но вместе с тем ревностно служат этим самым коммунистам. Больше того, я уверен, что КГБ через своих осведомителей знает о разговорах этих людей и все же оставляет их на руководящей работе. Наверно КГБ рассуждает так: «Никакой умный человек не может всерьез верить в логичность или же в гуманность комму-

нистической идеологии. Пусть себе не верит! Лишь бы поступал так, как нам надо. А то, что он не верит и вместе с тем служит нам, характеризует его как умного человека, лишенного таких «предрассудков, как убеждения». Та же Вера Шахова однажды говорила мне: «Я удивляюсь на своего отца! Дома с приятелями, когда выпьет, он говорит все наоборот тому, чему в училище учит курсантов! И все высмеивает: и коммунистическую идеологию и даже вождей!» Но этот полковник ревностно служит КПСС. Он служит не ради идеологии, а ради тех привилегий, которые КПСС дает ему за его безнравственную службу. Другого образа жизни он не представляет себе и просто боится!»

Глава 11. Ира

Глава 11. Ира.

Я быстро вошел в круг своих обязанностей на новой работе и при дружеской поддержке Гурьева стал осуществлять техническое руководство своей небольшой группой специалистов, как ведущий инженер. Одной из первых тем нашей группы была механизация учета

потребности материалов на программу для судостроительного завода имени Жданова. Когда мы закончили свою работу, то оказалось, что точно такое же задание имела другая группа, работавшая в НИИ п/я 609. (Вот почему в СССР нет безработицы!). Решать вопрос, чей проект будет внедрен на заводе, собрался объединенный пленум Кировского и Ждановского райкомов партии. Присутствовать на этом пленуме в качестве представителя нашего Бюро, Гурьев назначил меня. Думаю, что секретари райкомов уже знали мою подноготную и потому дружно высказались за внедрение на заводе другого проекта. Однако, мое мнение они все же спросили. Я сказал, что знаком с проектом НИИ п/я 609 потому, что авторы этого проекта приезжали ко мне с просьбой помочь им в составлении программ для компьютеров. Я сделал им

несколько программ, но не все. Поэтому я знаю, что их работа не закончена и не может быть принята к внедрению. После этого секретарь райкома поставил вопрос на голосование и все проголосовали за проект НИИ п/я 609 единогласно. Когда после совещания я вышел на улицу, то меня догнал один из ответственных работников Кировского райкома партии.

— Товарищ Ветохин! Простите пожалуйста! Неужели вы это оставите так?

— Что вы имеете в виду? — повернулся я к нему, вспоминая, как рьяно выступал он в защиту другого проекта всего четверть часа тому назад.

— Вы были совершенно правы, когда говорили, что их проект незакончен и потому не может быть принят к внедрению. Я не специалист, но отлично понимаю, что программы для компьютеров — это самое главное в проекте.

Я смотрел на него с удивлением и презрением. А он горячился все больше и больше.

— Идите в Обком партии! Вы ведь совершенно правы! Там вас поймут!

Теперь я не помню ни его лица, ни в чем он был одет. Возможно, у него вообще не было лица. Разве бывает лицо у ржавого винтика?

Иоаннович смеялся больше всех, когда я рассказал об этом случае на работе. Он лег спиной на письменный стол Веры Шаховой и громко хохотал и дрыгал ногами в воздухе.

— Дабльфинг! — кричал он. — Двоемыслие! Точно как в книге Орвелла «1984»!

Несколько дней назад он прочитал эту книгу на английском языке, был поражен «игрой ума» автора и без конца цитировал ее. Даже нашего сотрудника Геннадия Степановича, человека с диктаторскими наклонностями, он стал звать Большим Братом. Я слышал об этой книге из передач западных радиостанций, знал, что она запрещена в СССР, и очень хотел прочитать ее тоже.

— Хотите я опять стушу для вас гуся с капустой? — обратился я к Иоанновичу, — А вы приходите ко мне с книгой. После гуся почитаете ее мне и сразу переведете. Хорошо?

Иоаннович жил один, питался в столовых и потому очень ценил мои кулинарные способности. Он сразу согласился. На другой день, Иоаннович пришел ко мне с бутылкой сухого вина и мы устроили пир. Потом, пересыпая перевод шутками и прибаутками, он за три вечера прочитал мне всю книгу. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. По силе выражения и точности пророчеств я мог сравнить ее только с «Бесами» Достоевского. Недаром Иоаннович все время вспоминал о ней.

— Почему у вас на платье нет значка «Анти-секс Лиги?» — приставал он к Вере Шаховой.

— Потому, что я в принципе не против... — смущенно смеялась в ответ Вера, делая ему глазки.

Иоаннович вообще очень нравился женщинам и даже таким молоденьким девушкам, как Вера Шахова. Иоанновичу было уже около 40, но он все еще предпочитал молодых подруг. Он был спортсменом, имел высокий рост, черные волосы и усы и смуглое лицо, на котором были написаны смелость и южный темперамент. Разве девушкам устоять? Однажды, он пришел ко мне домой сразу с двумя девушками. Одна из них мне понравилась с первого взгляда. Девушку звали Ира Бежанидзе и ей не хватало одного месяца до 18 лет. Мать Иры была русской а отец — грузин. От отца она унаследовала черные волосы, которые спускались до плеч, а от матери—большие голубые глаза и нежные черты лица. У нас с первых слов нашлось много общего, в том числе любовь к природе и литературе. Оказалось даже, что Ира тоже любила Есенина и сама писала стихи. Я предложил Ире составить мне компанию на рыбалку, куда я собирался на выходной день. Она просто и рассудительно ответила:

— Мне бы хотелось поехать, но мама меня не пустит. Она у меня строгая. — Потом подумала и добавила:

— Я ее иногда обманываю, конечно. Такова жизнь! Попробую обмануть и на этот раз. Если удастся, я вам позвоню.

Ире удалось. Мы поехали на Розовую Дачу и ловили рыбу на озере Отрадное, с надувной лодки. Были последние дни бабьего лета и стояла теплая погода. Мне повезло. Я поймал на спиннинг большую щуку и с трудом

подтащил ее к борту. Увидев щуку, Ира реагировала самым непосредственным образом. Она громко закричала не то от страха, не то от удивления. Возможно по этой причине щука сильно рванулась и оборвала леску.

— Такая рыба сорвалась из-за твоего крика! — наполовину в шутку, наполовину всерьез упрекнул я ее. — Не получишь за это ухи!

В ответ Ира весело рассмеялась. Потом мы были в лесу. Искать грибы Ира совсем не умела и я пытался ее научить. Увидев гриб, я не срывал его, а очерчивал вокруг него круг и говорил ей:

— В этом кругу растет гриб. Ищи его!

Ира безрезультатно искала минуты две, а потом смешно возмущалась:

— Что я — собака-ищейка что ли, что ты заставляешь меня искать?

— Это было бы здорово, если бы можно было собаку научить искать грибы, но это может делать только человек! — отвечал я.

Я давно знал и любил этот сосновый лес, в котором мы собирали грибы, и огромное озеро Отрадное, где ловили рыбу. Несколько разноцветных домиков, спрятанных в лесу, которые теперь имеют общее название Дом Отдыха «Розовая Дача», до финской войны 1939 года принадлежали барону Маннергейму. Еще в 1955 году я видел следы былого порядка и изобилия этих мест. Клумбы с цветами, беседки, большая парадная лестница к озеру и изогнутые мостики тогда еще не были разрушены. А рыбы в озере было так много, что она плавала вокруг ног купающихся. Теперь клумбы с цветами не было, яблони перестали давать плоды, здание клуба сгорело, беседка и парадная лестница сгнили и развалились, мостики обрушились. Но больше всего пострадало само озеро. Во-первых, его перестали чистить и берега озера заросли камышом, травой и тиной. Кроме того, на берегах озера власти

основали несколько рыболовецких колхозов. Начальники, там наверху, и понятия не имеют о том, когда и какую рыбу можно ловить, а когда— нельзя. Спускали план — и все тут! А рыбакам-колхозникам тоже за гроши ломаться не хотелось. И вот настроили кол-

хозники постоянных сетевых заграждений, идущих от берега на глубину озера через каждые 500 метров. Ячейки в этой сетке такие мелкие, что только икринки могут провалиться сквозь нее, а рыба — уже никакая!

И захватывает эта сетка всю толщу воды от поверхности до дна. Конечно, никакая рыба не поплывет к берегу просто так. Рыба плывет к берегу во время нереста. Вот тут-то колхозники ее и прихватывают. Рыба тычется о сеть, плывет вдоль нее и попадает прямо в большое горло, которым сеть заканчивается. Колхозникам остается только черпать рыбу из этого горла большим ковшом, что они и делают один раз в день. При этом они берут всякую рыбу: крупную, мелкую, с икрой — лишь бы был вес, лишь бы план выполнить. А там — хоть трава не расти! Теперь рыба больше не плавает вокруг ног купающихся, как было в 1955 году. Ее выловили.

Однако, Ира была там впервые, не могла сравнивать, и Розовая Дача ей понравилась. Она вела себя просто и оказалась девушкой умной, развитой и необидчивой. Несмотря на большую разницу в возрасте, с ней было интересно беседовать на любые темы. Она стала часто ездить со мною за город и бывать у меня дома. Моя маленькая комната с бедной обстановкой и отсутствие денег на развлечения не особенно тяготили ее. Ее семья тоже жила небогато и она привыкла к этому. Мы стали близкими друзьями и любовниками. Глядя на Иру — такую добрую, нежную, умную, я часто думал с досадой, что зря потратил весь свой запас любви на жену, которая была недостойна ее, а для Иры ничего не осталось.

«Любить лишь можно только раз!» — сказал Есенин.

И обидные, болезненные воспоминания снова и снова приходили ко мне.

В ушах слышался злой, визгливый голос жены:

— Делай что-нибудь! У нас опять нет денег! Нет денег не только на одежду, но даже на питание!

— Иди тоже работать, — будет больше денег, — отвечал я.

— Я не хочу работать, я хочу учиться.

— Учись, только мне неоткуда взять больше денег — я всю зарплату приношу тебе.

— Другие откуда-то берут!

— Другие воруют или мошенничают, подобно мужу твоей сестры, Нины!

— И ты — воруй! Не строй из себя какого-то особенного чистоплюя! Ты — не лучше других!

— Проклятая коммунистическая система! Если бы я жил в другой стране, мне не пришлось бы выслушивать такую чушь! В любой порядочной стране, уж если человек работает, то у него хватает денег на жизнь! Иначе, зачем же работать?

— Себя вини, а не систему! Надо уметь жить! Ты — слишком порядочный! Ох, как я ненавижу порядочных!

— Ну, как знаешь. Ищи себе непорядочного, а я измениться не могу.

— Но ты мне испортил всю жизнь, ты забрал мою молодость! Разве ради нищеты я выходила за тебя замуж? —она заплакала.

— Я не забирал твою молодость. Я женился на тебе, когда тебе уже было 24 года.

— Я, вот, сообщу куда следует о всех твоих антисоветских высказываниях! Всю жизнь тогда будешь помнить меня... в концлагере! — злобные рыдания сотрясли ее всю.

— Ну, меня посадят. А как же наша любовь?

— Это ты все говоришь о любви, а я — никогда. Любовь — глупости, пустяки!

— Ну, хорошо. Любовь — пустяки. А о сыне ты подумала?

— Сына я воспитаю без тебя. Зачем ему такой отец? Тебя он знать не будет, но возненавидит заочно!

— Если сообщишь, то помни: все порядочные люди навсегда отвернутся от тебя. Ты будешь, как прокаженная среди людей! Каждый будет остерегаться тебя, как заразы!

Жена со слезами бросилась вон из комнаты, выбежала на лестницу, где был телефон-автомат, и долго с кем-то говорила по телефону. Потом

ушла жить к своей матери, вместе с нашим сыном.

Через несколько дней, когда я кончил работу и собирался уходить с завода, меня внезапно вызвали в партком. Когда я вошел в кабинет секретаря парткома, то там, на почетном месте, рядом с секретарем, сидела моя жена. Вокруг них, на стульях, расположились десять членов парткома завода, молча и враждебно смотревших на меня. Глаза у жены были сухие и светились торжеством и злорадством.

Секретарь парткома Петров указал мне на стул в дальнем углу, как подсудимому, и перекосив злобной гримасой свое и без того отвратительное лицо, начал:

— Товарищи коммунисты! Сегодня мы собрались, чтобы разобрать персональное дело коммуниста Ветохина. Это — из ряда вон выходящее дело! Оказывается, в наши ряды затесался враг! Даже родная жена не выдержала потока его злобной клеветы на советскую власть и, как подобает честной советской женщине-патриотке, пришла к нам и честно обо всем сообщила. Сейчас я зачитаю вам сперва ее заявление, а потом, заявление ее брата и соседа по квартире, которые свидетельствуют о том же самом, то есть, об антисоветском облике Ветохина.

Петров развернул большую бумагу и начал читать:

«В Партийный Комитет завода п/я 686

от гражданки Ветохиной, Татьяны Ивановны,

Заявление

Довожу до сведения Партийного Комитета завода, что мой муж, Ветохин Юрий Александрович, числящийся формально членом партии, на самом деле является врагом партии и Советской власти».

(Сердце у меня упало: немыслимое свершилось! Я бросил взгляд на жену. Улыбка торжества кривила ее губы. «Значит, — открытая война!» — подумал я, и стал мысленно искать средства к спасению. «Объявить все клеветой, провести контратаку, когда дадут слово! Поразить всех фактами, убеждающими, что она — клеветница, иначе — арестуют прямо здесь!)

А секретарь продолжал читать донос, в котором шел длинный перечень моих антисоветских взглядов, высказываний и поступков:

...«Ветохин никогда не читает ни одной советской газеты и не слушает

советское радио, утверждая, что они содержат одну только клевету. Всю информацию он черпает из сообщений вражеских радиостанций «Голос Америки» и «Би-Би-Си». В кругу своих знакомых Ветохин неоднократно заявлял, что голод в Ленинграде во время войны был якобы искусственно создан коммунистами, заинтересованными в умерщвлении многих ленинградцев по политическим причинам. Ветохин демобилизовался с флота по единственной причине: он не хотел защищать с оружием в руках советскую власть. Ветохин утверждает, что советский экономический и государственный строй не выдержали испытаний и никуда не годятся, с чем согласен и дядя Ветохина, Михаил Яковлевич Григорьев, являющийся также антисоветчиком...»

Доносы Ушакова и Тюфанова, брата и соседа жены, содержали почти те же слова и, по видимому, писались одним и тем же человеком.

Секретарь Петров кончил читать и обвел взглядом присутствующих. Послышались голоса:

— Надо сейчас же пригласить сюда представителя КГБ!

И только один голос, голос не старого еще инженера, с

которым я часто встречался по работе, по фамилии Кузьмин, не содержал в себе звериной злобы. Кузьмин рассудительно сказал:

— Было бы слишком поспешно сразу приглашать представителя КГБ, не выслушав сперва Ветохина.

Петров нехотя предоставил мне слово. Я начал без всякого обращения, ибо сказать «товарищи коммунисты» я не мог:

— Здесь только что зачитано письмо, содержащее грандиозную клевету на меня. Я поражен этим. Но еще больше я поражен тем, как смела моя бывшая жена (**бывшая** — с этой минуты!) заодно оклеветать и Михаила Яковлевича Григорьева, назвав его «тоже антисоветчиком»! Этот человек всю войну был на фронте и за свою храбрость при защите Советского государства награжден многими орденами и медалями. К слову сказать, ни отец моей бывшей жены, ни хотя бы один из ее родственников на фронте не были и Родину с оружием в руках не защищали!

(Мои слова произвели эффект. Члены парткома зашевелились и начали шептаться).

«Теперь я изложу вам истинные факты относительно причин написания моей бывшей женой этой клеветы. Дело в том, что моя бывшая жена завидует своей старшей сестре Нине, которая живет материально хорошо благодаря спекуляции заграничными тряпками, присылаемыми из Берлина ее мужем — офицером-интендантом. Жена и меня толкала на подобные же махинации, но я не хочу и не умею этого делать. Вы можете сейчас же пригласить сюда представителя ОБХСС и я сведу его на квартиру, где производятся эти нелегальные и незаконные сделки».

(Я заметил оживление среди членов парткома).

«В политике, о которой моя бывшая жена написала в своем заявлении, она вовсе не разбирается и ее так называемый патриотизм очень хорошо характеризуется таким поступком: она выбросила свой комсомольский билет в помойку, чтобы не посещать комсомольских собраний! Я прошу секретаря парткома Петрова сейчас же потребовать у нее, чтобы она показала всем свой комсомольский билет. Пусть она этим докажет, что я лгу!»

Петров повернулся к жене и она со слезами произнесла:

— Я его... потеряла.

(Среди присутствующих оживление усилилось настолько, что Петрову пришлось наводить порядок и призывать к молчанию).

«Теперь я перейду к двум другим клеветникам. Брат жены, Ушаков, — пьяница и алкоголик. Об этом знает весь дом, в котором он живет. Наведите справки у управдома и он скажет вам, сколько раз Ушакова увозили в вытрезвиловку и сколько раз он устраивал пьяные скандалы. Такой человек за 100 грамм водки подпишет любой донос, не читая!»

«Сосед по квартире, полковник Тюфанов, тоже имел особую цель, далекую от патриотизма, когда он писал свой донос. Недавно выходила замуж его дочь и он просил нас освободить нашу комнату, чтобы устроить в ней танцы во время свадьбы. Я не дал ему на это согласия и он обещал мне «припомнить».

Слова о полковнике и особенно рассказ о моральном облике Ушакова не произвели на членов партийного комитета значительного воздействия. Большинство членов парткома сами были пьяницами, а Петров — больше других. Однако, первый накал страстей спал. Было принято решение о создании специальной комиссии для детального

расследования фактов, содержащихся в поступивших доносах. Но вопрос о привлечении КГБ больше не поднимался.

Если бы жена сделала свой донос чуть раньше, ГУЛАГа мне было бы не избежать. Но в этот период начиналась так называемая «Хрущевская оттепель». Из многочисленных тюрем и лагерей выпускали политзаключенных, дали некоторую отдушину писателям, подготавливалось разоблачение Сталина. Кроме того, большую роль сыграло то обстоятельство, что прошло совсем немного времени с тех пор, как уволился с этого же завода отец жены. Он занимал должность начальника отдела Труда и Зарплаты и имел много врагов. Как всегда бывает в подобных случаях в СССР, существом дела никто из причастных к разбору доноса лиц — не интересовался. Это был удобный повод для сведения личных счетов и,

прикрываясь партийной демагогией, все причастные лица разделились на два лагеря. Один лагерь состоял из людей, которые не любили отца моей жены, хотели насолить его семье, в данном случае — дочери, и потому открыто встали на мою сторону, помогая мне доказать, что все сказанное и написанное женой — вымысел и клевета. Другой лагерь составили люди, которые не любили лично меня. Не любили за то, что я не пью, за то, что —интеллигент, за то, что позволяю себе резкие суждения. Первый лагерь оказался сильнее. Мне пришлось услышать от них много похвал в свой адрес, но я понимал, что в данном случае являлось причиной их заступничества и не противоречил. В конце концов, донос жены был признан не соответствующим действительности, но возня около него продолжалась почти год и сколько она ото брала у меня сил и здоровья — один Бог знает. Моя трагедия заключалась в том, что даже после ее предательства я продолжал любить свою жену. Моя любовь привела меня к самому краю могилы — к попытке самоубийства, и только Господь, предначертавший мне другую судьбу, спас меня в последний момент.

Глава 12. Возникновение идеи побега на плоту

Глава 12. Возникновение идеи побега на плоту.

В начале 1965 года мой начальник Иван Васильевич Гурьев предложил

мне:

— Юрий Александрович, давайте поедем вместе отдыхать на следующее лето! Мы остановимся где-нибудь в лесу, в палатке. Будем ловить рыбу в реке и собирать грибы. Хорошо? Поедем?

— Благодарю за приглашение, Иван Васильевич, но для моего здоровья необходимо южное солнце, — ответил я. — Видите, из моих десен идет кровь, стоит мне пососать их немного? Это — цинга. Я не вижу в Ленинграде ни фруктов, ни солнца. Я должен на отпуск поехать на юг!

Конечно, я собирался на юг не ради южного солнца, но я не мог сказать об этом прямо и я все еще не оправился от неудачи в Батуми и не нашел никакой альтерна-

тивной идеи. Но я был уверен, что идея придет. Каждый день я молился Богу, прося Его надоумить меня. А тем временем я работал, отдыхал и пристально присматривался и прислушивался ко всему окружающему, чтобы не упустить ту подсказку, ту аналогию, которая могла стать базисом для моего нового проекта. Я тщательно собирал всю информацию, которая была полезной для решения моих проблем. Однако, я знал, что в любом варианте, какой бы я не придумал, плавание должно было занимать центральное место. Постепенно у меня в голове стала вырисовываться идея применения при побеге какого-нибудь движителя, который помогал бы мне плыть и ускорял бы это плавание. Эта идея, первоначально возникшая, как средство для преодоления сильного встречного течения в районе Батуми, потом унифицировалась. Вполне естественно, что следующим шагом в моих размышлениях было изъятие табу, наложенного мною прежде на проект пересечения всего Черного моря, с Крыма или с Кавказа. Прежде, когда я полагался исключительно на силу своих рук и ног и на выносливость моего организма, расстояние в 250 км. от мыса Форос в Крыму до Турции было для меня непреодолимо. Тем более непреодолимым было расстояние в 300-350 км., отделяющее Коктебель или Сочи от Турции. Теперь же, когда я искал технические средства, которые помогут мне плыть, эти проекты уже могли рассматриваться как осуществимые.

Что же это за технические средства?

Как всегда, в случае любых затруднений, я пошел в читальные залы для научной работы Публичной библиотеки. Несколько вечеров я рылся в каталогах, отыскивая литературу типа «Одиночные плавания в море

(океане)», но такой литературы не оказалось. В СССР нет и не может быть «одиночек»! у нас всюду — «коллектив»! Я искал литературу о катерах и яхтах, о плавании под парусом. Такой литературы тоже на удивление мало и она такая «худосочная», такая не содержательная, что я не смог из нее почерпнуть ничего полезного. Тогда я стал искать литературу по морскому макетированию, и опять напрасно.

Все наметки идей образовались еще раньше. Ничего нового библиотека мне не дала. Одну из идей дал новый документальный фильм Ж.И. Кусто. Я имею в виду подводные аппараты, похожие на торпеды, держась за которые, пловцы из группы Ж.И. Кусто быстро передвигались под водой. Другую идею я получил от Тура Хейердала: плот «Кон-Тики». Третья идея от Аллена Бомбара: надувная лодка под парусом. В своих размышлениях я все время исходил из того, что я — хороший пловец и свободно держусь на воде. Я хотел непременно это свойство использовать, чтобы получить выигрыш в весе и в мощности будущего устройства. Превратить в корпус лодки свое тело, а добавить только движитель. Об этом я все время думал, хотя два года назад чемпион по морскому макетированию и сказал мне авторитетно, что в Советском Союзе не существует достаточно мощных малогабаритных источников энергии.

«А что, если попробовать сходить в НИАИ, с которым я был связан по работе, когда работал на торпедном заводе?» Я позвонил знакомому начальнику лаборатории, спросил не могу ли с ним где-нибудь встретиться после работы. Но вместо этого он вдруг неожиданно предложил мне придти в Институт.

Когда я пришел в проходную, пропуск мне уже был заказан. Я подал свой паспорт и, завершив формальности, прошел давно знакомой мне дорогой. Начальник радушно принял меня в кабинете, объяснил, что нужных мне малогабаритных аккумуляторов большой емкости они не выпускают, а потом спросил по какой именно теме торпедных разработок я этими аккумуляторами интересуюсь?

Какой ужас изобразился на лице начальника, когда он узнал, что я больше не работаю на торпедном заводе!

— А я вам пропуск заказал?.. Почему же вы не сказали?

Я ответил, что он меня не спрашивал об этом и постарался скорее распрощаться с ним, пока он не наделал каких-нибудь глупостей с целью собственной реабилитации и перестраховки.

Убедившись еще раз в невозможности материализа-

ции идеи превращения тела в лодку, я стал думать о каком-нибудь постороннем сооружении, способном перенести меня на себе. Советская ширпотребовская надувная лодка в 1965 году казалась мне очень громоздкой, легко обнаруживаемой и неспособной нести парусное вооружение. Поэтому я стал думать о плоте. Если создать плот на базе надувного матраца с жестким каркасом, к которому можно прикрепить мачту, то такой плот, думалось мне, — мог бы перенести меня через Черное море, в период летних штилей и слабых ветров. Приняв эту идею в принципе, я стал конструировать мой мини-плот. Для облегчения всей конструкции я решил использовать бамбук. Бамбук я достал в Кавголово, на станции проката лыж. Заведующий станцией на мою просьбу продать палки, ответил стандартно:

— Вот там, на горе, магазин. В магазине — водка. Принесешь бутылку — выберешь сколько угодно палок.

Я принес водку и выбрал дюжину самых толстых и прочных палок.

Затем понадобились металлические трубочные угольники и металлические степсы для мачт, спаянные с двумя трубочными отростками. Все они должны были быть антикоррозийные, а потому — из цветного металла. Значит: уже коньяк, а водкой не отделаешься. Коньяк я отнес на ГОМЗ и получил оттуда изготовленные по моим чертежам изделия. Много времени и труда понадобилось на пропитку, лакировку, обработку и одевание трубок и наконечников на сборные бамбуковые палки. Выбор материала и шитье паруса и специального чехла, тоже отняли не меньше месяца. Когда все было готово и я провел успешные испытания моего плота на озере Отрадное, уже стояло лето 1965 года.

Но мой начальник Иван Васильевич больше не находился в своем Бюро. Вместо проведения отпуска в лесу, в палатке, он попал в палату госпиталя. У него оказался рак. Агония продолжалась несколько месяцев. После похорон Ивана Васильевича дело быстро пошло к моему увольнению. Теперь уже никто за меня не заступался и было естественно, что антисоветчика, отказавшегося от своего партбилета, да еще по слухам, пытавшегося бе-

жать в Турцию, увольняли из советского учреждения. Перед лицом безработицы, с «волчьим билетом» в кармане, мой мозг стал работать

более интенсивно и более продуктивно. Получив урок в Батуми, я стал придавать большее значение ветрам и течениям при поисках оптимального места старта. Но чтобы учитывать течение и ветер, надо точно знать их в каждой точке Черного моря. Это можно узнать только из Лоции. А Лоция — в Публичной библиотеке. Не видя иного выхода, я решил играть в открытую. «Пусть КГБ узнает, что я брал Лоцию! Ведь, этого недостаточно, чтобы арестовать меня!» — подумал я.

Придя в читальные залы для научной работы, я поднялся по винтовой лестнице в безоконное помещение, напоминающее чердак. Это было помещение для чтения литературы с грифом «для служебного пользования». Дежурная, напоминающая охранницу, зарегистрировала меня, отобрала паспорт и читательский билет, и спросила, что я хочу?

— Лоцию Черного моря.

— Для работы?

— Да.

— А где вы работаете?

— Я — конструктор детских настольных игр. Лоция нужна мне для модернизации моей игры «Юный штурман». (Я мог сказать так, ибо недавно участвовал в общероссийском конкурсе на лучшую детскую игру и взял приз).

— Так вы — автор игры «Юный штурман»? — воскликнула женщина. — Я знаю эту игру. Я купила ее в магазине для моего сына.

Через несколько минут я получил из ее рук лоцию.

«Хотя мне ее сегодня и дали, но завтра могут уже не дать, особенно если об этом станет известно КГБ, — думал я. — Поэтому, за сегодняшний день я должен сделать все необходимое).

Я просидел в библиотеке пол дня. За это время я выписал на отдельную бумагу все, что только нашел о течениях и господствующих ветрах Черного моря.

Потом, дома, я нарисовал карту Черного моря и в со-

ответствии со своими выписками из Лоции, наметил на этой карте черными стрелками и надписями направления и скорости течений, а красными стрелками указал господствующие ветры в июле и августе месяцах. Другие месяцы меня не интересовали, так как в Черном море

достаточно теплая вода и достаточно теплый воздух бывают только в эти два месяца.

Случилось так, что в это время «Голос Америки», который я слушал по приемнику, сообщил номер телефона Американского посольства в Москве. На всякий случай я решил записать его, и не найдя под рукой другую бумагу, записал прямо на карте ветров и течений Черного моря.

Нарисовав карту ветров и течений Черного моря, на основании лоции Черного моря, я мог ей в определенной степени доверять. Поэтому анализ, который я сделал на основании этой карты, можно было считать квалифицированным анализом.

Как видно из карты, течения в Черном море представляют собой две замкнутых окружности: в западной и в восточной частях моря, и одну полуокружность. Эта полуокружность омывает собой Одессу и побережье Румынии. Направление всех течений — против часовой стрелки. Минимальная скорость течений составляет около 0,5 узла в средней части Черного моря и около 1 узла в западной и восточной его частях.

Карта дает однозначную рекомендацию при выборе района побега. Для того чтобы воспользоваться попутным течением, необходимо место старта выбирать либо в Крыму, в районе Керчи-Феодосии-Коктебеля, либо в районе, примыкающем к реке Дунай, либо опять-таки в Крыму, в районе Фороса.

В первом случае, среднее расстояние до Турции составит 350 километров и преодолеть это расстояние будет помогать восточная ветвь течения, идущая с севера на юг, со средней скоростью 0,5 узла. Иными словами, это течение донесет даже неуправляемую лодку до турецких берегов, за 15 дней.

Во втором случае, среднее расстояние до Турции в два раза больше. Но и течение там тоже в два раза быстрее.

В третьем случае, расчет делается на юго-западную ветвь течения, ответвляющуюся на Констанцу.

Ветры во всех трех случаях имеют переменный характер и зависят от времени суток и от месяца. Наиболее предпочтителен месяц июль. С точки зрения скрытности старта, я мало знал о районе Фороса, ничего не знал об устье Дуная и считал маловероятным соблюсти скрытность в районе Керчи-Феодосии-Коктебеля.

В конце концов я выбрал мыс Форос, как основное место старта, а устье Дуная — как резервное. Я убрал карту ветров и течений Черного моря в свой письменный стол, под замок.

Однажды Ира пришла ко мне, села за письменный стол и, балуясь, попыталась открыть его ящик. Но ящик не открывался.

— От кого ты закрываешь свой ящик? — спросила она, смеясь. — От себя самого?

— От тебя, моя маленькая Мышка! — ответил я. — Там, в столе, находится духовная пища. Для тебя, нежной и неопытной Мышки она может оказаться отравой.

— Ты очень странный, — задумчиво сказала Ира. Потом она подошла ко мне, посмотрела на меня внимательно и добавила:

— Но ты мне все равно нравишься!

В другой раз Ира заговорила о своих родственниках в Грузии.

— Мой дед, Джалал, который живет в Кутаиси, однажды сказал мне, что у них есть люди, которые за большие деньги проводят желающих в Турцию, через горы Кавказа, по тайным тропам.

— Ну? — спросил я, стараясь не выдать своей заинтересованности.

— Я бы не пошла этой тропой, — продолжала Ира. — Я бы ни за что не бросила маму, папу, сестренку. Я бы не смогла без них жить. Не понимаю тех, кто бежит из России, оставляя своих родных!

Хотя это было сказано между прочим, это выражало ее убеждения.

Меня уволили как раз летом. Я запаковал свой плот в разобранном виде и был готов ехать на берег Черного

моря, чтобы выбрать там подходящее место для побега и затем бежать. Но я не мог уехать, оставив в душе Иры плохие о себе воспоминания. Мне хотелось сделать так, чтобы она вспоминала наше расставание с хорошим чувством. И я решил сделать ей прощальный подарок: поездку в Крым. Она еще никогда не бывала в Крыму и давно мечтала побывать там. Теперь это было возможно, так как у нее в университете были каникулы, да и родители ее вовремя уехали погостить в Грузию. Ира жила теперь со своей теткой. Я тщательно пересчитал свои деньги и решил, что на ее недельную поездку денег у меня хватит.

— Хочешь на неделю слетать со мной в Крым? — спросил я Иру. — Обратно я посажу тебя на самолет, а полетишь одна?

— Конечно, хочу, — обрадовалась Ира. — И обстоятельства благоприятные: тете я могу сказать даже правду — она меня никогда не выдаст! Только хватит ли у тебя денег?

— Я рассчитал, хватит, — ответил я — Недаром я весь год работал на 3-х работах.

В назначенный день Ира пришла ко мне с чемоданчиком и 10 рублями, которые тетя дала ей на всякий случай.

— Тетя обещала мне сообщить в Крым, если родители вернутся из Грузии раньше намеченного срока, — сказала мне Ира.

— Ты и мужа будущего будешь также обманывать, как сейчас обманываешь свою маму? — спросил я Иру с улыбкой.

— Тебя я еще ни разу не обманула, — ответила она серьезно. Я чувствовал, что это была правда.

— А за что ты так верна мне? — спросил я. — Ведь я почти в два раза старше тебя. Молодые парни на улице засматриваются на тебя!

— Потому, что ты мне нравишься. Ты совсем не похож на других. А с большинством этих парней мне просто не о чем разговаривать.

— Ты мне тоже очень нравишься, Ира. И удивитель-

ное дело! Я не могу найти у тебя никаких недостатков! Ты состоишь из одних только достоинств!

— Так за чем же дело? — засмеялась Ира.

— Если бы я мог сказать тебе, в чем дело!

— Я не собираюсь допытываться у тебя, если ты не хочешь сказать. Только один вопрос: дело в другой женщине или еще в чем-то?

— Я могу тебя заверить: другой женщины нет. Задолго до знакомства с тобой у меня была другая женщина, Кира. Она круто поставила вопрос о женитьбе и поэтому я порвал с ней. Живет она не в Ленинграде.

— Ну, если другой женщины нет, тогда все в порядке!

— А почему у тебя так много вещей? Палки какие-то? — вдруг спросила Ира.

— Это — рыболовные принадлежности, — придумал я объяснение.

* * *

Прилетев в Крым, мы сняли комнату в Мисхоре, который находится недалеко от Фороса, ориентировочного места моего старта и стали отдыхать, как курортники. Нам обоим было очень хорошо там и Ира смеясь называла эти дни «медовой неделей». Мы купались в море, загорали, делали прогулки в горы и обедали в ресторанах. Иногда мне в голову приходили несбыточные мечты: взять Иру с собой, на Запад. Но кроме того, что она плавала не очень хорошо, были и другие препятствия: это ее нежелание оставить родителей, и еще более важное — сомнение в том, мог ли я рисковать ее жизнью и свободой, когда надежды на успех побега были невелики?

Однажды, мы с Ирой поехали в соседнюю Алупку посмотреть знаменитый Воронцовский дворец.

Никогда я не видел ничего величественнее! Даже после 50-тилетнего хозяйничанья коммунистов, этот дворец еще не потерял своей прелести. Построенный, как средневековый замок, дворец внешне копировал очертания окрестных гор и великолепно вписывался в окружающий пейзаж. К морю вела широкая лестница со львами, а вок-

руг дворца был посажен роскошный субтропический парк, в котором по приказу Сталина, отдыхавшего когда-то там, были вырублены все вековые кипарисы. Так же, как кипарисам, не повезло и картинам, бывшим в зале дворца: они были украдены Фурцевой, о чем с негодованием нам рассказал экскурсовод. Ну, Фурцева — министр культуры при Хрущеве, ей — и карты в руки!

Теперь внутренности дворца перестроены, перегорожены и для обозрения открыты лишь несколько комнат. Заборами захамлены и подступы к дворцу и парк.

Редактируя эти строки уже за границей, когда я повидал разные страны, я могу обобщить весь свой опыт и выразить мнение о том, что курорты Крыма могли бы стать самыми лучшими в мире курортами. Нигде в мире нет сочетания таких красивых дворцов и парков, великолепного климата, уникальных по своему вкусу фруктов и теплого, почти не соленого моря, лишенного акул, как в Крыму. Ко всему этому надо добавить только сервис и тогда от туристов не будет отбоя. И еще я подумал о том, что русская монархия создала великолепную культу-РУ.

Ира внимательно слушала объяснения гида и когда он заговорил о крымских татарах, подозвала меня. Гид рассказывал о выселении татар из Крыма по указу Президиума Верховного Совета СССР. Этот указ был издан в конце войны, после изгнания немцев с Крымского полуострова, и базировался на том факте, что все татарское население в период оккупации полуострова сотрудничало с немцами. «Только один татарин не сотрудничал с немцами и поэтому только его семье было разрешено остаться жить в Крыму», — сказал нам гид и повел нас смотреть дом этого человека (сам этот особенный человек уже давно жил в Москве). Я смотрел на дом, на бронзовый бюст владельца дома, установленный около, и вспоминал слова одного офицера, которого я встретил в 1952 году на военной службе. Этот офицер принимал личное участие в переселении татар и он рассказал мне подробности: «Все крымские татары в тот день были поставлены на колени, — вспоминал офицер, — в строю

им зачитали указ Президиума Верховного Совета СССР об их переселении в отдаленные районы страны за совершенную ими измену родине. Затем всех их, в основном женщин и детей, без всякого багажа погрузили на товарный поезд и увезли в Узбекистан и другие районы».

Выражать сочувствие татарам тогда было нельзя, но мне казалось, что офицер все же сочувствовал им.

Неделя пронеслась незаметно. В последний день я купил Ире на дорогу самых лучших фруктов, каких мог найти, и повез ее в аэропорт.

— Ирочка, ты лучше никому не рассказывай об этом путешествии, — предупредил я ее с задней мыслью о КГБ.

— Хорошо, если ты так хочешь.

Мы простились у самого самолета и Ира сказала:

— Благодарю тебя за все! Позвони мне, как только вернешься в Ленинград.

Я думал, что больше не увижу ее совсем. Но я ответил:

— Конечно, позвоню, Ирочка.

Она скрылась в самолете, а я обратил все свои мысли на ожидавшие меня проблемы.

Сперва я отправился на катере в Форос. То, что я там увидел, развеяло

все мои надежды. Еще задолго до Фороса берега Крыма опустели и обезлюдели, а вместо домов и людей появилось множество пограничных вышек. О том, чтобы жить в Форосе и выжидать благоприятную погоду, нечего было и думать.

На другой день я поехал исследовать устье Дуная, которое при домашнем анализе я принял за запасное место старта. По пути из Одессы в Измаил теплоход, на котором я шел, швартовался к причалам в портах Вилково и Килия и прошел по международной водной артерии — по Дунаю. Я увидел пограничные столбы и напряженное, затаившееся безлюдье на советском берегу Дуная»и непринужденных румынских пограничников, удящих рыбу, — на другом берегу. Никаких условий для побега здесь не было. Итак, я просто посмотрел на великую европейскую реку и вернулся обратно. Так прошло лето и я ничего не нашел. Пришлось возвращаться в Ленинград и везти обратно свой плот.

Много дней я потратил на поиски работы. Всюду повторялось одно и то же: сперва, ознакомившись с моей трудовой книжкой, где были перечислены мои инженерные должности, а также со свидетельствами на техусо-вершенствования и рацпредложения, меня уверяли, что им нужен «именно такой специалист». Мне давали для заполнения анкету и просили придти через несколько дней для окончательного оформления на работу. Через несколько дней я получал сухой отказ.

Наконец, после многих напрасных скитаний по всяким заводам и вычислительным центрам, я случайно увидел наклеенную на заборе записку о том, что в Институт хлебопекарной промышленности требуется математик-программист. Этот институт оказался почти артелью, без собственного компьютера и с самыми низкими в городе окладами, зато при поступлении на работу не требовалось заполнять анкету. Оклад старшего научного сотрудника, кем я сделался там, был почти равен окладу уборщицы — 100 рублей в месяц. Для поисков работы по совместительству, я взял телефонную книгу и выписал телефоны главных экономистов сугубо не секретных предприятий, которые только и были включены в эту книгу. Я позвонил им всем и, представившись специалистом по экономической кибернетике, спросил, нет ли у них проблем, которые я мог бы помочь им решить. Швейное Объединение «клюнуло» и я проработал у них около года. Потом Иоаннович пригласил меня преподавать вместе с ним на курсах повышения квалификации инженеров. Когда я, наконец, немного устроился с деньгами, то можно было вновь продолжать думать о

главном. Однако, я так уставал на всех этих работах, что голова по вечерам совершенно не варила. Я позвонил Ире и мы снова стали встречаться. И вот в этот период произошло одно событие, имевшее для меня далеко идущие последствия. В начале февраля 1966 года я услышал по радио объявление, которое сообщало об имеющихся билетах на круиз, который должен был состояться в марте месяце. Круиз назывался «Путешествие из зимы в лето». Уже через три дня после начала путешествия туристы будут загорать и купаться в бассейнах с морской водой», — сказал диктор

и та идея, которую я еще недавно считал неосуществимой, вновь воскресла во мне и полностью овладела мной. Я вспомнил роман Джека Лондона «Мартин Идеи», пошел в библиотеку и, взяв книгу, отыскал нужное место.

«...Мартин полез в иллюминатор ногами вперед. Плечи его застряли было, и ему пришлось протискиваться, плотно прижав одну руку к телу. Внезапный толчок парохода помог ему. Он выскользнул и повис на руках. В тот миг, когда ноги его коснулись воды, он разжал руки. Белая, теплая вода подхватила его».

Глава 13. Круиз «Из зимы в лето»

Глава 13. Круиз «Из зимы в лето».

Я мечтал о таком шансе давно. Я пытался пойти работать на научно-исследовательское судно, но напрасно. Я пытался завербоваться на «сельдяной флот», хотя бы на Курилы, но мне сказали, что штурманов у них избыток и, кроме того, оказалось, что туда нужна виза. Мне о визе не приходилось и мечтать. Теперь объявление по радио предлагало мне другую возможность:

«Тихоокеанское морское пароходство организует круиз на теплоходе «Русь» под названием «Путешествие из зимы в лето», который состоится с 1 по 24 марта этого года. Туристы пройдут на комфортабельном лайнере от Владивостока мимо Японских и Филиппинских островов до экватора и обратно. Они увидят смену времен года и будут наблюдать акул, китов и дельфинов. Они увидят, какое красивое море Сулу и получат от Нептуна заверенные грамоты о пересечении экватора».

Я едва мог сдержать свое возбуждение. Наконец, мне представлялась возможность выйти на корабле в международные воды! И я буду там не матросом и не штурманом, а обыкновенным отдыхающим, что предоставит мне и свободное время и большие возможности. Я должен попытаться попасть на этот круиз!

Согласно объявлению все запросы о круизе следовало посылать в один из двух адресов: в Москву или во Владивосток. Я написал в оба адреса и послал письма заказной почтой. Догадываясь о том, что вся корреспонденция, шедшая на мой домашний адрес, проверялась КГБ,

я указал обратный адрес места моей главной работы — Института хлебопекарной промышленности. Скоро я получил ответы из обеих мест. Мне сообщали, что самая дешевая путевка на это путешествие стоила 220 рублей и визы не требовалось, так как маршрут не предусматривал заходы в иностранные порты. Я имел 220 рублей и сразу послал их в Москву. Через десять дней я получил путевку. Только тогда я узнал, что имелось дополнительное требование, которое я должен был выполнить прежде, чем ехать во Владивосток. На путевке имелась приписка: «Въезд в пограничный город Владивосток и следование по маршруту разрешаю _________». Дальше должен был заполнить сотрудник Бюро Пропусков МВД, которое тогда находилось в Большом Доме, на углу Литейного проспекта и улицы Чайковского. С замирающим сердцем я подал путевку и паспорт в окно этого Бюро. Женщина за окошком взяла мои документы, прочитала их, воскликнула: «Как интересно!» и через минуту хлопнула на путевке штамп «Разрешено».

Теперь оставалось достать деньги на самолет — 125 рублей. Сначала я и думать не хотел об обратном билете, но потом предусмотрительность все же взяла верх. 100 рублей я занял у Иоанновича, которому взамен дал доверенность на получение моей зарплаты. Остальные недостающие деньги я добыл, сдав в ломбард свое зимнее пальто, костюм и часы.

О своем предстоящем отъезде во Владивосток я никому не сказал. С Ирой я простился «всего на несколько дней». Только на работе я показал своему начальнику путевку и предложил выбор: или отпуск за свой счет, или увольнение. Там меня видимо ценили, потому что согласились дать отпуск за свой счет. Билет на самолет я купил заранее.

27 февраля 1966 года я закончил свою последнюю лекцию по программированию в 6 часов вечера и поехал на трамвае домой. Там я

взял уже упакованные чемодан и портфель и направился к выходу.

В кухне находился Хмиров. Как всегда, его очень заинтересовало куда я собрался ехать.

— Куда это вы собрались так неожиданно? — с обыч-

ным заиканием спросил он меня.

— В служебную командировку, — ответил я, стараясь придать своему голосу любезный оттенок.

Однако Хмиров все-таки что-то почуял странное и закинул удочку.

— А вернетесь обратно?

— Странный вопрос! — огрызнулся я и поскорее вышел за двери, неся в одной руке портфель, а в другой — чемодан. В чемодане была моя шерстяная рубашка, приспособленная для заплывов. В ее карманах были уложены документы, деньги, фотография моих родителей, шоколад и фонарик, завернутые в презервативы, а также часы и компас. Я вез с собой также кальку, снятую с карты Тихого океана крупного масштаба, каких не бывает в продаже. Для этого я еще раз использовал свою связь с детской игрой «Юный штурман» при получении карты в читальных залах Публичной библиотеки. Зная маршрут теплохода, а также его скорость и даты отбытия и прибытия, я сделал штурманскую прокладку его курса и узнал дни и часы, когда он должен был пройти мимо островов и когда расстояние до земли окажется минимальным.

Во Владивостоке я оказался на один день раньше срока и я использовал его глупо, наполнив свою душу бесполезной ностальгией, которая ни в коем случае не укрепила мой дух. Я ходил смотреть на тот дом, где мы с Татьяной жили 13 лет назад. Затем я побывал на причале, где раньше стоял мой корабль. Я знал, что его вернули в США, кому он и принадлежал, предварительно сломав его и налив щелочь в стволы орудий.

Перед посадкой на теплоход, я сдал свой чемодан в камеру хранения и пришел только с одним портфелем. Убедившись в том, что досмотр вещам не делался, я позднее принес и чемодан.

Каюта 3-го класса, куда я попал согласно своему дешевому билету, оказалась на 6 человек и располагалась в носу судна. Иллюминатор в каюте был маленький и непригодный для побега. Однако, спать в этой каюте пришлось недолго. Дня через три после выхода из Владивостока,

зиму сменило лето, а еще через день или два, мно-

гие туристы стали спать на верхней палубе. Матросы построили два плавательных бассейна из досок и брезента и мы начали купаться в них. Вскоре стали попадаться летающие рыбы, морские змеи, акулы и прочие обитатели южных морей, которых я никогда раньше не видел. С особым любопытством я рассматривал морских змей, которые как серые пожарные шланги неподвижно лежали на поверхности моря и по мнению «специалистов» только и ждали случая, чтобы кого-нибудь смертельно укусить. Я часами стоял у борта и наблюдал за ними. И это было большой ошибкой. Такие картины постепенно интегрировались в моем сознании и создавали впечатление непреодолимой опасности.

И на лекцию об акулах и змеях мне тоже не следовало ходить. Ничего дельного на этой лекции не сказали, методов борьбы или способов уклонения от встречи с этими животными в море по словам лектора не было никаких. В довершение показали какой-то кошмарный фильм о кровожадных и ненасытных акулах. Большей глупости, чем пойти на эту лекцию и на этот фильм, я сделать не мог.

Впервые близкий берег мы увидели, когда подошли к Филиппинским островам. Мы шли вдоль них на таком расстоянии, что в бинокль были видны отдельные здания. Вскоре, однако, судно удалилось от берега. Перед тем, как войти в море Сулу, на теплоходе был устроен праздник, посвященный Женскому Дню 8-го марта. На ужин было подано вино. Вместе с другими я тоже выпил стакан вина. Это была моя очередная ошибка.

Хотя по моей предварительной прокладке и выходило, что в море Сулу наш теплоход будет идти сравнительно недалеко от берегов острова Палаван, но я не планировал побег в этом месте. В книге «Филиппины», взятой в библиотеке, я прочитал, что на острове Палаван находится лепрозорий для прокаженных и поэтому высаживаться на него было опасно.

Больше землю мы не видели до самого экватора. На экваторе наш теплоход встал на якорь вблизи крошечного индонезийского островка Понтики-Бесар. Этот островок в диаметре не превышал одного километра, однако

имел все прелести экзотики. Всех туристов разделили на группы и поочередно, под командой одного из помощников капитана,

высаживали на берег. Я тоже в течение часа находился на острове, который оказался настоящим райским уголком, похожим на тот, что Тур Хейердал описал в своей книге. На острове был превосходный, чистый пляж из мелкого кораллового песка, кокосовые пальмы и банановая роща, за которыми начинались настоящие джунгли, в основном из мангровых деревьев. С уважением и даже с каким-то трепетом смотрел я на мангровые деревья, которые больше походили на живые существа, чем на растения. Опираясь в землю со всех сторон своими подогнутыми нижними ветвями, как локтями, эти деревья успешно противостояли тихоокеанским ураганам-тайфунам. На острове оказалась хижина на сваях, а в хижине двое индонезцев: молодой и старый. Молодой индонезец по нашей просьбе залезал на кокосовые пальмы, на стволах которых для этой цели были сделаны зарубки, и сбрасывал нам кокосовые орехи. Туристы бросались за этими орехами почти что в драку, не обращая внимания на колючий кустарник, который до крови царапал им руки и лицо.

Я думал о том, что будет, если я спрячусь в джунглях? Ответ был один: помощники капитана вместе с матросами прочешут джунгли и найдут меня. Кроме того, как раз в тот год в Индонезии произошел коммунистический мятеж, и индонезийцам было не до меня.

После обряда «крещения» на экваторе, наш теплоход отправился в обратный рейс. Где-то неподалеку от Сингапура, капитан решил еще раз встать на якорь, чтобы покрасить судно. Для этой цели он выбрал архипелаг Тамбелан, также принадлежащий Индонезии.

Вечером к борту нашего судна подошла лодка, битком набитая индонезийскими детьми, которые просили разрешения осмотреть теплоход. Капитан отказал им в этом. В знак протеста, дети заполнили свою лодку бортовой водой и видя, что она вот-вот утонет, капитан вынужден был изменить свое решение и пустить детей на борт судна. Дети переночевали на теплоходе, а утром на буксире катера их отвезли домой.

Вот, как этот инцидент тогда же описали советские газеты: «Теплоход «Русь» с туристами на борту шел во Владивосток по бурному Южно-Китайскому морю. Вдруг, капитан увидел неуправляемую лодку, влекомую ураганным ветром, полную беспомощных, плачущих детей. Советский теплоход изменил курс, спас детей, которые оказались индонезийцами, и отвез их в родные селения, где родители горячо поблагодарили спасителей».

Этот пример наглядно демонстрирует суть советской прессы, где герои — фальшивые; подвиги — вымышленные но ликование и воодушевление советских читателей по этому поводу — должны быть подлинными.

Через 2 дня теплоход снялся с якоря и снова двинулся на север. Для того, чтобы было удобнее выбрать момент для побега, я стал спать на раскладушке, на правом борту судна, обращенном в сторону Филиппинских островов. Еще в начале круиза я решил, что наилучшим временем для побега будет 2 часа ночи. К этому времени почти все туристы будут спать, а вахтенных матросов и помощников капитана на вахте будет минимальное количество. С другой стороны, до рассвета еще останется около 4 часов, за которые я мог бы уплыть от корабля так далеко, что поиски меня после наступления рассвета оказались бы очень трудными. Было очень жарко и я не стал спать в своей шерстяной рубашке, предназначенной для заплыва, а намеревался, когда придет время, быстро спуститься в каюту и там переодеться.

18-го марта был день моего рождения. Мне исполнилось 38 лет. Черт дернул меня по этому поводу вечером выпить коньяка. И как раз этой ночью представилась возможность бежать. Я проснулся оттого, что кто-то меня разбудил. Но вокруг никого не было. Я посмотрел на часы. Было 2 часа 00 минут 00 секунд!! Совпадение или...?

Я взглянул на море. Хотя берега видно не было (я знал что теплоход шел в 50 километрах от Манилы), но неподалеку от курса нашего теплохода стояло на якорях много судов. На небе сияли яркие звезды и я впервые увидел созвездие Южного Креста. Все обстоятельства были бла-

гоприятными для побега. Оставалось только сходить в каюту, надеть шерстяную рубашку и прыгнуть за борт.

Но когда я встал с раскладушки, ноги меня не слушались... Что это? Болезнь?.. Через секунду я понял: это был страх. В голове проносились ужасные картины из недавно просмотренного фильма об акулах, в темной воде чудились морские змеи. Но мой разум еще не вышел из повиновения. Разумом я понял, что каждая секунда промедления ведет к усилению страха. Поэтому я решил не ходить в каюту за рубашкой, в карманах которой были документы и продукты питания, а прыгнуть за борт так, как есть сейчас. Я нетвердо подошел к поручням и хотел занести правую ногу за поручни, но тут все мое тело охватила дрожь.

«Юра! — мысленно обратился я сам к себе. — Возьми себя в руки! Ты

должен прыгнуть за борт, ибо это — единственная реальная возможность побега! Ты будешь потом всю жизнь жалеть об этом шансе, если сейчас не прыгнешь! Такая возможность никогда больше не повторится!»

Но очень скоро я понял, что на этот раз никакие уговоры, никакие доводы мне уже не помогут. Ненавидя самого себя, я снова лег на раскладушку и долго следил за тем, как удалялись и исчезали вдали якорные огни судов, стоящих на Манильском рейде.

Глава 14. Последние приготовления

Глава 14. Последние приготовления.

Несколько месяцев прошли под впечатлением моей очередной неудачи. Лишь зимой я сумел продолжить поиски решения проблемам, казавшимся мне иногда неразрешимыми. Этому способствовало и мое, как еще никогда прежде, неустойчивое и неустроенное положение. Я знал, что обе мои дополнительные работы заканчивались весной. Где я найду новые? Искать работу по совместительству с каждым годом становилось все труднее. Советское правительство запретило руководителям предприятий принимать кого-либо на работу по совместительству, даже если это необходимо и выгодно для предприятия. Мне теперь приходилось представлять

вместо себя для фиктивного их оформления на работу каких-нибудь домохозяек или пенсионеров, за что я платил этим людям 20 проц. от моего заработка. Я очень переутомлялся от своих трех работ. У меня болело сердце и я плохо спал.

Советская действительность раздражала меня на каждом шагу. Я не мог без злости и омерзения ни читать советские газеты, полные лжи, ни слушать советское радио. Я также не мог удерживать себя от комментариев всего этого. Мои невольные антисоветские реплики люди замечали, обсуждали, а кому было надо — суммировали. Арест за «антисоветскую агитацию» был не за горами. Надо было бежать этим летом.

Напротив моего дома находился Дом Культуры Офицеров. Проходя однажды мимо этого дома, я заметил объявление: «Продаются

нереализованные путевки в военные турбазы на Черном море». Я зашел внутрь и сразу купил две путевки по 75 рублей каждая. Одна путевка была в Сочи, с 5 по 25 мая. Другая — в Сухуми, с 28 по 18 июня. Обычно, путевок в Сочи или Сухуми не то что летом, но и зимой не достать, тем более — в военную турбазу, где условия лучше, чем в гражданской. Что это было: «невыполнение плана по реализации путевок», «левые путевки» или что другое — я не знаю. До отъезда я закончил все свои три работы. Это было необходимо на будущее, чтобы не оставлять позади себя врагов.

Мои лекции на курсах кончились в апреле месяце. Программы для Швейного Объединения я внедрил в производство к 1 мая. Согласно требования Кодекса о труде, я подал заявление об увольнении ровно за две недели до ухода. За 1,5 года бережливой жизни у меня было скоплено 500 рублей. После внедрения программ в Швейном Объединении я получил еще 400 рублей и в общей сложности у меня набралось 900 рублей. Я еще никогда не имел так много денег с тех пор, как начал работать инженером, хотя нигде не работающие стиляги с Невского, — сыновья коммунистических боссов, носят кольца на своих пальцах стоимостью в 900 рублей каждое.

С этих денег я мог себе кое-что позволить. Я купил по-

дарок Ире и пригласил ее в ресторан, но ни слова не сказал о том, что мы расстаемся надолго. Ира в тот день торопилась по своим делам и вечер оказался скомканным.

Когда я садился в самолет, улетающий в Сочи, я думал, что у меня впереди так много времени и так много денег, как никогда еще не было. Я думал, что смогу спокойно и не торопясь отдохнуть, найти решение своим проблемам и у меня еще останется лишнее время.

Май в том году оказался хорошим: сухим и солнечным Я упивался воздухом, зеленью, покоем. В комнате нас было 5 человек, все кроме меня, — военные.

— Простите, можно вас спросить: вам не жалко денег на клубнику, которую вы покупаете каждый день, ведь она дорогая? — спросил меня один майор.

— А вам не жалко денег на водку, которую вы каждый день пьете? — в свою очередь спросил я. — Водка в 4 раза дороже клубники!

Своим ответом я поставил майора в тупик. Ему никогда в голову не

приходило, что водку можно равнять с какой-то там клубникой. После этого, он стал дичиться меня, также как и его приятели.

От всяких туристских походов и восхождений на гору мне удалось уклониться из-за болезни сердца и я всецело отдался прогулкам вдоль моря и раздумьям. Я знал точно, что совершу побег этим летом, но еще не знал как и на чем совершу этот побег. Это мне предстояло еще решить. Я надеялся, что отдых, море, солнце и воздух дадут новые силы моему уставшему мозгу и он что-нибудь придумает.

В первую же неделю после приезда в Сочи, я зашел в спортивный магазин и спросил нет ли у них надувных лодок.

— У нас нет, но я знаю, что лодки были в Лазаревском.

Если хотите, я позвоню туда?

— Позвоните, пожалуйста.

Переговорив с Лазаревским, продавец сообщил мне, что там осталась одна лодка, которую я смогу купить, если приеду до обеда. В тот же день я купил эту лодку, привез ее в Сочи и сдал в камеру хранения турбазы.

Теперь я имел возможность строить планы побега бо-

лее реально. Мои проблемы конкретизировались: найти на побережье Черного моря подходящее место для старта на лодке и изобрести какой-то способ крепления на моей надувной лодке паруса.

Вскоре после моего переезда в Сухумскую турбазу случай подсказал мне технику осуществления старта с берега. Там в одной со мной комнате жил полковник запаса, с которым мы незаметно сошлись. Начало нашей дружбе положила 6-ти дневная война, услышав о которой мы оба стали сочувствовать Израилю, хотя оба не были евреями. Оказалось, что и в других вопросах мы одинаково стоим на позициях справедливости. Мы стали бывать вместе на пляже и в один прекрасный день, когда полковник загорал на своем надувном матраце, я предложил покатать его на этом же матраце, привязав веревкой к своему поясу. Он согласился. Мы нашли веревку. Я привязал один ее конец к своему поясу, а другой, в виде петли, дал ему в руки. И мы поплыли. К моему удивлению, я почти не ощущал никакой тяжести, когда плыл по морю и буксировал за собой матрац с человеком на нем. Ему забава понравилась, мне — тоже. Постепенно я начал плавать часами вдоль берега, взад и вперед, таская на буксире матрац с полковником. «Также точно я могу положить на матрац мою лодку в

собранном виде и все мои вещи и отбуксировать все в нейтральные воды, — а там уже и лодку надуть», — подумал я. Развивая мысль дальше, я подумал, что мог бы все свои вещи не «положить» на матрац, а «подвесить» под матрацем, что сделало бы его менее заметным. «Один матрац, без вещей и без человека, — думал я, — во-первых, плоский, а во-вторых, синий — под цвет воды, и потому мало заметен. Сам я буду плыть в маске и трубке и создастся впечатление, что плавает пустой, бесхозный матрац. Солидный корабль или самолет, если даже и увидит его, не позарится просто на матрац».

После такого решения проблемы старта с берега, сам собой напрашивался и район старта: побережье в Коктебеле у подножья горы Кара-Даг. Всем известно, что этот район — излюбленное место отдыха туристов. Поэтому никому не покажется странным, если я приду туда с боль-

шим рюкзаком. В рюкзак я могу положить и лодку и матрац. Придя на место старта, я надую матрац, сложу на него все свои вещи и стану буксировать его вокруг Кара-Дага. Это тоже не будет очень странным, так как за Кара-Дагом находится Крымское Приморье, и я вполне мог бы направляться именно туда. На самом деле я туда не поплыву. Я остановлюсь где-нибудь посредине между Коктебелем и Крымским Приморьем, где никогда не бывает никаких туристов, просто потому, что им не доплыть туда, а пройти по берегу невозможно, и буду ждать темноты. С наступлением темноты, я переверну матрац так, чтобы мои вещи повисли под ним, и направлюсь на юг, ориентируясь по ярко красной звезде «Глаз Скорпиона». К утру я буду находиться близко к нейтральным водам, где надую лодку и пойду дальше под парусом. В любом случае там меня подхватит попутное течение и понесет к свободе, хотя расстояние до свободы будет в 20 раз больше, чем было в Батуми. Мне предстояло пересечь Черное море и проплыть при этом 350 километров. Морское течение, как я знал из лоции, было направлено вблизи Коктебеля в сторону турецких берегов и являлось частью окружности, которую описывало это течение, омывая против часовой стрелки всю восточную половину Черного моря. В западной половине Черного моря имелась другая, симметричная окружность, где течение было направлено также против часовой стрелки. В середине моря две ветви течений шли параллельно одна другой, но в противоположные стороны. Если бы я оказался в струе восточной ветви течения, то стал бы двигаться в сторону Турции со скоростью 0,5 узла. Иными словами, это течение донесло бы даже неуправляемую лодку до

турецких берегов за 15 суток, конечно, при условии, что за это время ее бы не обнаружил советский патруль.

Все получалось довольно складно. Оставался один нерешенный вопрос: как укрепить на надувной лодке мачту? Но и этот вопрос я решил, разгуливая по улицам Сухуми и заглядывая в разные мастерские. Уключины! Что может быть лучше уключин для крепления треугольной мачты? А чтобы лодка не деформировалась, поставить фиксирующую поперечную бамбуковую палку.

Все! Проблемы решены! А для мачты даже и материал был: остался от плотика.

* * *

За время своего отдыха на Черном море я вошел в форму и окреп физически. Теперь можно было переходить к последней фазе. Я купил транзитный билет в Симферополь, с остановкой в Ленинграде, на чужую фамилию.

1-го июля 1967 года я вылетел из Сухуми в Ленинград. Помню, с каким чувством я разговаривал с грузином, везшим цветы для продажи в Ленинград. Я интересовался так, как будто жил уже на другой планете. Грузин рассказал мне, что он всего вез 6 больших коробок цветов и надеялся заработать на них 600 рублей. Я высказал ему свое искреннее убеждение, что он делал хорошее дело. Не будь грузинов, привозящих в Ленинград цветы, то ни на рождение, ни на похороны, в советских государственных магазинах нельзя было бы купить ничего путного.

Мой билет в Симферополь был закомпостирован на 5 июля. За остающиеся 4 дня мне надо было переоборудовать мачту и парус для резиновой лодки и заново сделать киль и руль. Я купил хлеба и консервов и заперся в своей комнатке. Окно комнаты я завесил тюлевой занавеской, чтобы никто не увидел, что я делаю. Столик и два стула я взгромоздил на диван. Посреди комнаты образовалось свободное пространство, куда я положил лодку и надул ее. Потом достал мой старый плотик. Оказалось, что треугольная мачта, сделанная мною для плотика, годилась и для лодки. Требовались лишь небольшие переделки. Парус из палаточной ткани тоже годился. Основные усилия пришлось приложить для изготовления киля и руля. Их я сделал на своем старом месте работы. Пришлось, конечно, придумать легенду для своих бывших сослуживцев, но они, помня еще вкус тех щук, которых я привозил им с рыбалки в свое время, не очень придирались к моей

легенде. Дома я порезал ковровую дорожку и обшил ею упоры киля, чтобы металл не касался корпуса лодки и не порезал бы резину.

Испытания своей лодки под парусом я провел на небольшом озере, на станции Кавголово, близ Ленинграда.

Глава 15. Побег

Глава 15. Побег

Я собрался так, чтобы «все было готово к бою и походу», как собирался на своем корабле, когда служил на флоте. Я изготовил на лодке оба клапана и в один из них ввернул трубку насоса. Я слегка качнул в лодку воздуха, после чего отверстие на насосе и аварийный клапан на лодке заклеил пластырем. Лодку я вложил в огромный альпинистский рюкзак. В рюкзаке лодку можно было принять за одеяло, за палатку, за что угодно. Сверху, в этот же рюкзак, я уложил упакованные в презервативы и в резиновые мешочки, купленные в Военохоте, как списанное военное снаряжение, остальные вещи и пищу в дорогу. Их было очень много, остальных вещей. И все казались необходимыми. Это и бинокль, и корочки моих научных статей, и документы, и таблица флагов иностранных кораблей, а также карты, одежда, шоколад, сгущенное молоко, сливки в банках и вода в резиновых мешочках. Я не подумал о том, чтобы положить документы отдельно. А среди них была справка из домоуправления, подробно описывающая причины непригодности для жилья нашей коммунальной квартиры, и в частности, моей комнаты. Я собирался опубликовать эту справку на Западе. В случае ареста, эту справку, как и некоторые документы, следовало бы уничтожить. Но я внушил себе, что эта моя попытка — последняя, и уж если арестуют, то все равно никогда не выпустят.

Несмотря на то, что рюкзак заполнился весь и стал очень тяжелым, все вещи в него не поместились. Пришлось сделать еще два места: одно место — весла, рея, мачта и руль, и другое место — парус, надувной матрац, плавучий якорь, рубашка, маска, трубка.

Убедившись, что соседей дома нет, я вызвал такси. Согнувшись в три погибели, я дотащил свои вещи до такси, но сразу понял, что в Крыму таскать такую тяжесть я не смогу. Поэтому, приехав в аэропорт, я развязал рюкзак и незаметно вылил из мешочков всю пресную воду. Стало немного легче.

В Симферополе мне повезло: сразу подвернулось

такси. Повезло и дальше: таксист знал адреса в Коктебеле, где можно было снять комнату ненадолго, и привез меня прямо к такому дому.

— Я на пять дней, — сказал я вышедшей навстречу хозяйке. — Через пять дней приедут мои друзья и мы полезем в горы. Вот и палатка со мной! — ударил я рукой по рюкзаку.

Оставив вещи в комнате, я пошел к морю. Вроде бы с прошлого года ничего не изменилось: с наступлением темноты я увидел три известных мне пограничных прожектора. Один из них был в поселке Орджоникидзе, другой — в Коктебеле, и третий — в Крымском Приморье. «Если я буду стартовать из Ревущего грота, — подумал я, — то буду находиться на равном расстоянии от всех трех прожекторов».

Вода в море оказалась достаточно теплой и потому, посчитав все условия благоприятными, я мысленно назначил старт на 11 июля.

Ночью с 10 на 11 июля мне снился шум мотора катера. Было ли это предчувствие или на самом деле с моря доносился шум и трансформировался потом в сон, я не знаю. Утром 11 июля я позавтракал в столовой, набрал в резиновые мешочки пресной воды, и снова лег в постель. В 12 часов я опять сходил в столовую и снова лег на кровать. В 15 часов 30 минут я встал с кровати, собрал свои вещи, которые, в основном, так и оставались запакованными, и, рассчитавшись с хозяйкой, пошел к морю. На берегу моря мужчина и мальчик ловили рыбу. Я остановился около них и заговорил о рыбной ловле, чтобы создать впечатление, что мы—из одной компании. Постояв и поговорив минут пять, я вынул из упаковки матрац и надул его. Потом я перенес матрац на воду и погрузил на него остальные вещи. Раздевшись и привязав матрац веревкой к поясу, я поплыл вдоль Кара-Дага.

Отплыв от рыболова метров 300, я подплыл к уединенному месту между скал и там надел на себя шерстяную рубашку, в карманы которой были вложены некоторые документы, компас, свисток, нож и часть шоколада. Пока я завязывал шнуры на рубашке, по берегу подошел мальчик-подросток и с любопытством уставился

на меня. «Такой вот «хун-вей-бин» вполне способен донести! Их в школе этому учат!»— подумал я и, надев маску и трубку, как мог быстро поплыл дальше, вдоль берега.

Курортный сезон в Коктебеле еще только начинался и я встретил по пути всего несколько человек. Проплывая Лягушачью бухту, бухту Ливадию, Змеиную бухту, Сердоликовую бухту и бухту — Барахту, я старался держаться мористее, чтобы меньше привлекать к себе внимание тех немногих людей, что там находились.

Наконец, все доступные для туристов бухты были позади. Я поплыл вдоль цельной скалы, вертикально поднимающейся из воды. Морской путь вокруг Кара-Дага был знаком мне до мельчайших подробностей. Я знал, что вертикально спускающаяся в море скала — застывшая лава, имеет протяженностью около 3-х километров. За ней будет бухта Разбойник, в которую невозможно попасть по берегу, а дальше пойдет хотя уже и изрезанная, но все еще трудно доступная береговая черта еще на 3 километра, вплоть до Крымского Приморья. У меня не была намечена конкретная исходная точка для старта. Я знал лишь, что старт будет сделан из этого безлюдного района Кара-Дага, а там — по обстоятельствам.

Когда я доплыл до Ревущего грота, стало смеркаться. На море был штиль и грот в этот вечер свое название не оправдывал. У его жуткого входа-зева, из воды выступили небольшие камни, на которые можно было встать. Я подумал, что это было неплохим местом для старта и остановился. Камни заросли водорослями и были скользкие. Хорошо, что я оставил на ногах носки. Я вылез на камень, подтянул к себе матрац с вещами и, наклонившись к воде, сперва крепко привязал поклажу к матрацу, а потом опрокинул ее в воду.

Рюкзак не тонул. Я надавил его сверху ногой, пробуя какова его плавучесть. Оказалось, что мне его не утопить даже ногой. Значит, воздух, имевшийся в слегка надутой лодке, а также в многочисленных резиновых мешках и презервативах, создал большую положительную плавучесть. Мне ничего не оставалось, как буксировать рюкзак на виду. Чтобы он все же осел пониже в воду, я

вынул из под него матрац и выпустил из матраца воздух. Потом хотел выбросить матрац, но почему-то вместо этого швырнул его на буксирную веревку, где он и повис, опустив оба конца в воду.

Я засунул в рюкзак сумку с провизией и водой и после этого у меня осталось два места: рюкзак и тяжелый рангоут и такелаж лодки, связанный вместе и висящий под рюкзаком в глубине на веревке, как отвес. Все это было необтекаемым и очень тормозило мое плавание. Но

непотопляемость рюкзака оказалась непредвиденной и теперь уже я ничего не мог сделать. Оставить все на матраце я тоже боялся: очень высоко над водой, а, следовательно, заметно. Я выбрал меньшее из двух зол.

«Ну, пора!» — решил я, когда груз был готов для буксировки. Я снова надел маску и трубку и, соскользнув с камня, поплыл в сторону открытого моря. Оглянувшись назад, я хорошо разглядел и мой рюкзак и Ревущий грот

и подумал: «Еще светло! Меня могут увидеть!»

Я повернул обратно, снова доплыл до грота и, взобравшись на камень, стал ждать полной темноты. Прошло еще минут пятнадцать. За это время тени сгустились, ближайшие выступы скал исчезли из поля зрения. «Ну, теперь совсем пора!»

Я снова поплыл. Едва я преодолел расстояние метров 500, как на меня внезапно ударил сноп света, откуда-то сверху. «Неужели прожектор» о котором я не знал?!» Я поднял голову из воды и увидел над Кара-Дагом... полную луну! Она светила так ярко, что было полное сходство с прожектором. Раньше луну закрывала громада Кара-Дага. Я поплыл дальше.

Луна погасила многие звезды, но яркая красная звезда «Глаз Скорпиона» из созвездия Скорпиона, находившаяся у самого горизонта, точно на юге, была видна. Я поплыл прямо на нее и плыл так всю ночь.

Плыть было тяжело. Я чувствовал себя лошадью, запряженной в тяжелую и неудобную повозку. Каждый мой рывок вперед натягивал буксирную веревку и дергал привязанный к ней рюкзак, с висящим глубоко в воде противовесом. Инерция толчка скоро гасла, не в силах заметно ускорить движение неудобного груза. Я продвигался вперед с черепашьей скоростью.

Зажглись прожектора и начали прощупывать море. Прожекторов оказалось множество: в центре Коктебеля, где-то в поселке Орджоникидзе, в Крымском Приморье, где-то в районе Солнечной Долины. Были видны и более дальние щупальца прожекторов — из Феодосии. Однако, они не вызывали у меня большой тревоги. Я сообразил, что мой наполовину притопленный рюкзак нельзя увидеть с большого расстояния, а близко расположенных прожекторов и пограничных постов не было.

Опасность быть обнаруженным появилась позднее, когда к Кара-Дагу подошла группа пограничных катеров. Они приблизились к берегу, недалеко от которого все еще находился я, и стали курсировать совершенно беззвучно взад-вперед. Некоторые из них шли задним ходом и я сперва удивился этому, а потом понял, что это была уловка, хитрость. Потом катера также беззвучно

и очень медленно поплыли цепочкой вдоль Кара-Дага и мне предстояло перерезать их курс.

Луна к этому времени куда-то исчезла, прожектора тоже перестали шнырять в этих местах, передоверив охрану границы катерам. А на катерах люди и приборы слушали шумы ночи. Было так тихо, что я отчетливо слышал подаваемые шепотом команды. Вот, когда я порадовался, что на мне одеты маска и трубка! Если бы на мне не было маски, я мог бы невольно сделать громкий вдох или всплеск рукой и чуткие уши или приборы уловили бы эти звуки. Но теперь я плыл совершенно беззвучно. Я не люблю плавать с ластами и как эта нелюбовь оказалась теперь кстати! Работу ластов уж наверняка бы засекли на катерах, которые теперь находились от меня не дальше десяти метров. Мелькнула мысль: «Меня могут обнаружить по фосфоресцирующему следу!» Действительно, от каждого гребка рукой в воде оставался яркий, фосфоресцирующий след. Но особенно размышлять было некогда. Теперь остановиться или уменьшить скорость, — значит столкнуться с катером. «А не могут на катере услышать звуки, которые доносятся из моей дыхательной трубки?» — пришла новая тревожная мысль. Я стал дышать аккуратнее. В маску набралась вода. Она перекатывалась по маске и немного мешала смотреть, но снять маску и вылить воду — об этом нечего было и думать!

И я плыл и плыл, с каждым гребком дергая свою неповоротливую и неудобную упряжку и выжидая момент, когда бы я смог пересечь линию идущих один за другим катеров. И вот такой момент пришел. Я бросился между двумя катерами, которые чуть-чуть растянулись. Вот, я уже между ними, вот — катера остались сзади меня. Через некоторое время я потерял их из вида. Как я ни поворачивал голову вправо и влево, но нигде больше не видел ходовых огней катеров. И когда я уже совсем было подумал, что морское заграждение мною успешно прервано, то вдруг увидел, что катера с потушенными ходовыми огнями меняли свою позицию. Теперь катера оттягивались мористее, километров на пять от берега, снова выстраивались в цепочку и

готовились ловить ту «рыб-

ку», которая сумела проскользнуть в первый раз, когда катера были у самого берега. Это было умно. Но и я тоже кое-что умел. Зная уже их тактику, заключавшуюся в том, что они, снова включив свои ходовые огни, плыли беззвучно задним ходом (очевидно под электромоторами), я рассчитал равнодействующую и направил свой курс так, что проплыл точно посредине между двумя катерами, не очень близко от каждого из них.

«Ну, уж теперь-то с катерами покончено!» — подумал я, когда катера остались позади.

Луны уже не было, не было и ветра. Стояла черная, тихая и теплая южная ночь. Мне хотелось знать сколько теперь времени, но остановиться, чтобы взглянуть на карманные часы — значило сбить весь ритм движения. Этого делать было нельзя. Пловцу надо иметь наручные часы, карманные — не годятся. Поэтому я плыл и плыл, лишь изредка поглядывая на небо, чтобы узнать, не начало ли оно розоветь? Сбросить с себя маску я не решался: вдруг снова на пути встретятся катера. Если бы я мог предвидеть, что внешние обстоятельства будут благоприятными для меня (луна исчезла, а прожектора перестали направлять в мою сторону), то мне бы следовало оставить матрац надутым, а вещи сложить на матраце. В этом случае плыть мне было бы много легче и моя скорость была бы вероятно в два раза быстрее. Тогда бы я смог проплыть за ночь более 20 километров и с рассветом оказался бы в нейтральных водах. Теперь же об этом нечего было и мечтать. Ориентируясь по звезде Глаз Скорпиона, я иногда также смотрел в воду, когда лицо мое обращалось вниз. И сколько же я видел рыб! Собственно, я видел не самих рыб, а их фосфоресцирующий след. Несмотря на тревоги и усталость, это было интересное зрелище. Тем более было интересно, что я твердо знал: в Черном море не водится никаких рыб или животных, которые бы представляли опасность для пловца.

Под утро я начал замерзать. Как всегда, сначала стала мерзнуть спина. Я ускорил темп движения и это в какой-то степени помогло. Стали приходить мысли о том, что ни одна живая душа в мире не знает о том, где я сейчас и

что со мной. Уже в который раз и на тренировках, и во время реальных

попыток побега в Батуми и вот теперь здесь — я оставался один-на-один с Богом!

Чем бы ни кончилось мое плавание, я знал: это были великие минуты в моей жизни. Позади многие годы подготовки: физической, моральной, материальной... — и вот теперь я сдавал экзамен. На этом экзамене была не 5-ти балльная система, а только двухбалльная: «сдал» или «не сдал». Для лучшей сдачи экзамена нужно было, чтобы ночь длилась дольше, а мой усталый организм жаждал утра и солнца.

В этой борьбе эмоционального и рационального прошло порядочно времени и когда я в очередной раз поднял голову из воды, чтобы взглянуть на восток, то обнаружил, что он порозовел.

Рассвет наступил быстро. Из-за горизонта упруго, как мяч, выскочило солнце. Будучи моряком, я много раз видел восход солнца на море, но такого восхода я никогда в жизни не наблюдал. Видимо, не малую роль играла необычность моей наблюдательной позиции. Заметив и запомнив все это (у меня в рюкзаке была чистая тетрадь и я собирался записать все при первой же возможности), я оглянулся назад.

Первое, что я увидел, это то, что до берега было очень далеко, так далеко, что никакие приборы не могли бы меня обнаружить. А второе— был пограничный катер, который на полной скорости шел прямо на меня. Я быстро убрал голову под воду и замер, еле двигая руками и ногами. Когда через несколько минут я снова поднял ее, то увидел, что катер повернул в сторону Феодосии и вез усталых пограничников домой, спать.

«Проспали меня, а теперь опять — спать!» — подумал я игриво и стал размышлять над тем, что делать дальше. Появилось желание залезть в лодку. Меня охватило обманчивое чувство безопасности. Этому способствовало прекрасное летнее утро, штиль на море и мирное голубое небо, без единого облачка.

Я подтянул к себе рюкзак и снял маску и трубку. На буксирной веревке по-прежнему, как я бросил его вчера, висел матрац.

Глава 16. Снова арест

Глава 16. Снова арест.

Матрац мне очень пригодился. Без него я даже не знаю как бы стал надувать лодку. А так все получилось очень просто: сперва я надул матрац, держась за рюкзак, как за буй, потом — взобрался на него и лег. Сразу же у меня свело правую ногу. «Теперь пусть себе!» — усмехнулся я и начал массировать икру. Когда отпустило, я подтянул к себе рюкзак, развязал его, и не вытаскивая лодки, достал только насос. Насосом я поддул воздуха в лодку, нажимая его вручную, и от этого лодка высунулась из рюкзака. «Как бы рангоут не утянул на дно мой рюкзак после того, как я выну из него лодку?» — забеспокоился я.

Но все складывалось уж очень благоприятно для меня! Когда я с большими усилиями вытащил полунадутую лодку из рюкзака, то он не пошел на дно: в резиновых мешках и презервативах еще было достаточно воздуха, чтобы удержаться на поверхности.

Снова завязав рюкзак, я оставил его плавать, а сам занялся лодкой. Лежа на матраце надувать лодку трудно, да я и устал порядочно за 15 часов плавания, однако, надул. Не торопясь, я перебрался с матраца в лодку и ощутил полное блаженство. Уж что-то очень я был уверен в своей безопасности! Правда, берег был далеко: ни Коктебеля, ни Крымского Приморья видно не было. Открывалась большая перспектива: был виден крымский берег от Солнечной Долины до Феодосии. В Феодосии крошечными точками намечались многоэтажные дома. Море было тихим и пустынным. Хотя солнце недавно взошло, но его жаркие лучи уже приятно согревали мое тело. Все было так мирно и так безоблачно! Я подтянул к себе рюкзак и отвесно спускающийся в глубину рангоут и такелаж. И то и другое набрали много воды и стали очень тяжелыми. Я еле-еле перебросил их через борт в свою лодку, зачерпнув заодно и морской воды.

«Теперь надо поесть!» — подумал я. Вместо того, чтобы вставить в уключины весла и сколько сил хватит плыть на веслах от берега, я стал есть. Положительно, все вок-

руг было таким мирным, что заставляло думать, что я — на пляже в Коктебеле или на рыбалке на Розовой Даче. Я достал банку сгущенных сливок и консервный нож. Подумал: «Первый раз в жизни купил сгущенные сливки! В предыдущей жизни они были мне не по карману». Открыл банку и стал есть ложкой, с печеньем. Когда съел пол банки, то отложил в сторону и подумал: «Все-таки пора двигаться! Но как лучше: на веслах или под парусом?»

Появился очень слабый ветерок. Чтобы узнать, в какую сторону ветер гонит мою лодку, я плюнул на воду и стал наблюдать. Оказалось, что ветер гнал лодку в сторону открытого моря. Но принять окончательное решение я не успел. Вдали послышался треск мотора моторной лодки. Я оглянулся и увидел моторку, идущую в моем направлении со стороны Феодосии. Надо было что-то предпринимать. Я увидел свой матрац, воздух из которого еще не успел спустить. Быстро схватив матрац, я закрылся им, растянувшись во весь рост на дне лодки. В лодке было много воды и она сидела глубоко.

Если бы в тот момент на море был хотя бы небольшой шторм — мою лодку могли не заметить. К несчастью, никакого волнения на море не было. Я лежал на дне и молил Бога: «Господи! Да будет воля Твоя! Господи! Сделай так, чтобы меня не заметили!» В Священном Писании написано, что если с верой в Бога приказать горе сдвинуться, — она сдвинется. Но вера моя, хоть и глубокая, но не совершенная. И гора не сдвинулась: я не сделался невидимым.

Когда шум моторной лодки, пройдя через максимум, стал убывать, я услышал в противоположном направлении другой, более мощный звук, приближавшийся ко мне. Я выглянул из-под матраца и увидел, что, во-первых, моторка сделала зигзаг (след зигзага был еще виден в воде), чтобы не столкнуться с моей лодкой, а, во-вторых, прямо на меня с большой скоростью со стороны Судака шел военный корабль. Все это было необычно и неожиданно. Ведь, я выбрал этот район для побега именно потому, что здесь находился торпедный полигон и потому весь район был запретным для плавания всех судов.

И, вдруг, в этот день оказалось такое движение!

Я снова нырнул под матрац. Через несколько мгновений я услышал шум подошедшего ко мне корабля, а потом, голоса:

— Какая хорошая лодочка!

Посмотрите! Там, кажется, кто-то есть! Я скинул с себя матрац и сел в лодке. Передо мной стоял военный корабль, по величине и форме немного похожий на американский тральщик «АМ», какие СССР получал по ленд-лизу. На мостике я увидел мичмана и капитана 3 ранга.

— Что вы делаете в лодке?

— Плыву,— ответил я.

— Куда?

— Куда-нибудь подальше: в Турцию или Румынию, — машинально ответил я.

— Переходите к нам на борт! — скомандовал офицер.

Я сделал несколько гребков руками и подвел лодку к низкой корме торпед о лова (теперь я догадался, что это был торпед о лов с торпедного полигона). Однако, когда я хотел перейти на борт, меня удержала буксирная веревка, которую я все еще не отвязал от себя. Я достал из кармана моей шерстяной рубашки ножик и перерезал веревку. Затем вступил на борт. Матросы втащили туда же лодку. Корабль резко развернулся и пошел к берегу. Я впервые посмотрел на свои часы. Было 7 часов 18 минут утра 12-го июля 1967 года.

— У вас есть какой-нибудь документ? — подошел ко мне капитан 3-го ранга.

Я снова полез в карман и достал оттуда военный билет. Я разорвал и выбросил в море презерватив, в который он был завернут и подал билет офицеру.

— На каком расстоянии от берега я находился? — спросил я его.

— 5,5 миль, — ответил офицер, взял мой военный билет и куда-то ушел. (Потом я узнал, что он делал запись в вахтенный журнал, что явилось основанием для получения за мою «поимку» премии в 600 рублей).

В первые минуты я хотел выбросить за борт что-нибудь из моих вещей, но это не имело смысла: все пакеты

были в резиновых мешках, имели внутри воздух и были непотопляемы. А на то, чтобы сперва найти компрометирующие документы, а потом разорвать резину, в которую они были завернуты, я не имел времени. Сзади меня, наполовину скрытый в люке, стоял матрос и наблюдал за мной. Пришлось эту идею отставить.

Потом мне пришла мысль прыгнуть за борт. «Ну, и что будет? — тотчас возник вопрос. — Корабль развернется и выловит меня. А если прыгнуть так, чтобы попасть под винты?..»

Но к этому надо быть готовым заранее. Я готов не был. Один из героев Достоевского сказал, что лучше жить «на краю пропасти, на узком и маленьком мыске, в полной темноте, и так всю жизнь... чем смерть».

Дальнейшие десять лет моей жизни напоминали именной такой мысок.

* * *

Я стал бесцельно смотреть на море. У горизонта шли какие-то корабли, похожие на маленькие авианосцы. «Какая-то чертовщина сегодня! — подумал я. — Ничего себе: запретный для плавания район!» Ровно в 7 часов 30 минут наш быстроходный корабль подошел к причалу санатория Крымское Приморье. Оставив мичмана сторожить меня, офицер быстро пошел в санаторий — звонить пограничникам. Видимо услышав его телефонный разговор, к причалу подошел директор санатория и удивленно уставился на меня.

Очень скоро приехал грузовик с пограничниками. Офицер предложил им расписаться в вахтенном журнале (не пропадать же 600-стам рублям! Сколько водки можно выпить на эти деньги!) и солдаты забросили в кузов мою лодку и другие вещи. Меня посадили в кузов на скамейку между двумя офицерами. Когда машина тронулась, я в последний раз подумал: «не спрыгнуть ли?» и в последний раз отказался от этой мысли. За все последующие годы пыток, голода, оскорблений и истязаний, я ни разу всерьез не задумался о самоубийстве.

— Где находится ваша погранзастава? — спросил я у

офицеров.

— Будто и не знаете? — ехидно ответил один из них.

А я действительно не знал. Раньше она была на берегу моря, по дороге на Кара-Даг, а потом ее куда-то перевели. Оказалась застава чуть ли не в самом центре поселка, только не в ряду других домов, а в глубине между домами и потому совсем незаметна. На заставе меня прежде всего обыскали, велели снять даже плавки.

Тут же вертелся милиционер. Когда обыск закончился и я сел на табуретку, милиционер решил высказать то, что его очевидно волновало:

— В Турцию захотел! Ишь-ты! Предать свою родину! Как же ты жил бы без родины? Разве можно жить без родины?

— Очень даже можно! — ответил я, — Если бы было нельзя, тогда бы не было таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Австралия и Канада.

Милиционер был поражен моим ответом. Он долго думал, что бы

возразить мне, — это было видно по его лицу. Но ничего не придумал и только зло сплюнул на землю. Плюнул точно так, как плевались персонажи Гоголя при встрече с нечистой силой.

Потом меня допрашивали два КГБ-шника из Феодосии. Первое, о чем они спросили меня, было:

— Почему на торпедном полигоне все вас знают? Как только офицер задержавшего вас корабля назвал вашу фамилию, так многие сказали, что эта фамилия им знакома?

Я объяснил, что работал там.

— Сейчас будут проверять ваши вещи, — перешли они на другое. — Заявите заранее, если у вас в вещах есть что-нибудь незаконное.

— Нет у меня ничего незаконного, — возразил я. — Я взял только минимум предметов, необходимых в плавании. Все остальное оставил в своей комнате вам, заберите! Я готов на еще большее: я согласен оставить вам даже ту одежду, что надета на мне, а уехать от вас совершенно голым! Тело-то, надеюсь, принадлежит мне? Могу я распоряжаться своим телом по своему усмотрению или и мое тело тоже принадлежит вам? Ведь, крепостное

право отменено еще в 1861 году!

— Напишите все, что вы сказали, в объяснении, — приказал КГБ-шник, подвигая мне лист бумаги.

Вот, что я написал одним духом, скрыв только дату и технические приемы моего побега. Эту утайку я сделал пока что машинально. Я еще не совсем пришел в себя от неожиданного ареста и мне несомненно помогало Провидение.

В Крымское УКГБ

от Ветохина Юрия Александровича

Объяснение

Сегодня, 12 июля 1967 года, я предпринял попытку побега в Турцию. Причиной этого является преследование церкви в СССР. Настоящим заявляю, что я никогда не боролся против правительства СССР, а мое желание эмигрировать согласуется с правом любого человека, записанном в Декларации Прав Человека, под которым имеется подпись и представителя правительства СССР.

Прошу компетентные органы после окончания следствия, когда будет доказано, что я не являюсь ничьим шпионом, разрешить мне эмигрировать из СССР хотя бы голым!

Подпись.

— О! Да вы, оказывается, важная птица! — воскликнул КГБ-шник, прочитав мое объяснение. — Сейчас мы вас отправим в Симферополь.

Однако в Симферополь меня отправили не сразу. Сперва развернули все мои вещи и сделали им полную опись. Затем меня попросили показать место на Кара-Даге, откуда я стартовал.

В сопровождении обоих КГБ-шников, пограничного офицера и двух автоматчиков я снова шел к берегу моря по шумной главной улице Коктебеля. Нас обгоняли и шли навстречу возбужденные, веселые курортники и никому из них не было дела до того, какое огромное горе обрушилось на меня. Ни на улице, ни после — на берегу, когда солдаты заливали в мотор катера бензин, слитый на ночь, а я ждал около, никто из проходивших даже не задержал на мне своего взгляда.

Наконец, катер спустили на воду и мне велели садиться. Наш до зубов вооруженный катер медленно двинулся

вдоль берега, направляясь к Кара-Дагу. Я смотрел на знакомые бухты и заново переживал все перипетии вчерашнего дня. Вместе с тем ко мне возвращалось хладнокровие и желание бороться, хотя шансов на победу не было никаких. В голове моей быстро сложилась легенда, скрывающая истинную дату и технические приемы побега.

— Так откуда вы выплыли? — спросил у меня один из офицеров.

— Из бухты Змеиной, — ответил я.

— А как добрались до бухты Змеиной?

— Пешком, я шел по тропинке.

— А лодку как?

— Лодку нес в рюкзаке.

Моторист, по знаку офицера, увеличил скорость. Когда на берегу оказывались люди, офицер приказывал остановиться и спрашивал их:

— Вы не видели вчера вечером человека с красно-синим матрацем или с надувной лодкой?

Все отвечали отрицательно. В СССР всем известно, что заявлять себя свидетелем опасно. Неровен час — со свидетелей да в обвиняемые попадешь!

Когда мы приблизились к бухте Змеиной, я показал на нее. Катер подошел ближе, офицеры осмотрели берег, посмотрели друг на друга и приказали мотористу идти дальше.

В Сердоликовой бухте и в бухте-Барахте стояли палатки и в них жила какая-то молодежь. Точнее сказать не «какая-то», а — особая молодежь, ибо обыкновенным людям ночевать в бухтах Кара-Дага категорически запрещено, что даже в моем обвинительном заключении впоследствии было записано. Не сделав этой особой молодежи никакого замечания за ночлег в запрещенном месте, офицеры только повторили свой вопрос: «Не видели ли?» и снова получили отрицательный ответ.

Когда катер прошел мимо всех бухт и на полной скорости приблизился к Ревущему гроту, один из КГБ-шников высказал догадку:

— А может быть, вы стартовали отсюда?

— Я уже ответил вам: из бухты Змеиной, — спокойно

возразил я.

Катер прошел еще между Золотыми Воротами Кара-Дага, заглянул и в бухту Разбойник, а потом моторист развернул его на обратный курс и на полной скорости помчался в Коктебель.

В Коктебеле меня пересадили в «Победу», два автоматчика по бокам, и повезли в Симферополь.

Часть 3. ЧИСЛИТСЯ ЗА КГБ

Глава 17. Крымское Управление КГБ

Глава 17. Крымское Управление КГБ.

Я проснулся с тяжелой головой. Мои вчерашние мысли мои вчерашние заботы еще не ушли. Я невольно подумал о том, где бы я сейчас находился, если бы не случилось несчастья. Я вспомнил, что вчера

ветер был попутный, хоть и слабый. Если поставить парус «бабочкой» при таком ветре, то худо-бедно 2,5-3 км/час я бы имел. Следовательно, за сутки я бы прошел около 70 километров. Теперь бы до турецких берегов оставалось около 280 километров. Чем дальше от Крымского берега, тем ветер свежее, а потому и скорость хода больше. А если бы направление ветра изменилось, я бы перешел на весла...

И вдруг вместо безбрежного моря я как-то сразу увидел реальность: маленькую тюремную камеру, деревянное ложе без матраца и без одеяла, металлическую дверь, окно-щель где-то у самого потолка, парашу... Меня охватило ужасное, безысходное чувство. Наверно тоже самое почувствовала бы птица, если на лету ее схватили и заковали. Она мысленно все еще летит. Она не может и не умеет понять, что все кончено. Однако, это так. Никогда больше эта птица не полетит, не сможет даже крылом пошевелить.

Утром меня повели на допрос. В комнате столы стояли буквой Т. За главным столом сидел обставленный различными средствами связи и сигнализации пожилой человек с неинтеллигентным, злобным лицом. Он походил на Мефистофеля, чей скульптурный портрет я видел в Казанском соборе, превращенном коммунистами в атеистический музей. У Мефистофеля были погоны подполковника КГБ. Сбоку сидели еще два человека в штатском: молодой и старый. Мне велели сесть на стул в уг-

лу. И стул и столик перед ним были прикреплены к полу.

Мефистофель начал допрос по форме: фамилия, имя, отчество, адрес, родители, братья, сестры, семья? Затем спросил, зачем я находился в 10 километрах от берега, в надувной лодке?

Я повторил то, что написал накануне в объяснении.

— Значит вы веруете в Бога?— спросил меня Мефистофель.

— Да, верую.

— Почему же ваш Бог не помог вам? Ведь, вы наверное молились перед побегом?— скверная улыбка искривила его губы.

— Вы слишком примитивно понимаете веру в Бога,— ответил я. — Бог далек от вашего принципа: «Ты — мне, я— тебе!»

— Ну, мы еще выясним, действительно ли вы так веруете в вашего Бога. А сейчас скажите мне другое: вы признаете себя виновным в

намерении бежать из Советского Союза, то есть в преступлении, оговоренном статьей 75 Уголовного Кодекса Украинской ССР?

— Это не преступление. Всеобщая Декларация Прав Человека, под которой стоит также подпись Советского правительства, заявляет: «Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну».

— А где вы могли читать Декларацию?— искренне удивился Мефистофель.

— Вы правы. В советских библиотеках она изъята, но я тем не менее читал.

— Если вы знаете Декларацию, почему тогда вы решили бежать из Советского Союза, а не обратились за официальным разрешением и не уехали по-хорошему?

— Потому что тех, кто обращается с подобными просьбами, вы прячете в сумасшедшие дома.

— Откуда вы это знаете?

— Знаю. Слухом земля полнится. И эфир— тоже...

— А-а-а! Эфир! Тогда понятно, кто вас подстрекал! Скажите, а зачем вам был нужен телефон Американского посольства в Москве, который мы обнаружили на вашей самодельной карте ветров и течений Черного моря?

— Телефон мне был нужен для того, чтобы попросить у них экземпляр расследования по делу об убийстве Президента Кеннеди. «Голос Америки» и дал этот телефон своим слушателям с целью распространения следственных материалов.

— Не для чего больше? Только для этого?

— Да, только для этого.

— И вы звонили в Американское посольство?

— Нет. Вы сами знаете, что нет. Ведь каждый звонок туда КГБ наверняка записывает на пленку. Наведите справки и убедитесь в том, что я не звонил.

— Хорошо. Кстати, о справках. Мы нашли в ваших вещах справку из домоуправления о том, что вы жили в кухне. Зачем вы взяли с собой эту

справку? Чтобы показать ее на Западе? Проще было купить себе кооперативную квартиру, чем таскать в кармане подобную справку и злобствовать по этому поводу!

— На какие деньги? Вы разве не знаете, что однокомнатная квартира стоит более 4000 рублей, а инженер зарабатывает в месяц всего 90 рублей!

— А как другие покупают?— наивным тоном спросил Мефистофель.

— На зарплату никто квартир не покупает, также как дачу или машину! Кто в СССР живет на зарплату, тот находится на грани нищеты и ему не до покупок квартир!

— А на что покупают? — допытывался Мефистофель.

— На ворованные деньги покупают, на деньги, полученные от взяточничества, спекуляции, коррупции!

— Интересно,— загадочно произнес чекист и обратился к пожилому человеку в штатском:

— Пятьдесят шестая?

— Конечно, пятьдесят шестая!— ответил тот.

— А зачем вы взяли с собой в Турцию все свои документы? — снова обратился ко мне Лысов.

— Для того, чтобы турки могли идентифицировать мою личность и не приняли бы меня за советского шпиона.

— Разведчика!— мягко поправил меня молодой человек.— Шпионы — это те, кто работает против Советского

Союза, а кто работает в его пользу — те называются разведчиками.

Я ничего не ответил и подполковник продолжал:

— А что вы думаете о бегстве Светланы Аллилуевой?

— Правильно сделала.

— Вот как? А почему?

— Думаю, что не стоит больше об этом говорить.

— Ну, хорошо, продолжим о вас. Вы написали в своем объяснении, что в СССР притесняется церковь. Но я знаю здесь, в Симферополе, одного

профессора. Он ходит молиться в церковь. Ну и пусть себе ходит! Никто его не притесняет! Объясните нам, в чем вы видите притеснение церкви?

— Я ничего не знаю о вашем профессоре, но зато знаю что большинство церквей по всей стране вами разрушено, разорено или они закрыты. А в немногих оставшихся церквах направляемые вами, КГБ-шниками, хулиганы мешают проведению богослужений. И купить Библию или Новый Завет, чтобы читать их дома, тоже невозможно—они не продаются ни в одном магазине!

— Ишь! Чего захотел! — вскинулся пожилой человек в штатском, с которым недавно советовался Мефистофель

— Да! Захотел! Вашей, коммунистической литературы в каждой лавке горы! А в Конституции вы сами записали: свобода совести. Значит и религиозная литература тоже должна быть в продаже!

— И чему только вас учили в школе, в военном училище! — снова заговорил Мефистофель. — Как это могло случиться, что вы жили в нашей стране, учились в советских учебных заведениях, а имеете не наши — враждебные взгляды?

— А это объясняется тем, что я — не крепостной по своему существу. Вы-то нас всех за крепостных считаете и думаете, что мы смирились с этим!

— Ну и чего же вы хотите?

— Прав человеческих хочу! Крепостное право-то в России отменено еще в 1861 году! Но я с вами не боролся, не пытался свергнуть вас, я просто бежал от вас и при этом ничего не взял с собой из своих вещей. Все вам оставил. Забирайте! Я взял только свое **ТЕЛО! ТЕЛО!** Оно-то по

крайней мере принадлежит мне или тоже — вам?

— Пятьдесят шестая! Явно пятьдесят шестая! — опять повторил Мефистофель. Человек в штатском кивнул.

— Вот посидите лет 15 в лагере, да поработаете на лесоповале, так дурь из головы вылетит! — пригрозил мне Мефистофель.

— Посижу, конечно! А когда выйду оттуда, — книгу напишу обо всем что увижу там. Весь мир ее прочитает!

— А как она будет называться, ваша книга, вы уже придумали?

— Сергей Хлебов.

— Почему такое название?

— Потому что Сергей — синоним всего русского, как Сергей Есенин. А Хлебов — происходит от самого главного, от хлеба. Главное — это мы, которых вы сажаете по тюрьмам, а не вы, которые сажают.

— Сукин сын! — вдруг заорал подполковник так громко, что оба человека в штатском внимательно посмотрели на него. — Гнилая душонка! Перерожденец! Я вам покажу книгу! Я вам всю жизнь покарябую! Я вас... в сумасшедший дом посажу! Я вас... сгною в сумасшедшем доме!

Дальше подполковник кричать не мог. Он задыхался. По его топорному лицу пошли красные пятна и обильно полился пот. У него было явное желание наброситься на меня и избить. Я видел это по его глазам и ожидал. Однако, что-то помешало ему исполнить это намерение. Я постепенно понял это и вновь расслабил свое тело. Молодой человек в штатском во время всей этой сцены оставался невозмутимым и пока старый чекист приходил в себя после злобной истерики, взял на себя продолжение допроса.

— Скажите мне, что такое НТС?

— Научно-техническое общество?— сделал я предположение.

— Нет! — отрезал чекист и продолжал:

— Назовите мне ваших друзей в Ленинграде, а также и в других местах, если они живут не в Ленинграде?

— У меня нет друзей, — ответил я, не желая, чтобы че-

кисты допрашивали кого-нибудь из моих знакомых.

— Ну, а родственники у вас есть, хотя бы дальние?

— Никого нет, — отрезал я.

— Мы это узнаем! — вмешался отдышавшийся и немного успокоившийся Мефистофель. — Для нас это важно. Нас меньше интересуют детали вашего побега. Главный вопрос, который нас интересует больше всего, это: «заблудший» вы или — «убежденный»? Вот этим и будет заниматься в ближайшие дни следователь КГБ по особо важным делам, лейтенант Коваль, — он кивнул на молодого человека в штатском. Затем подполковник перевел дыхание и добавил:

— Пока вы будете находиться в КПЗ при нашем УКГБ Присутствующий здесь заместитель прокурора Крымской области по КГБ, советник юстиции Некрасов, — он указал на пожилого человека, — санкционировал ваш арест, как подозреваемого в преступлении, предусмотренном статьями 17 и 75 УК УССР.

— Ухожу на пенсию, — вдруг как-то по будничному вставил прокурор Некрасов. — Ваше дело будет последним.

Глава 18. Мне инкриминирована 75 статья уголовного Кодекса

Глава 18. Мне инкриминирована 75 статья уголовного Кодекса.

Первое время меня содержали в подвальной камере в здании КГБ. Каждое утро, в 8 часов, надзиратель открывал дверь моей камеры и вел меня на 3 этаж, в кабинет следователя, лейтенанта Коваля. В кабинете он приказывал мне сесть за маленький столик, расположенный в углу. Здесь тоже и стол и стул были прикреплены к полу. Затем надзиратель выходил за дверь, а Коваль начинал задавать мне вопросы и записывать мои ответы себе в протокол. На допросах почти всегда присутствовал прокурор Некрасов — серая, невзрачная личность, всегда в штатском костюме.

С самого начала я решил давать все показания о побеге заведомо неправильные, особенно когда вопросы касались технических приемов, а также места, времени и способа совершения преступления. Я знал, что без этих глав-

ных моментов суд не имеет права вынести мне обвинительное заключение. А технические приемы я держал в секрете, чтобы воспользоваться ими еще раз, если будет такая возможность. В мой план входило дать следователю заведомо неправильные показания, а во время судебного слушания доказать, что сведения, которыми располагает суд, неверны. На этом основании обвинение в совершении преступления должно было быть признано несостоятельным, а я — освобожден из-за недостатка улик. Наметив такую тактику, я рассказал следователю легенду: «...будто я прилетел в Крым 11-го июля и сразу, нигде не останавливаясь, пошел в бухту Змеиную. Там я будто

переночевал, а утром на своей лодке вышел в море. В море со мной случился сердечный приступ. Поэтому военный корабль и обнаружил меня, лежащим на дне лодки».

Следователь Коваль тотчас стал наводить справки и ни одно из положений моей легенды не подтвердилось. Во-первых, КГБ запросило в Аэрофлоте списки ленинградских пассажиров за 11 июля. Естественно, моей фамилии там не оказалось. Во-вторых, КГБ опросило всех таксистов, работающих на участке Симферополь-Планерское и показало им мою фотокарточку. Никто из них не признал меня. Это было уже странно, так как я все-таки ехал на такси, хотя не 11-го, а 5-го июля. Относительно моего ночлега в бухте Змеиной тоже никаких подтверждений получено не было. Кто-то из туристов все же сказал чекистам, что он видел в тот день плывущего человека, который буксировал красно-синий матрац с рюкзаком на нем. Очевидно, это был я. Но я категорически отказался, повторив, что шел пешком. Следователь не стал настаивать на своем подозрении. Он или не знал о том, что я — хороший пловец, или не верил этому, потому что у меня не было никакого официального спортивного разряда по плаванию. Если бы следователь был более опытный и более настойчивый в проверке своих гипотез, он мог бы подвергнуть меня медицинскому осмотру и тогда он увидел бы длинные кровавые полосы на моем бедре, оставшиеся от буксирной веревки, которая

терла его во время моего заплыва. Но Коваль не сделал этого. Он вообще вел допрос неторопливо и бесстрастно. Коваль не атаковал меня злобно, как это делал Мефистофель, а внимательно слушал и записывал все мои ответы. Через три дня он сказал мне, что прокурор Некрасов решил принять для меня меру пресечения — заключение в тюрьму, или как он назвал ее на своем жаргоне — «следственный изолятор». В тот же день меня перевезли в тюрьму, где закрыли в подвальную одиночную камеру. Камера была сырая и холодная, хотя температура воздуха на улице достигала 30 градусов. Стены камеры были мокрые. Окна не было, а щель для воздуха находилась очень высоко и была покрыта железным листом. Мне не дали ни матраца, ни одеяла. Когда пришла ночь, холод не дал мне уснуть. Я вынужден был встать и всю ночь согреваться физическими упражнениями. А утром меня снова повели на допрос. Очевидно, все это входило в их методику, целью которой было сломить сопротивление заключенного.

Допросы продолжались каждый день, кроме воскресений. Меня возили из тюрьмы в здание КГБ на специальной машине. Окон в машине не

было и я, проезжая по летнему, праздничному Симферополю, никогда его не видел. Допрос шел до 6 вечера с перерывом на обед. Скоро я убедился в том, что детали преступления интересовали КГБ-шников только в последнюю очередь, как мне и сказал раньше подполковник, которого Коваль назвал начальником следственного отдела УКГБ Лысовым. В первую очередь они хотели знать: «заблудший» я или же — «убежденный»? Соответствующие были и вопросы. Однажды, обычно молчаливый прокурор Некрасов спросил меня:

— Вот вы хотели на надувной лодке переплыть Черное море... а как вы не боялись морских животных... акул наконец... которые водятся вдали от берегов?

— Самые опасные акулы водятся не вдали от берегов, а — на самом берегу, — ответил я и Некрасов не стал уточнять адреса, отлично поняв, кого я имел в виду.

Иногда, когда Некрасов выходил из кабинета, Коваль показывал мне, что он был не настолько увлечен своей

работой, чтобы забыть собственные дела. Бывало, во время наивысшего напряжения в допросах, он вдруг снимал телефонную трубку и начинал говорить о вещах, никак не связанных с допросом: о двух билетах на автобус, идущих в выходной день на пляж, о домашнем задании в сети партийного просвещения и т.п. Бывало, он и со мной разговаривал на посторонние темы. Однажды он рассказал мне о своей матери, которая была верующей. Он сам, конечно, был неверующим, но снисходительно прощал матери ее «заблуждения» и даже «с удовольствием» ел кулич и пасху, когда мать готовила их к празднику. В другой раз он проболтался мне, что к ним, в КГБ регулярно приходит гипнотизер и учит применять гипноз во время допросов. Как оказалось из его рассказов, Коваль не имел специального юридического образования. Он только еще учился заочно на юридическом факультете Киевского университета, как я когда-то учился на юридическом факультете Ленинградского университета.

Так что вероятно мы имели одинаковый уровень знаний в юриспруденции. Коваль был ярким представителем нового поколения чекистов. В то время, как подполковник Лысов, начальник следственного отдела УКГБ, был злодеем без всякого камуфляжа, Коваль имел вид вполне порядочного интеллигентного человека. У него и привычки были, как у интеллигентного человека. Он не кричал на

меня, был вежлив и на словах — доброжелателен. Но в сущности, Коваль мало отличался от чекистов старшего поколения. Также как они, он не интересовался правдой и справедливостью, а руководствовался только указаниями своих старших начальников: любыми способами запрятать за решетку этого вредного человека, критикующего коммунистический режим.

Глава 19. Переквалификация статьи на 56-ю

Глава 19. Переквалификация статьи на 56-ю.

Десять дней меня содержали в подвальной камере. На одиннадцатый день я был переведен на второй этаж, где была койка, матрац, подушка и одеяло. Вместо пружин на койке были приварены металлические полосы, которые врезались в тело через тощий, ватный матрац. Пос-

тельного белья не было совсем, а одеяло липло к рукам от грязи. Однако, в высокое зарешеченное и закрытое «баяном» окно чуть-чуть пробивался свет и был сосед, которого звали Виктором Наволоковым. Он представился мне бывшим геологом, опустившимся и, в конце концов, попавшимся в Джанкое за продажу краденых вещей. Будто, сперва он сидел в Херсонской тюрьме, а теперь зачем-то переведен в Симферопольскую. Мне было все равно, кто он. Меня распирало от желания с кем-нибудь поговорить, кому-нибудь рассказать о своих мыслях и чувствах. Наволоков меня не перебивал, слушал внимательно и никогда ни о чем не спрашивал. Только однажды, когда я сказал ему, что у меня в кармане был презерватив кое с чем, но во время плавания я его потерял, то Наволоков вдруг вскочил с койки и спросил:

— А что было в презервативе?

Этот интерес показался мне очень странным и я не ответил, хотя в презервативе был всего-навсего мой паспорт. Позднее я узнал, что водолазы искали в море мою пропажу, но, конечно, ничего не нашли.

Однажды прокурор Некрасов спросил меня, верю ли я в то, что пишут советские газеты?

— Они в большинстве случаев лгут или призывают делать зло, —

ответил я.

— Вы все у нас видите только в черном свете! Я слушал и не вмешивался, когда на вопрос следователя о том почему вы так часто меняли место работы, вы обвинили в этом других, но только не себя. А теперь опять тоже самое: «Правду ему в газетах не сообщают!»

— Пятьдесят шестая! Явно пятьдесят шестая! — повернулся он к Ковалю. Тот кивнул.

Вечером, в присутствии Лысова, мне переквалифицировали обвинение на статьи 17 и 56 УК УССР. Потом дали прочитать уголовный кодекс.

«Статья 17, — прочитал я, — означает «попытку» и наказывается так же, как и за совершенное преступление».

«Статья 56 — измена родине. Это преступление наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет или расстрелом».

Старая моя статья, до переквалификации, имела преде-

лы от 1 до 3 лет. Я был поражен. КГБ-шники смотрели на меня и наслаждались тем впечатлением, которое произвело на меня чтение уголовного кодекса. Придя в себя от изумления, я заговорил:

— Здесь написано «измена родине», но я — не дипломат и не военный и вообще на государственной службе не находился. Поэтому формулировка ко мне не подходит.

— Вы хотели бежать за границу, в Турцию, а Турция входит в НАТО и является потенциальным противником СССР. Вы хотели перейти на сторону врага и если бы вам это удалось, то стали бы клеветать на Советский Союз по радио и на разных там пресс-конференциях, — ответил Лысов.

— Это все предположения, а не факты. Я не собирался выступать по радио или на пресс-конференциях. Что касается того, что Турция — противник, так это тоже неправильно: СССР и Турция не находятся в состоянии войны!

— Как же не измена? — вступил в разговор прокурор Некрасов. — Государство вас бесплатно выучило, дало вам высшее образование, а вы решили убежать!

— С тех африканцев и азиатов, которых вы бесплатно учите в университете имени Патриса Лумумбы, вы тоже требуете пожизненной

верности вам?

— Они — другое дело. Университет Патриса Лумумбы — наша братская помощь отсталым народам, — вяло возразил Некрасов.

— А за мое образование родители заплатили жизнью. Или этого еще вам мало?

— Вы бросили родину, вы бросили свой партбилет! Разве это не измена?

— Родина и КПСС — совсем не одно и то же! Родина была, когда КПСС еще и не существовала!

— Много вреда вы бы сделали нам! Ох, много! — злобно-задумчиво произнес Лысов. — Мы вовремя вас обезвредили. Никогда больше не представится вам возможность бежать за границу. Никогда вы не выступите там на пресс-конференции!

— И кроме того, вам никто не дал права толковать законы! — подъитожил Некрасов.

«Ну, хорошо! Завтра же я переверну все свои показания!» — подумал я.

Вечером, придя в камеру, я все рассказал Наволокову и добавил:

— Завтра я сделаю заявление о том, что я сам себя оклеветал. Я скажу, что на самом деле не собирался бежать за границу, а только хотел «обратить внимание властей» на свое бедственное положение с жильем. Делают же подобные выходки за рубежом, например, в США: сидячие забастовки, демонстрации протеста, вигвамы и палатки — в городских скверах! Они — обращают внимание властей и кремлевские заправилы их всегда поддерживают. Вот и я скажу, что от них научился.

Глава 20. Есенин в Херсонской тюрьме

Глава 20. Есенин в Херсонской тюрьме.

На следующий день я официально отказался от своих прежних показаний. Я выдвинул новую версию, согласно которой я вышел в море с целью «обратить внимание властей на свои неудовлетворительные жилищные условия».

Чекисты не поверили моей новой версии, но и для подтверждения старой тоже не имели достаточных улик. Собирать улики в Ленинграде поехал следователь Коваль А меня тем временем направили сперва на «пятиминутку» в Симферопольскую психбольницу, а затем — на медико-психиатрическую экспертизу — в научно-исследовательский институт в городе Харькове. Повод для подозрения меня в сумасшествии содержался в партийной директиве, которую Лысов сформулировал мне так: «Из коммунистического рая в капиталистический ад бегут одни только сумасшедшие!» А Коваль добавил: «Заодно на экспертизе проверят ту часть вашей легенды, где вы рассказывали о сердечном приступе, который якобы случился с вами в море».

Пассажирский поезд идет от Симферополя до Харькова меньше суток. Меня везли туда по этапу около двух недель, а потом еще два месяца содержали в камерах Харьковской тюрьмы с окнами, которые были закрыты «баянами».

Камеры были переполнены заключенными, мест на нарах не хватало и приходилось спать на цементном полу. Кто-то из тюремного начальства, видимо, читал рассказ Чехова о сумасшедшем доме — «Палата №6», и специальной камере, предназначенной для сумасшедших преступников, присвоил такой же номер. Без всякого к тому повода, руководствуясь лишь приказом КГБ, меня тоже перевели в эту камеру. В конце октября меня неожиданно снова вызвали на этап и перевезли в Херсонскую тюрьму.

В Херсонской тюрьме маленьких камер не оказалось и меня направили в общую камеру. Едва только с матрацем в одной руке и с наволочкой, в которой лежали мои вещи — в другой, я переступил порог огромной камеры, где на двухъярусных койках сидело и лежало много зеков, ко мне подошел высокий черный грузин: Какая статья?

— 56-я.

— За что?

— Побег за границу.

— Где бежал?

Бежал на надувной лодке через Черное море. Грузин посмотрел на меня с уважением и представился. Меня зовут Черный Царь. Я здесь — главный. Я скажу — тебя никто не обидит. А ты не обращай ни на кого внимания. Понял? Понял.

— А теперь, пошли!

Я шел за Черным Царем и рассматривал камеру. Раньше меня содержали только в маленьких камерах, где было только 3 или 4 спальных места, и такую большую камеру я видел впервые.

У дверей камеры стояла огромная параша. Два грубых деревянных стола со скамейками по бокам делили камеру на две части, в каждой из которых двухъярусные койки были составлены почти вплотную. Два окна не имели стекол. Лето прошло уже давно. Стоял конец октября и в окна дул холодный, сырой ветер. Не все зеки имели койки. Многие лежали под койками на цементном полу.

Черный Царь остановился как раз посредине камеры,

на равном расстоянии и от параши, и от окон.

Вот здесь тебе будет хорошо, — сказал он мне, и указал на нижнюю койку. Потом ткнул кулаком лежащего на ней зека:

— Залазь под койку!

Зек пробурчал в ответ что-то невнятное.

— Н-у-у! — повысил голос Черный Царь.

Больше повторять не пришлось. Зек вскочил с койки, шустро сдернул с нее свой матрац и также шустро убрался на цементный пол. Черный Царь помог мне расстелить мой матрац на освободившейся койке. «Ну и дисциплина у уголовников! — подумал я. — Лучше, чем в армии!»

— Сейчас добуду еды и махорки для тебя, — сказал мне Черный Царь и отошел.

— Эй! У кого есть сало? — тотчас раздался его голос с грузинским акцентом.

Когда я ел сало с хлебом, а Черный Царь сидел рядом и, как положено у солидных зеков, не интересовался никакими подробностями моего дела, я вдруг вспомнил о своем соседе по камере в Симферопольской тюрьме, который казался мне очень подозрительным.

— Послушай, Черный Царь, — обратился я к нему. — Когда я сидел в Симферопольской тюрьме, ко мне подсадили человека. Я хочу проверить, наседка он или нет. Он сказал мне, что только что переведен из Херсонской тюрьмы и что зовут его Виктор Наволоков.

— Сейчас проверю, — ответил Черный Царь и стал перестукиваться с зеками в соседних камерах сперва через батарею парового отопления, а потом — переговариваться через стенку, приложив для этого к стенке металлическую кружку. Наконец, он вернулся ко мне.

— Проверена вся тюрьма. В этом году никакого Наво-локова здесь не было.

— Я так и думал, что он — наседка, — сказал я.

— А как он выглядит?

— На вид ему можно дать лет сорок. Он — высокого роста, плешивый, наколок на теле нет. Только на плече (забыл на каком) — круглый шрам от ожога. По его словам, это след от наколки, которую он удалил

прижиганием.

— Приметы запомню, — сказал Черный Царь. — Больше тебе ничего не нужно?

— Не надо. Спасибо тебе.

— Не за что. По сравнению с тобой все здесь мелюзга. Ты не обращай на них внимания. Ночью они все беситься будут, но тебя не тронут. Ты — спи!

И он отошел. Ночью я несколько раз просыпался оттого, что вся камера ходила ходуном. Зеки пели, кричали, бегали по верхним койкам. В углу, на костре из бумаг варился чефир (необычно крепкий чай, от которого пьянеют). Кормушка в двери была открыта и надзиратель, присев на корточки, через кормушку беседовал с зеками и что-то передавал им.

* * *

Утром я познакомился с двумя зеками: одним — здоровяком, который сидел за попытку побега за границу через Румынию, и другим — заведующим сберкассой, который был арестован за недостачу денег в сберкассе. Здоровяк оказался рабочим и все повторял, что он «бежал за границу от коммунистов, чтобы больше их не видеть, а его схватили и за что-то посадили в тюрьму». Кроме этого он ничего не рассказывал и пытался научить меня приемам САМБО (вроде ДЗЮ-ДО).

Заведующий сберкассой оказался более интеллигентным человеком и мы с ним нашли много общих тем для разговора. Сперва мы говорили о применении компьютеров, а потом незаметно перешли на литературу и

Есенина. Я лежал на своей койке, а он сидел сбоку. Как-то само получилось, что я стал читать ему стихи:

«Не бандит я, и не грабил лесом,

Не расстреливал несчастных по темницам!

Я — всего лишь уличный повеса,

Улыбающийся встречным лицам».

Я знаю наизусть много стихов Есенина и могу читать их, не переставая, часами. «Москву-кабацкую» сменил цикл «Сестре Шуре», потом — «Персидские мотивы». Читая стихи, я вспомнил, как несколько лет назад, когда мне было очень плохо, я ходил по Невскому и про себя

читал Есенина:

«Ты запой мне ту песню,

Что прежде напевала нам старая мать.

Не жалея о сгибшей надежде,

Я сумею тебе подпевать...»

Я читал стихи, и почти каждое из них напоминало мне что-либо из минувшей жизни. Перед моим мысленным взором мелькали разные картины... Я перестал читать и задумался. Неожиданно мои воспоминания были прерваны многими голосами:

— Почитайте нам еще Есенина!

Я поднял голову и увидел, что вокруг моей койки собрались все зеки нашей камеры. Одни стояли, другие лежали на полу, третьи выглядывали с верхних коек. Прекратились все песни, все хулиганские забавы и все эти воры, убийцы, грабители хотели теперь только одного: послушать еще стихи Есенина. В камере стоял смрад от параши и от потной, давно не стиранной одежды, но вдруг чудо искусства преобразило все вокруг. Там, в углу, оказывается, не грязная, вонючая параша... — это «лебеди сели на луг»... А каждый заключенный мысленно примерял к себе гордые есенинские слова:

«И уже говорю я не маме,

А в чужой и хохочущий сброд:

Ничего! Я споткнулся о камень!

Это к завтрему все заживет!»

Рассказывают, что однажды сам Есенин ходил читать свои стихи в ужасный притон бандитов и проституток. Друзья вызвали наряд полиции, чтобы защитить поэта. Но полиция не потребовалась. После чтения стихов бандиты с триумфом вынесли поэта на руках, а проститутки плакали.

Я — не поэт. Я только читал стихи другого поэта. Но благодарность слушателей была огромной: зеки подарили мне ватник. В условиях надвигающейся зимы такой подарок трудно переоценить.

Глава 21. Украинская медико-психиатрическая экспертиза

Глава 21. Украинская медико-психиатрическая экспертиза.

Наконец я попал в Херсонскую психиатрическую больницу на украинскую республиканскую экспертизу. Психбольница представляла собой целый городок, а экспертное отделение занимало отдельный домик в этом городке. Домик был окружен высоким забором и круглосуточно охранялся милицией.

После тюремного голода, холода и грязи мне показалось, что я попал в дом отдыха. Врач распорядился положить меня в самую спокойную палату. Другие две палаты сильно отличались от моей: одна из них была очень многолюдная, а другая — надзорная, для буйных помешанных.

Сестра-хозяйка, добродушная украинка, увидев какой я истощенный, принялась усиленно меня кормить. И ее труд не пропал даром: за 40 дней, проведенных на Херсонской экспертизе, я восстановил 12 килограмм веса, из числа потерянных в тюрьме.

Врачи, сестры и даже больные относились ко мне хорошо. Я отдыхал физически и морально, несмотря на то, что некоторые подъэкспертные были на самом деле сумасшедшие, а другие — «гнали тюльку», т.е. притворялись больными. Меня осмотрел терапевт больницы по поводу моих жалоб на сердце и со мной беседовали психиатры. Сестры взяли у меня разные анализы. Прочитав мое дело, которое составляло уже объемистую сброшюрованную книгу, начальник экспертизы сказал мне, что «он нигде не нашел состава преступления для 56-ой статьи». Он

высказал уверенность, что суд переквалифицирует мое преступление снова на 75 статью.

Через несколько дней произошел инцидент. Гуляя по коридору, я случайно обратил внимание на то, что одного больного завели в кабинет врача совершенно нормальным, а через некоторое время вывели оттуда «в дугу» пьяного. Больной даже на ногах не стоял и его вели два человека.

— Что с ним такое? — спросил я одного из «старожи-

лов» экспертного отделения.

— Барбамил ввели, — ответил старожил.

— А что это такое: барбамил?

— Наркотик такой. От него делаешься как пьяный и не помнишь о том, что тебя спрашивали и что ты отвечал.

— Так это же нарушение всех международных соглашений! — вскричал я. — Насильно вводить наркотик в организм заключенного!

— Это еще что! — продолжал мой собеседник. — Вот, когда спинно-мозговую жидкость берут на исследование, то бывают осложнения: один перестает ходить, другой — теряет речь...

— У меня это в голове не умещается... — я хотел продолжать, но меня перебили:

— Вас приглашает врач, — сказала медсестра. Когда я вошел в кабинет, там сидели заведующий отделением и мой лечащий врач.

— Мы слышали, как вы возмущались тем, что больному введен барбамил, — заговорил заведующий примирительным тоном,— но вы должны войти в наше положение. Мы делаем экспертизу и мы не можем дать неопределенный ответ на вопрос следователя о том, вменяем подсудимый или нет! А как мы можем дать точный ответ, если человек «косит», то есть притворяется больным. А когда такому человеку вводят барбамил, то он перестанет «косить» и мы с уверенностью даем наше заключение.

Через месяц для меня состоялась комиссия. Кроме заведующего отделением и моего лечащего врача на этой комиссии присутствовал главный врач больницы. Мне задали всего несколько вопросов, большинство из которых касалось моего преступления. Все

разговаривали со мной вежливо, с уважением. Видно было, что они мне сочувствовали. На другой день во время врачебного обхода заведующий подошел ко мне:

— Не знаю, какое заключение экспертизы вы бы предпочитали, Юрий Александрович, — сказал он, — но мы сделали объективное заключение. Мы написали в КГБ, которое направило вас сюда, во-первых, о сердце. Сердце у вас больное и сердечный припадок в надувной лодке у

вас мог быть. О вашем психическом здоровье мы написали так: «вменяем, психически здоров, сомнений нет».

— Благодарю вас за объективность. Мне это именно было и надо. Скажите, а могут меня после вашей экспертизы послать еще на всесоюзную экспертизу в Москву, в Институт имени Сербского?

— Не думаю. Мы пишем достаточно определенно, что сомнений в вашей вменяемости у нас нет.

Глава 22. Вы здравый человек

Глава 22. Вы здравый человек.

После комиссии меня снова перевели в Херсонскую тюрьму. Этапа надо было ждать долго и потому за мной на КГБ-шной машине приехал сам следователь Коваль.

— Здравствуйте, — встретил он меня на первом этаже тюрьмы, куда меня привел надзиратель. — Экспертиза затянулась немного дольше, чем мы предполагали. Не наша вина: в Харьковском институте побоялись принять вас из-за ненадежной охраны. Но теперь надо торопиться: до Нового года остались считанные дни, а у нас, в КГБ, тоже существуют планы и существуют сроки. Я специально приехал за вами на машине, чтобы не терять время на этапирование.

После того, как Коваль расписался за меня и получил обратно свое оружие, которое он сдавал на хранение перед входом в тюрьму, мне велели садиться в машину. Это был «козел», на котором меня прежде возили из тюрьмы на следствие в КГБ. Меня посадили в походную камеру и машина тронулась. В дверце моей камеры было маленькое

окошко, на этот раз не закрытое, и когда охранник не заслонял его собою, я мог кое-что видеть сквозь него. Около Херсона лежал снег. По мере того, как мы продвигались на юг, снег стал исчезать и, наконец, совсем исчез. В машине было очень холодно. За неимением шапки я обмотал голову портянкой, которую дала мне перед отъездом из больницы сердобольная сестра-хозяйка, а ноги завернул в ватник, валявшийся на полу камеры.

Часа через три пути, машина остановилась прямо на

шоссе. Коваль и охранник демонстративно вытащили из кобуры пистолеты и, держа их наготове, повели меня на оправку к ближайшим кустам.

После этого, наш «козел» еще долго ехал, нигде не останавливаясь. Он не имел на себе ни зеленых огней, как милицейские машины, ни сирены, но все другие машины как-то узнавали его принадлежность к КГБ и шарахались в сторону, всегда уступая дорогу.

До Симферополя была еще только одна остановка около какой-то столовой. Шофер сходил в эту столовую и принес оттуда в термосе чай. Мне тоже налили кружку чая и дали крохотный кусочек шпига с хлебом. Это был мой обед и ужин одновременно.

* * *

— Ну, вот, — заговорил Коваль, когда на следующий день меня привели в его кабинет в здании Крымского У КГБ, — теперь мы имеем документ, свидетельствующий о том, что вы — психически здоровый человек. Мы будем поэтому разговаривать с вами, как со здоровым человеком... даже лучше сказать, как со здравым человеком!

Коваль прервал свой монолог, дал мне прочитать заключение экспертизы, которое дословно соответствовало тому, что сказал мне на обходе заведующий экспертизой, и попросил расписаться в подтверждение того, что я с этим документом ознакомился. Затем он продолжал говорить:

— Следствие практически закончено. На днях будет суд. Теперь мы назначим вам защитника. Деньги за защиту в размере 25 рублей у вас высчитают позднее.

— Мне не нужен ваш защитник. Я буду сам себя защищать на суде.

— Так нельзя. Почему вы отказываетесь? Мы дадим вам хорошего

защитника.

— Вам известно, что я учился на юридическом факультете и что я имею высшее образование. Поэтому я имею право сам себя защищать и я хочу воспользоваться этим своим правом.

— Об этом мы еще поговорим. А пока завершим маленькую формальность со свидетелями. Пока вы были на экспертизе, мы тут поработали. Я летал в Ленинград и допрашивал там в качестве свидетелей вашу бывшую жену и вашу тещу, ваших сослуживцев: Иоанновича, профессора Бирштейна, Брадобреева, ваших знакомых писателей: Ефимова, Марамзина, Бакинского, ваших соседей по коммунальной квартире: Хмирова, Ханина и его любовницу, вашу любовницу, а также офицеров — ваших бывших сослуживцев по военному флоту.

Я ознакомлю вас с их показаниями и вы распишетесь в этом. А потом мы устроим вам очную ставку с ними здесь или в Ленинграде.

Коваль посмотрел на меня, чтобы узнать, какое впечатление произвели на меня его слова и добавил:

— Жену свою снова увидите. Давно ведь не видели! Потом помолчал немного и очень обнадеживающим тоном подытожил:

— Теперь мы знаем о вас все. И у нас, у сотрудников КГБ, сложилось такое мнение: вы больше сами на себя наговорили, чем есть у вас вины на самом деле. Преступление у вас маленькое! Статью вашу мы, конечно, снова переквалифицируем на 75-ю и вы можете считать уже сейчас, что у вас 75-ая статья. Суд мы проведем наверное через неделю и еще в этом году вы будете дома. Можете жениться на Ире Бежанидзе. Она очень симпатичная, даже ваш сосед по квартире Ханин был неравнодушен к ней. И она плакала, когда узнала о том, что вы находитесь в тюрьме.

— Вы ее напугали до смерти, вот она и плакала со страху, — заметил я.

— Нет, она о вас плакала! — Коваль опять замолчал и стал «проницательным» взглядом рассматривать меня, ожидая, очевидно, когда на моем лице появятся признаки лирических воспоминаний. Потом, убедившись, что я его внимательно слушаю, и считая, что он достаточно «подготовил почву», Коваль перешел к главному:

— Но для того, чтобы поехать домой, вы должны будете еще до суда кое-что сделать... так... простые формальности... — но сказал он это с особым

ударением на

каждом слове.

Я молчал. Выждав еще некоторое время, чтобы я успел оценить важность момента, следователь стал перечислять, что я должен был сделать.

— Еще до суда вы должны раскаяться в своем преступлении и рассказать нам о технических приемах, которые вы применяли во время побега. Например, нам интересно знать, как вам удалось уплыть в море, не будучи замеченным пограничниками на берегу и пограничными катерами в море? Естественно, вам надо формально отказаться от вашей последней версии о том, что вы, якобы, не собирались бежать в Турцию, и совершенно чистосердечно рассказать нам обо всем.

Коваль опять сделал паузу, опять посмотрел на меня «проницательным взглядом» и сказал вкрадчиво:

— Назовите нам всех, кто знал о вашем готовящемся побеге и кто вообще разделял ваши антисоветские взгляды? И еще немного: сознайтесь в том, что в 1963 году, в Батуми, вы не просто «делали марафонский заплыв «спорта ради», а пытались доплыть до Турции. Сознайтесь! Вам за это ничего не будет! Расскажите нам, как вы обманули пограничников в Батуми? Как вам удалось скрытно войти в море и скрытно выйти на берег? Ну, и назовите нам всех, кто знал о вашем побеге в 1963 году еще накануне его осуществления? Ну, вот и все! Если вы это сделаете, я гарантирую вам, что вас освободят прямо с суда! В крайнем случае, дадут вам несколько месяцев. В любом случае, в 1968 году вы будете на свободе и снова — в Ленинграде!

Коваль откинулся на стуле с видом выполненной задачи и стал молча разглядывать выражение моего лица. Потом спросил:

— Может, не все ясно? Вопросы?

— Есть вопрос. У вас мои деньги — пятьдесят рублей, отобранные во время ареста.

— Что-о-о? — очень удивился чекист, не ожидавший того, чтобы я мог думать в этот момент о чем-либо другом, кроме его слов.

— Это — честно заработанные деньги и вы не имеете права их конфисковать! Я писал к вам из Харьковской

тюрьмы и просил переслать их мне, потому что очень голодал, но вы не ответили.

— Меня не было в Симферополе, вы знаете. Потому я и не ответил на ваше письмо. А деньги можете получить хоть сегодня! Я даже помогу вам купить продукты на ваши деньги!

Коваль позвонил и в кабинет вошел надзиратель.

— Сейчас же пошлите в магазин (он назвал какую-то фамилию). Пусть купит подследственному килограмм колбасы. Возьмите деньги! — Коваль достал из сейфа и подал надзирателю 50-ти рублевую бумажку.

Очень скоро надзиратель вернулся и положил на мой столик два круга колбасы в газетной бумаге.

— Берите колбасу и поезжайте отдыхать. Я позвоню в следственный изолятор, чтобы вас пропустили с колбасой, — великодушно, как будто это был его подарок мне, разрешил следователь. — Поешьте, подумайте, а завтра жду вас с подробными показаниями. Я ведь знаю, что вы — умный человек!

— Вы тоже — не глупый! — ответил я.

— До свидания, Юрий Александрович! — почти по-дружески попрощался следователь.

— До свидания, — ответил я, как всегда не употребив его имени-отчества.

Наверное, следователь был уверен, что я — у него на крючке. Однако не было ни одного мгновения, в течение которого я хотя бы только колебался. С самого начала я знал, что ни на один из его вопросов я ответа не дам, но спешить заявлять об этом смысла не было.

Глава 23. Свидетели обвинения

140

Глава 23. Свидетели обвинения.

В Симферополе пошел снег. Подаренный зеками Херсонской тюрьмы ватник согревал мое тело, однако голова моя оставалась голой, а ноги — в холоде. Сатиновые брюки и босоножки — не зимняя одежда! Придя на

другой день на допрос с головой, повязанной портянкой, я спросил у следователя:

— Вы считаете нормальным, когда человек вместо шапки одевает на голову портянку?

Коваль ответил в том духе, что мол «сами виноваты».

— В таком случае я отказываюсь давать какие-либо показания до тех пор, пока мне не дадут тюремную одежду или не привезут мою одежду из Ленинграда!

Пришел подполковник Лысов. Сначала он меня уговаривал, потом кричал, но я остался непреклонен. Вот тогда-то Коваль и упрекнул меня:

— А еще салом кормили вас по дороге из Херсона, чаем поили за собственные деньги! Вот она, ваша благодарность!

Меня увезли обратно в тюрьму.

На следующее утро меня снова привели на первый этаж тюремного здания, где, как всегда, меня ожидал надзиратель из КГБ.

—Если не будете и сегодня давать показания, — заявляйте сразу, — чтобы не возить вас напрасно туда-сюда! — сказал он.

— Не буду, пока мне не дадут одежду, — ответил я и меня вернули обратно в камеру.

Пользуясь тем, что я не поехал в КГБ, тюремщики, в который уже раз, взяли у меня отпечатки пальцев, а под вечер в камеру вошел надзиратель и молча бросил мне новые тюремные ботинки и тюремную робу.

Когда на следующее утро меня привели на первый этаж тюрьмы, то надзиратель из КГБ ждал меня со старой, засаленной кепкой в руках.

— Вот! — протянул он ее мне. — Головной убор для вас! В изоляторе шапок нет, так я даю вам собственную. Кепка оказалась малого размера и надзиратель тут же распорол ее сзади, чтобы она налезала на мою голову. Мы поехали в КГБ.

«Куй железо, пока горячо!» — подумал я и, едва войдя в кабинет следователя, потребовал написать письмо в Ленинградское КГБ относительно присылки моих теплых вещей.

— Теперь придется очень торопиться, — предупредил меня Коваль,

кончив писать письмо. — Мы потеряли целых два дня, а до Нового года все должно быть закончено. Сейчас я коротко ознакомлю вас с показаниями свидетелей! — и он стал торопливо кое-что зачитывать, а кое-

что говорить своими словами о показаниях каждого свидетеля.

Коваль требовал, чтобы я сказал свое мнение об услышанном и это мое мнение он записывал в протокол. Это был странный, не виданный метод ведения следствия. По законам свидетель должен давать свои показания не только следователю, но также судьям в присутствии обвиняемого. В моем случае, никого из свидетелей я даже не видел. Я даже не читал собственными глазами ни одного протокола допроса свидетеля и я не мог быть уверен в том, что цитаты, которые Коваль зачитывал мне якобы из протокола, действительно взяты оттуда, а не придуманы им самим.

Когда поздно вечером Коваль дал мне прочитать и подписать протокол допроса, то высказанные мною мнения о заявлениях свидетелей оказались записанными в сильно искаженном виде, иногда даже смысл был другим. Я указал ему на это. Коваль внес исправления, но сделал это своеобразно: тогда как я должен был подписать каждую страницу протокола, он все исправления сделал на последней странице, оставив неверные записи на других страницах без изменений. Он написал: на такой-то странице после слов таких-то следует читать так-то. Конечно, впоследствии этих его исправлений никто не замечал: ни судьи, ни психиатры. Но я был очень утомлен, чтобы спорить, и к тому же боялся «перегнуть палку», отказавшись подписать протокол.

Однако, вернувшись в камеру и немного успокоившись, я вспомнил, что в протоколе остался неисправленным еще целый ряд искажений, которые из-за сильной усталости я сразу не заметил. На следующий день повторилось то же самое и я возмутился:

— Гражданин следователь! — сказал я. — Разрешите мне самому писать свои ответы в протоколе!

— Почему?

— Потому что вы постоянно искажаете мои показания. Бывает даже, что вы записываете противоположное тому, что я говорил вам.

— Вы же читаете протокол прежде, чем его подписать?

— Легко сказать: «читаете»! Вы так измотаете меня и так заморочите мне голову за целый день, что вечером я уже не в состоянии найти все ваши искажения.

— Нет, подследственному не разрешается отвечать на вопросы следователя в письменной форме, — возразил Коваль.

Из всех свидетелей больше всех меня разочаровал Иоаннович. Видимо, считая его самым значительным свидетелем, Коваль начал именно с него.

— Иоаннович сразу и покорно дал вам показания? — спросил я у Коваля.

— Нет, не сразу. Когда я позвонил ему и попросил придти в КГБ, то он развязно спросил: «Что, брать будете?» Однако, когда я ознакомил его с уголовным кодексом, в котором сказано, что за отказ дать свидетельские показания или за утайку сведений о государственном преступнике полагается срок до 3-х лет, то есть столько же, сколько и вам по вашей статье, то Иоаннович стал очень покладист и рассказал о вас все, что знал.

Я услышал дальше критические высказывания о себе, сделанные Иоанновичем. Тут были и мои «антисоветские убеждения» и «неумеренное» увлечение Есениным и Достоевским, и мнение Иоанновича о том, что я «переоценивал себя», как специалиста по компьютерам. Хорошо еще, что я никогда не доверял ему и ни словом не заикнулся о своих намерениях. Конечно, я не упал так низко, чтобы в ответ рассказать следователю о его (Иоанновича) собственных антисоветских высказываниях и анекдотах, которые я описывал выше. Мне было больно слышать все это тем более, что Иоаннович заявил следователю: «Ветохин был моим другом». «Как это можно? — думал я, — считать меня другом и в то же время давать порочащие меня показания? Правильно я звал его Став-рогиным!

Сомнений в подлинности этого протокола у меня не было. И стиль выражений был типично его и приведенные факты были известны только ему.

— Теперь я прочитаю протокол допроса в качестве свидетеля вашей сожительницы Иры Бежанидзе, — заявил Коваль.

— Сожительницы? — я не понимаю вашего жаргона. В русском языке такого слова нет.

— А какое слово есть в русском языке?

— Любовница.

— Если хотите, ваша любовница плакала, пока я ее допрашивал, все вас жалела...

— Я уже говорил, что вы ее смертельно напугали, вот она и плакала.

— Разве я такой страшный? Может быть, вы тоже меня боитесь?

— Вас, КГБ-шников весь народ боится, как чумы.

— Значит, и вы — боитесь... Это странно.

— Ничего странного нет в том, что она вас боялась. Вы сами говорили мне, что можете любого свидетеля посадить на 3 года, если вам покажется, что он что-то скрыл от вас.

— Ну, ваша любовница ничего не скрыла. Да и нечего ей было скрывать: она ничего не знала. От любовницы Коваль перешел к соседу по квартире.

— Вот, ваш сосед по квартире, Ханин, — это фрукт! Он сказал мне, что его зовут Федор Борисович, ну, я так и заказал ему пропуск в здание КГБ. А его не впустили. Оказывается, никакой он не Федор, и никакой он не Борисович! Главное: в паспорте написано «Мордухаевич», а мне в глаза лжет — Борисовичем себя называет!

Потом я допрашивал вашего знакомого — профессора Бирштейна. Та же история! Представился Аркадием Александровичем, а оказался Абрамом Абрамовичем! И все-то евреи таковы! — Коваль остановился и уставился на меня, ожидая подтверждения, но я не подтвердил. Такая примитивная провокация — не для меня! Не дождавшись подтверждения, Коваль продолжал:

— Так вот, ваш сосед, мнимый Федор, сказал про вас буквально так: «Ветохин — это белогвардеец!» и будто бы он в глаза вас так называл. Что вы на это скажете?

—Вы же сами назвали его «мнимым человеком»! Так оно и есть! Налгал он. А причина тому — в ссоре мы были с ним.

— Да, он говорил мне, что ему нравилась ваша любовница. Возможно, поэтому вы и поссорились. Однако и

другие свидетели подтверждают вашу антисоветскую сущность: и ваша бывшая жена и теща, и ваш друг Иоан-нович. Так что «мнимый Федор» на этот раз сказал правду. Разговаривали представители КГБ и с вашим товарищем из Военно-Морского училища — Караваевым. Он дал вам положительную характеристику. Заместитель командира дивизиона кораблей по политической части вспомнил о каком-то вашем принципиальном выступлении на партсобрании, когда принимали в партию какого-то старшину. Командир дивизиона Гузок уже вас не помнит. Еще я допрашивал знающих вас ленинградских писателей: Бакинского, Ефимова и Марамзина. Я спросил у них, способны ли вы написать книгу? Ефимов и Марамзин ответили «не знаем», а Бакинский сперва сказал «нет», а потом поправился и тоже ответил «не знаю». Все ваши бывшие начальники дали вам высокую оценку, как специалисту по компьютерам. В их числе и Бирштейн, и Брадобреев, и начальник отдела Мархель и инженеры, которые работали под вашим руководством. Я, конечно, собрал всех ваших знакомых вместе и нейтрализовал то преувеличенно хорошее впечатление, которое вы у них оставили, как специалист. Вы ведь сами знаете, что у нас не бывает хороших специалистов среди изменников родины!

Коваль опять посмотрел на меня «проницательным» взглядом. Затем он стал вытаскивать на стол какие-то бумажки и в конце концов навалил их целую кучу. Бумажки показались мне знакомыми.

Что, не узнаете? — прищурился следователь. — Это все ваши требования на книги, в залах для научной работы Ленинградской Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина.

— Зачем они вам нужны? — спросил я.

— Сейчас объясню. Во-первых, вы видите, что мы давно все о вас знаем. Мы знаем о ваших недовольствах, о ваших бурчаниях. Но если бы, кроме книг по кибернетике, вы и дальше почитывали бы молча книжонки о фашистских боевых пловцах «черного» князя Боргезе (тут он пальцем указал на требования), то и сейчас бы гуляли себе на свободе. Но как только вы перестали болтать, а

начали действовать, то сразу и лишились этой свободы, А теперь и ответить придется: что и зачем вы читали? Не даром подполковник Лысов спрашивал вас: заблудший вы или убежденный? Ответ получен: ВЫ — убежденный антисоветчик!

Тон, которым Коваль говорил со мной, был весьма жесткий и

угрожающий. Я и раньше нисколько не верил его обещаниям «освободить меня прямо с суда», теперь же я еще больше убедился в том, что все было ложью. Я поверил только насчет переквалификации статьи снова на 75-ю. Все-таки, на Херсонской экспертизе мне сказали то же самое: «для 56-ой статьи у вас нет состава преступления».

Коваль принялся перебирать мои требования на книги и задавать вопросы:

— Вот требования на лоцию Черного моря... Зачем вам, специалисту по компьютерам, лоция?

— Лоция была мне нужна для конструирования детской настольной игры «Юный штурман», — повторил я свой стандартный ответ.

— А книга «Боевые пловцы», которую вы взяли с собой во время побега, тоже для конструирования детской игры была нужна?

— Эта книга, также как и другая «За бортом по своей воле», была взята просто для чтения.

— Вот книги о Филиппинах, вот карта Южно-Китайского моря... — для чего они — я не спрашиваю. У вас в комнате я нашел кальку с предварительной прокладкой курса туристского теплохода «Русь», на котором вы ходили в путешествие «Из зимы в лето». Калька снята с этой самой карты, которую вы брали в библиотеке. Скажите только: как вы узнали подробности маршрута и как вы сумели сделать заранее предварительную прокладку?

— По образованию я — штурман и, говорят, неплохой.

— Это верно. Мы показывали все ваши морские документы, включая эту прокладку, а также сделанные вами от руки карты морских течений и ветров Черного моря, начальнику кафедры навигации Севастопольского Высшего Военно-Морского училища и знаете, что он сказал? Он сказал: «Если бы все штурманы нашего флота также

добросовестно готовились к предстоящему плаванию, у нас никогда бы не было никаких ЧП!»

На кафедру «Устройства корабля» того же училища мы отправили вашу надувную лодку и сделанное вами парусное вооружение. Военно-морской эксперт на наш вопрос о том, можно ли на такой лодке переплыть Черное море, ответил: «С учетом высоких мореходных качеств беглеца — можно». Распишитесь под заключением экспертизы!

Я расписался. Позднее я осознал, что этим допустил ошибку.

Затем Коваль ознакомил меня с протоколом экспертизы аспирина. Академия Наук Украинской ССР (Вот, чем занимается Академия Наук!) писала, что «белый порошок, изъятый у Ветохина при аресте, оказался аспирином».

Другой протокол содержал заключение по анализу питьевой воды. Вода, которую я набрал в Коктебеле, оказалась «недоброкачественной», но «следов радиоактивности не носила».

Эксперты также проверили фотокарточку моих родителей, согнув ее пополам, и часы. Я расписался в ознакомлении со всеми этими протоколами.

Допрос затянулся до самого вечера и я был рад, что сегодня следователь не задавал мне главных вопросов.

Человеку всегда нужно иметь хоть маленькое удовлетворение в чем-нибудь, чтобы на этой основе создать душевное равновесие. Вот я и уснул, думая о том, что письмо, содержащее просьбу о высылке моих теплых вещей, наверное уже ушло.

Глава 24. Несостоявшееся сотрудничество

Глава 24. Несостоявшееся сотрудничество.

— Прошло уже достаточно времени с тех пор, как я вас предупредил, и вы наверное, подготовились, — такими словами начал следователь свой допрос на следующий день. — Рассказывайте по порядку и не очень быстро, а я буду записывать.

— Что рассказывать?

— Как что? — вскинулся Коваль. — Начинайте с подго-

товки и исполнения побега в Турцию в 1963 году.

— В первый раз слышу такое. Никогда я не пытался бежать в Турцию!

Коваль вперил в меня свой «проницательный» взгляд, помолчал, а потом сказал спокойным голосом:

— Ну, не хотите про Батуми — ваше дело! Начинайте тогда с этого, с 1967 года. Расскажите, как вы обманули пограничников, как незаметно вышли в море?

— Я уже несколько раз рассказывал об этом, — ответил я. — Посмотрите в протоколы, там все записано. Мне совершенно нечего добавить.

— Вы очень пожалеете, Юрий Александрович, — процедил Коваль уже далеко не таким спокойным голосом как прежде.

— Я не понимаю вас. Что вы от меня хотите? Коваль уже с откровенной злобой несколько мгновений смотрел на меня, затем спросил:

— Вы помните, когда вы познакомились с Ирой Бежанидзе?

— Нет, не помню, — на всякий случай соврал я.

— Тогда я скажу вам! — прищурившись повысил голос Коваль. — Это было 30 сентября 1963 года, то есть 4 года назад.

— Допустим. И что из этого?

— А то, что тогда вашей любовнице не хватало до 18 лет ровно одного месяца! Следовательно, вы завели себе несовершеннолетнюю любовницу и мы можем судить вас… за растление малолетних, если вам удастся отвертеться от обвинения в попытке побега за границу! Видите теперь: так или иначе, но свое вы все равно получите!

После этих слов Коваль вызвал надзирателя и велел увезти меня назад в тюрьму.

* * *

Два дня меня на допрос не вызывали. Вечером второго дня в мою камеру пришел начальник с грязными и рваными ботинками в руках.

— Снимите свои ботинки и отдайте мне, а оденьте вот эти! — приказал он.

От брошенных на пол тюремных ботинок во все стороны полетели куски сухой земли и грязи. «Какая мелкая душонка у этих чекистов!» — подумал я, отдавая ботинки. Потом явился другой надзиратель и велел мне следовать за собой. Мы прошли по коридору, поднялись, а потом опустились по каким-то лестницам и, наконец, вошли в камеру, где за столом сидел следователь Коваль. Надзиратель вышел и мы с Ковалем остались одни.

— Юрий Александрович, — вежливо, как будто ничего не произошло, заговорил следователь, — мы решили направить вас на Всесоюзную психиатрическую экспертизу в Москву. Сейчас у нас на руках два заключения: одно с «пятиминутки», другое — с республиканской экспертизы. Они противоположны. На «пятиминутке» вас признали психически больным, но не смогли поставить диагноз болезни (Об этом я слышал в первый раз и он не показал мне никакого заключения с «пятиминутки»). На республиканской экспертизе вас признали здоровым. Поэтому мы вас посылаем на третью экспертизу. Как решит институт имени Сербского в Москве, так и будет. Вот направление на экспертизу, подпишите его!

— Вы уже отправили письмо в Ленинград насчет моих зимних вещей?

— Письмо уже ушло.

— Тогда отдайте мне шерстяные кальсоны, которые отобрали у меня при аресте — я буду хоть их носить пока придут мои вещи, и переведите остатки моих денег туда, куда меня везут.

— Хорошо, подписывайте!

— А если я не подпишу?

Я отлично помнил угрозу подполковника Лысова «сгноить меня в сумасшедшем доме».

— Мы имеем право направить вас на экспертизу и без вашего согласия.

Я подумал, что на этот раз он говорил правду и подписал. Вечером мне передали кальсоны и еще раз взяли отпечатки пальцев. Деньги переслать Коваль забыл.

Глава 25. В Москву

Был конец декабря 1967 года. Поток заключенных, перевозимых по этапу из одной тюрьмы в другую, не иссякал. Однако, мне на этот раз ехать было немного свободнее, чем летом. Теперь мое этапное дело было с угла на угол перечеркнуто красной чертой, а вверху на моем деле была сделана крупная надпись «СКЛОНЕН К ПОБЕГУ». Это все означало, что я — особенный заключенный, за которым необходим

особо строгий надзор. Поэтому конвоиры, увидев надпись и красную черту, сажали меня в отдельную маленькую камеру внутри автомобиля и даже запирали на замок. В тюремном вагоне поезда для меня выделяли отдельное купе. Особенно эти пометки досаждали мне во время обысков, которые производились в начале и в конце каждого этапа: меня обыскивали с особой тщательностью. Это было так впечатляюще, что я сразу и без колебаний решил переименовать свою будущую книгу и назвать ее не «Сергей Хлебов», как собирался раньше, а « **Склонен к побегу**».

В Москву меня везли быстро. На Днепропетровской пересылке я пробыл всего несколько часов, зато увидел там кое-что незабываемое. Стоя в коридоре тюрьмы в длинной очереди заключенных, регистрирующихся у тюремного офицера на этап Днепропетровск-Харьков, я взглянул в окно, выходящее в тюремный двор. Взглянул и не мог отвести глаз от того, что увидел. По двору медленно, толчками, ходили какие-то существа, лишь отдаленно похожие на людей. Они ходили так медленно, как ходят киноперсонажи при замедленной съемке. Вид их был необычный: все ходили без брюк, в одних кальсонах и нижних рубашках навыпуск, поверх которых у одних были накинуты ватники, а у других — рваные халаты. Сочетание ватников с белыми кальсонами так поразило меня, что я стал спрашивать зеков, что это значит?

— Это дураки из дурдома, — пояснили мне бывалые зеки.

Я снова посмотрел в окно. Это была правда. Несомненно, по двору гуляли психически больные люди. Они не

разговаривали друг с другом, но нелепо жестикулировали или вдруг останавливались и надолго замирали в одном положении. Лица их были серо-землистого цвета, а под глазами висели мешки. Вид их говорил о полной безысходности...

У меня было впечатление, что я заглянул в царство Аида. Долгое время потом вспоминалась мне эта картина, пока я сам не стал одним из них.

Глава 26. Лефортовская политическая тюрьма

Глава 26. Лефортовская политическая тюрьма.

В Москве меня сперва привезли в уголовную тюрьму — Бутырки, продержали ночь в камере, похожей на телефонную будку, а наутро вызвали «с вещами». Дежурный офицер, похожий на бабу, гадким, слащавым голосом проговорил:

— Миленький, ведь не туда ты приехал! (Как будто я сам выбирал, куда мне ехать!) — и добавил: — Сейчас мы свезем тебя в Лефортово!

Надзиратель вывел меня во двор, где стояла машина скорой помощи и велел залезть внутрь. Внутри оказалась самая обыкновенная камера для перевозки заключенных. Матовые стекла не позволяли ни мне видеть куда мы едем, ни прохожим заглядывать внутрь машины. Конечно, прохожие думали, что это — обыкновенная «скорая помощь», а либеральные западные корреспонденты, увидев на улицах множество карет скорой помощи, еще и восторгались «преимуществами советского здравоохранения». Когда машина свернула в какие-то переулки, а потом остановилась, я догадался, что мы приехали в Лефортовскую тюрьму.

Лефортово — главная политическая тюрьма СССР. Никто в СССР, ни грузчик, ни секретарь ЦК КПСС не застрахованы от этой тюрьмы. Многие побывавшие в Лефортово никогда больше не увидели свободы. Другие вышли на свободу, но вряд ли найдутся хотя бы два человека, которые вынесли оттуда совершенно одинаковые впечатления. Меня, например, поразила процедура обыска. Меня завели в отдельную комнату, где специалисты приступили к делу. А специалисты в Лефортово

— узкие. Одна женщина сделала обыск у меня во рту, проговорив предварительно: «Откройте рот, я посмотрю нет ли у вас ангины?» Ее сменила другая женщина, которая сказала «Раздвиньте ягодицы, я посмотрю, нет ли у вас геморроя?»

Для производства обыска в карманах тоже был вызван особый «специалист». Заодно, он срезал у меня на брюках металлический крючок и хотел было также срезать металлическую застежку на босоножках. Я еле-еле отстоял, сказав, что без застежки невозможно носить босоножки. Затем меня повели в баню, где я мылся один, после бани — в камеру.

Сперва мы шли служебным коридором, где камер не было, зато стояли

большие биллиарды, на которых играли резервные надзиратели. Это были надзиратели не при исполнении служебных обязанностей, но всегда и ко всему готовые. Когда мы вышли на главный коридор, то шум наших шагов совсем пропал. Все полы оказались застланными коврами. Только в Лефортово я понял, почему в Советском Союзе не хватает ковров для населения. За дефицитными коврами советские люди записываются в очередь, а потом годами, если только не десятилетиями, ходят отмечаться. Инвалиды Отечественной войны теперь, спустя 35 лет после окончания войны, награждаются правом… купить вне очереди один ковер! А дефицит ковров объясняется, оказывается, просто: все ковры идут на застилку коридоров главной политической тюрьмы СССР! Благодаря этим коврам тишина в тюрьме — могильная.

Неслышно ступая по коврам, меня вели по коридору два надзирателя — два молодых, высоких, красивых парня (очевидно, олицетворявших собою «молодость, красоту и крепость советского государственного строя») в отлично сидящей на них чекистской форме.

Надзиратели делали что-то непонятное: они цокали языками и щелкали пальцами рук. Вскоре я догадался, что таким образом они давали знать надзирателю-регулировщику о приближении заключенного. Регулировщик стоял в том месте, где коридор разветвлялся на две части.

Одну руку с флажком он поднял вверх, а другой рукой, тоже с флажком, молча указывал в какое из двух ответвлений коридора нам надо следовать. Поднятая рука, очевидно, запрещала выводить из камер других заключенных, чтобы мы не встретились.

Меня закрыли в одну из камер, находившуюся в левом ответвлении коридора первого этажа. В камере оказалось две койки: одна из них пустая. На стене висел календарь, на котором карандашом было вычеркнуто 8 дней вплоть до сегодняшнего числа, а сверху написано «голодовка».

Окно в камере не было схвачено железной решеткой, но имело очень толстые матовые стекла. Батарея парового отопления находилась внутри деревянного каркаса. Кроме койки в камере имелся стол и книжная полка, прибитая к стене. В углу находился унитаз, закрытый фанерной дощечкой, и умывальник. На столе были чайник, миска, кружка и ложка.

Осмотрев все это, я сел и задумался. «Недаром меня привезли в эту

«тюрьму для избранных», от которой не отказываются ни министры, ни маршалы. Мне предстоит долгое и тяжелое тюремное заключение, — думал я. — Если я не найду для себя цели, которая бы захватила меня целиком, и выполнение которой возможно в тюрьме, я пропал. Я или сойду с ума, или у меня произойдет распад личности!»

Собственно говоря, я уже имел цель. Мне предстояло только сформулировать ее таким образом, чтобы она оказалась выполнимой в тюремных условиях. Я встал и начал ходить по камере. Я всегда хожу, когда думаю. Расхаживая по камере, я то и дело замечал, как открывался глазок в двери и надзиратель наблюдал за мной. Это только подстегивало меня. Наконец, я сформулировал проблемы, решить которые я обязался самому себе за время тюремного заключения. Вот, главные из них:

Обобщить все свои мысли о Боге.

Сделать анализ ошибок, приведших к неудаче двух моих попыток побега из СССР и выработать технические, организационные и психологические принципы, которые бы обеспечили успех новой попытки побега, как только я

выйду из тюрьмы.

Найти новый, эффективный, ведущий к неизбежной победе, принцип борьбы против коммунизма.

Обобщить все свои мысли по женскому вопросу и другим крупным вопросам внутренней политики.

Но отключиться от действительности надолго было невозможно. Лефортово часто напоминало о себе. Когда стемнело, кормушка в моей камере открылась и надзиратель шепотом скомандовал: «Ужинать!» Я подошел к кормушке и увидел рядом с надзирателем человека в белой куртке и рядом с ним — тележку, на которой стояли кастрюли. Я протянул свою миску и человек молча положил в нее пару картошин и кусок селедки. Потом я протянул ему чайник и он налил мне чаю. Сейчас уже не помню насчет сахара. После того, как я поел и вымыл посуду холодной водой, наступило тягостное вечернее время, когда уже хочется спать, но еще не ложишься, чтобы не просыпаться ночью.

Часов около 10 вечера кормушка снова открылась и надзиратель шепотом скомандовал: «отбой!»

Такой же шепот разбудил меня утром: «подъем!» Вскоре после подъема

в кормушку заглянул человек в белой куртке:

— Давайте порежу ваши продукты! Я увидел недалеко от камеры деревянную поварскую доску, положенную на тележку, и кухонный нож на ней.

— У меня нет продуктов, — ответил я и кормушка тихо закрылась.

— Сервис! — воскликнул я со смехом, но никто не услышал меня и мой смех умер, не возбудив ни у кого ответной реакции.

После завтрака я спросил у надзирателя, можно ли получить для чтения книги? Вскоре к моей камере подошел библиотекарь и подал мне в кормушку три книги. Две из них оказались приличными: это были произведения Новикова-Прибоя и Станюковича. Потом я узнал, что важным зекам библиотекарь сначала приносил каталог, а потом выбранные по этому каталогу книги. Чинопочи-

тание и субординация В СССР — превыше всего! Даже в тюрьме!

После выдачи книг меня повели на прогулку. Я гулял в одиночестве в специальном асфальтированном прогулочном дворике, окруженном высокими стенами, а стерегли меня двое надзирателей. Один надзиратель находился на высоком помосте, напоминающем капитанский мостик на корабле, а другой — сидел в низкой будке, похожей на собачью, в противоположной стороне дворика.

На третий день утром в мою камеру вошел высокий, молодой и красивый надзиратель с маленьким, изящным чемоданчиком в руке. Он непринужденно сел на мою койку, дружелюбно улыбнулся мне, а потом раскрыл свой чемоданчик и вынул оттуда безопасную бритву, помазок и совсем новое лезвие.

— Побрейтесь, пожалуйста!

Я побрился и отдал ему обратно. Он закрыл свой чемоданчик и ушел. Едва ушел «представитель сервиса», как в кормушку последовала очередная команда, тоже шепотом:

— Собраться с вещами!

Глава 27. Всесоюзный Научно-исследовательский Институт судебной

Глава 27. Всесоюзный Научно-исследовательский Институт судебной психиатрии имени Сербского.

«(Советский) ученый сегодняшнего дня, либо психолог и инквизитор в одном лице, скрупулезно изучающий значение различных выражений человеческого лица, жесты, оттенки голоса, исследующий действие фармакологических «детекторов лжи» и лечение шоками, гипнозом и психологическими пытками, либо это — химик, физик или биолог, занимающийся только теми областями своей специальности, которые имеют отношение к человекоубийству»

(Джордж Орвелл «1984»)

В институт имени Сербского, теперь скандально известного на весь мир, меня везли на КГБ-шном «козле». Стенки «козла» были исписаны и я не успел разобраться в этих записях, как мы приехали. Меня ввели в вестибюль, внешне похожий на вестибюль любой больницы: стол и стулья — для ожидающих, два окошка с регистраторами и, кажется, все. Тюремные надзиратели передали

меня двум больничным няням в белых халатах. Сперва они повели меня в отдельную комнату, где забрали мои вещи, а взамен дали больничную пижаму, а потом по черной винтовой лестнице повели в отделение.

Сейчас не помню, на какой мы поднялись этаж. Там был широкий светлый коридор с несколькими палатами, двери в которые были открыты настежь. Много людей в пижамах разгуливало по коридору. Недалеко от винтовой лестницы, по которой мы поднялись, в один ряд с палатами, находилась плотно закрытая неприметная дверь без надписи, около которой на стуле сидел мужчина в белом халате, под которым виднелась военная форма. При нашем приближении надзиратель встал и своим ключом открыл эту дверь. Мы вошли и дверь снова закрылась.

Я очутился в секретном политическом отделении № 4-Е института судебной психиатрии имени Сербского, которое иностранные делегации «никак не могли найти». Отделение состояло из трех палат. Две большие палаты

были смежные, а одна маленькая — отдельная. Двери всех палат выходили в маленький коридор, из которого можно было попасть в туалет и умывальник.

В день моего приезда подъэкспертные, или «больные», как здесь их называли, находились в двух палатах: большой палате и маленькой палате. Меня поместили в большую палату.

Первый, кого я там встретил, был человек средних лет и интеллигентного вида, в накинутой на плечи пижаме. Он представился: Завадский Виктор Никифорович, и стал сразу рассказывать о здешнем житье. О себе — ни слова! Соблюдая тюремные законы, я тоже ни о чем его не спросил.

Следующий, кто подал мне руку, был турок Ниязы Дедабаш. О нем будет речь впереди. Кроме Завадского и Дедабаша в этой же палате находился Иван Иванович (фамилию его я не запомнил) — крестьянин. Доведенный до отчаяния условиями советской сельской жизни и самодурством директора совхоза, он из обреза на ходу машины убил этого директора совхоза, который, к тому же, был депутатом Верховного Совета СССР. КГБ-шники с помощью электронных приборов нашли на его огороде закопанный обрез. На следствии Иван Иванович в убийстве не сознавался и его привезли в институт. Держал себя Иван Иванович спокойно и с достоинством и через несколько дней после моего приезда, его увезли.

Еще один заключенный—молодой человек, рабочий. Он был схвачен на месте преступления, когда с крыши военного объекта фотографировал этот самый объект. В институте он вел себя как сумасшедший. «Косил» он, или на самом деле был больной — я не знаю, но всем очень действовал на нервы. Особенно тяжело было переносить его ненормальное пение и частые неприличные звуки, когда он портил воздух.

Другой молодой человек был «возвращенцем». В составе группы из 4-х человек они «в лоб» брали турецкую границу близ Еревана. Под огнем пограничников они резали колючую проволоку, а где не удавалось разрезать, — лезли через нее. Прорыв удался ему одному. Что стало с товарищами, он не знал. Он только слышал

сзади себя крики: «Не убивайте меня!», и эти крики придали ему скорости. Однако он не сумел воспользоваться свободой, полученной ценой такого большого риска. После короткого пребывания в Турции,

где ему дали основы иностранного языка, он начал путешествовать по разным европейским странам и знакомиться, в основном, с публичными домами. Изредка и недолго работал. Потом опять пил и гулял. Наконец, ему надоела такая жизнь, и в Стокгольме он пришел в советское посольство, («которое имеет входные двери, похожие на тюремные и даже с таким же «глазком», — все-таки заметил он»).

— Мне там очень обрадовались, — рассказывал он мне, — налили в стакан чаю, а в чай положили так много сахара, что чай полился через край!

С большой помпой его доставили на подвернувшийся советский пароход, где на виду у журналистов капитан пригласил его на мостик. Когда же пароход удалился от журналистов на достаточное расстояние, «героя» увели с мостика и посадили под замок. Вблизи советских берегов его встретил специальный катер, который доставил его на берег, где уже ждал «воронок», который отвез его в тюрьму. После следствия КГБ направило его на психиатрическую экспертизу.

Это был единственный человек из всех мною встреченных, который, как мне кажется, попал на экспертизу закономерно. Нужно быть или круглым дураком, или психически больным человеком, чтобы добровольно променять свободу на Западе на 15 лет тюрьмы или бессрочное заключение в спецбольнице — в Советском Союзе.

Эти люди не произвели на меня сильного впечатления и потому я не запомнил их фамилий. Однако, имя человека, находившегося в отдельной палате, я хорошо запомнил: Вальтер Мантейфель. Бабки не разрешали не только с ним разговаривать, но даже подходить к дверям его палаты, но уже было известно, что Мантейфель— член террористической организации, непримиримый антикоммунист. Вместе с другими членами организации, Мантейфель судил и повесил в городском парке города Баку нескольких коммунистов.

Пока я знакомился со всеми этими сведениями, бабки сидели «ушки-на-макушке», но молча. Ушлые бабки, выполняющие, конечно, не одни только санитарские обязанности, делали все, чтобы мы считали их чем-то вроде мебели и не стеснялись в разговорах друг с другом. Я уверен, что во всех палатах были установлены микрофоны, но бабки, несомненно, дублировали технику. Кстати, кроме бабок, другой мебели в палатах не было, только одна какая-то колода, не то залитая цементом, не то засыпанная песком, — чтобы никто не мог ее поднять. Были и

другие предосторожности, иногда очень смешные. Например, фрамуга в окне была закрыта на большой висячий замок. Ключ от этого замка хранился у надзирателя и когда хотели открыть фрамугу для проветривания, без надзирателя этого нельзя было сделать.

Еду нам бабки приносили в палату, чтобы в столовой мы ни с кем не встречались. Еда оказалась лишь чуть-чуть лучше, чем в тюрьме: одна мясная сарделька в неделю, остальное время — каши и супы без мяса.

Потекли однообразные дни. Прогулка, вносящая какое-то разнообразие, теоретически могла быть только три раза в неделю (согласно распорядка), однако персоналу не хотелось организовывать ее и прогулка часто срывалась под разными благовидными предлогами. Иногда я играл с Завадским в шахматы, иногда невнимательно читал. Голова моя была занята другим и потому читать не хотелось.

Провести экспертизу начальство института не торопилось. Срок в один месяц, установленный для этого законом, никогда не выдерживался. Политических держали на экспертизе по 2, 3 и больше месяцев. Вся экспертиза практически заключалась только в «наблюдении» за ними. Где-то велся журнал этих наблюдений, в который записывались все наши разговоры и все наши действия. Было очень скучно.

* * *

Нашу скуку немного разогнал прибывший однажды утром новый политзаключенный. Я проснулся оттого,

что кто-то громко разговаривал. Я поднял голову с подушки и увидел новенького. Это был молодой человек среднего роста, с интеллигентным лицом, живой и жизнерадостный. Заметив, что я проснулся, он дружески представился: Юрий Белов!

Белов сразу стал рассказывать о себе. Он — недоучившийся врач и журналист. Несмотря на свою молодость, Белов уже побывал в тюрьмах и ссылках, а в институте имени Сербского — второй раз. Бабки его узнали и приветствовали, как старого знакомого. В первый же день Белов сообщил нам, что слышал и о Завадском и о Мантейфеле. Завадский якобы — известный в политических лагерях украинский националист, а Мантейфель — ярый антикоммунист и террорист. Завадский позднее говорил мне, что эти слова Белова якобы повредили ему. Несмотря на запрещение, Белов однажды подбежал к камере Мантейфеля и я с ним. Мантейфель вышел нам навстречу. Это был

высокий и красивый молодой человек, интеллигентного вида. Мы заговорили. Сперва он спросил меня, за что я попал в тюрьму и как-то само собой получилось, что он высказал свое кредо: «Бог — превыше всего!» Он также высказал свое полное неприятие коммунизма и его спутника — пьянства. О пьянстве он сказал, что «коммунисты умышленно спаивают народ, ибо и с материальной и с моральной точек зрения это им выгодно». Мантейфель сообщил нам, что его мать русская, а отец — немецкий пилот времен Второй мировой войны. Отец Мантейфеля был еще жив и жил в Кёльне, но коммунисты не разрешали сыну не только видеться, но даже переписываться со своим отцом.

Жаль, что бабки не дали нам возможности продолжить беседу под угрозой карцера и уколов. Больше я не имел возможности поговорить с ним, но и эта единственная беседа имела для меня свои последствия. Тогда я подумал: «Если такие люди идут в террористы, значит, терроризм — не худший метод борьбы с коммунизмом!»

Глава 28. Врачи и подъэкспертные

Глава 28. Врачи и подъэкспертные.

Белов любил высмеивать коммунистические порядки.

Вскоре после появления в палате он выпустил рукописную газету. Он назвал ее «Кинерфозиш», что является перевернутым словом «шизофреник». В газете Белов поместил ряд остроумных заметок и рисунков на злобу дня, в том числе и о пресловутом замке на фрамуге. Он начал эту заметку так: «Как сообщает наш собственный корреспондент из Тель-Авива...» Во время обхода врачей газета лежала развернутой на койке Белова. Обход, как всегда, возглавлял начальник 4-го отделения — маленький, жирный доктор тюремных наук, профессор Данила Романович Лунц, он же — полковник КГБ.

За ним шла свита врачей: две женщины (одна из которых, по слухам, родственница Дзержинского) и молодой человек — Альберт Александрович, которого я прозвал Сопляком. Мы встали при входе тюремного начальства и Лунц каждого спросил о самочувствии. Подойдя в свою очередь к койке Белова, Лунц невозмутимо посмотрел его газету и молча положил на место. То же самое проделали обе

женщины. Один Сопляк, с нетерпением желавший выслужиться, прошипел Белову: Вы — антисоветчик!

— Вы мне польстили, — просто ответил Юрий.

Выдержав порядочное время, меня, наконец, вызвали к врачу «на беседу». Моим лечащим врачом оказался тот самый Сопляк, глупость которого я заметил сразу, как в первый раз увидел его. Видимо, чей-то протеже, молодой человек по блату попал в медицинский институт, а оттуда, также по блату, — в научно-исследовательский институт имени Сербского. Он был совершенно обделен умом от природы и если бы ему не посчастливилось родиться в Советском Союзе, где другие качества ценятся больше, чем ум, то от интеллектуальной деятельности ему пришлось бы отказаться. Возможно, он смог бы работать продавцом в комиссионной лавке или каким-нибудь агентом по сбыту пылесосов и этим приносить пользу. В медицине же, тем более в психиатрии, он просто паразитировал на теле народа, как паразитирует вошь на теле человека. По своим моральным качествам остальные врачи были не лучше Сопляка, однако, они были умны и вызывали у меня ненависть, тогда как Соп-

ляк вызывал только презрение. В первый же свой прием Сопляк начал совершенно откровенно искать у меня хоть какой-нибудь объективный признак, пригодный для обвинения меня в сумасшествии. Он справился, хорошо ли я сплю? Потом спросил, всю ли жизнь у меня был хороший сон и не помню ли я случая, когда он был плохой? Не болит ли у меня голова? Не кажется ли мне что-нибудь? Получив на все вопросы отрицательные ответы, он задумался, а потом глубокомысленно заявил (точно также, как вызванный к доске, но не приготовивший дома уроков, неуспевающий ученик тычет указкой в карту наугад, надеясь на то, что «кривая вывезет»):

— Тогда вам надо сделать рентген черепа!

— Это еще зачем? — изумился я.

— Чтобы посмотреть, нет ли у вас каких-нибудь шрамов на черепе, свидетельствующих о полученных ударах и ушибах.

— Смотрите, если хотите так, а рентген головы делать не дам: меня за короткий срок, что я в тюрьме, облучали рентгеновскими лучами уже несколько раз, а облучать больше одного раза в год — вредно для здоровья! — возразил я.

Больше Сопляк меня не вызывал. Анализами тоже не докучали. Хотя время тянулось очень медленно, тем не менее, наконец, наступил день, когда исполнился месяц моего пребывания на экспертизе. Окрыленный словами заведующего Херсонской экспертизой, я был уверен в том, что институт имени Сербского также признает меня здоровым. «Какой им смысл прятать меня, еще не совершившего ничего особенного против советской власти, в сумасшедший дом, подобно крупным и известным на Западе антисоветчикам? — говорил я Белову. — Меня никто не знает сейчас, а такая сверхъестественная мера наказания сделала бы меня широко известным!» Белов без энтузиазма соглашался с моими доводами и говорил, что допускает «в виде исключения», что меня признают здоровым.

Перед комиссией мне сделали некоторые анализы (крови и мочи), а также записали биотоки мозга. В кабинет записи биотоков мозга меня повела молодая девушка, однако надзиратель шел сзади нас, на расстоянии 15-20 шагов. Я заметил, что перед тем, как мне предстояло пройти по коридору, все больные, гулявшие до того там, были водворены в палаты, а двери палат плотно закрыты. Не трудно догадаться для чего это делалось: чтобы никто из уголовников не видел политического. «Не видел» и «нет» — часто считаются синонимами.

— Есть в институте Сербского политические? — спросят у кого-нибудь из бывших там уголовников.

— Никогда не видел, — ответит тот.

— Значит их там нет, — интерпретирует этот ответ по-своему какой-нибудь политический босс. Многие неискушенные люди, в том числе иностранцы, этому поверят.

На аппаратуре записи биотоков мозга я увидел французское клеймо и мысленно обругал Францию за политическую проституцию (уже в который раз!). В кабинете девушка дала мне какую-то таблетку и велела ее проглотить. Я, конечно, ее не проглотил, а незаметно выплюнул. Затем девушка укрепила на моей голове, на моих руках и ногах множество электрических контактов с помощью присосок. Потом она включила аппаратуру и велела мне не отрываясь смотреть на нестерпимо яркий свет,

вспыхивающий перед моими глазами с переменной частотой, да еще и с переменными цветами. Едва девушка отошла от меня, я отвернулся и

на свет больше не смотрел. В соседней комнате два самописца долго чертили графики биотоков моего мозга. Около самописцев суетились 2-3 научных работника.

Потом мне предложили тесты. Это были разноцветные картинки, в основном, абстрактные. Меня спрашивали, что мне напоминает каждая картинка?

— Ну, а теперь проверим вас по тесту, который разработан в нашем институте, — с гордостью сказала мне женщина, очевидно, соавтор этого теста (в СССР редко бывают одиночные авторы).

Мне дали карточку с двумя вертикальными колонками цифр, дали карандаш и попросили умножить цифры друг на друга и сбоку написать ответ. Женщина — «соавтор» сидела рядом со мной и, лихорадочно щелкая секундомером, замеряла время, которое мне требовалось на умножение цифр из первого ряда, из второго ряда и т.д. Одновременно она записывала на бумажку эти отчеты секундомера. Естественно, последнюю пару цифр я умножал дольше, чем первую, потому что устал. Ну, и что это доказывает?

— Ну, как вам понравился наш тест? Вы, ведь, кибернетик и ваше мнение нам очень интересно знать! — спросила женщина, когда я кончил умножать.

— Тест не доработан, — как мог мягко высказал я свое мнение. — Во-первых, ваша лихорадочная работа с секундомером имеет мало общего с принципами механизации процессов диагностики с помощью тестов. Во-вторых, у вас нет никакой возможности быстро проверить, правильно я произвел умножение или нет.

— Это для нас не имеет значения, — обиженно ответила «соавтор» и велела санитарке увести меня в палату.

Позднее я догадался, что главным автором этого глупого теста наверняка был сам профессор Лунц. Это на него так похоже! Хотя, этот тест мог быть не только «глупым», но и провокационным. Не исключено, что естественное и нормальное уставание при производстве умножения врачи могли интерпретировать как психическую патологию в тех случаях, когда по политическим причинам человека следовало признать невменяемым.

Глава 29. Первая комиссия

Глава 29. Первая комиссия.

На другой день после всех этих тестов и анализов меня вызвали на комиссию. Я играл с Завадским в шахматы, когда в палату заглянула старшая сестра и позвала меня:

— Юрий Александрович! На минуточку!

Старшая медсестра привела меня в большую комнату, где стоял длинный стол, а за столом сидели Лунц, Сопляк и одна из женщин-врачей, входящих обычно в свиту Лунца.

Лунц предложил мне сесть за этот же стол и стал задавать вопросы. Все они касались моего преступления. Я объяснил комиссии цель и способ моего выхода в море точно так, как говорил на следствии в КГБ. Вопросы и реплики членов комиссии были настолько серые, что я не запомнил ни одной из них. Казалось, что комиссия шла не на «полном серьезе».

После комиссии у меня появилось тревожное чувство. Я опасался, что эта первая комиссия — лишь формальность, после которой я останусь в институте еще минимум на месяц. Скоро мои опасения оправдались полностью. На обходе Сопляк сказал, что я оставлен до следующей комиссии. На это я возразил, что Уголовно-Про-цессуальный кодекс ограничивает срок экспертизы одним месяцем и в знак протеста объявил голодовку. Голодовку я держал три дня. На четвертый день меня предупредили, что если я не прекращу голодовку, то меня будут кормить насильно через шланг. О таком виде кормления я раньше ничего не слышал, но Белов и Завадский, оба находившиеся в заключении уже не в первый раз, подтвердили, что такое кормление тюремщики действительно применяют.

— Раздерут вам шлангом внутренности — потом будете всю жизнь язвой желудка мучиться! — заметил Белов.

Я понял, что голодовка, о которой ничего не знают за стенами тюрьмы, в СССР — не метод борьбы. Когда

позднее меня вызвал Сопляк и стал уговаривать прекратить голодовку, предлагая выполнить кое-какие требования, я согласился. Я согласился находиться на экспертизе еще месяц, но не более. Администрация в свою очередь, обещала добиться присылки оставшихся у следователя

моих денег, а также — зимних вещей из моей ленинградской комнаты.

Когда я вернулся в палату, ушлые бабки сразу накормили меня. За три дня я очень ослабел и стал практически неработоспособным, зато приобрел опыт. Этот опыт заполнил пробел в моем познании самого себя. Раньше я не знал, сколько дней мой организм смог бы сохранять работоспособность тела без питания, не жизнь, а именно работоспособность. Голодание было возможно в условиях моего будущего побега и я должен был знать, какое время я смог бы продолжать свой побег без пищи. Теперь я этот срок знал.

Еще одна цель была у моей голодовки: посредством поста укрепить свой дух. Этой цели я достиг. Мой дух окреп, хотя тело и ослабело.

* * *

Удовлетворить мое требование насчет пересылки денег администрации института было нетрудно. Вскоре Сопляк сообщил мне, что мои деньги пришли и я могу заказать на них продукты. Я попросил медсестру купить на них масла и колбасы. За завтраком я угостил моих друзей по несчастью.

Особенно мне хотелось подкормить Ниязы Дедабаша, потому что он был страшно худой. Когда Дедабаш раздевался, то скорее походил на скелет, чем на живого человека. Я сам много голодал и видел других голодающих, но никогда раньше не замечал на плечах у очень худого человека оголенных ключиц. У Дедабаша же они выделялись особенно. Я спрашивал у него, почему он такой худой, но никакого удовлетворительного ответа не получил. Наверное, он сидел в карцере, но рассказывать об этом не хотел. Ниязы Дедабаш называл себя крестьянином. Три года назад он нелегально перешел советскую

границу, чтобы «поступить учиться в СССР». Его поймали, отдали под суд и дали 8 лет за «шпионаж». Он сидел в Потьме, в отделении для иностранцев, и все эти годы делал там шахматные фигурки. Когда прошло 3 года, Ниязы была предложена свобода. «Мы переквалифицируем ваше преступление по статье «обыкновенный переход границы» (до трех лет), а вы — примите советское гражданство!» — предложил ему тюремный начальник. Ниязы отверг это предложение. Тогда его направили в институт имени Сербского. В институте он вел себя осторожно: хотя он знал русский язык достаточно для того, чтобы читать русские книги и беседовать с нами на любые темы, однако, политики он не касался и с врачами разговаривать по-

русски отказывался, требуя переводчика. Мне было приятно, что ему особенно нравились произведения Писемского — одного из моих любимых авторов. Легенда, которую рассказал нам Дедабаш, казалась мне мало достоверной. Вряд ли он был простым крестьянином. Даже после тюрьмы и голодовки он был все еще очень красив собою и имел привычки интеллигентного человека. Однако, Завадский защищал его версию, утверждая, что на Западе любой крестьянин выглядит как интеллигентный человек. Кем бы Дедабаш ни был на самом деле, для меня не важно. Важно то, что мы с ним были в одинаковых условиях, то есть, были друзьями по несчастью, а также то, что мы одинаково смотрели на многие вещи (недаром мы любили одного и того же писателя), хотя принадлежали к разным народам и разным религиям.

Глава 30. Вторая комиссия

Глава 30. Вторая комиссия.

Завадского тоже вызывали на комиссию и оставили еще на месяц. Так же поступили и с Беловым. На обходе Завадский попросил Лунца поменять ему лечащего врача (того же самого Сопляка):

— Альберт Александрович исходит из того, что я — психически больной и только ищет предлога, чтобы официально обвинить меня в этом. Дайте мне объективного врача! — сказал он.

— Не беспокойтесь! — внушительно ответил Лунц.

— Решение о вашей вменяемости будет принимать не Альберт Александрович, а — комиссия. Между прочим, не хотите ли вы помочь комиссии принять правильное решение? Я предлагаю вам, пользуясь свободным временем, написать какой-нибудь маленький рассказ и показать его нам.

К моему удивлению Завадский согласился. Ему дали бумагу, карандаш, и некоторое время Завадский корпел над своим сочинением. Наконец, он объявил нам, что рассказ закончен. Меня Завадский попросил переписать рассказ крупным, разборчивым почерком, а Белов вызвался сделать к рассказу иллюстрации. Переписывая рассказ, который был сделан специально на потребу коммунистам, я от души смеялся над его содержанием. Рассказ был военный и его участники делились на

ходульных «красных героев» и фашистов — стопроцентных негодяев и трусов. Последним определением Завадский перещеголял даже профессиональных советских антифашистов. Не менее насмешливо отнесся к рассказу и Белов. Каково было наше удивление, когда мы услышали от возмущенного автора, что «он и на самом деле так думает и просит прекратить наши шутки, а то он обидится».

— Вас не удивляет тот факт, что среди наших палачей все до одного антифашисты? — возразил я Завадскому.

— Казалось бы, если ваш тезис верен, то они все должны быть не палачами, а — хорошими, гуманными людьми: ведь, они ненавидят фашизм якобы за его антигуманность!? Однако, до тех бесчеловечных преступлений, что совершают коммунистические антифашисты — до психиатрических концлагерей, куда хотят упрятать нас с вами, никогда не додумались ни немецкие, ни итальянские фашисты. Поэтому я считаю, что от воинствующего антифашиста до коммуниста — только один шаг! А Белов добавил:

— Между прочим, и обыкновенные, не психиатрические концлагеря смерти изобрели тоже не фашисты, а — коммунисты, в частности — Ленин!

Мы с ним обменялись еще несколькими резкими словами, но в этот раз еще не поссорились. Однако, ссора

все же произошла. Когда через несколько дней разговор зашел о Боге, то Завадский не только не поддержал верующих (Белова, меня и Дедабаша), но даже стал богохульствовать. Я не выдержал:

— Воинствующий атеист — это тот же коммунист! — заявил я и перестал с ним разговаривать.

Я потребовал встречи с профессором Лунцем и однажды был допущен к нему на «собеседование». Впечатление от встречи осталось самое удручающее. Лунц разговаривал со мной высокомерней исключительно на языке двоемыслия. Он заявил, что для него безразлично, какое преступление я совершил и что его якобы интересует только голый факт: вменяем я или невменяем? На мои возражения и упоминание выводов Херсонской экспертизы, Лунц пожал плечами и обвинил херсонских врачей в «некомпетентности». Когда же я спросил его, почему меня поместили отдельно от других подъэкспертных, в специальное, секретное отделение, если его интересует «один только голый факт моей вменяемости», Лунц сделал

вид, что я нагрубил ему и велел меня увести обратно в палату.

Дни в институте тянулись ужасно медленно и бесцветно: утром ждали завтрака, потом — обеда, после обеда — ужина. Разнообразие вносили лишь очень редкие прогулки, игра в шахматы, да рассказы Белова. Белов был хорошим рассказчиком и рассказывал он много интересного. В частности, он много рассказывал о так называемой «легальной борьбе» против коммунизма. К такого рода борьбе он причислял разного рода письма, обращения, в том числе через западных корреспондентов. Он никого из нас не агитировал идти после освобождения к западным журналистам и устраивать у них пресс-конференции или передавать им письменные заявления. Он просто несколько раз, чтобы мы запомнили, назвал адрес американских журналистов в Москве. К сожалению, редакторы западных радиостанций, вещающих на русском языке, не так предусмотрительны, как Юрий Белов. С 1977 по 1979 годы я слушал передачи западных станций ежедневно и хоть бы одна из них «случайно» назвала адрес западного корреспондентского пункта в Москве или адрес какого-

нибудь диссидента в Советском Союзе! Никогда! Даже рассказывая о том, как Сахаров принимал западных корреспондентов в своей московской квартире, ни один редактор «Голоса Америки» не догадался указать адрес этой квартиры!

Белов много рассказывал о РОА (Русская Освободительная Армия) и УПА (Украинская Повстанческая Армия), с бывшими бойцами которых ему довелось встретиться в лагерях. Также спокойно и объективно Белов говорил о фашизме, о терроризме и сидящего рядом с нами в одиночной камере террориста Мантейфеля — не осуждал.

Оказывается, Белов бывал и у памятника Маяковскому в Москве, когда там читались не подцензурные стихи. С некоторыми стихами он нас познакомил. Мне особенно понравились стихи Галанскова, я их запомнил и потом читал другим заключенным:

«Эх, романтика, синий дым!

Наши души пошли на портянки!

Сколько крови и сколько воды

Утекло в подземелья Лубянки!»

Белов и сам написал стихотворение «Я — из страны расстрелянных»,

которое мне понравилось.

* * *

От скуки Белов решил полечиться. Врачи не возражали и даже дали ему направление в физиотерапевтический кабинет. Заведующей физиотерапевтическим кабинетом была молодящаяся, довольно еще красивая дама — жена генерала КГБ, кажется, Лукашевича. Но я называл ее «генеральша Ставрогина», потому что она напоминала мне мать главного беса из романа Достоевского «Бесы». Было заметно, что генеральше очень хотелось познакомиться и поговорить с видными политзаключенными. Надо думать, что потом, в своем будуаре, эта дама пересказывала услышанное другим, таким же великосветским дамам со многими прибавлениями, а те ахали и завидовали ей. Когда Юрия Белова привели в ее кабинет на

прогревание члена, застуженного в карцере концлагеря, генеральша вышла ему навстречу и, якобы не доверяя медсестре, лично намотала электропровод на его член и потом, все время, отведенное на прогревание, беседовала с ним о политике, литературе, живописи. Конечно, она знала от своего мужа, что большинство политических не были сумасшедшими, и, как губка, впитывала каждое его слово, в том числе и его антикоммунистические высказывания, которые он считал нужным ей сообщить.

— Мне удалось разагитировать одного офицера КГБ-шника в лагере, может быть удастся и эту даму! — объяснил мне Белов.

От холода и сквозняков у меня разболелась поясница. Узнав об этом, врачи и меня тоже направили на прогревание в физиотерапевтический кабинет. Мною занималась медсестра, с генеральшей мы только обменялись приветствиями. Но едва только привели Белова, генеральша сразу забросала его вопросами обо мне:

— Кто он? Тоже писатель? Поэт? Абстрактный художник?

Внешность моя тогда действительно делала меня похожим на жреца Богемы. Меня не стригли уже 8 месяцев (политических в СССР до суда не стригут, а после осуждения снимают волосы наголо). Мои вьющиеся, полуседые волосы опускались до плеч и придавали мне сходство с поэтом или художником, как их представляют себе советские обыватели.

Но Белов разочаровал генеральшу:

— Кибернетик! — сказал он.

Ставрогина больше не спрашивала обо мне.

Вторая комиссия состоялась в начале марта 1968 года. Кроме начальника отделения Лунца и моего лечащего врача Сопляка, на ней присутствовал генерал КГБ, директор института Морозов и старая карга — член Верховного Суда СССР, имя которой я не знаю. Перед ними на столе лежали два тома моего уголовного дела со множеством закладок. Мне велели сесть за стол, напротив их, и Лунц начал задавать вопросы.

— Юрий Александрович, — начал он очень солидно, — вот здесь, в сопроводительном письме крымского УКГБ

написано, — он ткнул коротким жирным пальцем в один из томов, — что следователь якобы гипнотизировал вас. Это правда? Как вы ощущали этот гипноз?

— Я никогда не говорил, что следователь «гипнотизировал» меня. Вы, наверно, имеете в виду мои слова о том, что следователь «меня измотал и заморочил мне голову»?

— Вот как! Ну, а как насчет того, что следователь, якобы, запугивал вашу любовницу Иру Бежанидзе во время ее допроса в качестве свидетеля? Эти ваши слова тоже надо понимать как-нибудь иначе? — без всякой паузы и с заметным пристрастием продолжал Лунц.

— Тут надо понимать буквально.

Члены комиссии удовлетворенно переглянулись между собой. Следующей заговорила старуха.

— Э-э-э! Объясните ваши слова… Вы сказали на следствии, что в СССР… все люди живут на грани… э-э-э… нищеты, так как на зарплату прожить невозможно?

Старая большевичка тяжело дышала, открыв рот, и была похожа на курицу в жару. Отдышавшись она продолжала:

— Тогда откуда же у людей свои автомашины, дачи, квартиры, телевизоры… э-э-э… холодильники, если они живут на грани нищеты?

— Машины и дачи у тех, кто ворует, спекулирует, берет взятки или принадлежит к правящей элите, — ответил я.

— Значит, они все живут нечестно, кто имеет машины и дачи?

— Все!

Старая карга замотала головой, как лошадь, у которой в торбе кончился овес. Остальные члены комиссии снова «понимающе» переглянулись.

— А где можно столько украсть, чтобы хватило на машину? Не все же... э-э-э... в банке работают! — съязвила старая большевичка.

— А я вот сейчас скажу где, — ответил я. — Работал начальником вычислительного центра ЛОМО некто Брадобреев Яков Иосифович и по совместительству спиртом ведал. Иными словами, он выполнял совершенно не свой-

ственную его должности работу заводского кладовщика спирта. А спирт в СССР не употребляют по назначению — для промывки оптики и контактов, а — пьют, как вам хорошо известно. Вот он и пользовался этим спиртом, как деньгами, и построил себе дачу в Комарово, где академики живут, говорят, за этот спирт! Возможно, не за один спирт, были и еще махинации, но только не на зарплату: его оклад был равен всего 180 рублей в месяц, а дача в Комарове стоит от 50 000 до 100 000 рублей! А некто Ильиных, в том же ЛОМО, получая оклад 125 рублей в месяц, имел машину, которая стоит 5 000 рублей. Что он украл, чтобы купить машину, я не знаю, но гараж для своей машины он построил все за тот же ворованный спирт. Я узнал об этом из стенной газеты, после того, как его поймали с поличным.

— Вы тоже хотели иметь собственную машину, неправда ли? И очень разочарованы тем, что не смогли купить ее? — вдруг вмешался Морозов.

— Я никогда не был автолюбителем, — честно ответил

— Ну, тогда — квартиру! Ведь, вы разочарованы тем, что работали инженером в вычислительном центре, а не имели денег на покупку машины... или там квартиры? В этом вы обвиняли коммунистическую партию? Не правда ли? Только партия, считали вы, виновата в том, что вы — лучший кибернетик в СССР, не смогли купить себе машину?

— Какая глупость! — возмутился я. — Я никогда не думал и не говорил, что я — «лучший кибернетик в СССР»!

— Но вы часто меняли место работы, считая, что вас мало ценят?—снова вступил в разговор Лунц.

— Я получал слишком маленькую зарплату! Ее не хватало даже на одно

питание! Прочитайте, пожалуйста, мое дело — там все это записано! Именно поэтому я менял место работы.

Человеку свойственно надеяться до последнего момента. Хотя разум подсказывал мне, что все уже решено, я все же добавил «на всякий случай»:

— Я прошу комиссию не применять ко мне такой жестокой меры наказания, как посылка в сумасшедший дом!

Я никогда не боролся против советской власти и такая кара на много превысила бы тяжесть совершенного мной преступления.

— Ладно, мы разберемся, — грубо перебил меня Морозов. — Можете идти в палату!

* * *

В палате выслушали мой рассказ и все пришли к заключению, что мне «шьют манию величия». На следующий день я спросил Сопляка о результатах комиссии.

— Еще не отпечатано решение, — уклонился он от ответа.

— Ну, тогда скажите, куда меня комиссия направила?

— Поедете в Лефортово, — опять уклонился он.

— Что вы у этого попки спрашиваете? Разве он скажет? — заметил мне Юрий.

Вскоре после комиссии генеральша Ставрогина вдруг снова вспомнила обо мне. Она спросила Белова, как я себя чувствую, чем занимаюсь в палате и потом, как бы про себя, промолвила:

— Как жаль...

Белов все это подробно пересказал мне и добавил:

— По-моему, ее последние слова относятся к вашему диагнозу. Наверно она узнала о том, что вас признали невменяемым и жалеет об этом.

На всякий случай Белов дал мне адрес явки в Ленинграде, где после освобождения мне могли оказать помощь.

Догадка Белова скоро подтвердилась. Однажды утром в наше отделение заглянула старшая сестра:

— Ветохин, на минуточку!

— Ну, прощайте, Юрий Александрович! — сказал мне Белов.

— Да не прощайтесь, сейчас вернетесь назад! — заверила меня сестра.

Но я все же пожал руку Белову, Дедабашу и остальным. Дедабаш при этом еще раз шепнул мне свой турецкий адрес, а Белов — адрес ленинградской явки.

Старшая сестра повела меня по черной лестнице вниз, в специальную комнату, где уже лежали мои зимние вещи, присланные из Ленинграда.

Глава 31. Снова тюрьма

175

Глава 31. Снова тюрьма

Надев на себя черный костюм, зимние теплые ботинки, зимнее пальто и шапку, я на миг снова почувствовал себя человеком. Однако, только на миг. Скоро я опять очутился в Лефортовской тюрьме и снова прошел унизительную процедуру обыска. Я заметил, что тюремщики теперь смотрели на меня как-то по особому. Потом я попросил надзирателя свести меня в медпункт, чтобы смазать мазью заболевшую ногу. И там тоже на меня смотрели по-особому. Приведя меня в медпункт, надзиратель сразу что-то шепнул медсестре, указав на меня глазами. «Очевидно, он сказал ей, что я помешанный», — подумал я и решил проверить.

Когда настало время обеда и надзиратель открыл кормушку моей камеры, я подошел к кормушке и сказал человеку, собиравшемуся налить мне суп из общего бака:

— Мне положен обед не из общего бака! Я признан больным в институте имени Сербского и потому я должен получать диету.

— Я узнаю, — ответил человек и ушел.

Через некоторое время мне принесли другой, диетический обед. Сомнений насчет решения комиссии больше не было никаких.

* * *

Этап привез меня в Симферополь в день моего рождения, 18 марта 1968 года. В этот день мне исполнилось 40 лет. В Симферополе ярко светило солнце и голубело небо и это было своеобразным подарком к моему

юбилею. Когда меня вывели из моего одноместного купе вагоне и на короткое время присоединили к другим зекам то один из них, видимо из-за моих длинных волос и зимней шапки без ушей, принял меня за священника и подошел с просьбой:

— Благословите меня, батюшка!

— К сожалению, я не батюшка, — как мог ласково ответил я.

Мне стало тепло на душе: я еще раз убедился, что никакие чекисты не могут убить у людей веру в Бога и, значит, я не выгляжу уголовником, если посторонний человек мог принять меня за священника.

В Симферопольской тюрьме меня снова поместили в одиночную камеру и не дали ни матраца, ни одеяла. Я стал руками и ногами стучать в дверь камеры и требовать врача. Вместо врача пришел корпусной начальник.

— Я признан больным на Московской экспертизе, а вы держите меня в подвальной камере без матраца и одеяла! Переведите меня в тюремную больничку! — заявил я офицеру.

Вместо перевода мне дали матрац. Я продолжал стучать в дверь, пока, наконец, не пришел начальник больнички — старший лейтенант.

— Что вы хотите? — спросил он меня.

— Я — больной. Следовательно мне место в больничке. Переведите меня туда!

На следующее утро меня сводили в баню, где остригли наголо, а потом перевели в больничку.

Больничка в Симферопольской тюрьме занимала небольшое одноэтажное здание напротив прогулочных двориков. В здании было 8 камер. Меня поместили в камеру, где стояло 5 коек. На койках имелось постельное белье, подушки и одеяла. Окно в камере было большое и без баяна, т.е. не закрыто деревянными досками, но стекла оказались закрашенными масляной краской. Питание было лучше, чем в тюрьме: на обед давали по маленькому кусочку мяса, по кружке молока и полкружки несладкого компота (в дополнение к обычному тюремному обеду). Прогулка могла продолжаться до 2-х часов (на усмотрение надзирателя).

Сперва моими соседями по камере были два уголовника. Один из них стоит того, чтобы о нем рассказать. Этот уголовник работал на

спиртоводочном заводе и, как многие в Советском Союзе, воровал там, где работал. Однако, воровал неумеренно. По его словам, у него в доме была сделана цистерна, в которой он собрал

целую тонну спирта. На своей машине охранник развозил этот спирт в отдаленные селения и там продавал. Даже продавая спирт по ценам, более низким, чем государственные, он выручал за тонну более 10000 рублей. Но кто-то донес на него. Теперь охранник целыми днями проклинал доносчика и доказывал нам, что с ним поступили несправедливо, арестовав его одного.

— На нашем заводе все воруют! Что, я один за всех должен отдуваться? — кричал он и грозил: — если начальство не вытащит меня из тюрьмы, я их всех разоблачу на суде!

В связи с этой его угрозой «всех разоблачить», я вспомнил другой случай: в то же самое время в Симферопольской тюрьме сидел еще мошенник — директор какого-то завода. В течение многих лет он получал доходы с цеха ковров, нелегально организованного им на заводе. Когда на суде его спросили, знал ли кто-нибудь еще о его махинациях, то он якобы ответил:

«Знали первый секретарь Крымского Обкома партии и председатель Крымского облисполкома и получали за молчание богатые подарки. В доказательство своих слов он рассказал, где он запрятал дарственные записки: в воротнике мехового манто, подаренного им жене первого секретаря, и — в ножке стола, подаренного им председателю исполкома, богатого заграничного гарнитура. Обе записки нашли. После этого первого секретаря сняли и перевели в Киев с повышением, а директора — расстреляли. Не болтай!

На второй или третий день в нашу камеру привели нового больного. Знакомясь с нами, он сказал, что попал в автомобильную катастрофу и получил много увечий и что теперь у него первая группа инвалидности. С места в карьер он приступил ко мне с расспросами, а потом, как-то уж очень быстро, предложил выход из моего положения.

— Я вам серьезно говорю и вы мне серьезно ответьте: что, если бы компетентные люди предложили вам немедленную свободу в обмен на ваше выступление в газете, скажем в «Ленинградской правде»? В Ленинграде вас многие знают, как хорошего специалиста (я не говорил

ему об этом) и они не могут понять, как могло случиться, что вы изменили родине? Вот вы и напишите, что наслушались лживой буржуазной пропаганды по радио, а теперь одумались. Вы, мол, поняли, что являетесь только игрушкой в руках западной пропаганды. Раскайтесь публично в газете, раскритикуйте свои бывшие антисоветские взгляды — и сразу свобода!

— Кто вам поручил сделать мне это предложение?

— Никто не поручал, я сам.

То-то и видно, что «сам»! На теле ни одной царапины, цветущий вид, а выдает себя за инвалида первой группы и сходу пытается учить других людей, как им жить!

—Так значит: нет?

— Конечно, нет!

На следующий день «инвалида» убрали из палаты. Ясно, что через него мне предлагали «пряник». Политика «кнута и пряника» применялась ко мне во все время моего заключения. Вероятно, это и есть генеральная политика КГБ.

Глава 32. Суд

Глава 32. Суд.

Однажды Левитанша *) принесла мне бумагу и показала ее через кормушку. В бумаге сообщалось, что следствие по моему , делу закончено и дело передано прокурору Через два дня после этого, мне велели расписаться в другой бумаге, где сообщалось, что дело мое «за судом». Еще через два дня состоялся и суд, на который меня не вызвали. Даже назначенный коммунистами защитник Шелест не пришел повидать меня и поговорить со мной.

В конце марта 1968 года Определение суда было отпечатано и Левитанша принесла его мне для ознакомления. Я взял через кормушку этот документ и стал тут же его читать:

*) «Левитанша» — тюремная кличка. «Левитаншей» в советских тюрьмах зовут надзирательниц, в обязанности которых входит объявлять заключенным о важных решениях, касающихся их судеб, и приносить

им копии приговоров и других важных бумаг. Название пошло от Левитана — главного диктора советского радио и телевидения.

«Крымский Областной суд в составе:

председателя суда — Качалова, народных заседателей (указывались фамилии двух марионеток) при прокуроре — заместителе Областного прокурора Некрасове и защитнике Шелесте,

РАССМОТРЕЛ

в открытом судебном заседании дело по обвинению заведующего сектором ВНИИХП Ветохина Юрия Александровича в преступлении, оговоренном статьями 17 и 56 УК УССР и

УСТАНОВИЛ:

имея изменническое намерение бежать в Турцию, после длительной подготовки, Ветохин Ю.А. 11 июля 1967 года прилетел на самолете из Ленинграда в Крым и к вечеру проник в запретное для ночного пребывания место на берегу Черного моря — в бухту Змеиную, находящуюся вблизи поселка Планерское. С собой Ветохин имел надувную лодку, оборудованную самодельными килем и пару сом, продукты питания, пресную воду, медикаменты и другие вещи. Рано утром 12 июля Ветохин надул лодку и вышел в море с целью побега, но в 5,5 милях от берега был задержан кораблем ВМФ СССР, то есть совершил преступление, оговоренное статьями 17 и 56 У К УССР.

Однако, психиатрическая экспертиза в институте имени Сербского установила, что Ветохин страдает психическим заболеванием: параноидальным развитием личности, возможно, с поражением мозга, является невменяемым и нуждается в принудительном спецлечении.

На основании вышеизложенного Крымский Областной суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. От наказания и из-под стражи Ветохина Ю.А. освободить.

2. Направить Ветохина Ю.А. на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа.

3. Все вещи и орудия преступления, находившиеся у Ветохина в момент ареста, конфисковать в пользу государства. Продукты питания вернуть осужденному.

4. Все вещи из комнаты, в которой Ветохин жил в Ленин-

граде, передать его бывшей жене Ветохиной Т.И.»

Первая моя мысль была таковой: «Значит, меня заживо хоронят, если вещи отдают бывшей жене?» Немного успокоившись, я понял, что хотя это и глупо и обидно, но — не главное. Главное — другое. Главное — то, что следователь солгал, будто бы у меня снова статья переквалифицирована на 75-ю, а также то, что меня направляли в спецбольницу и не указывали срок, на который направляли.

—Вы мне разрешите взять копию определения суда? — спросил я Левитаншу.

— Нет! Распишитесь и я заберу обратно.

— Но я хочу написать кассационную жалобу! — воскликнул я. — Как же я буду писать жалобу, если у меня на руках нет копии приговора?

— Это не мое дело! Быстрее расписывайтесь, я не могу ждать!

— Тогда разрешите хоть переписать приговор?

Левитанша ничего не ответила, но было видно, что она колебалась. Я схватил листок бумаги и маленький кусочек графита, воткнутый в прутик от веника и привязанный к нему ниткой, которые мне подал товарищ по камере, вынув их из тайника, и стал быстро и сокращенно переписывать. Левитанша меня торопила, и если теперь я воспроизвожу приговор не дословно, пусть КПСС-овцы не попрекают меня в «передергивании фактов», а винят во всем тех коммунистических заправил, которые грубо нарушают уголовно-процессуальный кодекс, ими же сочиненный и ими же утвержденный.

Переписав определение, я сел на койку и задумался: какое откровенно лживое и циничное «определение». Что ни слово, то ложь! Начинается определение лживым утверждением того, что я — заведующий сектором института, а кончается — обвинением в сумасшествии «возможно, с поражением мозга»?!

Позднее, уже находясь в психоконцлагере, я узнал о том, что найденное у меня психическое заболевание почему-то поражает только тех людей, кто выступает против коммунистического строя. Ни один уголовник никогда не болел такой «болезнью». И еще я узнал, что мою

болезнь «не видно и не слышно», и что ее могут обнаружить только

психиатры из секретного отделения института имени Сербского и никто больше! Как в сказке Андерсена «Новое платье короля»: все другие врачи должны на слово верить диагнозу врачей из секретного отделения, иначе их признают «несоответствующими занимаемой должности».

Познакомившись с определением суда, я решил добиваться отмены судебного приговора, сославшись на неправильно проведенное предварительное расследование, которое не установило истинного места, времени и способа совершения преступления. Мне понадобились уголовный и процессуальный кодексы, чтобы в кассационной жалобе ссылаться на них. Когда на следующий день начальник больнички делал обход больных, я обратился к нему с просьбой:

— Гражданин старший лейтенант! Вчера меня ознакомили с приговором. Его констатирующая часть не соответствует действительности. Поэтому я хочу написать кассационную жалобу в Верховный суд УССР. В моем распоряжении всего 7 дней. Один день уже прошел. Не могли бы вы сегодня дать мне уголовный и процессуальный кодексы хоть ненадолго? Без них я не могу писать кассационную жалобу.

— Уголовный кодекс я вам не дам, а процессуальный — на один час принесу.

Я снова попросил у соседа прутик с привязанным к нему графитом и листок бумаги, и когда кодекс оказался в моих руках, сразу же принялся переписывать из него все статьи, так или иначе годящиеся для моей кассационной жалобы. Жаль, что я забыл имя этого заключенного, который мне очень помог, отдав припрятанную бумагу и графит в прутике. Он оказался, к тому же, очень восприимчивым человеком и мне удалось за несколько дней, что мы пробыли вместе, объяснить ему некоторые политические проблемы, над осознанием которых он, оказывается, давно уже бился.

Почти не переводя дыхания и сокращая слова, я успел переписать все нужные статьи прежде чем начальник забрал у меня кодекс.

Статьи, которые я нашел в кодексе, очень обрадовали меня. Во-первых, статья 424 прямо говорила, что все лица, признанные невменяемыми, имеют право подать кассационную жалобу наравне со всеми остальными осужденными. Для того, чтобы, узнав о том, что я признан

невменяемым, мою кассационную жалобу не отбросили, не читая, я в первой же фразе указал на эту статью и процитировал ее.

Из статей 416-424, посвященным исключительно невменяемым, я узнал, что:

Вызов на суд лица, признанного невменяемым, необязателен, но суд обязан полностью и в соответствии с процедурой, применяемой для здоровых подсудимых, выяснить все детали преступления, проверить улики и опросить свидетелей, чтобы решить, виновен ли подсудимый в предъявленных ему обвинениях, и если виновен, то направить ли его на принудительное лечение в вольную психобольницу или — в психиатрическую больницу специального типа, если окажется, что подсудимый — особо опасный преступник.

Кодекс в одной из статей утверждал, что последнее слово в признании обвиняемого невменяемым остается за судом, а не за экспертизой.

Другая статья говорила о том, что больной может быть выписан из спецбольницы после излечения решением специальной комиссии по выписке, которая заседает регулярно, каждые 6 месяцев. Выписка должна быть утверждена судом.

Согласно кодексу, приговор суда может быть обжалован и отменен, если:

1. У обвиняемого не было должной защиты на суде.

2. Если суд не смог установить точного времени, места и способа совершения преступления, и по другим причинам. Таким образом, у меня не оставалось сомнений в том, что Верховный суд УССР должен отменить мой приговор.

Я построил жалобу следующим образом. Вначале я написал краткое заявление, в котором указал на то, что приговор должен быть отменен по двум причинам. Первая причина та, что суд проходил с нарушением статей

418 и 419 УПК УССР и не выяснил всех обстоятельств преступления. Я указал на то, что свидетели на суде отсутствовали, а указанные в Определении суда время, место и способ преступления не соответствуют истинным.

Вторая причина незаконности приговора, писал я, состоит в том, что я был лишен возможности выступить на суде сам и меня на суде никто не

представлял: ни родственник, ни друг, и не защитник Шелест, назначенный КГБ для этой цели. Я писал, что сам факт присутствия на суде защитника Шелеста еще не доказывает того, что Шелест меня защищал, ибо Шелест не только ни разу не пришел ко мне в тюрьму, но и вообще никогда меня не видел. Поэтому он был неспособен выполнять обязанности защитника.

Одновременно я указывал на то, что заключение комиссии в институте имени Сербского вызывает у меня сомнение. Это сомнение базируется на той основе, что я вплоть до ареста работал на ответственных должностях, преподавал, и делал это с успехом. Это подтвердили все свидетели. Кроме того, Украинская психиатрическая экспертиза в городе Херсоне признала меня совершенно здоровым. И, наконец, сам факт написания логичной и аргументированной жалобы должен убеждать в том, что я — отнюдь не невменяемый. Исходя из этого, я просил кроме отмены приговора еще и новой экспертизы, на уровне более высоком, чем экспертиза в институте имени Сербского.

Во второй части своей жалобы я сообщал ранее никому неизвестные факты, подтверждающие, что время, место и способ совершения преступления—совсем другие. Я привел факты, отрицающие правдивость версии, выдвинутой судом и следствием, но истинные место, время и способ все-таки не сообщил. Я выдвинул новую версию снова — вымышленную. Я дал себе слово ни при каких обстоятельствах не выдавать КГБ действительных приемов, примененных мною при побеге. Их я берег для себя — на следующий раз.

Далее я указывал в своей жалобе, что единственной целью моего выхода в море было желание обратить внимание властей на мое бедственное положение с жильем.

В заключение я обращал внимание Верховного суда на то, что в моем деле нет никаких доказательств моих связей с каким-нибудь антисоветским обществом в СССР или за границей или даже с отдельными лицами — антисоветчиками. Наоборот, писал я, я всю мою жизнь добросовестно работал на советских государственных предприятиях, имел много поощрений и поэтому нет оснований инкриминировать мне «измену родине» по 56-ой статье. Вследствие изложенных причин нет оснований считать меня «особо опасным преступником» и направлять на этом основании в спецбольницу.

Начальник больнички дал мне белую бумагу и авторучку и я переписал жалобу начисто. Она заняла 16 страниц. Я прочитал ее соседям по

камере, проверяя на них производимое впечатление. Даже надзирательница поздно вечером открыла кормушку и попросила прочитать ей.

На 6-ой день я сдал кассационную жалобу корпусному офицеру. Вскоре Левитанша принесла письменное подтверждение того, что моя жалоба ушла по адресу. Я стал ждать результатов. Ожидая ответа на свою кассационную жалобу я находился в приподнятом настроении и много беседовал с уголовниками, которые часто менялись в нашей камере. Матерые уголовники даже в условиях строгого тюремного режима умудрялись обмениваться информацией со всей тюрьмой и знали о всех наиболее крупных преступниках, находившихся в ней. Однажды, они рассказали мне о молодом еврее, вестовом кают-компании советского военного корабля, крейсировавшего в Средиземном море. Когда этот корабль оказался стоящим на якоре вблизи американских кораблей, вестовой вылез из иллюминатора, спрыгнул в воду и поплыл к американцам. Однако, он не смог преодолеть морское течение. Увидев, что его относит в открытое море, вестовой стал кричать. На советском корабле услышали его крики и выловили из воды.

На другом корабле советской эскадры произошел бунт. Четыре матроса обезоружили вооруженного вахтенного на верхней палубе и задраили все люки, чтобы команда не могла придти ему на помощь. Потом трое из них прыгнули за борт и поплыли опять-таки к американским

кораблям. А четвертый, молдаванин по национальности, в последний момент передумал. Он схватил автомат и, угрожая открыть огонь, приказал беглецам вернуться на корабль. Поучительно то, что командование сначала наградило молдаванина именными часами, а потом арестовало. Теперь все четверо находились в нашей тюрьме.

Мои надежды на уголовно-процессуальный кодекс, который не разрешал применять наказание к осужденному до тех пор, пока разбиралась его кассационная жалоба, не оправдались. 30-го мая 1968 года меня внезапно вызвали на этап. На этапе я случайно встретился с тем вестовым, о котором мне рассказали уголовники. Это был худощавый молодой человек, довольно спокойно сообщивший мне, что военный трибунал дал ему 15 лет, и теперь его везли в лагерь.

— А куда идет этап, вы не знаете? — спросил я его.

— На Днепропетровск, — ответил матрос.

Сразу перед моим мысленным взором выросла та ужасная картина царства Аида, на которую я однажды взглянул из окна пересыльной тюрьмы. Поняв, куда меня везли, я раздобыл бумагу и конверты и написал 3 письма. Среди конвоиров я выбрал грузина, к которым имею особое доверие, и незаметно попросил его опустить мои письма в почтовый ящик. А в Днепропетровске, когда меня уже везли в «воронке» в тюрьму, я обратился с просьбой к молодым женщинам, оказавшимся в этой же машине.

— Девушки, если вы встретите где-либо политических заключенных, сообщите им пожалуйста обо мне. Меня лишили всех человеческих прав и везут в Днепропетровский тюремный сумасшедший дом, на неопределенный срок. Я боюсь, что вы — моя последняя возможность сообщить об этом на свободу. И я сказал им свое имя и фамилию.

— А он — симпатичный! — заметила одна из женщин, оглядев меня и пообещала выполнить мою просьбу.

Часть 4. МЕЖДУ ШТЫКОМ И ШПРИЦЕМ

Глава 33. Днепропетровская Психиатрическая больница Специального типа

Глава 33. Днепропетровская Психиатрическая больница Специального типа.

— Вы знаете где вы находитесь Уинстон?

— Нет. Но могу догадываться. В Министерстве Любви.

— А как вы думаете, для чего мы забираем сюда людей?

— Чтобы заставить их признаться.

— Нет. Это не причина. Подумайте еще.

— Чтобы покарать их.

— Нет! — вскричал О'Брайен. Не просто для того, чтобы заставить вас покаяться и покарать. Чтобы лечить! Чтобы сделать вас нормальным человеком! Мы не просто уничтожаем людей, мы их сперва

переделываем».

(Джордж Орвелл «1984»)

... Дошла очередь и до меня.

— Ветохин, с вещами! — выкрикнул надзиратель.

Я взял рюкзак и вышел из пересыльной камеры в коридор. Пройдя по коридору десяток метров, надзиратель завел меня в другую камеру. Камера была разделена на две части деревянным барьером. За барьером стоял стол, а за столом сидела крупная женщина в белом халате и читала мое дело. На вид ей было лет 40 и она имела правильные, почти красивые черты лица и крашеные «под блондинку» волосы. Что особенно бросилось мне в глаза — это лицо неестественного персикового цвета, трудно было решить, косметика это или загар, и еще труднее сказать: красиво это или отвратительно. Позднее, вспоминая свое первое впечатление от этой женщины, я сравнивал ее с Николаем Ставрогиным, как его сал Достоевский: «Казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску».

На женщине были очки в золотой оправе. Прическа представляла собой собранные на макушке косы, неряшливо съехавшие набок.

— Знаете, Ветохин, куда вас привезли? — спросила она, недобро блеснув стеклами своих очков.

— Знаю, в спецбольницу. Только я ничем не болен.

— Я это много раз слышала.

И она обратилась к стриженному наголо человеку в белой куртке, который стоял у барьера:

— Санитар, сделайте что надо и отведите больного в отделение!

Человек схватил меня за рукав и вытащил в коридор, не говоря ни одного слова. В коридоре он подвел меня к нише в стене и велел переодеться в нижнее белье и старый, рваный халат, который и подал мне. Пока я переодевался, санитар рассматривал мои вещи. Увидев порошок и зубную щетку, он выхватил их из моих вещей и обратившись к зекам, стоявшим неподалеку в очереди к регистрационному столу, крикнул:

— Кому надо?

Тотчас один из зеков подбежал и схватил мои туалетные принадлежности. Вслед за щеткой и порошком исчезли и мыло с мыльницей. Только на этот раз санитар пояснил мне свои действия:

— Мыло тебе тоже здесь не понадобится больше. В отделении тебе дадут кое что другое.

Затем санитар повел меня в баню. В темном и мрачном подвале я подставил свое мокрое от пота тело под струи воды. Но какое мытье без мыла и мочалки? Я постоял минуту или две под душем и стал одеваться. Вытереться было нечем. Затем мы снова вышли на тюремный двор, прошли метров 50 по двору и вошли в другой корпус тюрьмы. На четвертом этаже санитар своим ключом отпер дверь и пропустил меня вперед. Я очутился в длинном и широком коридоре. По обе стороны коридора были двери с щеколдами, замками и глазками. Людей в коридоре было всего 2 человека. На них были одеты белые куртки. Санитар подвел меня к крайней двери налево от входа, опять открыл ее своим ключом и, отобрав у меня рюкзак с вещами, скомандовал:

— Заплывай!

Я вошел в камеру. В камере стояло множество коек. Я потом насчитал 28. Койки стояли справа, слева и посредине. Узкие проходы были сделаны только через каждые две койки. В камере не было ни столов, ни стульев, ни тумбочек. У входа в камеру стояла параша. Большинство больных лежали на койках. Только 2-3 человека ходили взад-вперед по узкому проходу в центре камеры.

— Здравствуйте, — сказал я.

Никто мне не ответил, только один из больных поднял с подушки голову и пробормотал:

— Давай сюда халат!

— Это мой халат, — ответил я.

— Отдай халат! Халат — его! — возразил другой больной, ходивший по камере. — Понимаешь, халат один на всю камеру. Если привозят новенького, то халат ему дают временно: только для того, чтобы он мог в нем дойти от пересылки до отделения.

Убедившись, что действительно ни у кого больше халатов нет, я снял свой халат.

— А ты за что залетел? — спросил меня этот же больной.

— Побег за границу.

— Значит, мы с тобой — подельники. У меня тоже побег. Меня зовут Переходенко Валентин. А тебя?

Я сказал. Переходенко снова стал ходить по камере.

Свободной койки не было и спать мне велели на щите из трех досок, установленном между двумя другими койками. Я застелил свой щит, лег на него и стал осматриваться. Часть больных имели вид или круглых идиотов, или же немощных людей. Круглые идиоты глупо улыбались, делали неестественные движения, занимались онанизмом, бормотали. Физически немощные больные, двое из которых лежали на койках, поставленных в проходе, были чрезвычайно худы, изжелта-бледны и, казалось, не спали, а были в беспамятстве. Несколько больных имели вид нормальных людей, но в ряде случаев вид был обманчив. Мой сосед имел вид именно здорового человека. Я попробовал с ним заговорить.

— Когда здесь бывает обед?

Больной посмотрел на меня, ничего не ответил, но издал громкий звук и испортил воздух.

— Как тебе не стыдно? — сказал я.

— А ты вынюхай! — убежденно посоветовал мне другой сосед.

Больше я не пытался ни к кому обращаться с вопросами. В голове не было никаких мыслей. Я просто ждал. Я ждал каких-то неизвестных мне, но наверняка неприятных и, может быть, даже ужасных событий.

Одно небольшое событие случилось скоро. С громким лязгом отодвинулась задвижка на двери камеры, заскрипел ключ в скважине, распахнулась дверь и в камеру вошли двое. Впереди с независимым видом вошел санитар. Ни на кого не глядя, он прошел в дальний угол камеры, к окну, сел на чью-то койку и с удовольствием закурил, выпуская дым на больных. Вторым вошел маленький человек лет двадцати восьми, с оттопыренными ушами и гнусной рожей. Это был больной Тюлькин, или, как его все звали, Тюлька. Он нес в одной руке ведро, а в другой — табуретку. В ведре виднелось литра два молока, а сверху — желтое пятно, вероятно, от масла или яиц. Тюлька, явно подражая санитару, с независимым видом подошел к лежащему в

проходе больному Рябченко, поставил около его койки табуретку, а на нее ведро. Затем он порылся в кармане своей грязной рабочей куртки и вынул из него резиновый шланг. Порылся еще — и вынул свернутый трубкой брезентовый ремень. Этим брезентовым ремнем Тюлька буквально спеленал и привязал к койке Рябченко, совершенно безучастного к тому, что с ним делают. Потом вынул спички, зажег одну, опустил конец резинового шланга в ведро с молоком, а к другому поднес зажженную спичку. Подержал спичку недолго около отверстия шланга и, вдруг, с маху всунул шланг больному в рот. Рябченко подавился и стал делать судорожные движения. Тюлька не обращал на него никакого внимания и обеими руками заталкивал трубку все дальше и дальше в пищевод и кишечник больного. Когда длина трубки заметно сократилась, Тюлька, невидимому, реши л, что хватит и, выпустив ее из рук, пошел к двери. Хотя больной по прежнему давился и на глазах его выступили слезы,

уровень молока в ведре стал уменьшаться. Когда в ведре почти ничего не осталось, Тюлька подошел снова к Ряб-ченко и одним рывком вырвал резиновый шланг из его внутренностей. Больной только охнул. Что он почувствовал при этом, никто никогда не узнает. Он был не говорящий. И заступиться за него было некому.

Едва прошло несколько минут с тех пор, как ушли Тюлька с санитаром, как снова отворилась дверь камеры и прозвучала команда:

— Построиться на оправку!

Больные медленно встали с коек и построились у дверей. Двое взяли за ручки парашу и заняли место впереди. Санитар скомандовал:

— Поехали!

Строй больных в одном нижнем белье прошел несколько метров по коридору и вошел в туалет. Туалет был невелик по размерам и 28 человекам в нем было тесно. Я заметил, что пользуясь теснотой, кое-кто незаметно закурил, пряча цигарку в кулаке. Переходенко зачем-то полез в помойный ящик. Он разгребал грязные туалетные бумажки и прочие нечистоты и что-то искал.

— Что ты ищешь? — спросил я у него.

— Газету. Сестры приносят из дома завтраки, завернутые в газеты. Завтраки съедают, а газеты выбрасывают. Другого способа узнавать новости в спецбольнице нет: радио отсутствует, газет — не дают.

Наконец, Переходенко нашел то, что искал. Развернув испачканную газету, он принялся ее читать и лицо его, изможденное и унылое, осветилось радостной улыбкой.

— Молодцы! — воскликнул он. — Молодцы! Так и на-

— Кто молодцы? — спросил я.

— Чехи молодцы! Сбили красный вертолет и вместе с вертолетом разбился корреспондент газеты «Правда», член ЦК КПСС!

В Чехословакии заканчивалась «Пражская весна». На все «2000 слов» Кремль ответил одним словом: «танки». И это слово оказалось убедительнее. Хотя лозунг «социализм с человеческим лицом» я воспринимал как абсурд, как нелепость , ибо одно другое исключает, я все-таки

был тоже рад, что не все чехи уподоблялись овцам, сломя голову бегущим прочь от кремлевских танков, но нашлись и такие, которые показали зубы.

Едва мы разошлись по своим койкам после оправки, как дверь камеры снова открылась и вошел молодой человек в белом халате с длинной гривой черных волос на голове, а за ним санитар.

— Больные, коечки повытирали? — гнусно-слащавым голосом спросил этот человек, оказавшийся фельдшером. Никто ему не ответил.

— Сейчас проверю.

Фельдшер подошел к первой от входа койке и провел пальцем по самой нижней железяке ее, а потом поднес палец к глазам.

— Грязная койка! Протереть!

Хозяин проверяемой койки быстро вскочил, вытащил из-под матраца кусок грязной ветоши и начал тереть свою койку. А фельдшер пошел дальше.

— А ты, Переходенко, опять не протер свою койку, — раздался голос фельдшера у окна, где стояла койка Переходенко.

— Откуда вы это знаете? Вы еще и не проверяли мою койку.

— Что-о-о? Опять выступать вздумал? Я тебя вылечу от этой привычки — отвечать начальству! Эй, новенький! Как тебя там! Переходи сюда, на его место! А ты, Переходенко, будешь спать на щите!

Не успел я понять, что происходит, как санитар схватил со щита мой матрац вместе с простынями и подушкой и ткнул ими в меня:

— Неси!

Я понес, но Переходенко медлил уходить с своей койки. Было видно, что фельдшер искоса наблюдает за ним и сейчас что-нибудь предпримет еще. Помедлив несколько минут, Переходенко собрал свои постельные принадлежности и со словами «Вечно придирается ко мне!» понес их на мой щит.

— Кто эт-т-то придирается к тебе? Ты опять возбудился? — мгновенно разъярившись, вскричал фельдшер. Затем перевел дыхание и скомандовал:

— Санитар! Прификсировать Переходенко! — и вышел из камеры.

Мне показалось, что санитар ждал этого приказа. Он сразу же метнулся в коридор, позвал других санитаров, и вот уже целая банда уголовников (санитарами работали отбывающие наказание уголовники) и Тюлька вместе с ними, ворвались в нашу камеру. Они походили на сумасшедших даже больше, чем настоящие сумасшедшие. Заученными и экономными движениями санитары приготовили место для экзекуции. Один санитар схватил за шиворот и сбросил на пол безмолвно лежащего на койке у дверей Рябченко. Другой санитар сбросил на пол матрац с его койки. Третий—спихнул со щита Переходенко, а щит перенес на ту койку, которую предусмотрительно освободил первый санитар. Затем они все вместе схватили за руки - за ноги упирающегося Переходенко и с размаху бросили его на шит. Откуда-то появился брезентовый ремень, которым они привязали его к щиту и к койке так, что Переходенко не мог не только шевельнуться, но и глубоко вздохнуть.

— Не могу... дышать... дышать — прохрипел Переходенко. — Ослабьте ремни...

— Сейчас сможешь! — крикнул один из санитаров и на Переходенко посыпались удары.

Санитары, отталкивая друг друга, били его изо всех сил. Они били, стараясь попасть по почкам, по печени, по животу. А больной Тюлька, пользующийся за что-то особыми привилегиями, сцепил два кулака вместе и, размахивая ими как топором при рубке дров, дубасил Переходенко все по одному и тому же месту — по животу.

— Сестра! Сестра! — вопил Переходенко. — Сестра! Меня избивают! Сестра!

Сестринская и ординаторская находились очень близко. Крики Переходенко, конечно, были там слышны, но никто не приходил на помощь. Один из санитаров подошел к двери и прикрыл ее, другой — накинул на лицо Переходенко подушку и избиение продолжалось. Я смотрел, слушал и не верил, что это происходит наяву. Некоторые больные смотрели на избиение, остальные не смотрели, но слушали. Наконец, Переходенко захрипел.

Тогда санитары по очереди стали выходить из камеры, предварительно ударив его в последний раз изо всех сил.

* * *

После ухода санитаров в камере установилась тишина, нарушаемая только стонами Переходенко. Прошло немного времени, когда дверь нашей камеры распахнулась в очередной раз. Я посмотрел на вошедшего санитара и он утвердительно кивнул:

— Да, тебя! Надень халат!

Я взял у владельца халат и пошел вслед за санитаром. Мы перешли на противоположную сторону коридора и остановились у двери, на которой было написано: «Ординаторская». Санитар постучал и, получив разрешение, пропустил меня вперед. В небольшой камере стоял письменный стол, на углу которого красовалась ваза с цветами. За столом сидела та самая женщина, которая утром принимала меня на пересылке. Я уже знал, что зовут ее Нина Николаевна Бочковская и она — начальник отделения. На столе лежало раскрытым мое дело.

Бочковская пригласила меня и санитара сесть на стулья. Затем она строго и как-то уж слишком задумчиво посмотрела на меня. Выдержав достаточную паузу, она негромко, но с чувством заговорила:

— Я тут читала ваше дело и удивлялась на вас. С таких высот вы упали на самое дно! Вы были морским офицером. Многие юноши мечтают стать тем, чем вы были, но не могут. А вы сами… сами! отказались от военной службы… от карьеры морского офицера! Потом вы были инженером… Тоже могли жить, как люди: могли стать кандидатом наук. Не захотели! Не понравилась, видите ли, коммунистическая идеология! Друзья, наверно такие же антисоветчики…

Потом перевела дыхание и многозначительно продолжала:

— Ох и плохо же вам будет здесь! Ох, плохо! А потом, когда вас выпишут... если выпишут... я не знаю... то ни в Москве, ни в Ленинграде и ни в каком другом крупном городе вы жить не будете. И уж, конечно, работать вы

будете **не** инженером!

Бочковская помолчала, блеснула на меня стеклами своих очков и, приготовив ручку, как бы собираясь записывать, проговорила другим, более спокойным голосом:

— Ну, а теперь поговорим более подробно о вашем преступлении.

— О преступлении я говорить не стану, — ответил я. — По советским законам следствие не может продолжаться больше года, а у меня, к тому же, уже и суд состоялся.

Бочковская положила на стол приготовленную ручку и опять строго посмотрела на меня:

— Вы еще не знаете, куда вы попали! — с угрозой проговорила она и велела санитару отвести меня в камеру.

Едва я пробыл в камере несколько минут, как санитар вызвал меня снова, на этот раз в «манипуляционную». Манипуляционная находилась на той же стороне коридора, что и ординаторская, но была немного побольше ее. Двери манипуляционной были открыты и у входа стояло несколько больных.

Пока я ожидал своей очереди, я хорошо разглядел манипуляционную. Посреди камеры стоял топчан, сбоку, у стенки — шкаф с инструментами, у другой стены — умывальник, какой вешают в местах, где нет водопроводной воды, у окна — стол. Над умывальником висел плакат: «Сестра! Нельзя делать инъекции разным больным из одного и того же шприца!»

Под этим объявлением медсестра сделала инъекции всем впереди меня стоящим больным из одного и того же шприца.

Когда подошла моя очередь, я спросил ее:

— Сестра, вы и мне тоже собираетесь делать укол? Тут какое-то недоразумение! Я ничем не болен и в институте Сербского меня уверяли, что мне никаких иньек-ций делать не будут.

— Мне некогда слушать твой бред! Нина Николаевна сама знает кому надо прописывать уколы! — высокомерно ответила Красавица (так больные звали эту медсестру) — Санитар! Что вы стоите? Заставьте больного лечь на топчан и держите его!

Лежа на топчане, я наблюдал, как Красавица одну за другой разбивала какие-то колбочки, а содержимое их выливала в шприц, пока шприц не наполнился доверху. Вставив в шприц поршень, Красавица подошла ко мне и с размаху воткнула иглу мне в ягодицу. И потом долго выдавливала в меня содержимое шприца.

Когда я встал, у меня было такое чувство, будто меня изнасиловали. Появились слабость и сонливость. Едва я дошел до своей койки в камере, как потерял сознание.

* * *

Очнулся я оттого, что кто-то прикоснулся ко мне рукой Очнулся и сразу почувствовал, что я нездоров. Во всем теле была необыкновенная слабость и меня подташнивало. Хотя я и открыл глаза, чья-то рука продолжала нетерпеливо трясти меня за плечо.

— Ну, что? — спросил я, увидев перед собой медсестру.

Медсестра была не очень молодая, но весьма привлекательная. У нее была молодящая ее прическа и красивые черты лица. Халат не мог скрыть ее развитой фигуры.

— Ветохин, расскажите с подробностями, как вы организовали свой побег в Турцию?

— Что-о-о? — невероятно удивился я. — Здесь даже по ночам допрашивают?

— Сейчас не ночь, а утро. Скоро будет подъем и больных поведут на оправку.

— Ну вот и я пойду с ними на оправку.

— Не беспокойтесь об этом! Я прикажу санитару сводить вас отдельно. Вам же лучше будет одному в туалете.

— Нечего мне вам рассказывать! Не замышлял я никакого побега!

— Вот как вы ведете себя с первого дня! — зло сверкнула сестра своими красивыми глазами. — Не таких, как вы здесь усмиряли! Вы еще

пожалеете! — и она вышла из камеры легкой и женственной походкой. Сестру звали Натальей Сергеевной.

Скоро санитар объявил оправку. Когда я встал в строй, тошнота усилилась и закружилась голова. В туа-

лете, куда мы пришли, оказалось очень душно и, к тому же, накурено. Внезапно, в моем организме как-будто открылся какой-то клапан: пот обильно выступил по всему телу и мои рубашка и кальсоны мгновенно стали такими мокрыми, хоть выжимай. И я потерял сознание.

Очнулся я на полу у открытого окна возле входа в туалет.

— Ну, очухался? Становись в строй! — приказал мне санитар.

Придя в камеру, я поскорее лег в койку. Перед завтраком санитар объявил:

— Ветохин, Черепинский, Змиевский — не завтракать!

Я был рад, что не надо идти на завтрак и скоро уснул. Проспав почти полсуток, я чувствовал себя так, будто вообще не спал по крайней мере 2 дня. Сквозь тонкую оболочку своего аминазинового сна (я уже знал, что мне был введен нейролептик, называемый аминазином) я все слышал, но мне не хотелось даже пошевелиться, даже поменять положение затекшей руки. Было такое впечатление, что я куда-то лечу и слышу звуки, которые исходят из разных предметов, которые встречаются на моем пути.

Сквозь сон я слышал, как строились на завтрак. Очень скоро до меня донеслись шаги больных, возвратившихся с завтрака. Затем некоторое время было тихо. И вот снова послышались голоса, на этот раз в коридоре: «Вызывайте больных на кровь!»

Дверь камеры распахнулась и санитар прокричал:

— Ветохин, Черепинский, Змиевский — выходи на кровь! Бы-ы-ы-ыстро!

Стараясь нести свое тело как можно осторожнее, чтобы резким движением снова не вызвать головокружения и обморока, я пошел за санитаром в манипуляционную.

В манипуляционной Красавица уже приготовила шприцы и пробирки и, увидев нас, велела санитару заводить первого. Санитар кивнул мне. Красавица посадила меня на стул около стола и стала брать из вены кровь, втягивая ее поршнем большого шприца. Когда шприц

наполнился, она вынула из вены иглу и посмотрела шприц на свет. Затем вынула поршень и выплеснула полный

шприц крови в умывальник.

— Воздух попал, придется еще брать, — пояснила она мне, пристраиваясь снова к моей вене.

— Я больше не могу. Мне плохо и я сейчас потеряю сознание, — сказал я, чувствуя как кружится у меня голова и тошнота подступает к горлу.

— Это не беда,—спокойно ответила Красавица. — Если ты потеряешь сознание, санитар положит тебя на топчан, а кровь я все равно у тебя возьму, у лежачего.

Она так и сделала, ибо я очнулся на топчане.

С этого раза у меня стали брать кровь по целому шприцу через день. Всего за 20 дней, у меня взяли 10 шприцев крови, по 10 куб. сантиметров крови в каждом. Для каких анализов требовалось такое количество крови, никто из больных не понимал.

* * *

Расход повели на завтрак после того, как у всех назначенных для этого больных взяли кровь. Завтрак состоял из миски остывшего супа, куска селедки, от которой несло тухлятиной и маленького куска черного хлеба. На дне кружки было насыпано пол чайной ложки сахарного песку. Тухлую селедку я есть не стал, но съел суп и запил его чаем. «Так и ноги протянешь!» — подумал я о «больничном» питании и решил попытаться получить деньги за рационализацию, которую я внедрил перед побегом. На деньги я смог бы кое-что покупать в тюремном ларьке.

— Можно здесь писать письма? — спросил я у Змиевского, довольно смышленого больного.

— Можно. Вечером, после ужина, санитар будет вызывать на письма.

Весь день я спал. После ужина, меня снова вызвали в манипуляционную и ввели 8 кубиков аминазина. Вернувшись в камеру после укола, я встал около закрытой двери и стал ждать, когда позовут на письма. Ждать пришлось долго. Но вот, наконец, двери открылись и санитар выкрикнул:

— Кто на письма? Один человек!

Несколько человек бросилось к двери, но я стоял первым и санитар взял меня.

— Иди в столовую, — сказал мне санитар.

Я повиновался. В столовой столы после ужина уже были убраны и за одним из них с важным видом сидел какой-то больной небольшого роста, в очках, лет тридцати. Перед ним стоял деревянный пенал с несколькими отточенными карандашами и лежала тетрадь. Сбоку сидело несколько больных и подобными же карандашами писали письма.

— Ты на письма пришел? — высокомерно спросил меня этот человек.

— На письма.

— Бери карандаш и садись, пиши. Как твоя фамилия? Я должен зарегистрировать в тетради, что ты взял карандаш и написал письмо. Разрешается два письма в месяц.

— Мне не нужен карандаш.

— Чем же ты будешь писать?

— Ручкой.

— А зачем тебе ручка? Здесь все пишут карандашами.

— А мне нужна ручка. Я буду писать заявление.

— Заявление? — он минуту подумал, подозрительно посмотрел на меня и с явной неохотой вытянул откуда-то из-под стола ручку. — Как фамилия?

Я сказал. Детским почерком он записал мою фамилию в тетрадь.

Я сел за соседний стол и стал писать письмо своей бывшей сотруднице, Тамаре Александровне, с просьбой добиться пересылки причитающихся мне денег за мое рацпредложение. Эта сотрудница часто говорила мне, что «свое образование, как программист, она получила не в университете, где ее учили плохо, а — работая в НИИ под моим руководством». Вот теперь я имел возможность проверить на деле ее благодарность мне за науку.

Мои глаза закрывались под действием аминазина и писал я медленно. Когда санитар скомандовал: «Всем встать, сдать письма незапечатанными Федосову и разойтись по палатам!», я не встал, а

продолжал писать.

— А ты, сука, что сидишь? — подскочил ко мне сани-

тар. — Тебе особое приглашение надо?

— Я не успел дописать письмо.

— Вам, фашистам, вообще не надо разрешать писать письма!

Я ничего не ответил, стараясь скорей дописать. Едва я поставил последнюю точку, санитар вытащил меня из-за стола. Я отдал письмо незапечатанным и пошел в камеру.

— Что это за птица такая, Федосов, который выдает карандаши? — спросил я в камере у Переходенко.

— А! Федосов! Как же — птица! Его уважает сама Нина Николаевна.

— А за что он сидит?

— За побег тоже, но...

— Что «но»?

— Мы с тобой бежали потому, что не хотели жить в СССР, а он — потому, что хотел стать советским шпионом-любителем .

— Как это «шпионом-любителем»?

— Он хотел попасть на Запад, якобы как антикоммунист, а потом втереться в доверие русских эмигрантов и западных политиков, выведать у них всякие там секреты, а потом все эти секреты передать в КГБ.

— Ну, а дальше?

— Тогда КГБ «поняло бы, каким ценным сотрудником для них может быть Федосов, и взяло бы к себе на службу».

— Бред какой-то...

— Конечно, бред.

— Ну, а практически, что он сделал?

— Он бежал в Иран. В Иране его посадили в тюрьму, долго держали в тюрьме и проверяли, а потом вернули обратно в СССР. В СССР Федосова посадили в спецбольницу, немного подержали там и выпустили. Тогда он сделал новую попытку: в Одессе пробрался на

советский танкер и спрятался на нем. Федосов вышел из своего тайника, когда танкер был уже в открытом море и его увидели. Капитан радировал в Одессу и получил приказ вернуться обратно. И вот Федосов здесь.

— Да, забавно. Надо присмотреться, что это за «птица». Но сейчас я больше всего хочу спать. Я лег на

свою койку и сразу уснул.

* * *

Утром меня неожиданно вызвали в манипуляционную и ввели пол шприца аминазина.

— Теперь тебе будут уколы два раза в день: утром и вечером, — пояснила Красавица.

После завтрака был врачебный обход. Дверь нашей камеры раскрылась настежь и, охраняемая двумя санитарами, в белом накрахмаленном халате в камеру вошла Бочковская. Властность и жестокость светились в ее взгляде сквозь очки в золотой оправе. За Бочковской шли сестры и сестра-хозяйка. Один из санитаров остался у раскрытых дверей, а другой шел рядом с ней. В коридоре, напротив камеры, виднелся третий санитар.

— Всем сесть на свои койки! — закричал санитар нескольким больным, которые подобно маятнику прохаживались взад-вперед на крошечном свободном пространстве между койками.

Бочковская стала переходить от одной койки к другой и задавать каждому больному один и тот же стереотипный вопрос:

— Как дела, Змиевский?

— Как дела, Черепинский?

— Как дела, Переходенко?

Отвечали по разному. Кто обращался с какой-нибудь просьбой, кто говорил «все хорошо», многие отвечали невпопад. Когда она подошла ко мне, я спросил:

— Нина Николаевна, зачем вы прописали мне аминазин?

— Для того чтобы лучше спали.

— Я и так на сон никогда не жаловался.

— Еще лучше будете спать.

— Я чувствую себя от аминазина не лучше, а хуже. У меня слабость, головокружения, тошнота, а вчера был обморок.

— Это не от лекарства! — с невероятным апломбом ответила Бочковская. — Это оттого, что вы резко встаете с койки после сна. Вы уже не молодой человек, Юрий Алек-

сандрович и вам нельзя подниматься резко. Это — единственная причина.

— Нина Николаевна! — позвал я ее, видя, что она собирается идти дальше. — Я не в состоянии ходить на прогулки, просыпаю. А тут еще и утром мне стали делать уколы. Теперь и подавно я буду просыпать их или усну прямо на прогулке. Отмените, пожалуйста, аминазин! Или хоть замените уколы таблетками!

— На таблетки я вас не переведу. Таблетки вы будете выплевывать. Любовь Алексеевна! — обратилась она к дежурной медсестре, держащей наготове раскрытый блокнот, — Ветохину утром аминазин отменить! Давать все 12 кубиков за один раз — на ночь.

Имела она понятие о том, как действует на человека такая лошадиная доза, или не имела — трудно сказать. Если имела, тогда она совершала умышленное убийство!

Когда вечером этого же дня санитар привел меня в манипуляционную, дежурила хорошая медсестра, Ирина Михайловна, которая с сочувствием относилась к больным.

— За что же вам Нина Николаевна прописала 12 кубиков? — с тревогой в голосе спросила она меня. Затем, не ожидая от меня ответа, как бы про себя проговорила:

— Такой хороший больной...

— Может быть, это ошибка? — попробовал я схитрить.

— Может быть, мне назначено 2 кубика, как всем, а написали неразборчиво, вот и кажется — 12?

Ирина Михайловна достала журнал назначений, открыла его и показала мне. Там крупно и четко стояла цифра «12».

— Сестра! — попросил я ее, уловив как подмигнул мне санитар, как бы

советуя продолжить начатый разговор.

—Сестра, не делайте мне укола, пожалуйста, дайте денек отдохнуть!

— Совсем не делать укола не могу, — ответила Ирина Михайловна, — но вместо 12-ти кубиков я сделаю вам только два. Вам будет легче. Смотрите, никому не говорите об этом!

— Ирина Михайловна, — вмешался санитар. — У больного затвердение появилось на ягодицах. Может быть,

вы ему назначите прогревание на УВЧ?

— Конечно! — ответила медсестра. — Приведите Ветохина сюда после того, как я закончу делать уколы всем больным.

Через час я прогревал ягодицы в сестринской. Сестра куда-то вышла и я разговаривал с санитаром. Я узнал, что этот санитар, по фамилии Федин, один из всех санитаров не только не ненавидит политзаключенных и не называет их фашистами, но и уважает их. Причина оказалась простая: остальные санитары были блатными (еще Достоевский в романе «Бесы» показал родство душ у коммунистов и уголовников) и потому они ненавидели политзаключенных. Мой благожелатель к блатным не принадлежал. Он попал в тюрьму более-менее случайно. Хотя Федин был осужден по уголовной статье, но в отличие от других санитаров, он раскаивался в своем преступлении и чувствовал себя среди профессиональных преступников очень неуютно.

С этого дня Федин регулярно водил меня на прогревание. Пока я прогревал свои затвердения (у тех больных, кто вовремя не делал этого, их потом вырезали хирургическим путем), Федин рассказывал мне о своей жизни и читал свои стихи. Оказалось, что он писал стихи и, даже неплохие. Без всякого желания польстить ему, я указал на некоторые его удачи и Федин еще больше расположился ко мне. Однажды, он даже признался:

— Я тоже давно мечтаю бежать из Советского Союза, только кому я нужен на Западе? Ведь я — уголовник!

* * *

Самочувствие мое день ото дня все больше ухудшалось. Конечно, ни на одну прогулку я не ходил. Я спал круглые сутки. Едва только я вставал с койки, у меня начинала кружиться голова, подступала тошнота, и

нередко начинался обморок. Никто другой из больных не получал 12 кубиков в одном уколе. Уголовникам Бочковская назначала не больше 2 или 3 кубиков.

Отрицательное влияние на здоровье оказывало также то, что у меня через день брали по полному шприцу кро-

ви. А питание было некалорийное и недостаточное. В институте Сербского Белов говорил мне, что он специально изучал нормы питания в советских политических тюрьмах и в гитлеровском Освенциме, и что разница оказалась небольшая. А Освенцим до сих пор является эталоном жестокости! (Я надеюсь, что скоро будет избран другой эталон).

Дней через пятнадцать пришел ответ на мое письмо. Санитар отдал его мне распечатанным, после проверки Бочковской. Тамара Александровна писала, что выполнила мою просьбу лишь наполовину: навела справки, но денег не добилась. Начальство отказалось платить мне вознаграждение за рацпредложение, сославшись на то, что мое предложение «требует некоторой доработки». Тамара Александровна послала мне от себя 20 рублей. Эти деньги я получил много позднее и очень удивился, так как в письме она об этом не сообщила, а тюремщики тоже не хотели говорить мне, от кого пришли деньги.

С каждым днем мне становилось все хуже. Мой организм был отравлен аминазином. Кроме обмороков и головокружений начались боли в сердце. Я чувствовал, что умираю, но мне было все равно. Я уже ни о чем не думал, не мечтал, не жалел. Мне хотелось только одного: чтобы меня никто не трогал. Я бы так лежал и лежал и лежал... Если бы было можно не подниматься по всякой команде и санитары не принуждали бы к этому пинками и ударами, я бы не ходил ни в туалет, ни на обед, ни на ужин... На обходе я больше не разговаривал с Бочковской. Я все время спал и во время обхода меня не будили.

Глава 34. Первое постановление Верховного суда УССР в связи с моей кассационной жалобой

моей кассационной жалобой.

На 20-ый день моего заключения в спецбольнице санитар Федин разбудил меня в необычное время.

— Зачем-то вас хочет видеть Бочковская, — сказал он. Я с трудом встал со своей койки и мы пошли в ее кабинет. В кабинете Бочковская начала без обиняков:

— Юрий Александрович, на вашу кассационную жало-

бу получен ответ из Верховного суда. Верховный суд отменил приговор Областного суда и назначил суд в новом составе. В соответствии с этим решением я отменяю вам все лекарства.

Она взяла красный карандаш, открыла журнал назначений и написала: «Ветохину отменить все назначения». Затем повернулась ко мне и добавила:

— Вас повезут в Симферополь на суд с первым же этапом. Потом она сделала паузу и высокопарно заявила:

— **Имейте в виду, Ветохин: никакая цена не будет слишком высокой, чтобы не возвращаться сюда обратно!**

Она опять помедлила и другим тоном, но тоже не допускающим возражений, закончила:

— **Хотя я уверена, что вы вернетесь!**

В коридоре меня встретила Левитанша. Она протянула мне официальную бумагу и ручку:

— Распишитесь здесь!

— Могу я переписать постановление?

Левитанша в ответ замахала руками.

— Еще чего захотел! Расписывайся и отдавай бумагу!

— Ну, хотя бы прочитать ее я должен?

— А что вам читать? Врач вам сказал, что написано в бумаге — и для вас достаточно!

— Ну, нет! Если вы не дадите хотя бы прочитать, я не распишусь.

Левитанша недовольно выпустила из рук бумагу. Я стал читать,

подгоняемый ею. В бумаге писалось, что Коллегия по уголовным делам Верховного суда УССР рассмотрела мою кассационную жалобу и установила, что Крымский Областной суд действительно допустил нарушение процедурных норм, оговоренных в статьях 418 и 419 УПК УССР. Поэтому Коллегия Верховного суда УССР постановила отменить приговор Областного суда и назначить новое слушание дела в новом составе судей.

* * *

Новость быстро распостранилась по спецбольнице. Не-

знакомые люди поздравляли меня при встрече в коридоре, в туалете, в столовой. Не получив вечернего укола аминазина, я на другой день почувствовал себя лучше. Еще не будучи в состоянии ходить по камере, я лежал и наблюдал, как снова пришел садист-фельдшер и стал проверять пыль на койках.

На этот раз он придрался к Черепинскому, явно выраженному психопату. Черепинский в ответ на его замечание молча вынул из-под матраца кусок тряпки и протер свою койку.

— Плохо протер! — не унимался фельдшер. — Еще раз протри!

Черепинский протер еще раз, а когда фельдшер уже выходил за дверь камеры, тихо проговорил ему вслед:

— Гад проклятый!

Фельдшер услышал, вернулся назад и приказал санитару вывести из камеры всех больных на оправку, оставив одного Черепинского. Черепинский понял, что сейчас его будут бить и стал просить больных не выходить. Больные колебались, санитар, который недавно водил нашу камеру на оправку, — тоже. Тогда фельдшер переменил свой приказ.

— Санитар! Отведите на оправку одного Черепинского!

Как всегда в таких случаях, в момент сбежались несколько санитаров, схватили Черепинского и поволокли в туалет. Скоро из туалета послышались вопли. Вопли давались долго, потом постепенно затихли. Те же самые санитары принесли грязного и окровавленного Черепинского и бросили его, как мешок, на койку. Он тихо и жалобно стонал. Я так и уснул под эти стоны.

На следующий день был обход врачей. Черепинский пожаловался

Бочковской, что его избили и при этом сломали ребро.

— Ребро, говоришь? — равнодушно переспросила она.

—Пошлем на рентген, посмотрим.

* * *

Через несколько дней я в первый раз пошел на прогул-

ку. Всех желающих идти на прогулку выпустили в коридор, там построили и под охраной санитаров и надзирателей, с медсестрой во главе, повели на тюремный двор. Я оказался в том самом тюремном дворе, который полгода назад видел из окна «пересылки». Тогда я увидел полу-людей, полу-теней в одном нижнем белье и в ватниках, двигавшихся какими-то толчками, и ужаснулся. Теперь я находился вместе с ними и издали, вероятно, мало от них отличался. Во дворе, как только распустили строй, ко мне подошел Федосов.

—Поздравляю тебя с отменой приговора!

— Спасибо.

—Хочешь, я тебя познакомлю с Дмитрием Ивановичем Поповым?

—А кто он такой?

— Тоже политический, а раньше был секретарем райкома партии.

— Вот как?

—Да, — важно продолжал Федосов. — А еще раньше он был бойцом 1-й Конной армии Буденного—рубил головы «белякам»! Однажды он попал в плен, но сумел бежать из-под расстрела. Интересная биография.

— Это еще не все. После Гражданской войны Попов окончил математический факультет университета и стал сперва директором техникума, а потом — секретарем райкома партии. Однако, с течением времени взгляды его переменились и он написал антисоветскую книгу. КГБ узнало о книге и посадило Попова в Казанскую спецбольницу.

Когда Попов освободился, то стал писать новую книгу под названием «Путь к счастью». Эту книгу он пытался переправить на Запад, но был снова арестован. Здесь Попов не со всеми разговаривает, но по моей рекомендации — другое дело! — с важностью заключил Федосов.

Мы подошли к Попову. Это был старичок небольшого роста,

совершенно седой, но не лысый, с благообразной интеллигентной внешностью. В отличие от всех остальных, на нем были рабочие брюки. Федосов представил меня.

— Я уже слышал о вас, — сказал мне Попов и ласково протянул руку. — Поздравляю вас с отменой приговора.

— Спасибо. Это еще не значит, что новый приговор будет лучше.

— У вас есть хотя бы надежда, — возразил он, — а у нас — ничего.

Я смотрел на этого старого, дряхлого человека, на его седые волосы, коротко подстриженные под машинку и думал: «Ему сидеть в тюрьме в миллион раз тяжелее, чем любому другому! Одни угрызения совести чего стоят: ведь, он сознает теперь, что своей шашкой срубал головы тем людям, которые: хотели освободить его от сегодняшних тюремщиков!»

Дмитрий Иванович взял меня дружески под руку и повел в сторону от Федосова.

— Я очень рад познакомиться с вами, — заговорил он. — Самое тяжелое здесь — это отсутствие общества интеллигентных людей. Вы, наверное, уже заметили, какие ужасные типы встречаются среди этих сумасшедших? Не знаю, как в вашей камере, а в нашей — таких большинство. Они как-то прослышали, что я сижу за книгу и что она называется «Путь к счастью» и превратили это название в какой-то фетиш. Они произносят его как одно слово: «путь-к-счастью» и кривляются и гримасничают при этом. А один из этих ненормальных на днях подошел ко мне и прокричав «путь-к-счастью!», ударил меня изо всех сил в живот. Я свалился с ног и потерял сознание. А когда я пришел в себя и встал, то стал стучать в дверь камеры. Пришли санитар и фельдшер. Знаете, тот — нерусский, что всегда пыль ищет на койках. Я рассказал ему, как меня избил больной. И что вы думаете фельдшер ответил мне? «Это, — говорит, — интересно! Больной некоторым образом показал вам «путь к счастью!» Фельдшер учится в вечернем институте и ему хотелось показать мне «игру своего ума».

— Ну, а что Нина Николаевна?

— Нина Николаевна относится ко мне хорошо: лекарств никаких не прописывает и из уважения к моему возрасту даже разрешила носить брюки...

— Это действительно — «великодушно»! — заметил я.

— А за то, что она дышать вам разрешила, вы не забыли ее поблагодарить?

— Вы настроены непримиримо к ним, Юрий Александрович. Мне так нельзя. Я — второй раз! В первый раз они освободили меня потому, что я пообещал прекратить писанину. Теперь мне на слово больше не поверят. Нужна другая тактика.

— А о чем ваша книга?

— В своей книге я касаюсь политических, экономических и культурных вопросов, — оживился Попов.

Я не стану здесь приводить весь его рассказ о книге. Скажу только, что он высказывал взгляды, которые теперь исповедуют еврокоммунисты. Он был за плюрализм в политике, отрицал «ведущую роль» рабочего класса и требовал частичной децентрализации промышленности и либерализации общественной жизни. Весьма умеренные взгляды! Жизнь заставила его отбросить взгляды воинствующего атеиста, но верующим он не стал. Попов разочаровался в коллективизме, но не посмел придти к полному отрицанию социализма.

Хотя у нас не нашлось ничего общего ни в политических, ни в экономических, ни в религиозных взглядах, все же благодаря его большому такту и деликатности мне было приятно его общество. Дмитрий Иванович рассказал мне, что раньше у него была высокая персональная пенсия, но после ареста ее сразу отменили. Несмотря ни на что, жена его оказалась преданной женщиной. Она часто приходила к нему на свидания и приносила передачи. В последующие дни Попов захватывал с собой на прогулку что-нибудь из этих передач и угощал меня.

Поучительным для меня оказался рассказ о его попытках переправить на Запад рукопись книги. Сперва он ми-крофильмовал ее и разослал копии по студенческим общежитиям ряда университетов страны. В приложенном письме он просил передать пленку иностранным студентам, чтобы они вывезли ее на Запад и там опубликовали. С одной оставшейся копией Попов сел на поезд, идущий в Москву, чтобы передать ее прямо в руки иностранным корреспондентам. В поезде его арестовали. Не помогла и уловка, заключавшаяся в том, что Попов держал свой

чемодан с пленкой в другом купе, и это тоже чекисты выследили.

За несколько дней мы с Поповым сошлись довольно близко. Прогулки продолжались 2 часа и проходили в просторном дворе, где можно было отойти на достаточное расстояние от других, чтобы разговаривать без свидетелей. Это было тем более возможно, что большинство больных все время прогулки толпилось в одном месте: под окнами пересылки, откуда зеки иногда кидали им окурки. Больные бросались за окурками в драку и схватив, жадно курили, пока подошедший санитар кулаком не выбивал окурок изо рта. Из политических почти никто не курил.

Наконец, пришел день этапа в Симферополь. Санитар Федин предупредил меня заранее и принес мне на дорогу хлеба. Он дал мне свой адрес и просил сообщить о моей дальнейшей судьбе.

Глава 35. Суд в новом составе

Глава 35. Суд в новом составе.

Этап привез меня в Симферополь в разгар курортного сезона и тюрьма буквально ломилась от уголовников. Прямо с этапа меня заперли в «телефонную будку» и продержали в ней целый день. К вечеру меня перевели в общую камеру, где уже находились остальные зеки с нашего этапа. Ночью в нашу камеру добавили еще арестованных, так что многим пришлось спать прямо на полу. Это были крымские татары, пытавшиеся вернуться на свою родину, в Крым, из мест их ссылки.

После двух дней, проведенных в битком набитой камере, где даже на нарах всем не хватало места, меня, наконец, перевели в трехместную камеру. Там уже находились два человека, оба политические: один, молодой, сидел за попытку перехода границы в районе Батуми, другой, среднего возраста, — за передачу или продажу секретных сведений какому-то иностранцу. Оба уже раскололись, выдали всех своих товарищей и наперебой рассказывали друг другу, даже не стесняясь меня, какие льготы их ждали за это. Вскоре я узнал о том, что переходчик границы принадлежал к богатой семье генерал а. Заграни-

ца манила его только своими публичными домами. Человек средних лет был инженером. В прошлом он, якобы, участвовал в подавлении венгерского восстания 1956 года и лично отдал приказ открыть огонь по

советскому солдату, пытавшемуся перебежать в Австрию. В общем, я редко встречал людей, которые с таким вызовом и с такой наглостью афишировали бы свою подлость, предательство и безнравственность. Весь день, если их не вызывали на допрос, они спали, а ночью рассказывали друг другу всякие истории. Мне приходилось снимать с койки свой матрац и уходить спать в угол камеры, на цементный пол. Оба они часто получали передачи и не голодали. Узнав мою фамилию, они вспомнили, что в Харькове, на пересылке, какие-то женщины рассказывали им про меня.

— Ну, и для чего это? Зачем нам было знать о вас? — скривился в гадкой улыбочке старший.

На третий день пришла Левитанша. Она принесла Определение суда, который проходил в то время, когда меня держали в «телефонной будке». Второе Определение почти не отличалось от первого, была только добавлена фраза «критиковал экономическую основу СССР» и убрана фраза «вещи из ленинградской комнаты передать бывшей жене, а продукты питания вернуть осужденному». Взамен этого был пункт о конфискации всех моих вещей.

Когда «гражданин начальник» делал свой утренний обход камер, я заявил ему, что «желаю и имею право согласно статье 424 УПК УССР написать кассационную жалобу на решение Крымского Областного суда».

— Хорошо, — ответил начальник. — Напишите во время прогулки.

Днем, когда пришла наша очередь идти на прогулку, начальник повел меня к себе. Он впустил меня в камеру, которая была приспособлена под конторку и сказал:

— Вот бумага, вот ручка. Можете писать свою жалобу. Прогулка будет продолжаться минут 30 или 40. Кончится прогулка — кончится и писанина! — и вышел, закрыв дверь камеры на замок.

«Что можно написать за 30 минут?» Я подумал и написал очень кратко:

В Верховный суд УССР

от осужденного Ветохина Юрия Александровича **Кассационная жалоба.**

В соответствии со статьей 424 УПК УССР пользуюсь своим правом подать кассационную жалобу. Это — моя вторая жалоба. Несмотря на то,

что Верховный суд УССР признал справедливость моей первой кассационной жалобы в части нарушения статей 418 и 419 УПК УССР Областным судом, суд в новом составе, созданный по решению Верховного суда, полностью игнорировал это ваше решение. Новое заседание Областного суда повторило те же ошибки и нарушения, которые были перечислены мной на 16 листах моей первой кассационной жалобы.

Исходя из вышеизложенного, снова подтверждаю все те просьбы, которые содержатся в моей первой кассационной жалобе.

Сдав написанную жалобу начальнику и вернувшись в свою камеру, я потребовал свидания с начальником больнички. Когда он пришел, я сказал:

— Гражданин старший лейтенант! Поместите, пожалуйста, меня опять в больничку! Новое Определение Областного суда подтверждает то, что я больной.

— Больничка вам не нужна, — ответил старший лейтенант. — Скоро вы поедете на постоянное место жительства.

Слова «постоянное место жительства» больно резанули мой слух. Однако он сказал правду. Нарушив еще раз свои законы, по которым исполнение приговора осужденному откладывается до получения ответа на кассационную жалобу, коммунистические тюремщики в тот же день посадили меня на этап, идущий в Днепропетровск.

* * *

В Днепропетровской спецбольнице я снова был направлен на 4 этаж главного здания, который за короткий срок моего отсутствия весь заполнился больными. Больных привезли из Сычевской спецбольницы, из Казанской

спецбольницы, из Харьковского и Игреневского сумасшедших домов. На 4 этаже вместо одного отделения было образовано уже целых три. То же самое происходило на других этажах спецбольницы. Спецбольница также расширялась за счет корпусов и помещений Днепропетровской тюрьмы.

Бочковская взяла меня в свое отделение, которое теперь именовалось «отделение № 9» и имело в своем составе 6 камер. Меня посадили в 6 камеру, в которой стояло 26 коек. Для меня койки не нашлось и мне снова дали щит из трех досок. Камера была очень похожа на ту, где я

жил раньше. Не было только параши, пользование которой теперь было запрещено. Едва я успел застелить свой щит, как Бочковская вызвала меня к себе.

Кабинет у Бочковской теперь был другой, но на ее столе, как и прежде, стояла ваза с живыми цветами.

— Ну, вот, я же вам говорила, что вернетесь! — Бочковская с неизменным апломбом, мимо очков. — Теперь вам надо думать не о кассациях, а лечении, чтобы мысли и убеждения ваши изменились правильном направлении.

— Скажите, а сколько лет приблизительно я здесь пробуду? — спросил я.

— Все, что имеет начало, имеет и конец, — ответила она. — Помнится, вы не очень хорошо переносили аминазин. Я теперь назначу вам трифтазин в таблетках. Смотрите, не выплевывайте! Узнаю — плохо будет!

И началась для меня концлагерная рутина, которая продолжалась 8 лет...

Глава 36. Постоянное место жительства

Глава 36. Постоянное место жительства.

После еды, как всегда, дверь нашей камеры раскрылась настежь и вошел санитар. Он ударил несколько раз большим тюремным ключом о металлическую спинку кровати и прокричал: «Шестая палата! На лекарство!»

У меня эта команда вызвала жгучее чувство приближающейся опасности. Режим в спецбольнице с каждым днем все больше ужесточался и уклоняться от приема лекарств становилось все труднее. Повышались требова-

ния не только к больным-заключенным, но и к медсестрам. От них требовали строгого контроля во время раздачи лекарств. Для того чтобы сестрам было удобнее заглядывать в рот больным и искать там спрятанные таблетки, даже подняли на целых полметра пол в

сестринской. Прятать во рту полученные таблетки было не только трудно, но и опасно. За это грозило наказание. Спустя 6 месяцев после моего заточения в спецбольницу, непрерывное недельное уклонение от приема лекарств я считал уже большим достижением.

Услышав резкий звон от тюремного ключа и команду санитара, все больные в нашей камере зашевелились. Менее заторможенные подошли к дверям и встали в очередь. Остальные, охая или мимикой выражая свое страдание, медленно-медленно поднимались с коек. Я выглянул в коридор. Сестринская, где дежурная медсестра выдавала лекарства, находилась как раз напротив нашей камеры. Дежурила Лидия Михайловна. Она стояла перед столиком, наполовину загораживающим вход в сестринскую и сверху вниз смотрела на очередного больного. Большую часть столика занимал ящик, в ячейках которого находились пластмассовые именные стаканчики с заранее вложенными в них лекарствами. Рядом был поднос с другими стаканчиками, наполненными сырой водой. По мере того, как воду выпивали, ее снова добавлял из ведра, стоящий в дверях сестринской, назначенный для этой цели больной. Санитар находился рядом.

Стараясь определить, в каком настроении Лидия Михайловна, я некоторое время наблюдал за нею, стоя в дверях. Как всегда, взглянув на очередного больного поверх очков и толстой марлевой повязки, закрывавшей ее рот и нос от вредных паров лекарств, и опознав его, она начинала искать в ящике его персональный стаканчик с лекарством. Найдя стаканчик, Лидия Михайловна вынимала его из ячейки руками в резиновых перчатках, которые предохраняли кожу от вредного воздействия лекарств. Открыв крышку стаканчика, она высыпала его содержимое в подставленную ладонь больного, в то же время пристально наблюдая за ним. А он подносил ладонь ко рту и опрокидывал туда таблетки. Затем брал со

стола стаканчик с водой, выливал воду себе в рот, запрокидывал голову назад и старался проглотить таблетки.

— Ну, как? Проглотил? — спрашивала его Лидия Михайловна, когда он переводил дыхание. В ответ, больной кивал головой.

— Покажи рот! — приказывала сестра.

Вооружившись шпателем, она поднимала язык больного и тщательно проверяла, не спрятал ли он лекарство под языком или за десной. Санитар сбоку светил переносной лампой. Беда тому, у кого она

находила не проглоченную таблетку, особенно, если виновник — политический. Пощады никогда не бывало. Она докладывала врачу, а врач переводил больного с таблеток на уколы и нередко добавлял еще «курс серы» или «курс аминазина».

Я никогда не мог заранее решить во время дежурства Лидии Михайловны: проглотить или спрятать таблетки. Лидия Михайловна — сфинкс. Было очень трудно предугадать в каком она сегодня настроении. Старая, усталая женщина, всю жизнь проработавшая в тюрьме, она, якобы, только и мечтала о пенсии. Об этом знали не только все санитары, но и многие больные. Она много повидала на своем веку и глупой ее назвать было нельзя, боязливой — тоже. Мне, например, она сказала в глаза:

— Вы, конечно, ничем не больны и мы все это знаем.

Однако, после этих слов она безжалостно делала мне уколы серы, которые Бочковская прописала мне вместе с трифтазином и ревниво следила за тем, чтобы я проглатывал таблетки. Но бывали и такие дни, когда она «не замечала» того, что я не проглотил таблеток. Среди остальных 10-ти медицинских сестер 9-го отделения были разные женщины, но две из них: Сара Дьяченко и Екатерина Стеценко открыто ненавидели политических заключенных и на их дежурстве не было никакого спасения. Если бы все сестры были похожи на этих двух, то я сейчас не писал бы эти строки. Мои кости, с железной биркой на ноге, гнили бы на одном из тюремных кладбищ.

Перед тем, как примкнуть к очередной тройке больных (санитар выпускал в коридор по три человека), я посмотрел, нет ли поблизости кого-либо из врачей. В их присут-

ствии сестры особенно выслуживались. Затем я выбрал момент, когда в двери сестринской встал менее вредный санитар из двух санитаров, находившихся на дежурстве, и вышел в коридор. При этом я мысленно молился: «Господи! Да будет воля Твоя!»

Когда подошла моя очередь встать в дверях сестринской, я без промедления громко назвал свою фамилию, чтобы Лидии Михайловне не надо было напрягать память (а, следовательно, сердиться) и протянул свою руку ладонью вверх — за таблетками.

Едва таблетки оказались в моей ладони, я сразу высыпал их в рот, затем мгновенным и незаметным движением языка я перебросил таблетки за десну, а потом выпил воду из стаканчика. Не дожидаясь, когда сестра

возьмет в руки шпатель, я приоткрыл рот для показа ровно настолько, чтобы не вывалились таблетки и громко сказал:

— А-а-а-а!

Потом я повернулся и без разрешения направился в свою камеру, всем своим существом ожидая окрика: «Санитар, верните Ветохина! Пусть еще раз покажет мне рот!»

Когда я вошел в камеру и убедился, что крика сестры не последовало, то прежде всего, вознес молитву Господу: «Господи, спасибо!» Зная, что и больные тоже, среди которых были доносчики, могут наблюдать за мной, я старался никак не выдать, что за десной у меня лежат таблетки, хотя они огнем жгли десну, а язык онемел от яда. Недаром сестра закрывала себе рот и нос марлей, а на руки натягивала резиновые перчатки!

Я несколько раз прошелся взад-вперед по камере и лишь когда все больные из нашей камеры приняли лекарства и санитар закрыл дверь на замок, я бросился к своей койке, лег на нее, на мгновение закрылся с головой одеялом и в этот момент переложил таблетки изо рта в руку. Затем я завернул таблетки в заранее приготовленную бумажку и долго отплевывал желтую, ядовитую слюну в простыню.

Бумажка с таблетками — тоже улика. Политический из 10-го отделения, Василий Иванович Серый, учитель гео-

графин из Одессы, собиравшийся угнать самолет и преданный своим другом, попался с такой бумажкой. За этот поступок начальник отделения прописал ему такие пытки, что Серый долго не мог встать с койки. Самое лучшее — выбросить бумажку с таблетками в туалет, но оправка по графику еще не скоро и я выбросил бумажку в окно, хотя это и рискованно. Расставшись с таблетками, я вздохнул с облегчением... до следующего приема лекарств. Таких приемов лекарств в сутки — три.

* * *

Не всегда прием лекарств проходил для меня гладко, как в этом случае. Иногда приходилось проглатывать лекарство. Я надолго запомнил ощущения после проглаты-вания проклятых таблеток. Со временем, мне пришли на память исторические сравнения. В древней Греции существовала такая казнь: палач давал осужденному медленно действующий яд и осужденный глотал его. Так умер Сократ. Присутствующие на его казни друзья впоследствии вспоминали, что

после приема яда Сократ сразу лег и больше ни с кем не разговаривал, прислушиваясь к медленным, разрушительным процессам, происходившим в его организме.

Нечто подобное имело место в Днепропетровском психконцлагере. В те несчастливые для меня дни, когда не удавалось спрятать таблетки и я вынужден был проглотить их, я сразу ложился на койку и в отчаянии от своей беспомощности прислушивался к тому, как таблетки проходили по пищеводу, вызывая острую жгучую боль по всему пути их следования и разрушая различные органы и функции моего организма. Но и лежать я долго не мог. Какая-то сила снова поднимала меня с койки и заставляла ходить взад-вперед по камере. Через короткое время я чувствовал такую слабость, что вновь валился на койку. Полежав немного, я опять был вынужден встать. И так, подобно Ваньке-встаньке, двое суток, пока длилось действие лекарства! Врачи называли такое состояние «заторможенностью». И это еще не все. Через несколько часов после приема таблеток начинались судороги конечностей, а также лицевых мускулов, языка и глотательного механизма.

Глава 37. Рутина тюремной жизни

Глава 37. Рутина тюремной жизни.

За исключением тех дней, когда я лежал в койке с болями, вызванными уколами или же проглоченными таблетками, в остальные дни я занимался по собственному плану. Первым и главным моим занятием было нахождение решений тем проблемам, которые я поставил перед собой еще в Лефортовской тюрьме. Когда позволяло самочувствие, я ходил взад-вперед по узкому проходу между койками и думал над ними, полностью отключившись от окружающей меня действительности. Когда ноги мои уставали от многочасового топтания в проходе, или когда в проход набивалось так много желающих походить, что уже невозможно было это делать, я снова садился или ложился на свою койку и менял род занятий, ибо думать я привык под размеренный, прогулочный шаг. Для лежачего положения у меня было другое занятие. Это — изучение английского языка. Английский язык изучали почти все политзаключенные. Хотя администрация спецбольницы относилась к этим занятиям враждебно, английские книги и учебники ходили по рукам. Для меня начало всему положил

учебник английского языка для ВУЗ-ов, который дал мне Завадский. Опять Завадский!

Когда меня привезли в Днепропетровскую спецбольницу, после второго суда, Завадский уже был там. Увидев меня на прогулке, он очень обрадовался встрече и как ни в чем не бывало протянул мне руку. Я ответил тем же и некоторое время мы снова дружили. Он сообщил мне, что Белова институт имени Сербского признал здоровым и отправил на суд, а вот ему этого добиться не удалось, даже с помощью антифашистского рассказа. Завадский работал кладовщиком 10-го отделения. Пользуясь своим положением, он мало бывал в камере, а большую часть времени проводил в кладовой, где иногда читал и переводил английские книги. Потом он стал писать какую-то пьесу, опять по заданию врачей.

Конечно, ему было куда лучше находиться в кладовой,

чем мне в общей камере. Днем в нашей камере творилось ужасное: одни больные занимались онанизмом, другие несли несуразный бред, у третьих были припадки, раздавались угрозы, вспыхивали ссоры. Правда, ко мне больные приставали редко, ибо ни с кем из них я почти не разговаривал, зная, что сумасшествие заразно. Политических в одну со мной камеру не селили по указанию Бочковской. Поэтому, в перенаселенной камере я всегда оставался наедине с собой. Единственная возможность побеседовать с нормальным человеком была на прогулке, где встречались больные из всех трех отделений нашего этажа. Но с наступлением холодов прогулки прекратились. В нашем 9-ом отделении на 115 заключенных — больных было всего 10 старых, рваных хлопчатобумажных брюк. Их надевали рабочие, когда шли на работу: уборщик сестринской и ординаторской, уборщик туалета, официанты столовой, кладовщик. А на прогулку одеть было нечего. Потом, когда погода потеплела, прогулок не делали уже по другой причине: строили специальную прогулочную клетку. Прогулки не было девять месяцев. Я пытался глотнуть свежего воздуха по дороге в тюремную прачечную, куда всегда вызывался добровольцем. Скоро и эта отдушина оказалась перекрытой. Бочковская составила список больных, которых запрещалось брать на работы за пределы девятого отделения. В списке оказались в основном одни политические.

— Этот список составлен Бочковской по приказу начальника спецбольницы Прусса и утвержден самим Пруссом! — почему-то шепотом говорили сестры, давая понять, что такое табу преступить они

не в силах. Хотя почти никто его еще не видел, но больные упоминали имя Прусса в своих разговорах почти каждый день. Политические находились постоянно в камерах, сестры и санитары вели за нами наблюдение. Они смотрели в глазок камеры, следили во время приема пищи, приема лекарств и во время оправки. Все, что казалось им достойным внимания, сестры записывали в «журнал наблюдений», а утром, во время «пятиминутки», докладывали врачам. Нередко на основании их доносов врачи назначали или усиливали больным медикаментозные пытки.

Кроме случайных наблюдений, сестры должны были за каждое свое дежурство «описать» пятерых больных. Тут уже не исключалось и творчество. Были и комичные моменты. Так, например, однажды дежурная сестра услышала, как я рассказывал сказку Андерсена «Новое платье короля». Не зная этой сказки, сестра уловила крамолу в ее содержании и внесла весь ее текст в «журнал наблюдений» в качестве очередного примера моего «политического бреда». Большинство записей из «журнала наблюдений» переносилось в личные «истории болезни». За многие годы эти «истории болезни» распухали необыкновенно и вид их доказывал наглядно, что врачи и сестры не зря получали повышенные оклады и другие льготы.

Когда меня не мучили боли от лекарств, то все время мучил гол о д. Нас кормили из расчета 36 копеек в день, то есть три раза в день по 12 копеек. Что можно купить в СССР на 12 копеек, если мясо и масло на рынке стоят 5-7 рублей килограмм, а обед в дешевой рабочей столовой — 1,5 рубля!? Естественно, продукты из которых нам готовили пищу, были гнилые, тухлые и червивые, да и то в очень малых количествах. Однажды днем я лежал на своей койке, отложив в сторону учебник английского языка, и мечтал о еде. Я представлял себе полную тарелку картофельного пюре из белой, не гнилой картошки. Потом я мысленно перешел на гречневую кашу, потом — на жареные макароны. Я хотел самой простой пищи, лишь бы не гнилой и побольше. В самый разгар моих мечтаний открылась дверь камеры и вошел санитар:

— Ветохин, на выход!

Сердце у меня ёкнуло. Зачем? Куда? Но спрашивать не полагалось. Я встал с койки, засунул ноги в босоножки, еще те, в которых отдыхал в Сухуми, и вышел за дверь. В коридоре санитар подвел меня к женщине-надзирателю ведающей посылками. Она стояла в конце коридора и около нее, на полу, виднелось несколько кошелок, в каких приносили

больным продукты, выложенные предварительно из посылочного ящика и тщательно проверенные специальными лицами.

— Вот вам больной Ветохин, — сказал ей санитар.

— Вам продуктовая бандероль,— повернулась ко мне надзирательница. Я очень удивился. От кого это могло быть?

— Вам прислали коробку шоколадных конфет, — продолжала женщина. — Больным заключенным не положено получать шоколадные конфеты, но я все-таки отдам их вам. Я знаю, что это впервые вам прислали посылку и потому сделаю исключение. Я написала в квитанции «4 пачки сахара» вместо конфет. Распишитесь и смотрите, никому не показывайте, что в коробке конфеты!

— А кто мне прислал?

— В квитанции не указано от кого бандероль.

Когда я ел присланные конфеты, то это было так фантастично, что слезы невольно навернулись у меня на глазах. Это были непроизвольные и необъяснимые слезы. Просто, реакция на неожиданность. Я был очень голоден. Я мечтал съесть какой-нибудь простой пищи, и вдруг вместо этого — шоколадные конфеты!

Вскоре мне пришло письмо, разъяснившее загадку бандероли. Я вынул исписанный лист из уже вскрытого врачами конверта и прочитал темпераментное обращение моей старой знакомой, Киры.

« Вся твоя жизнь подобна детективному роману!» — писала она. — Недавно я приехала в Ленинград в командировку и хотела повидаться с тобой, о чем и послала открытку. Не получив на нее ответа, я поехала прямо к тебе домой. Там твой сосед объяснил мне все и дал твой больничный адрес. И вот я пишу письмо...»

Кира так никогда и не поняла, где я находился и как я голодал. Впоследствии она присылала мне к праздникам коробку сдобного печенья вместо того, чтобы на те же деньги прислать простых белых сухарей и кусок шпига, которые лучше и полнее утолили бы мой голод. Но написать ей о голоде я не мог. Письма политзаключенных проверяла сама Бочковская и она заставляла меня переписывать каждое письмо по 2-3 раза до тех пор, пока в нем не оставалось ни малейшего намека на условия, в которых я жил. И даже коротенькое, совершенно стерилизованное письмецо, пропущенное Бочковской, иногда еще

более урезалось где-то в другой инстанции. Об этом однажды написала мне Кира.

В другой раз она написала мне о дошедших до нее слухах о всеобщей амнистии заключенным, приуроченной к 100-летию со дня рождения Ленина.

— И не мечтайте! — категорически отрезала Бочковская отдавая мне письмо от Киры. — Вы находитесь не в тюрьме, а в больнице. Поэтому если амнистия и будет, то вас она не коснется.

В то время, когда Бочковская была на отдыхе в Сочи, где она имела собственную дачу, я послал обещанное санитару Федину письмо, в котором сообщал о результатах второго суда. Замещавшие Бочковскую врачи письмо пропустили. Однако, почему-то не найдя адреса, моё письмо вернулось обратно. Вот тут на него обратила внимание Бочковская.

— Вы хотите всю жизнь Федину погубить? — закричала она на меня. — Дружба с таким человеком как вы, была бы для него катастрофой! Для него навсегда закрылись бы все двери: и на учебу и на работу!

О Кире Бочковская так не беспокоилась.

— Такая же антисоветчица, как вы! — как-то сказала

— Вы даже из писем можете знать, что она — хороший специалист и создает материальные ценности.

— Для нас важны не материальные, а в первую очередь, — моральные ценности, — отпарировала Бочковская.

Кроме печенья Кира присылала мне книги, журналы и газеты. Благодаря ей я узнал из «Литературной Газеты», что Игорь Ефимов, вместе с которым я много лет посещал ЛИТО, стал членом Союза Советских писателей и был выбран в правление Ленинградской писательской организации. Эта новость всколыхнула во мне старые воспоминания.

После двух лет переписки Кира вдруг перестала писать. В своем последнем письме она дала мне понять, что КГБ оказывает на нее сильное давление, а у нее — взрослый сын, которому хочется поступить в институт… И, кроме того, несмотря на ее настойчивые вопросы, я ей ничего не пообещал на будущее… Когда переписка прекратилась

я почувствовал себя более одиноким, чем до ее начала. Таков закон жизни.

* * *

Почти со времени моего появления в спецбольнице, там стали распространяться слухи о необыкновенной личности, поставленной почти единолично управлять всеми нами, а также нашей жизнью и смертью — о подполковнике Пруссе. Эти слухи очень усилились и приняли одно единственное лестное для него направление, после случая в 11-ом отделении. Однажды Прусс зашел в камеру 11-го отделения и находившийся в бреду уголовник ударом кулака сбил его с ног. Вся свита Прусса и санитары накинулись на больного и начали избивать его.

— Прекратить избиение больного! — распорядился Прусс, вставая с пола с помощью надзирателей. — Начальник отделения! — продолжал Прусс отдавать приказания необычным для него громким голосом: — Проследите лично, чтобы этого больного никто и никогда не тронул пальцем! Больной не отдавал себе отчета в своих действиях и потому не может быть наказан за них!

— Как бы не так! — говорили больные друг другу шепотом. — Вот только выйдет Прусс из камеры, как избиение снова возобновится!

Но этого не случилось.

— Ну, не сегодня, так завтра его изобьют до полусмерти! — говорили другие. Но и завтра и через несколько дней этого больного никто не тронул. Других больных в этой же самой камере избивали каждый день, но этого — никогда! Конечно, слух о заступничестве Прусса облетел всю спецбольницу.

— А Прусса-то врачи и санитары как боятся, а! — с восхищением говорили больные. — Если бы Прусс знал и о других избиениях, он бы и их тоже запретил! Но он не знает! От него скрывают!

Так Прусс превратился в «отца родного», который «всей душой переживал за больных, но злые заместители скрывали от него правду».

Я уже знал в своей жизни подобного «отца родного» — палача Сталина. О нем тоже говорили: «Сталин не знает о том, что творится в стране, от него скрывают правду». А что касается Ленина, то отдельные малограмотные слои населения идеализируют его до сих пор. «Вот,

если бы Ленин был жив — этого беззакония не было бы!»— можно услышать от них. Знал я и помельче «отцов родных»: главного конструктора Матвеева, парторга Петрова... Для меня их было достаточно, чтобы не обмануться. Но наивные зеки продолжали думать по-своему: «Прусс не знает правды, ему надо сообщить правду». Среди этих наивных людей, к моему удивлению, оказался и Переходенко.

Это событие случилось зимой. Визиту начальника спецбольницы Федора Константиновича Прусса предшествовали длительные приготовления. Лаврентьевна и санитары заставили нас сперва сделать повторную уборку в камере, а затем заправить по военному наши койки и сесть на них в ожидании начальства.

Прусс появился с большой свитой из надзирателей, врачей, сестер и санитаров. Он оказался человеком лет 55 высокого роста, с выдающимся брюшком и в массивных роговых очках. На плечи Прусса был небрежно накинут белоснежный халат, из-под которого виднелся щегольски сшитый китель из очень хорошего материала и погоны подполковника медицинской службы МВД, которому он подчинялся подобно другим начальникам лагерей раскинутого по всей стране ГУЛАГ-а. На его сытом, гладко выбритом лице было написано чувство превосходства и снисходительности — одновременно. Вошел он не спеша, остановился в проходе, посредине камеры, неторопливо оглянулся по сторонам, а потом важно сказал, как-будто скомандовал:

— Здравствуйте, больные!

Я смотрел на его лицо и сквозь присущие только Пруссу индивидуальные черты в моем воображении проступали общие черты всех советских хозяев жизни, которые встречались мне раньше: и полковника КГБ Лунца в маске профессора, и главного конструктора — вора Матвеева, и парторга Петрова, смахивавшего на штур-

бандфюрера... У всех у них было такое же наглое, самодовольное выражение лица, тихий голос и неторопливая походка, у всех у них обязательно был животик, а главное — все они были лицемеры и, подобно Пруссу, старались создать себе ореол заботливого начальника.

Из разных концов камеры послышались нестройные приветствия больных. Выслушав их, Прусс спросил у Бочковской, сколько больных числится в отделении. «115» — ответила она. Затем он приказал:

Теперь я прошу врачей, медсестер и санитаров выйти в коридор и оставить меня с больными одного.

Торопясь и подталкивая друг друга все они заторопились к выходу.

— Закройте двери палаты! — приказал Прусс оставшимся с ним двум надзирателям. Надзиратели закрыли двери и снова стали рядом с Пруссом. Прусс с каким-то непонятным торжеством посмотрел на нас и объявил:

— Теперь прошу заявлять претензии у кого они есть! При этом называйте свою фамилию.

Некоторое время все молчали. Наконец, больной Дуп-лийчук сердито произнес:

— Никого не выписывают!

— Сперва надо полечиться, — добродушным голосом ответил Прусс. — Полечитесь — выпишем. Конечно, не всех сразу, но дойдет очередь и до вас.

— Прогулок нет уже несколько месяцев! — заявил я. Прусс оценивающе посмотрел на меня и снисходительно объяснил:

— Для прогулок строится специальный прогулочный дворик. Как будет построен — начнутся прогулки.

— Замучили уколами! Больно сидеть и больно лежать! — пожаловался больной Медведев.

— А за что вы попали сюда?

— Я по болезни убил свою жену.

— Ага, жену убили! — радостным голосом подхватил Прусс. — А когда вы ее убивали, ей, ведь, тоже больно было, а?

Затем Прусс заметил остальным:

— Больше вопросов о лечении не задавайте. Это — дело врачей. Я спрашиваю вас о режиме и о содержании

— Если вам пожаловаться на режим, так ведь еще хуже станет!? — неуверенно не то спросил, не то заявил Переходенко.

Прусс медленно повернул к Переходенко голову, надменно посмотрел на него, опустив толстую нижнюю губу, и важно проговорил:

— Я специально приказал всем врачам, сестрам и санитарам выйти из

палаты. Они не услышат ваших жалоб и бояться вам нечего. Говорите!

Переходенко все же колебался и молчал. Тогда Прусс добавил:

— Если вы все-таки боитесь говорить свои претензии в присутствии других больных, я могу принять вас для этой цели отдельно, в своем кабинете.

— Да, хочу, — сказал Переходенко.

— Сержант, запишите его на прием ко мне, — обратился Прусс к сопровождавшему его надзирателю.

На другой день Переходенко был у Прусса и рассказал ему об избиениях и издевательствах, которые испытал сам или видел в своей камере.

— Он выслал санитара из кабинета и слушал меня один, — рассказывал мне Переходенко. — Слушал внимательно, что-то записывал, а потом, в заключение пообещал:

— Я лично во всем разберусь.

В тот же день, вечером, Переходенко был переведен на уколы халоперидола, самого страшного лекарства.

— Вы мстите мне за то, что я пожаловался Пруссу! — сказал он Лидии Михайловне, которая сделала ему укол.

— А мы ничего не знаем о ваших жалобах, — ответила она. — Халоперидол — лечение. Его принимают все: и те, кто жалуется, и те, кто не жалуется. Но все-таки она не утерпела и добавила:

— А вот Прусс сделал Нине Николаевне замечание, что она, мол, плохо вас лечит, ибо политический бред у вас нисколько не уменьшился. Сами виноваты!

На другой день санитары жестоко избили Переходенко. В отличие от сестры, они не нуждались в лицемерии:

— Можешь теперь кричать, — сказали они. — Мы даже дверь камеры закрывать не будем. Все равно никто не

придет к тебе на помощь — сексоту проклятому!

А Бугор, бывший милиционер, осужденный за воровство, присовокупил советскую пословицу «Жаловаться на начальство — все равно, что ссать против ветра».

И Переходенко больше не кричал. Он только тихо стонал, сжав зубы. Впрочем, скоро его бить перестали, ибо от халоперидола он превратился в бесчувственный живой труп. А труп бить не интересно!

Однажды меня вызвали в ординаторскую, где Бочков-ская молча указала мне на полную, черноволосую и черноглазую женщину лет 45-ти, которая сидела за другим столом. Я подошел к ней и женщина стала задавать мне вопросы. Вопросы касались моих биографических данных и в общих чертах — моего преступления. Потом женщина спросила меня, считаю ли я себя больным и, получив отрицательный ответ, отпустила.

От санитаров и больных мне удалось узнать, что женщина являлась судебным экспертом в Игреневской психбольнице, близ Днепропетровска. Тогда я догадался, что эта беседа была повторной экспертизой, назначенной Верховным судом по моей кассационной жалобе. Конечно, это была пародия на экспертизу, так же как и суд в новом составе был пародией на суд.

Глава 38. Баня

Глава 38. Баня.

Я беспомощно метался в черном безмолвном пространстве, рассеченном многими концентрическими окружностями, близко примыкающими одна к другой, как разноцветные полосы радуги. Эти окружности были раздражающих, не гармонирующих друг с другом цветов и начинаясь в непосредственной близости от меня, уходили куда-то в черную даль, уменьшаясь в размерах. Я хотел вырваться из этого конуса и напрягая зрение, искал место, где окружности, постоянно уменьшаясь в диаметре, должны, наконец, прекратиться. Но чем пристальнее я вглядывался в темноту, тем большее число мелких, невидимых ранее окружностей находил в дальнем конце светового конуса и никакого выхода не было... Вдруг я услышал знакомые звуки. Как будто ударяли железом по

железу.

В следующее мгновение я понял, что кошмарный полет в темноте — это

сон, который снился мне всякий раз после того, как мои уловки избежать приема лекарств терпели неудачу и таблетки попадали в организм, вызывая болезненные реакции в мозгу и центральной нервной системе. Посторонние же звуки — это удары ключом по спинке койки, означающие сигнал подъема. Побарабанив ключом минуты две, санитар закричал:

— Шестая и третья палаты! Подъем в баню!

Я открыл глаза и сразу вспомнил, что вчера дежурила медсестра Сара Дьяченко, которая всегда заглядывала мне в рот, и я был вынужден лекарство проглотить. Теперь на два дня обеспечено болезненное, полуобморочное состояние.

— Кто там еще тя-я-я-нется? Я сейчас помогу встать! — закричал санитар.

Дальше лежать было нельзя: посыпятся градом удары массивным ключом по чему попало. Я сел и стал просовывать ноги в узкий проход между койками, где уже торчали ноги моего соседа. Команды следовали одна за другой:

— Выходи строиться на оправку!

Один санитар, как положено, встречал нас в коридоре, а другой ходил по камере и смотрел все ли поднялись. За окнами было темно. В баню поднимали всегда очень рано: часа в 4 утра. В тюрьме стояла ночная тишина. Когда санитар насмешливо скомандовал:

— Поплыли-и-и! С песней! — шарканье наших ног гулко раздалось в пустом и мрачном коридоре. Вид наш был до того ужасен, что если бы увидел кто-либо посторонний, то наверно в страхе убежал бы, приняв нас за призраков. Все были в одном нижнем белье. У всех на видных местах рубах огромное клеймо «9 п/о», что значило 9-ое психиатрическое отделение. Нижнее белье, бывшее когда-то относительно белым, за 20 дней, прошедших с последней бани, стало грязно-серым. У многих на кальсонах не было ни одной пуговицы и больные поддерживали их рукой, у других — ширинка разошлась и все, что не нужно — прямо на виду. Сонная дежурная сестра, при-

выкшая ко всему, даже не смотрела на это. На ногах у больных опорки: сношенные, рваные, грязные. Многие больные ходили в туалете по лужам мочи практически босиком, не обращая на это никакого внимания. Но самое страшное — это лица. Лица у всех больных —

иссиня-белые, отечные от лекарств и пыток, с густой щетиной, а волосы на голове—стрижены под машинку. У всех тупое, безразличное выражение глаз. И в довершение всего — многие трясутся и подергиваются, другие — заторможены, двигаются толчками.

Мы вошли в туалет одновременно с больными из 3-й камеры. Санитары плечами, руками и ногами затолкнули нас туда и закрыли дверь туалета на засов.

— Без всякого курения! — прокричали они из-за двери.

— В бане курить будете.

В туалете — не повернуться. 39 человек из двух камер стояли вплотную один к другому. В туалете всего 4 отверстия. На 3 отверстия садились, а в 4-е — мочились. Конечно, моча попадала друг на друга и на тех, кто сидел на 3-х других отверстиях. Некоторые пытались втихомолку курить. Однако, через 2-3 минуты дверь открылась:

— Выходи! — раздалась новая команда, и санитары забежав в туалет, за шиворот вытолкнули курильщиков, заторможенных и тех, кто сидел на отверстиях.

Хотя от туалета до камеры не больше 40 шагов, санитары снова всех построили. Потом строем повели по камерам.

— Приготовиться в баню и прожарку с матрацами, подушками и одеялами! Собрать по одной простыне и наволочке! — выкрикнул санитар, закрывая дверь нашей камеры на ключ и засов. Каждый снял нижнюю простыню и наволочку и бросил их на середину камеры, где дежурный по камере связал их в узел. Другая простыня оставалась грязной вплоть до следующей бани. А матрац, подушку и одеяло свернули валиком, чтобы нести на прожарку. Скоро дверь камеры открылась снова:

— Выходи строиться в баню!

В коридоре на цементном полу уже валялись старые, грязные брюки, ватники, шапки и ботинки. Больные бра-

ли в этой куче первое, что попадалось под руку, и надевали на себя. Я некоторое время пытался выбрать ботинки хоть примерно по размеру и без гвоздей, однако напрасно. Хорошие ботинки кладовщик отложил в сторону и раздавал «нужным» людям персонально. Не найдя ничего подходящего, я всунул ноги в огромные рабочие ботинки без стелек и

почувствовал, как гвозди впились мне в подошву. С отвращением я одел засаленную, всю в перхоти, шапку и такой же грязный ватник. Брюки попались без единой застежки. Я зашпилил их спичкой, валяющейся тут же на полу, и, взяв свой матрац, встал в строй.

— А чистое белье я понесу? — заорал санитар, почему-то глядя именно на меня.

— А ну, Ветохин, бегом в кладовую! Забери там тюк с бельем и назад в строй.

Меня шатало от слабости и кружилась голова. Но делать нечего. Я взял в одну руку большой тюк с бельем, а на плечо положил свой матрац.

Надзиратель открыл дверь на лестницу и мы: 6 и 3-я камеры под командой старшего санитара и дежурного санитара в сопровождении сестры, стали спускаться вниз, Надзиратель сосчитал общее количество выпущенных с этажа больных и записал это число на деревянную дощечку.

* * *

В тюремном дворе нас обдало утренним холодом. Было еще только начало весны.

«Скорее бы все это кончилось: вся эта прожарка и баня!» — подумал я про себя и вдруг встретил во дворе Павла Федоровича Фетишева. Он подошел ко мне с приветливой улыбкой на своем усталом, добром лице, пожал мне руку, помог донести матрац. Павел Федорович — тюремный дворник. С раннего утра до позднего вечера он подметал оба тюремных двора и переходы между ними, убирал грязь и мусор, которые всюду раскидывали санитары, свободно гуляющие по всем тюремным помещениям. Фетишев — политзаключенный, находившийся в тюрьмах еще с войны. Как и мой отец — агроном по про-

фессии, он был похож на отца и по своим моральным принципам: никогда и ни при каких условиях не идти на сделку со своей совестью. Во время войны солдат Павел Федорович попал в плен к немцам и был отпущен ими на все четыре стороны. Конечно, он не скрыл от них, что ненавидит коммунизм. А кто бы скрыл? И зачем? Вернувшись в родной Симферополь Павел Федорович стал работать по специальности — агрономом. После войны за плен и согласие работать при немцах агрономом, Фетишева посадили в ГУЛАГ на 10 лет.

Все это произошло бы и с моим отцом, будь он на месте Фетишева. Вот почему я полюбил Фетишева как отца. И вся дальнейшая судьба Фетишева была мне очень близкой. Выйдя из ГУЛАГ-а Фетишев потребовал для себя полной реабилитации, так как никакой вины за собой не чувствовал. Однако ему отказали. Тогда он стал писать в различные инстанции. Чтобы заткнуть ему рот — Фетишева посадили в сумасшедший дом. Выйдя оттуда Павел Федорович встал на путь террора. Невинных жертв при этом не было. Его поймали и упрятали в психиатрическую больницу специального типа в Сычевку (под Москвой). Когда открылась новая, особо жестокая психиатрическая больница специального типа в Днепропетровске — Фетишева перевели в нее. У Павла Федоровича была семья: дети и внуки. Но все они жили так бедно, что ничем не могли помочь своему отцу и деду: ни деньгами, ни посылками. Единственная помощь была от политзаключенного Петра Михайловича Муравьева, с которым Фетишев познакомился еще в Сычевке. Когда Муравьев получал посылку от своих родственников, то всегда что-нибудь выделял Фетишеву. Ну и за свою работу дворником Фетишев получал... 3 рубля в месяц. Кроме того у Павла Федоровича был свой «садик». Садиком он называл крошечный участок земли размером в 4 х 2 метра, примыкающий к будке охранника. Этот садик был для Фетишева почти что живым существом. Благодаря этому садику Павел Федорович жил и все терпел. Копаясь в земле, любовно выращивая помидоры, виноград, цветы и рассаду, он забывал о страшной действительности, отвлекался от нее и получал от земли новые силы

для жизни.

* * *

Мы тихо беседовали с Фетишевым у входа в прожарку, когда вдруг в нашу сторону направилась медсестра. Увидев ее, Фетишев быстро отошел от меня и стал подметать двор (разговаривать с кем бы то ни было во дворе Фетишеву запрещалось).

Я подобрал металлическое кольцо в куче других колец, валявшихся на земле у входа в прожарку, подвесил на него матрац, подушку и одеяло, и войдя в помещение прожарки, зацепил кольцо за одну из перекладин под потолком.

Потом нас снова построили и повели в баню. Все больные пошли в правую дверь, а я понес тюк с чистым бельем — в левую дверь.

Предбанник был разделен перегородкой на две части и белье полагалось нести в его левую часть. Едва я спустился по лестнице и вступил в слабо освещенное низкое подвальное помещение, как чуть не наступил на труп.

Голый труп лежал на низких в грязных пятнах носилках. Морга в спецбольнице не было и трупы умерших всегда сносили в предбанник. Поэтому и поговорка у больных была соответствующая: «Нас всех выпишут на свободу — через баню!» Никаких эмоций вид трупа у меня не вызвал. Я перешагнул через этот труп так, как перешагивал через трупы в блокадном Ленинграде в 1942 году, и положил тюк с чистым бельем рядом с покойником. Затем я снова вышел во двор и вошел в предбанник, уже через правую дверь. Я миновал маленький коридорчик под лестницей и повернул налево. Там на стене висел смеситель, а на нем находились вентили холодной и горячей воды, которыми управляли санитары. Пройдя маленькую душевую, в которой обычно мылись санитары, я вошел в предбанник-раздевалку. В раздевалке по стенам стояли деревянные скамейки, а над скамейками были набиты гвозди для одежды. 39 человек не могли поместиться на скамейках и пока первая партия раздевалась, другие стояли у них за спиной, тесно прижавшись

друг к другу.

Раздевшись и бросив свое грязное белье на пол посредине раздевалки, больные подходили к окошку, проделанному в перегородке и получали от кладовщика малюсенький кусочек хозяйственного мыла (стандартный кусок мыла был разрезан на 20 частей). Потом шли в душевую.

В небольшой душевой было очень холодно. Для притока свежего воздуха стекла в маленьких подвальных окнах душевой были выбиты и дул сквозняк. Ни скамеек, ни подставок для мыла — ничего такого в душевой не было. Только пол, стены и потолок, на котором висело 8 душевых отростков, из которых капала ледяная вода. Я отошел в угол подальше от окна и встал на пятки, чтобы было не так холодно ногам от цементного пола. Долго не давали воду. Когда все больные разделись и зашли в душевую, санитар закрыл дверь на засов. Самые шустрые сразу обступили распылители. Другие — с отсутствующим видом стояли в стороне и дрожали от холода. Вот в трубах заклокотало, забурлило и из распылителей вырвался пар вместе с кипятком. Все те, кто сперва занял места поближе к душам, отскочили в стороны и прижались к стенам. А

распылители, которые не имели никаких вентилей для регулирования, поливали во все стороны кипятком. Скоро вся душевая наполнилась паром. Ничего не стало видно. От пара и от мгновенно наступившей жары стало трудно дышать. «Если теперь упасть — то этого никто не заметит, а если заметит, то не поможет». Чувствуя, что у меня очень болит сердце, меня мутит и я вот-вот потеряю сознание, я опустился на пол и прислонился спиной к холодной стене. Многие сделали тоже самое. Другие больные подошли к закрытой двери, стали стучать в нее кулаками и кричать: «Горячая вода! Вода горячая!» Долго никто не отзывался. Наконец, подошел санитар, отодвинул засов и открыл дверь:

— Чего, дураки, надо? Чего орете?

— Вода горячая! Пар один идет!

— Ничего! Не сваритесь! — и санитар снова закрыл дверь на щеколду. Все же кто-то в коридоре повернул вентиль на смесите-

ле в другую сторону. Постепенно пару стало меньше, а вода перестала быть очень горячей. Все «здравые» больные бросились мыться. Поскольку из 8 душей два оказались без распылителей, а другие два не работали вовсе, то получилось на каждый душ в среднем по 10 человек. Мылись все одновременно. Наиболее шустрые мылись под самым душем, другие довольствовались той водой, которая стекала с головы и с тела их товарищей. Мыло положить было некуда и его клали прямо на пол. И оно исчезало: его или смывали струи воды, или забирали другие больные. Дальше приходилось мыться без мыла. И, конечно, без мочалки.

Тем временем вода из теплой постепенно стала холодной. Санитар по нашей просьбе повернул вентиль в другую сторону, но слишком резко и теперь вместо горячей воды из распылителей лилась ледяная вода. Все больные снова отпрянули в стороны и опять прижались к стенам. Снова стали стучать в дверь. Дверь распахнулась настежь и старший санитар скомандовал:

— Хватит, помылись! Выходи одеваться!

— Но мы все в мыле. Дайте теплой воды хоть мыло смыть, — раздались голоса.

— Смывайте холодной водой! Через три минуты перекрою и холодную воду.

Я поспешил в раздевалку. В раздевалке было холодно. Санитарам

хотелось свежего воздуха и они открыли все двери на улицу. Стояла очередь за чистым бельем. Я встал тоже. В окошке кладовщик Цыпердюк выдавал белье в соответствием с табелем о рангах. Кладовщику продуктов, кладовщику табака, раздатчику баланды в столовой и богатым больным, белье было отобрано заранее: не рваное, по размеру, с пуговицами. Когда такой больной подходил к окошку (без очереди, конечно), Цыпердюк сразу подавал ему аккуратно свернутый «именной пакет». Больным « второй категории» — не очень богатым, но все же чем-нибудь полезным Цыпердюку, или же пользовавшимся симпатией врачей, как, например, Федосов, Цыпердюк выбирал белье на ходу, по мере возможности. Всем остальным совал не глядя и не разворачивая. Мне повезло. Когда я развернул кальсоны, то

на них оказалась одна пуговица и по длине они были мне значительно ниже колен. Рубашка тоже попалась не рваная. Одеваться было еще трудней, чем раздеваться, потому что на мокрое тело белье не лезло, а чтобы вытереться, надо было иметь какое-то минимальное пространство. Балансируя на одной ноге, я невольно выругался:

— Черт бы побрал эту баню! Когда-нибудь ее превратят в музей и посетители будут ахать и удивляться!

Услышавший меня богатый уголовник Дуплийчук, со злобой возразил:

— Вот за это тебя и не выпускают отсюда! И никогда не выпустят! Бред несешь все время!

— Быстрее одеваться! — вошел с улицы старший санитар. — Последние два человека будут мыть баню.

Мыть баню не хотелось. Я не стал вытираться, натянул белье на мокрое тело, бросил полотенце в общую кучу и вышел на улицу, на ходу натягивая на себя ватник и шапку. Было уже совсем светло.

Павел Федорович ждал меня у выхода.

— С легким паром, Юрий Александрович! — приветствовал он меня, как будто мы были на свободе.

— Спасибо, Павел Федорович. Пойдемте, покажите мне ваш садик.

— С удовольствием, пошли.

Садик был рядом с баней. Одной стороной он примыкал к тюремному забору, другой стороной — к зданию прожарки, а третьей — к будке

надзирателя. С четвертой стороны Фетишев планировал загородить его лозунгом «На свободу — с чистой совестью!» Сейчас этот лозунг стоял в стороне, но Павел Федорович ждал случая, когда кто-нибудь из офицеров-тюремщиков придет к нему за рассадой. Тогда он хотел попросить разрешения принести лозунг. Дело в том, что санитары, играя во дворе в волейбол, забегали в садик Фетишева и топтали его. А потом, когда созревали помидоры — рвали их без зазрения совести. Лозунг, как надеялся Фетишев, предохранит садик хотя бы от волейболистов.

Я подошел ближе и Павел Федорович стал показы-

вать: «Вот там у забора будут расти гигантские помидоры. Сейчас еще холодно. В конце марта, однако, я уже посажу рассаду. Слева у стены прожарки—две лозы винограда. В прошлом году уже было немного ягод. В этом году должно быть больше. Вот здесь у меня цветы, а посредине—парник.

Действительно, посредине садика участок земли размером приблизительно 60 х 60 см. был закрыт стеклом.

— Мне удалось достать настоящего конского навоза, — с гордостью рассказывал мне Павел Федорович. — Санитару за это пришлось купить папирос на всю мою месячную получку. Зато теперь у меня парник — что надо! Я посадил в парник рассаду гигантских помидоров, перца, огурцов и цветов. Вот она! Посмотрите!

Я наклонился и под запотевшим стеклом увидел множество тоненьких, зеленых листочков.

— А где вы взяли семена? — спросил я у Фетишева.

— Сперва дети в конверте с письмом прислали, а потом я сам стал запасать семена со своего садика на следующий год.

— А зачем вам такая масса рассады?

— Этого еще мало, Юрий Александрович! Мой садик только благодаря этой рассады и существует. Рассаду у меня берут надзиратели, сестры, офицеры, да, наверное, и некоторые врачи, правда не сами, а через сестер.

— Ну и что же, платят они вам за рассаду?

— Какой там платят! Разрешают копаться в земле, помидоры выращивать для себя, и на том спасибо.

— А много бывает помидор?

— Помидор-то много. Только санитары большую часть забирают. Я только и ем те помидоры, которые сорву зелеными и куда-нибудь запрячу, чтобы они там дошли.

— Богу-то молитесь, Юрий Александрович? — вдруг спросил меня Фетишев. Я кивнул.

— Молитесь, чтобы Он не дал вам упасть на колени перед палачами. Ни за что, Юрий Александрович, не соглашайтесь признать себя сумасшедшим! Лучше умрите честным человеком! Вот вчера проходил по двору началь-

ник спецбольницы Прусс вместе с главврачом Катковой. Я подметал. Подошли ко мне, заговорили:

— Что, Фетишев, не надоело тебе двор подметать? Внуки-то поди заждались тебя?

Надоело, — говорю, — но что поделаешь?

— Как что поделаешь? — ответил Прусс. — Признай себя психически больным человеком, раскайся в содеянных преступлениях, скажи, что больше не будешь заниматься ни писаниной, ни терроризмом, докажи на деле, что твое отношение к коммунистам в корне изменилось и комиссия тебя выпишет. Поедешь домой, к внукам. Нянчить их будешь.

— Нет, — говорю, — не был я никогда преступником и раскаиваться мне не в чем. Лжецом тоже быть не хочу.

— Как знаешь, Фетишев! — сказал Прусс, и они ушли. Павел Федорович помолчал немного, а потом задумчиво произнес:

— А может быть мы и не умрем здесь? Может нас освободят? На американцев я не надеюсь. Американцы очень богато живут и рисковать жизнью за нас не захотят. Вот немцы — другое дело. Немцы обижены так же, как мы с вами. Они хотят и они смогут свести счеты с большевиками. Они и нас освободят.

— Ой, вряд ли? — ответил я. — Если коммунисты увидят, что конец, то прежде всего они убьют всех политических заключенных. Не успеют!

— Успеют. Я уверен, что в мирное время у них разработаны способы быстрого умерщвления политзаключенных, и даже — продублированы.

В Потьме, например, под бараками заложена взрывчатка. Об этом мне Юрий Белов рассказывал. Ну, а здесь, в психбольнице, еще легче нас уничтожить: укол — и все!

— Смотрите, Юрий Александрович, прожарку открыли!

Я попрощался с Фетишевым и поспешил к прожарке. Надо было успеть захватить свои вещи, а то многие больные, зайдя в горячую прожарку, хватали первый попавшийся матрац, чтобы поскорее выйти на свежий воздух. Вытащив свой матрац из прожарки, я положил его

на доски и несколько раз ударил по нему палкой. Все это делалось для вида. И сама прожарка тоже была для вида. Все равно у больных водились вши. Однако заявлять об этом никто не смел. Даже настоящие больные и те инстинктивно понимали, что такое заявление повлечет за собой много неприятностей.

Когда нас привели в камеру, там стоял запах ядохимикатов, которыми без нас обрызгали пол и стены. Все окна и форточки были закрыты. Открывать их после дезинфекции не разрешали, также как и мыть пол. Мы расстелили свои матрацы на обрызганные ядохимикатами койки и легли на них. «Наконец-то баня закончилась», — подумал я с облегчением, вдыхая вонючий ядовитый воздух и мечтая о прогулке, которая теоретически должна была состояться в 3 часа дня. Мне все время в камере не хватало воздуха, даже и без дезинфекции, и прогулки, которые начались только недавно, составляли для меня единственную радость жизни. Хотя, радость эта была весьма сомнительной. Обещанный Пруссом прогулочный дворик, наконец, был построен и оказался на самом деле глухой клеткой. Эта клетка отличалась от клетки зоологического сада только тем, что сделана она была из колючей проволоки и количество людей, загоняемых в нее на прогулку, в десятки раз превышало количество зверей в любой клетке даже худшего советского зоопарка. Все три отделения с нашего этажа загоняли в клетку одновременно, после чего дверь закрывали на замок. Почти 300 человек сплошной массой начинали ходить по ямам и рытвинам вокруг двух деревянных скамеек, а часовые с двух вышек в это время целились в нас из своих карабинов. Может быть, это и хорошо, что время прогулки составляло только 45 минут.

Глава 39. «Лечение» инсулином

Глава 39. «Лечение» инсулином

«То, что случилось с вами здесь, — случилось навсегда, навек, зарубите это себе на носу. Мы сокрушим вас так что возврата к прошлому для вас не будет. С вами произойдет нечто такое от чего вы не оправитесь и через 1000 лет. Никогда больше простые человеческие чувства не вернутся к вам. Все внутри вас умрет. Любовь, дружба, радость жизни, смех, любознательность, доблесть, честь, все это будет недоступно вам. Мы выскребем из вас все начисто, а потом заполним вас собою».

(Орвелл «1984»)

— Не убивайте меня! Не убивайте меня! За что вы меня убиваете? Не уби... — этот ужасный крик, который я воспринимал как нечто постороннее, оказывается, издавал я сам. Это я понял сразу, как только крик замер в тот самый момент, как я подавился. Санитар Савенков, как всегда, с размаху, выплеснул мне в открытый в крике рот пол кружки сладкого сиропа. Я подавился и пришел в сознание одновременно. Некоторое время я задыхался, тщетно пытаясь освободиться от сиропа, попавшего не в то горло. Никто не отвязывал стягивающие меня ремни. Медсестра Стеценко и помогавший ей санитар Савенков уже выводили из шока моего соседа справа, Федосова. Я судорожно дернулся, издал хлюпающий звук, и удушье кончилось. Сироп проскочил. Я мог снова дышать. Но все еще я был под впечатлением того кошмара, который родил мой мозг, гибнущий от недостатка глюкозы, а может быть от невыносимой боли. Еще никто не рассказал, что чувствует человек под инсулиновым шоком и почему он кричит. Глюкоза, введенная сестрой в вену, вместе со сладким сиропом, попавшим в мою глотку таким грубым способом, что я сперва подавился им, растворили инсулин. Избыточное количество глюкозы пошло на питание мозга и голодание его прекратилось. Я очнулся. Ощущение было такое, что я восстал из мертвых.

Я вспомнил, что нахожусь в Днепропетровской спецтюрьме, или как ее еще называют — в «спецбольнице» и подвергаюсь «медикаментозному перевоспитанию» и что мне остался теперь всего один шок.

Перевоспитание инсулиновыми шоками началось около 3 месяцев назад, когда меня вдруг вызвали в ординаторскую. Мой новый лечащий врач, Нина Абрамовна Березовская, похожая на маленький жирный обрубок с крашенными рыжими волосами и бритой шеей, стала

задавать вопросы о самочувствии, о том, что я делаю в камере, с кем дружу и прочую ерунду. На все ее вопросы я, конечно, отвечал уклончиво, в соответствии со своим правилом: «Никакой информации о себе палачам не давать». Сидевшая молча за своим столом, уставленным цветами, Бочковская прервала нашу беседу и решительно перешла к делу:

Перед тем, как назначать вам другое лекарство, мы хотим знать, как на вас повлияло последнее лекарство — трифтазин?

— Я нигде не вижу лекарств, — ответил я. — Мне насильно вводят в организм ядохимикаты, а не лекарства. От этих ядохимикатов у меня слабость, заторможенность, я лишаюсь внутреннего покоя. У меня нередки судороги, задержка мочеиспускания. Вот на почки осложнение получил: белок стал выделяться! — разве это можно назвать лекарством?

— Юрий Александрович! — с фальшивым дружелюбием воскликнула Бочковская. — Но ведь и в вольных псих-больницах применяют такие же средства: трифтазин, аминазин, халоперидол, даже — серу! Спросите у тех больных, кто там были!

Зачем я буду спрашивать у **больных**? Какое **мне** дело до больных? По-вашему, все, что применяют в вольных больницах, следует применять и ко мне! Но там применяют к больным людям, а я — здоровый. С таким же успехом кроме трифтазина или аминазина вы можете применить ко мне ампутацию рук или ног, сославшись на то, что в вольных больницах такую ампутацию тоже при необходимости делают!

— У вас больная логика! — натянуто засмеялась Боч-

ковская.

— Если бы у меня была больная логика, — возразил я, — то я не смог бы работать преподавателем в институте и тем более — преподавать математическую логику.

— Ладно, Юрий Александрович, — властно перебила меня Бочковская. — Я не советоваться вас вызвала. Я знаю, что лечиться вы не хотите. Но вас привезли сюда на **принудительное** лечение и без лечения вы отсюда не выйдете. Хотите ли вы этого или не хотите — следующий ваш курс — это курс инсулина.

— Инсулина? — воскликнул я. — Но инсулин прописывают тем, у кого галлюцинации, а мне ничего не кажется.

— Я не стану обсуждать с вами свои назначения, — уже с нескрываемым раздражением повторила Бочковская. — А что касается вашей жалобы на почки, — я прикажу взять у вас анализ мочи! — и сделала знак санитару «увести». Уголовники и некоторые политические звали ее за жестокость Эльзой Кох.

Сразу после беседы с врачами санитары перевели меня в инсулиновую палату, где уже находились 9 человек принимающих инсулин и два санитара из больных. Со следующего дня мне начали вводить инсулин. Известно, что мозг человека питается сахаром (глюкозой) и является самым чувствительным органом. Едва только прекращается его питание — человек теряет сознание. Вот на этом принципе и основано применение инсулина. Инсулин—продукт поджелудочной железы животных, способен уничтожать сахар, содержащийся в организме человека. Введенный в организм голодного человека (утром нам умышленно не давали есть) инсулин уничтожает запасы сахара, накопленные в организме, и мозг остается без питания. Человек теряет сознание и медленно умирает. Нас заставляли умирать ежедневно с 8 утра до 12 дня. Какие необратимые органические изменения происходили в организме во время этого медленного умирания, какие части и какие функции мозга безвозвратно гибли — никто не знает и никто из врачей этим не интересовался. Я слышал о том, что инсулиновые шоки убивали самые деликатные и самые тонкие функции мозга: воображение, изобретательность, поэтичность, а также

воздействовали отрицательно на половые функции.

Инсулиновой сестрой была офицерская жена Екатерина Степановна Стеценко. Внешне ничем не приметная женщина, Стеценко всем своим видом показывала, что она выполняет очень важную, ответственную, а главное, нужную работу. Любительница сентиментальных романов, Екатерина Степановна совершенно забывала о сантиментах, когда к ней в руки попадал шприц, и превращалась в садистку. Стеценко вводила нам инсулин в 8 часов утра в манипуляционной. В палату мы возвращались строем, под командой санитара, который следил за тем, чтобы никто из нас ничего бы не съел и не выпил. В палате мы ложились на спину на койки, а санитары привязывали нас к койкам брезентовыми ремнями. Особенно усердствовал санитар из больных Евдокимов, в прошлом — профессиональный вор. Он затягивал ремень на груди так, что было трудно дышать. Единственным способом ослабить этот ремень — было отдать ему или осужденному санитару Савенкову, являвшемуся

начальником над больными-санитарами, половину хорошей продуктовой посылки. Но мне никто посылок не присылал. Поэтому, когда я жаловался, что мне трудно дышать, оба они заявляли, что я притворяюсь. Стеценко тоже вторила санитарам. Скоро мы все теряли сознание. Тогда Стеценко по-очереди замеряла у всех кровяное давление. Помогавший ей санитар Савенков норовил при этом сесть прямо на лицо больному и вызывал улыбку на злобном и некрасивом лице офицерской жены тем, что ловко предупреждал всякую попытку больного высвободить лицо из-под его грязных, засаленных штанов.

Каждый день дозу вводимого инсулина нам увеличивали. Потеря сознания начиналась дней через пять, когда доза инсулина в уколе достаточно возрастала. Эта потеря сознания называлась инсулиновым шоком. В среднем, каждому больному врачи прописывали по 30 шоков. Однако, не каждый шок шел в счет, а только — «глубокий шок», когда человек уже ничего не чувствует и похож на труп. Для проверки Стеценко проводила рукой близко перед глазами больного и если он при этом мигал — шок не засчитывался.

На первых шоках больные еще могли ощущать объективные воздействия, но их мозг уже не мог анализировать их. Это состояние называлось гипогликемией. Санитар Савенков и его помощник — Евдокимов, очень любили издеваться над больными, находящимися в состоянии гипогликемии. Они щекотали им пятки, поднимали и трясли койку вместе с привязанным к ней больным. Больные, у которых мозг уже был наполовину отключен, реагировали странно и это очень веселило санитаров. Говорят, что по их требованию я пел песню:

«Тумбала — тумбала — тумбала-лайка...»

Другие ругались, плакали, смеялись... Когда крики надоедали, санитары затыкали рты больных тряпками.

Периоды гипогликемии врачи использовали по-своему. Бочковская или Березовская садились на стул недалеко от моей койки и койки Федосова с бумагой и карандашом в руках и записывали все слова, все выкрики, которые непроизвольно вырывались у нас во время беспамятства. Очевидно, Господь удержал меня от выдачи моих главных секретов в этом состоянии. Но о том, какие носильные вещи я сдал на тюремный склад и как они выглядят я рассказал. Савенков вместе с Евдокимовым пошли туда и дали заключенному кладовщику две банки консервов. Затем Евдокимов назвал себя Ветохиным и, отобрав лучшие

предметы моего туалета, «подарил» их Савенкову, который должен был скоро освободиться.

О пропаже моих вещей стало известно только 4 года спустя.

Пробуждение после беспамятства было очень тяжелым но постепенно ощущение реальности возвращалось ко мне. Я почувствовал, что руки, ноги, да и все тело привязано к койке, и я лежу — в луже. Видя, что санитары не собираются меня развязывать, я сам кое-как развязал себе сперва руки, а потом освободил ремни, стягивающие тело. Сел в койке. Тем временем Федосов тоже пришел в себя и перестал выкрикивать разные бессвязные слова. Бочковская сразу встала со стула, захлопнула блокнот и вышла из палаты. Наконец, санитар подошел ко мне. Он подал мне в койку баланду и хлеб. Вся поверхность баланды была сплошным слоем покрыта сварившимися червя-

ми. На днях, больной санитар Цуканов, бывший рабочий-шахтер, попавший в тюрьму за попытку борьбы с коммунизмом методами саботажа, собрал всех червей из 9-ти наших мисок в одну миску. Получилась полная миска червей. Он показал ее Бочковской. Она ничего ему не сказала, но вскоре пришел Бугор и снял Цуканова с работы под предлогом, что он «возбудился».

Я знал, что червей есть можно. Черви — не то, что тухлая селедка, от которой случалась язва желудка. Я съел суп вместе с червями и пайку хлеба. Потом санитар дал мне сухое белье — переодеться. В заключение еще раз замерила нам кровяное давление и уже из палаты, на ходу, бросила мне:

— А тебе, Ветохин, осталось еще два шока!

— Как два? — удивился я. — Я считаю каждый назначено 30, сделано 29. Значит, остался один шок, вовсе не два!

— Два! — с ударением ответила Стеценко. — Считать не умеешь! — и вышла из камеры.

— Сволочь! Считать не умею! Прибавляет шоки! Так скоро и Лаврентьевна тоже лечить меня начнет!

Услышав мои слова, Евдокимов, просматривавший кой-то журнал, отбросил его от себя и бегом из камеры. Сразу же вернулась Стеценко:

— Кто это сволочь? Я — да-а-а? Я его лечу, сделать пытаюсь, а он меня сволочью называет! Ну, годи! Тебя еще не лечили ПО-НАСТОЯЩЕМУ!

После этой ссоры Стеценко сделала мне целых три шока. Потом Бочковская перевела меня в 3-ю камеру.

Глава 40. Сера как лекарство

248

Глава 40. Сера как лекарство.

В один из вторников осени 1969 года, часов в 1 дверь нашей камеры раскрылась с особенным на ее пороге показались ухмыляющиеся рожи санитаров:

— Ветохин, на выход!

Спрашивать причину вызова не полагалось. Я встал койки и вышел за двери. Тотчас один из санитаров схватил меня за шиворот и стал толкать вперед по коридору,

249

а двое других, подпрыгивая, улюлюкая и хохоча, сопровождали нас. Так мы, дошли до манипуляционной. В манипуляционной, да и во всем коридоре стоял запах серы, какой наверно бывает в аду. Адская прислужница, все та же медсестра Екатерина Степановна Стеценко в белом халате, с довольным, почти блаженным выражением лица, стояла у стола со шприцем в руках и смотрела на меня:

—Ну, Ветохин, **будем по-настоящему лечиться**, — напомнила она мне, и видя, что я медлю, сразу сменила довольное выражение лица на свое обычное, злобное:

—Ложись быстрее на топчан! Ведь ты не один у меня!

Я лег, а на ноги и на спину мне вскочили санитары. В ягодицу воткнулась тупая и очевидно толстая игла. Все возрастающая жгучая боль медленно стала распространяться от ягодицы по всей ноге.

— Вставай, Ветохин! Хватит валяться! — вскоре услышал я новую команду Стеценко. — Санитар! Следующего!

Когда я выходил из манипуляционной, у входа уже стояла очередь. Я увидел нескольких человек из нашей камеры, в том числе Молодецкого, Канавина и Никитина Молодецкий и Канавин вернулись в камеру скоро, а Никитина долго не было. Наконец, минут через 40 или даже больше, санитар привел и Никитина. Никитин был пожилым человеком

среднего роста с седыми волосами и открытым выражением лица. Он не лег сразу в койку подобно остальным «серникам», а сел на койку и ногтем стал делать черточку на белой заштукатуренной стене. Меня интересовал этот человек и я спросил у него, что эта черточка означала. Никитин ответил охотно:

— Один укол серы — одна черточка. Потом сосчитаю сколько уколов серы мне сделают всего.

— А я и так запомню, — сказал я. — А где вы так долго были после укола?

— Какое-то лекарство в вену вводили, от которого пьянеешь. А потом спрашивали: участвовал ли я расстрелах евреев во время войны или нет? А я — не участвовал. Я наоборот спас двух евреев от расстрела.

Я сделал предположение: «Наверно вам дали барба-

мил?» Но он продолжал говорить о другом.

У Никитина было естественное желание рассказать о себе. Он очень давно молчал и, возможно, скоро ему предстояло замолчать навеки. В тот день я все узнал о нем.

Дмитрий Иванович Никитин — украинский колхозник, испытавший все тяготы советского крепостного права. Поэтому он приветствовал приход немцев, как освобождение от коммунистического ярма, и был за это назначен инспектором уголовной полиции. Перед возвращением Красной армии Никитин спрятался в доме сестры. Там он оборудовал для жилья подпол и прожил в этом подполе 24 года. Он научился шить на машинке и шил мужскую и женскую одежду, которую сестра продавала на базаре. По ночам Никитин выходил из своего тайника подышать свежим воздухом. Однажды он вышел днем и соседи на него донесли. На пытки перед казнью Никитина направили в Днепропетровскую спецбольницу.

* * *

Постепенно боль от укола усилилась настолько, что мне стало не до разговоров. Спасибо больному Сычеву: он принес ведро горячей воды из раздаточной, налил воду в грелки и подал в «кормушку» каждому living сернику по грелке. Я приложил свою грелку к месту укола и, стараясь не дышать глубоко, чтобы не усиливать боль, замер не шевелясь.

В том месте, куда я приложил грелку, боль перестала быть острой. Зато она разлилась по всей правой половине моего тела. Ногу стало «тянуть»,

как при приближении судорог. Чтобы хоть немного отвлечься от своей муки, я стал прислушиваться и присматриваться к тому, что делают другие заключенные в моей камере. Наша третья камера считалась маленькой: всего 13 человек. Десять коек стояли перпендикулярно правой стенке, тесно прижавшись одна к другой, а три койки — параллельно левой стенке. Оставшийся проход был так узок, что расходиться приходилось боком. Мне была отведена вторая койка в правом ряду. Слева от меня, у двери, лежал Мо-

лодецкий, а справа — Зайковский. Молодецкий — эпилептик и шизофреник. Убил двух своих малолетних детей, схватив их за ноги и треснув головой о камни. Зайковский — политический. В заключении с самой войны. На фронте воевал офицером — радиолокаторщиком. От пыток в КГБ сошел с ума. С тех пор все время в бреду говорил всем, что на голове у него сидит Бабушка и командует им. За это все его так и звали: Бабушка. Трудно сказать, кто из них оказался для меня худшим сосед ом. Если у Молодецкого, с виду здорового и сильного парня, по несколько; раз в день случались приступы то эпилепсии, то буйства, лишающие меня покоя, то Зайковский лишал меня покоя другими средствами. В первую же ночь после перевода в 3-ю камеру, я проснулся оттого, что мою койку слегка подталкивали и кто-то пыхтел над самым ухом. Я открыл глаза и в слабом свете небольшой лампочки, висевшей под потолком, увидел, что Бабушка, тяжело дыша от напряжения, перестилал свою койку. Поскольку проход между нашими койками был совсем узким, то он и толкал мою койку при каждом своем движении.

Бабушка, также как и другие больные, находящиеся в заключении очень давно и ни от кого не получающие посылок, был худой, как скелет, и слабый, как ребенок. Усилия по перестиланию койки были для него так тяжелы, что он шатался от усталости и тяжело дышал. Закончив перестилать койку, он снова сдергивал простыню и одеяло, комкал подушку и несколько мгновений смотрел на созданный беспорядок. А потом начинал все сначала.

— Зачем ты без конца перестилаешь свою койку? — спросил я его.

Бабушка проговорил в ответ что-то неразборчивое, а потом начал что-то шептать все быстрее и быстрее… Но это была не ругань. Он никогда не ругался. Все его жесты и привычки выдавали глубоко интеллигентного человека. Я взял его за костлявое плечо, потряс и снова повторил свой вопрос.

— Бабушка велела, — через силу ответил Зайковский.

— Какая еще «Бабушка»?

— Которая сидит у меня на голове...

Выяснять дальше было бессмысленно. Спать Бабушка не давал. Я стал думать о том, какие это были ужасные истязания, если они могли свести с ума молодого и здорового офицера. Он уже не расскажет какое изобретение чекистов, базирующееся на «самой передовой теории» Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина сделало его нечеловеком.

И жалко его и злость берет в то же время. Вот, кажется, Бабушка успокоился. Кончил перестилать, лег в койку, закрылся одеялом... Несколько минут полежал тихо и я надеясь на лучшее, стал снова засыпать. Но не тут-то было! Сперва очень тихо и медленно, он стал что-то говорить (он никогда не разговаривал с товарищами по заключению, а только — с «Бабушкой»), потом громче и быстрее... Еще громче и еще быстрее... Вот он начал дрожать от напряжения и в спешке пытался что-то доказать или что-то сообщить важное и говорил быстро-быстро, так что ни одного слова нельзя было разобрать. Наконец, он вскочил с койки и продолжая что-то говорить, начал ее снова перестилать. Весь цикл повторился заново. Несомненно, врачи с умыслом положили меня между Зай-ковским и Молодецким. И этот умысел иначе, чем дьявольским, — не назовешь.

* * *

К вечеру я почувствовал, что у меня поднялась температура. Все тело горело и ощущалась сильная слабость. Я лежал неподвижно, прислушивался к нарастающей боли, которая теперь распространилась по всему телу, и представлял себе, как яд серы всасывается в кровь и как потом кровь разносит этот яд по всем органам: и к печени, и к почкам, и к желудку, и особенно — к сердцу. Это ужасное чувство: знать, что палачи используют отлаженный и бесперебойный механизм твоего тела — во вред твоему же организму, знать, что в организм введен яд и ничего не предпринимать, чтобы нейтрализовать его действие!

Когда человека укусит ядовитая змея, человек перевя-

зывает жгутом укушенную руку или ногу, чтобы кровь не разнесла яд по всему телу. Но попробуйте перевязать жгутом ягодицу! Некоторые заключенные пытались выдавливать серу из места укола. Но укол

делался очень глубоко и выдавливание не давало результатов.

Перед ужином санитар замерил у всех «серников» температуру. У меня оказалось 39°7.

— Настасья Тимофеевна! — позвал я, когда в камеру заглянула дежурная медсестра. — У меня необычно высокая температура. Дайте мне что-нибудь жаропонижающее или позовите врача.

— Все наши врачи ушли домой, — ответила сестра. — Я могу лишь позвать дежурного врача, с другого отделения.

— Ну, позовите. Я очень плохо себя чувствую.

После ужина санитар повел меня в сестринскую. Кроме Настасьи Тимофеевны в сестринской находилась довольно миловидная чернявая молодая женщина в очень чистом белом халате — дежурный врач.

— На что жалуетесь? — спросила она.

— Очень плохо себя чувствую. Температура 39°7.

— Это нормально на сере. Еще на что жалуетесь?

— Разве этого мало?

— Я еще раз говорю, что это нормально. **Не надо было из-за пустяков вызывать меня!** — злобно отнеслась она к медсестре, которая взглянула на меня укоризненно.

Потом я узнал фамилию врача — Любарская. Вскоре ее перевели в наше отделение и она стала четвертым лечащим врачом. На ниве психиатрического излечения больных Любарская никак не проявила себя, но зато показала себя весьма испорченной сексуально: без всякой надобности она часто проводила инспекцию половых органов всех своих 25-ти подопечных.

Когда я вернулся из сестринской в свою камеру, меня охватил озноб. Я и потел и дрожал от холода одновременно. Тоненькое байковое одеяло не могло согреть меня, хотя я и старался подоткнуть его под себя со всех сторон. Но вот дверь камеры вдруг открылась и уже одетая в пальто, готовая идти домой, в камеру влетела сестра-хозяйка Лаврентьевна. Ни слова не говоря, она под-

бежала к моей койке и своей маленькой и пухлой ручкой в коричневых пятнах уцепилась за одеяло. Я не понимал, чего она хочет, а

Лаврентьевна молчала и с искривленным от злобы лицом тянула за край одеяла. Наконец, она прошипела:

— Санитар! Чего стоишь? Забери у него одеяло!

Санитар рванул у меня одеяло. Вместе с одеялом на пол упала и простыня. Лаврентьевна схватила одеяло и выбежала с ним из камеры. Дверь снова захлопнулась. Никитин смотрел на меня с немым сочувствием, Муравьев — тоже, Молодецкий — пару раз хихикнул. Остальные больные не реагировали вообще. Я поднял с пола простыню и накинул на себя. Я давно знал, что Лаврентьевна зверски ненавидит меня, хотя мы даже ни разу не беседовали с ней. Но что я мог поделать?

Темнело. Теперь начиналась самая главная мука — я знал это по опыту тех 17-ти уколов серы, которые мне сделали несколько месяцев назад. Боль, первоначально сконцентрированная в месте укола, а потом как бы расплывшаяся по всему телу, теперь подступала к сердцу. Я знал: максимальная боль и самая сильная мука наступит около полуночи. В это время сердцу надо помочь, иначе оно может не выдержать. Я уже заранее, с большим трудом, достал у медсестры таблетку аспирина и в момент самой сильной сердечной боли — я ее проглочу.

Полежав неподвижно какое-то время, я осторожно повернул голову и посмотрел в окно. За окном было темно. Когда на этом темном фоне я увижу Венеру — значит пришло утро. Тогда я могу сказать себе, что еще одну пытку я перенес. Но до этого еще так далеко! Целая бессонная ночь! Еще ни один человек не заснул на сере. Я лег на правый бок и старался дышать частыми неглубокими глотками, как учила меня женщина — йог, которую я знал в Коктебеле. При болях в сердце такой вид дыхания помогает. Мое сердце как-то неудобно и глухо ворочалось в груди, бил ось неравномерно, с перебоями, точь-в-точь, как после отравления газом, которое я получил однажды от неисправной газовой колонки. Я не мог унять дрожь от холода. Разве согреет одна — единственная простыня, когда в камере прохладно, а моя рубашка —

мокрая от пота? Дрожь в свою очередь усиливала боль в сердце. Сколько так прошло времени — я не знаю. Все тихо было в нашей тюрьме. Даже Зайковский не вскакивал. Только иногда слышались вздохи и стоны Никитина, Канавина или Молодецкого, которые тоже были под серой и тоже не спали. Я ощущал, что сердце работало все слабее и слабее. Казалось, оно вот-вот остановится. «Наверно, пора!» — подумал я и с большой осторожностью, чтобы резким движением не

усилить боль в сердце, достал из наволочки спрятанную там таблетку аспирина, завернутую в бумажку. Запить нечем. Я собрал в сухом рту слюни и вместе с ними проглотил таблетку. Не знаю, много ли в сущности помогал мне аспирин. Может, это было одно только самовнушение. Я рассуждал так: «сердце болит и находится в критическом состоянии от двух причин: во-первых, от интоксикации яда — серы, и, во-вторых, от очень высокой температуры. Введенную насильно в мой организм серу мне не устранить, но температуру понизить с помощью аспирина может и удастся, а для сердца это — облегчение». Так или иначе, другой помощи мне не было и я считал помощь от аспирина существенной. После приема единственной бывшей у меня таблетки аспирина оставалось только ждать утра. Я лежал неподвижно несколько часов, хотя не только не спал, но даже не дремал. Иногда, с огромными усилиями, я поворачивал голову и взглядывал в черный проем окна в надежде увидеть там Венеру. Будь это не планета, а прекрасная женщина, а я — не заключенный под пытками, а — полный сил и здоровья влюбленный юноша, я бы не ждал ее с большим нетерпением!

И вот, наконец, в чуть-чуть посветлевшей клетке окна, между прутьями железной решетки, появилась Венера. Медленно-медленно я приподнялся на койке. Осторожно, чтобы не дотронуться до места укола, я опустил ноги на пол, нащупал тапочки и, держась руками за край койки, приподнялся. Голова у меня закружилась и я чуть не упал. Отдышавшись и пересилив слабость, я подошел к железной двери камеры и тихо постучал в нее. Потом снова отошел к своей койке и сел на нее, обливаясь потом от таких чрезмерных усилий. Неторопясь, к двери приблизил-

ся санитар и, посмотрев в глазок, спросил, кто стучал.

— Я! Я! — ответил я с койки, — я на сере! Пусти, пожалуйста, в туалет!

Санитар оказался в хорошем расположении духа и разрешил:

— Иди!

Я медленно двинулся к двери, которую он открыл. Расстояние от 3-й камеры до туалета составляло метров десять. Я шел эти десять метров несколько минут. Я шел так, как будто представлял собою сосуд, до краев наполненный болью, и боялся расплескать этот сосуд. Дверь в туалет открывалась с трудом. Когда я дернул посильнее, то рывок отозвался во всем моем теле, вызвав тошноту и головокружение.

Остановившись перед двумя ступенями внутри туалета, я сообразил, что взобраться на них я не смогу. Совсем недавно, с таких же ступенек упал находившийся, как и я, под лекарством политзаключенный, американец русского происхождения, мистер Мальцев. Упал головой о цементный пол и разбился насмерть. Но мне еще рано умирать. Прежде я должен рассказать об этом концлагере всему миру! Не размышляя больше, я встал на четвереньки и так, на четвереньках, вполз наверх по ступенькам. Санитар, стоявший в коридоре перед открытой дверью туалета, засмеялся. «Не все ли мне равно, что подумает санитар!»

Часть серы вышла вместе с мочой. Недаром моча была ярко оранжевого цвета. На обратном пути я встал на колени перед бачком с водой, налил в кружку воды и выпил ее. Это был мой завтрак. Врачи запретили приносить мне завтрак из столовой, а сам идти туда я был не в состоянии. Я вернулся в камеру и плашмя упал на свою койку. Все тело гудело от боли и чрезмерного напряжения. Голова кружилась и было такое впечатление, что я куда-то лечу. Но на душе уже становилось легче: еще одна ужасная, ни с чем не сравнимая ночь, когда я вплотную приближался к 7-му кругу Дантова Ада, была позади. Сегодня я выжил. Завтра серы не будет. Следующий укол — только в пятницу! Но о пятнице думать не хотелось. Так далеко в советском концлагере не загля-

дывают!

* * *

После завтрака состоялся обход врачей, который возглавляла мой лечащий врач Нина Абрамовна Березовская. Войдя в нашу камеру, она сперва остановилась у койки Молодецкого, стоявшей у самого входа, ласково спросила его о здоровье, терпеливо выслушала бредовый ответ не по существу, затем, подобно солдату, повернулась налево-кругом, и спиной обошла мою койку. Обойдя ее, она повернулась направо и обратилась со своим стереотипным вопросом теперь уже к Зайковскому. Вся ее свита, состоящая из майора Халявина, старшей сестры, дежурной сестры, Лаврентьевны и санитара, точно повторила все ее движения, как будто я был не человеком, а чем-то вроде стола и стула. Когда Березовская спросила о здоровье Никитина, он ответил:

— Бай дуже.

Политзаключенный Муравьев на ее вопрос «Как дела?» насмешливо

заметил:

— Наши дела — в сейфе, а у нас остались одни делишки.

— Ну, тогда скажите, как ваши делишки, Муравьев? — настаивала Березовская.

— Грех жаловаться! Живем, как в санатории высшего разряда, — ответил Муравьев. — На обед полную миску наливают: пол миски воды и пол миски — отварных червей!

От этих слов Березовская разозлилась и попыталась уколоть Муравьева:

— Не надоело вам у нас есть отварных червей? — злорадно спросила она.

— Пожизненно я здесь, — ответил спокойно Муравьев. — Так что не должно надоесть.

— Пожизненно у нас никто не бывает, — возразила Березовская и запустила новую шпильку, пытаясь вывести Муравьева из состояния душевного равновесия:

— А скажите, Муравьев, только честно, где лучше: в немецком концлагере или у нас?

— Смотря что? — задумчиво ответил Муравьев. — Режим был легче в немецком концлагере, но там я не получал посылок и было очень голодно.

Раздраженная тем, что моральный перевес остался на стороне Муравьева, врачиха без слов отошла от его койки.

Мне сразу понравился Муравьев — человек из самой гущи русского народа: не особенно образованный, немного наивный, но твердый, как гранит, в своей христианской вере и в своих христианских убеждениях, а потому— добрый человек, всегда готовый придти на помощь другим. Бывший рабочий-плотник, Муравьев имел открытое лицо с крупными чертами и голубыми глазами, и большие трудовые руки. Хотя и толстые губы и невыразительный подбородок говорили о его простодушии, КПСС-овцам так и не удалось заставить Муравьева покаяться. «Преступление» его состояло в том, что в 1960 году он написал письмо в ЦК КПСС. В своем письме Муравьев указывал на то, что простые люди в СССР живут впроголодь, и в разгар культа Хрущева, когда на экранах всех кинотеатров страны демонстрировался раболепный фильм «Наш Никита Сергеевич», заявил, что Хрущев — несостоятельный

руководитель и должен быть освобожден от занимаемой должности. За это письмо Муравьева арестовали. Ему предъявили обвинение в «злостной клевете на советских руководителей». После длительного следствия КПСС-овцы упрятали Муравьева в тюремный сумасшедший дом, хотя Украинская психиатрическая экспертиза признала его здоровым.

Оказывается, Березовская недаром задала Муравьеву свой вопрос. Он кроме советских концлагерей испытал и немецкий. Во время 2-ой мировой войны Муравьев был солдатом и попал к немцам в плен. За антифашистскую агитацию в лагере для военнопленных немцы перевели Муравьева в филиал Освенцима. Оттуда Муравьев бежал. Немцы назначили за его поимку награду и Муравьев был вынужден скрываться до прихода Американской армии. Американцы предложили ему избрать своей новой родиной любое государство земного шара. Однако, Муравьев настоял на возвращении в СССР.

— Это была самая большая ошибка в моей жизни! — сказал он мне.

Я тоже понравился Муравьеву и как-то само получи-

лось, что мы стали близкими друзьями. Муравьев и Никитин, как могли, помогали мне, однако принести мне даже кружку горячего чая из столовой им не удавалось.

— Нечего Ветохину притворяться! Не барин, чтоб ему в постель носить! Пусть сам ходит в столовую! — заявляли сестры, а санитары выплескивали чай на пол. И я лежал с температурой, с сильными болями, и голодный.

На обед я старался ходить. Вероятность обморока днем была меньше, чем утром, так как сера к полудню уже частично выходила из организма с мочой и потом. Все-таки, два раза у меня был обморок и в обед. Поэтому я шел на обед очень осторожно, потом садился на свое место в столовой и через силу ел отвратительный гнилой и червивый суп и выпивал чуть-чуть подслащенный компот. Сухую кашу я есть не мог. Меня мучила жажда. Какой несбыточной мечтой была для меня банка консервированного компота! «Компот не только хорошо утоляет жажду, — думал я, — он еще и полезен».

Некоторые богатые больные каждый день ели по две банки консервов: на завтрак и на ужин, в том числе и консервированный компот. Но два человека, которые только и могли угостить меня: это Муравьев и

Никитин, компота не имели. Все же после обеда я чувствовал себя немного лучше. Придя в камеру, я, наконец, засыпал после бессонной, проведенной в муках, ночи.

***

Все, что делалось и говорилось в камерах, врачи знали. Узнали они и о моей дружбе с Никитиным и Муравьевым. А узнав, перевели меня в другую камеру. Я оказался теперь в 5-ой камере, где было 28 больных и из них — ни одного политического.

Пытки серой подходили к концу. Начав с 2-х кубических сантиметров и добавляя каждый раз по два кубика, врачи довели мне дозу серы до 12-ти кубиков и, повторив эту дозу 3 или 4 раза, пошли на снижение. Я все ждал, когда же кончится курс. Все уголовники, в том числе и Молодецкий и Канавин из 3-й камеры давно уже отдыхали от серы. Отмучился и политический Григорьев, из

другой камеры, который умер на 18-м уколе. Только нам с Никитиным сделали уже по 19 уколов и это был еще не конец. Оставался еще один укол. Я знал, что 20 уколов — это предел. Последний укол должен быть 2 кубика, ибо предыдущий составлял 4 кубика. Была пятница, день серы. Перед уколами опять состоялся врачебный обход. Обход возглавляла Бочковская.

— А вы, Ветохин, все еще злитесь? Все еще утверждаете, что ничем не больны и вас напрасно поместили в нашу больницу? Или же сера помогла вам осознать свою болезнь? — ехидно спросила заведующая, подойдя к моей койке.

— Я по прежнему не считаю себя больным, — ответил я

— Вот как! — с неудовольствием заметила Бочковская и пошла дальше. Дозу каждого укола серы назначала она. Каково же было мое удивление, когда лежа через некоторое время на топчане в манипуляционной, я увидел, как вместо 2-х кубиков, Стеценко налила для меня почти полный шприц серы, то есть около 8 кубиков. И этого еще мало: сера оказалась с каким-то наполнителем. Этот наполнитель вызвал у меня нестерпимую боль и непроизвольные рыдания.

Бочковская, видимо, услышала их, проходя по коридору, и подумала, что она переборщила. Поэтому она впервые разрешила принести мне обед в камеру. Обед принес старший официант Саша Полежаев. Саша — бывший солдат морской пехоты. Когда его корабль находился в

египетском порту, он предпринял попытку с оружием в руках бежать в Израиль. Ему преградили дорогу египетские солдаты. Полежаев вступил с ними в бой и прежде чем его схватили, он ранил трех или четырех солдат. Пресловутый институт имени Сербского признал Сашу невменяемым, что, однако, не помешало коммунистам подвергнуть репрессиям его родителей. Саша и раньше, работая официантом, иногда давал мне то добавочную кружку компота, то добавку каши. Теперь же, пользуясь официальным разрешением, он принес мне полную миску супа и полную миску каши. И я все съел! Не переставая рыдать, я с жадностью, которая никогда не бывает у отравленных обыкновенной серой больных, съел весь

обед. Что-то к сере было подмешано!

После обеда Саша вынул из кармана яблоко и протянул его мне.

— На сере — это самое лучшее! — сказал он.

Каким душевным лекарством были его добрые слова и его подарок! На следующий вторник, когда санитар со списком в руках пришел вызывать больных на серу, меня в списке не оказалось, в пятницу — тоже. Но еще долгое время у меня замирало сердце по вторникам и пятницам, когда в камеру заходил санитар со списком в руках. И я снова возвращался к своим мыслям, когда оказывалось, что моего имени там не было.

В моих размышлениях произошел определенный сдвиг в сторону решения проблемы. Я уже понимал, что смерть бывает бессмысленная, как например, недавняя смерть от серы политзаключенного Григорьева, и что она может быть более значительной, чем вся предыдущая жизнь. Это произойдет, если с собой в могилу забрать несколько коммунистов.

Глава 41. Трудотерапия

Глава 41. Трудотерапия.

Я проснулся оттого, что сосед с правой койки Альберт Сидоров сильно тряс меня за плечо.

— Ну, что тебе? — спросил я тихо, думая что ему плохо и нужна помощь.

— Опусти, пожалуйста, ноги с потолка! А то уперся ими в потолок, а мне это мешает! — угрожающим тоном сказал Альберт.

Сон сразу соскочил с меня. «Если Альберт возбудился, то это очень опасно, — пришла мысль в голову. — Он может наброситься на меня, а сумасшедший правил драки не ведает... Надо бы постучать в дверь и сообщить сестре или санитару... Но с другой стороны, жаль его. Если я сообщу сестре, его переведут в надзорную палату, начнут делать уколы и вычеркнут из списков рабочих».

Я не мог придумать, как лучше поступить и лежал молча, ничего не отвечая ему. Альберт несколько минут смотрел на меня выпученными глазами, а потом в них

стала появляться мысль, он перевел дыхание и отвернулся к стенке. Я был рад, что не постучал санитару...

Альберт Сидоров — один из немногих подлинных больных, с которым я дружил. Он был выходцем из малограмотной русской семьи, но окончил литературный факультет Института и был неплохо образован. Временами на него находило умопомрачение. Во время одного из таких приступов он убил старика-сутенера.

Утром, после подъема, Альберт быстро вскочил с койки и натягивая на себя строительную одежду и рабочие ботинки, как всегда дружелюбно, на ходу сообщил мне, что вчера опять приходил Прусс, осматривал котлован, который они рыли вручную для нового корпуса тюрьмы, давал разные обещания и сказал в частности, что добавит еще рабочих с разных отделений.

— А он не боится, что кто-нибудь из больных даст ему по очкам, там в котловане?

— А что ему бояться? Очки у него фальшивые, — засмеялся Альберт. Как это?

— Я несколько раз замечал, что если Пруссу надо что-нибудь получше рассмотреть вблизи, он снимает свои очки, если вдали — тоже. Значит, очки у него только для солидности, а стекла в них очевидно оконные!

Это забавно. А если серьезно: ведь его на самом деле могут убить там.

— С ним всегда надзиратели... Да и не станет ни один уголовник его трогать, а политических на стройку не допускают, один Урядов только.

— А кто такой Урядов? Я только однажды видел его на прогулке и почти ничего о нем не знаю.

— Вечером после работы расскажу, — пообещал Альберт.

О ночном инциденте Альберт не проронил ни слова. Не стал упоминать и я.

После завтрака и раздачи лекарств меня неожиданно вызвали в сестринскую. «Неужели прописали снова уколы?» — тревожно подумал я, подходя вслед за санитаром к дверям сестринской. Совсем недавно кончился «курс лечения серой». Я еще ощущал боль в тех местах,

куда мне кололи серу, особенно, в холодную погоду.

Дежурила хорошая сестра — Ирина Михайловна. Она сидела за письменным столом и делала записи в журнал наблюдений. Увидев меня, она улыбнулась.

— Юрий Александрович, — начала она с таинственным видом. — Вам прописали трудотерапию. — И добавила с ударением: Сама Нина Николаевна прописала!

Я молча ждал продолжения и Ирина Михайловна с воодушевлением разъяснила:

— Хотите раздавать табак? Николай Дьяченко уходит на стройку и вы замените его на этой должности.

— Вообще-то я некурящий, — для чего-то сообщил я сестре, в замешательстве от неожиданного предложения, потом подумал и согласился.

— Ну, вот и хорошо, — обрадовалась медсестра, — тогда идите к Лаврентьевне в кладовую и получите у нее брюки и куртку. Вы теперь рабочий и будете иметь право носить одежду. Ну зачем вам, интеллигентному человеку, ходить в одном нижнем белье? А потом примите у Коли Дьяченко табак согласно описи.

Я пошел в кладовую, которой назывался просто отрезок коридора перед выходом на черную лестницу, и почувствовал непривычную неловкость оттого, что санитар не последовал за мной следом.

В кладовой Лаврентьевны не оказалось. Ее помощник, больной уголовник Цыпердюк, что-то перекладывал на полках стенного шкафа. Цыпердюк вполне ощущал возложенную на него ответственность,

выражающуюся в том, что в отсутствие Лаврентьевны он имел ключи от шкафов с постельным бельем, рабочей и прогулочной одеждой, и требовал к себе за это должного уважения. Поэтому он не сразу обратил внимание на меня и пришлось напомнить о себе несколько раз, прежде, чем он снисходительно обернулся.

— Послушай, Цыпердюк, сестра назначила меня раздавать табак и велела получить рабочую одежду.

— Мне ничего об этом не говорили...

— Дай ему Коля шмутки, — вмешался вошедший в кладовую небольшой человек с плутоватым лицом — Николай Дьяченко, — я больше не на табаке. На стройку ме-

ня назначили.

Цыпердюк, не отвечая ему, поковырялся для виду в своем шкафу еще минут пять, а потом выкинул мне робу. Это были засаленные хлопчатобумажные брюки с одной пуговицей и такая же грязная хлопчатобумажная куртка.

— Сойдет! Не в Сочи ехать! — философски заметил Цыпердюк, видя, что я недоволен полученной одеждой.

Тем временем Коля Дьяченко приготовился сдавать мне запасы табака. Он вытащил на середину коридора деревянный ящик, на крышке которого было написано: «табак», и еще мешок с махоркой.

— Ну иди считай! Мне некогда, — позвал он меня. Я присел рядом с ящиком и заглянул в него. В ящике лежали пачек пятьдесят махорки, все открытые, и несколько пачек папирос. Каждая пачка махорки и каждая пачка папирос были подписаны именем владельца. Тут же лежала тетрадь учета приема и выдачи табака. Коля раскрыл эту тетрадь и принялся медленно считать общее количество махорки и папирос у всех больных. Затем мы убедились, что наличные запасы соответствуют этим цифрам и на этом сдача окончилась. Впервые за последние 2 года я держал в руках карандаш и почти с удивлением убедился в том, что еще не разучился писать.

Преимущество своей новой должности я ощутил немедленно. Закончив приемку и взяв у Дьяченко ключ от табачного ящика, я попросил санитара открыть дверь моей камеры.

— Вы не торопитесь к себе в камеру, — неожиданно вежливо ответил

мне санитар. — Погуляйте лучше по коридору. Здесь и воздух чище и крики дураков не слышны.

Чувствуя себя неловко в своем новом положении, я присел на край скамейки у окна, ожидая, что какой-нибудь другой санитар или надзиратель загонят меня снова в камеру. Однако время шло, а шныряющие по коридору санитары ко мне не придирались.

Началась оправка. Впервые я смотрел со стороны и видел, как это делается. Вот повели на оправку больных из нашей камеры. Перед входом в туалет произошла заминка. — А ну, заходи быстрее! — заорали санитары. Один

из санитаров выхватил из строя Змиевского, беззлобного и безответного больного, и ударом кулака отпасовал его, как мяч, своему приятелю. Тот, тоже кулаком, — обратно первому. От скуки санитары начали избивать Змиевского. Он, как всегда, молчал. Только старался закрыться руками от ударов в живот. Наигравшись, санитары затолкнули Змиевского в туалет. «Для первого раза — хватит» — решил я, и когда оправка кончилась, зашел в свою камеру вместе с возвращающимися из туалета больными.

Подошло время прогулки: 3 часа дня. Из общежития санитаров пришел старший санитар. Он вызвал меня из камеры в коридор и проинструктировал:

— Будешь выдавать по чайной ложке махорки или по одной папиросе на больного. Таков приказ Нины Николаевны.

Потом открыл дверь камеры №1, велел мне поставить в дверях табуретку, а на табуретку — ящик с табаком, и скомандовал:

У кого есть махорка или папиросы, подходи получать на прогулку.

Ко мне бросилось несколько человек. Пока я находил пачки махорки, подписанные их фамилиями, к дверям протиснулись больные, у которых не было своего курева. Они просили у имущих «щепотку махорки на закрутку». Иногда владельцы махорки разрешали и я давал из их пачки кому-либо другому. Часто можно было слышать отказы:

— К черту нищих! Бог подаст!

Когда я обошел все камеры, то понял, что значительное число больных своей махорки не имели. Власти отпускали на питание каждого больного 36 копеек в день. На махорку же они не отпускали ни копейки.

Поэтому, те больные, от которых отказались родные, или же сироты, находились в очень тяжелом положении, особенно если у них не хватало силы воли бросить курить. Они но попрошайничали и часто — безрезультатно.

Больным разрешили курить недавно и только в туалете. В каждом отделении начальник устанавливал свои нормы курения и свой график курения. Наша начальница,

Бочковская, как всегда, переплюнула всех. Для того, чтобы в то время, когда она находилась на службе, в отделении не пахло махоркой, она запретила курение днем.

Было установлено двухразовое курение: утром натощак сразу после подъема (около половины шестого утра) и вечером после ужина. Третий раз можно было курить только на прогулке, в те дни, когда прогулка имела место. Поскольку для заядлых курильщиков курить два-три раза в день недостаточно, то они готовы были отдать, все что у них было, только бы покурить еще. Санитары этим широко пользовались. «Вы хотите курить, а мы хотим есть», — заявляли они больным. За каждый лишний раз курения санитары брали с больного какую-нибудь мзду: или банку консервов, или кусок шпига, или пачку папирос. Но одно дело — выпустить больного из камеры, якобы в туалет, а другое дело — выдать ему махорку. Выдать мог только я. Санитар не имел права сам залезать в табачный ящик, ключ от которого находился у меня. Теоретически я не был обязан давать курево больным в неурочное время. Но практически, если бы я не дал табак, то уже к вечеру был бы «раздет», лишен должности и закрыт в камере. Ибо стоило любому санитару пожаловаться врачам, что я его «оскорбил», и врачи без всякой проверки сразу назначили бы мне серу. Такие случаи уже были.

Однако санитары все же ценили мою лояльность и оказывали мне некоторое уважение. Один из санитаров принес мне зубную щетку и порошок и пообещал, что пока я числюсь рабочим, никто не заберет у меня эти предметы туалета.

Придя поздно вечером с работы, Альберт Сидоров дружески поздравил меня.

— Я уже слышал от Коли Дьяченко, что ты получил должность. Поздравляю! Любая работа в этих условиях лучше, чем нудное лежание в камере.

Я внимательно рассматривал выражение его лица. Никакого намека на

ночное помешательство там не было и врачи о нем ничего не знали. Врачи считали, что Альберт идет на поправку. Когда в начале 1970-го года вдруг начали «дергать» уголовников, то Альберта «дернули» од-

ним из первых. Возвратись из ординаторской, где с ним беседовали врачи, Сидоров рассказал мне совершенно невероятную историю. Оказывается, врачи предложили ему работать на строительстве административного корпуса спецбольницы. До сих пор больным не доверяли даже ножницы. А Сидорову сказали, что он будет рыть котлован под новый корпус с помощью лома и лопаты. Ему пообещали улучшенное питание, льготные условия содержания, денежную плату и скорую выписку из спецбольницы. Сидоров согласился.

Необходимость строительства дополнительного корпуса была вызвана приливом новых больных-заключенных и требованием Москвы принять их всех. В камерах уже было по 32 и даже по 40 человек. Многие больные лежали на щитах, а то и просто на полу. Никаких проходов между койками не было. Выполняя приказ своих начальников в Москве, Прусс лично занялся организацией строительства нового тюремного здания. Чертежи здания сделала проектная организация, а построить здание Прусс решил руками больных. Я увидел строительную площадку, когда пришел на прогулку. Наша прогулочная клетка располагалась как раз напротив того места, где больные, охраняемые несколькими надзирателями, ли рыть котлован под фундамент. Наша тюрьма, смотреть на нее сверху, имела форму буквы Е. Новое строение должно было удлинить верхнюю черточку буквы. Поскольку рабочие имели в своем только ломы и лопаты, а грунт был твердый, да еще земле попадались человеческие кости и черепа, отвлекали внимание рабочих, то работа медленно.

— Скорее бы закончить рытье котлована, да возведение стен! — высказал однажды свое желание Сидоров.

— А какая тебе разница? — спросил я его.

— Прусс обещал начать платить за работу тогда, да мы кончим рыть котлован.

— Значит, самые тяжелые, земляные работы вы те выполнять бесплатно!

— Да, — ответил он.

— Помнишь, ты обещал мне рассказать об Урядове, — напомнил я

Альберту.

— Помню. Я сам хотел заговорить о нем, потому что сегодня он выкинул номер.

— Какой же номер?

— Предложил Пруссу убрать гражданского прораба и всю полноту власти на стройке передать ему. Обещал в этом случае обучить всех больных бригады строительным специальностям и с их помощью быстро возвести корпус.

— Да ну? И что же Прусс?

— Сказал, что подумает.

— Так кто же такой Урядов?

— Борис Урядов — капитан ВМС, окончил БИТУ (Высшее Инженерно-техническое училище) в Ленинграде. Год назад он приехал в Одессу и тайно проник на борт иностранного судна с целью побега из СССР. Однако матросы заметили его и сообщили капитану. А капитан выдал Урядова советским властям. В КГБ Урядов от дачи показаний отказался. Его отправили в Институт Сербского, к тому же Лунцу, у которого был ты. Лунц обычным порядком «произвел» Урядова в сумасшедшие и вот он здесь.

— Ну, а как же он попал на стройку, если политических туда не берут?

— Потому что он военный инженер — строитель, единственный специалист по строительным работам во всей бригаде.

Через несколько дней Прусс назначил Урядова бригадиром.

Сенсация проникла во все камеры спецтюрьмы. Еще бы! Невменяемого назначили бригадиром стройки! Больше того: ему подчинили надзирателей!!!

Для полковника Прусса эта стройка была лебединой песней всей его карьеры. Еще никто и никогда не возводил зданий руками умалишенных, на средства умалишенных (об этом речь впереди) и под руководством невменяемого! Наверно, мысленно Прусс сравнивал себя с «великими» чекистами: начальниками строительства Беломорканала — Берманом и Коганом.

Прусс велел дать Урядову тюремный ключ, которым он мог открывать

двери в любое помещение. Было улучшено его питание и условия жизни. Врачи прописали ему всего одну таблетку лекарства на ночь. Борис ее тут же выплевывал и все делали вид, что не замечали этого. Было немного улучшено питание и остальных рабочих. Они стали получать дополнительно маленький кусочек мяса, лишнюю порцию компота, кружку обрата и добавку тухлой селедки. И им была разрешена лишняя отоварка в тюремном ларьке.

Дополнительное питание строительным рабочим было организовано за счет остальных больных. Прусс приказал прекратить нам выдачу даже тех микроскопических кусочков мяса, которые должны были добавляться нам в кашу согласно тюремной норме питания. По его же приказу вместо ежедневной выдачи молока (точнее — обрата) нам стали выдавать его только один раз в неделю. Творог, семь грамм, перестали выдавать совсем, но как оказалось, строителям он не доходил. Большинство рабочих стали жить в так называемой рабочей камере, а с 7 до 9 часов вечера они смотрели телевизор в общежитии санитаров. За эти льготы они должны были работать «весь световой день» и все делать вручную, без всяких машин.

***

Строительство нового тюремного корпуса финансировалось за счет другой работы, тоже называемой трудотерапией, — вязания сеток, уклонение от которой вело к наказанию. Вязание сеток возникло одновременно со стройкой. Однажды в отделение пришли плотники и по всему коридору прибили к стенкам деревянные рейки. В рейках на расстоянии 35-40 см. одно от другого были сделаны отверстия. В отверстия вставили деревянные колышки. Затем пришли женщины-инструктора трудотерапии, по одной на каждое отделение.

Санитары открыли двери камер и закричали на разные голоса:

— Всем подняться и выходить в коридор на плетение

сеток! Приказ Нины Николаевны!

Ходячие больные вышли из камер и санитары рассадили их по скамейкам. Лежачие остались на койках. Тогда по камерам пошла Лаврентьевна в сопровождении Бугра.

— Ты что лежишь, а не идешь на плетение сеток? — спрашивала она оставшихся в камерах больных.

— Я получаю уколы, — отвечал один.

— Я получаю халоперидол, — отвечал другой.

— Ну и что? — наивно возражала Лаврентьевна. — Работай, как можешь. Тебя никто не заставит вязать быстрее, чем ты можешь, но выйти и начать вязать ты должен!

— Я не могу встать, — слабо отвечал больной. Лаврентьевна сердилась, сдергивала с него одеяло и кричала:

— А выписаться, небось, хочешь? Не будешь работать — никто тебя не выпишет! Так и знай! Еще и серу пропишут!

— А курить хочешь? — добавлял санитар. — Не будешь работать — не будешь курить!

После такой обработки большинство больных со стонами и охами вышли в коридор и сели по скамейкам. Инструктор трудотерапии — проверенная и доверенная шина, распределила обязанности. Десять человек она посадила выпиливать челноки из фанеры. Еще десять человек — наматывать нитки на челноки. Двадцать она отобрала для вязки ручек. Остальные, около 60 век, должны были вязать сетки. Сперва она показала как это делается. Она привязала пару ручек к колышку у стены, затем прикрепила к ручкам конец намотанной на челнок нитки и стала вязать сетку, нанизывая петли на специальную дощечку.

— Это — просто! — объявила она. — И в то же время — полезно для вашего здоровья и для вашего кармана, ибо за сетки вам будут платить: 20 копеек за сетку.

В среде больных оказались такие, кто уже умел вязать сетки. Инструктор рассадила их таким образом, чтобы другие могли учиться у них. Постепенно нехитрая премудрость вязки дошла до всех. Многие больные польсти-

лись на обещанную плату и старались изо всех сил.

Пыль от хлопчатобумажных ниток стояла столбом. Никто не разговаривал. Только мелькали челноки. Тишина нарушалась лишь когда с кем-либо из больных случался приступ. Но его быстро уводили в камеру. Больные под сильным лекарством сидели не шевелясь. Они не работали, а просто сидели, закрыв глаза и держа в руках челноки.

— Ты что, спать сюда пришел? — кричала на них Лаврентьевна, когда

замечала такое «нарушение». — Я вот скажу о тебе Нине Николаевне! Серу, небось, давно не получал?

И больной лихорадочно пытался вязать, хотя руки его не слушались, а все тело тряслось от лекарств. Больные Лаврентьевну боялись больше, чем инструктора или даже санитаров.

Перед обедом, ровно в 12 часов, плетение сеток временно прекращалось. Инструктор собирала связанные сетки и регистрировала в тетради: кто сколько связал.

После обеда снова звучала команда санитара:

— Всем на сетки!

Все больные выходили в коридор, брали из ящика свои челноки и плетение продолжалось до ужина.

— Опять проклятые сетки! — восклицали больные, проснувшись в будни, а перед выходным говорили с радостью:

— Завтра сеток не будет!

Скоро инструкторы признались, что они не смогли добиться оплаты нашей работы.

— Хорошая работа на сетках будет учитываться на комиссии при решении вопроса о выписке, — передали они разъяснения Прусса. И в течение трех лет вся спецбольница вязала сетки бесплатно. Можно приблизительно прикинуть, какой доход от этого имела администрация концлагеря. Если принять, что не все 1200 человек больных вязали сетки, а только 75 процентов, то получится 900 человек.

Лучшие вязальщики изготовляли в день по 10-14 сеток. Худшие по 2-3 сетки. Будем считать в среднем: 5 сеток на человека. При 5-тидневной рабочей неделе получается

в месяц 22 рабочих дня, или ПО сеток на человека. 900 больных, следовательно, вязали в месяц 99.000 сеток. В магазинах Ленинграда такая сетка стоит 90 копеек. Если сбросить 20 копеек за окраску сетки и на накладные расходы, то ориентировочная продажная цена сетки для спецбольницы будет 70 копеек за штуку.

Тогда выручка за все 99.000 сеток, сделанных за месяц, будет составлять 69.300 рублей.

Зарплата инструкторов в месяц — около 1200 рублей (12 инструкторов

по 100 рублей), стоимость ниток, из которых вязали сетки, примем за 1000 рублей. Тогда чистый доход концлагеря составит 67.100 рублей в месяц, а за три года — 2.415.600 рублей.

Вот на эти деньги Прусс силами умалишенных построил новое тюремное здание! Собственно говоря, деньги были нужны главным образом на строительные нужды, да на оплату проекта, ибо строители получали мизерную плату. Кроме того, надо учесть, что и после 3-х лет, которые вошли в мой расчет, сетки вязать не прекращали и доход администрации уменьшился лишь незначительно.

***

Постепенно я привык к своей новой должности пайщика табака и своему положению рабочего. Я больше времени проводить вне камеры, поближе знакомился с сестрами и санитарами. В отделении посменно дежурили две сестры и два санитара, одна смена, днем — две. Всего у нас было 10 сестер и 10 санитаров. Сестры редко увольнялись, ибо оплата труда в спецбольнице была значительно выше, чем вольных больницах. Санитары же менялись часто: освобождались условно-досрочно, как обычно «по половинке», другие — уезжали на «химию», исключение составлял только единственный в отделении вольный санитар, Игорь Иванович, который поступил работать в спецбольницу, когда был студентом института и продолжал работать санитаром, диплом врача и заняв должность преподавателя институ-

та. Теперь он уже был аспирантом и все равно продолжал работать у нас. Его приработок в спецбольнице превышал оклад преподавателя, хотя эта работа не требовала таких знаний и умственных усилий, как работа преподавателя. Она заключалась в том, чтобы большим тюремным ключом открывать и закрывать камеры, выпуская и впуская больных. Это он делал, когда приходило время принимать пищу или лекарство, или вести больных на оправку в туалет. В другое время санитар сопровождал больных на процедуры или на беседу к врачу.

Подчинялся санитар тюремному надзирателю, который назывался «контролером», и дежурной медсестре. Сравнительно высокая зарплата, около 110 рублей, и привилегии полагались санитару за «вредность» его работы, а фактически — за умение «держать язык за зубами».

Когда врачи уходили домой, у санитаров наступала пора безделья. Тогда от скуки Игорь Иванович подходил ко мне, если я еще находился в коридоре, и начинал со мной беседу. Он говорил не только і о

посторонних вещах, но и о себе самом. Он рассказал мне, что у него жена и двое детей, и что без совместительства в тюрьме он не смог бы содержать их. Он оказался беспартийным, но сказал, что собирается вступить в партию. Я несколько раз заговаривал с ним на политические темы и всегда натыкался или на полное непонимание проблемы или же — на настоящие языческие убеждения в непогрешимости Ленина и дежурного ГЕНСЕКА. Тем не менее у нас с Игорем Ивановичем установились странные полудружественные отношения. С одной стороны его тянуло поговорить со мной и он с вниманием и интересом выслушивал мое мнение по разным вопросам, с другой стороны — он боялся, чтобы его не заподозрили в дружбе со мной и с этой целью формально отгораживался от меня. Например, он никогда не здоровался со мной за руку и старался не разговаривать со мной в присутствии врачей или надзирателей. В другое время, особенно вечером, когда начальство уходило домой, Игорь Иванович становился совсем другим человеком, простым и добродушным собеседником.

Игорь Иванович дружил с фельдшером Иваном Ивано-

вичем. Как это часто бывает, друзья резко отличались друг от друга. Если Игорь Иванович был человеком скромным и незаметным, то Иван Иванович был человек веселый, остроумный и с критическим складом ума. О девался он всегда ярко, по моде, и держал себя так, что всем было ясно: он согласился работать фельдшером лишь из снисходительности, да и то на короткий срок, быть может, всего на одну неделю. Однако, он проработал в спецбольнице почти столько же, сколько я просидел. Все и всегда ждали от Ивана Ивановича какой-нибудь выходки. Когда он приходил на дежурство, больные вздыхали с облегчением: режим при нем упрощался. Однако, Иван Иванович не любил себя чрезмерно утруждать и поэтому на его дежурстве редко бывали прогулки.

— Камни с неба падают! — лаконично пояснял он тем больным, которые спрашивали у него, почему нет прогулки.

Иван Иванович звал себя «Красный Командир», ко можно было слышать его зычный голос, раздававшийся на весь коридор:

— Молодецкий! Перестань стучать в дверь! Красный Командир сказал тебе, что не пойдешь курить — значит не пойдешь! — или:

— Санитар! Позвать Шпиона к Красному Командиру!

Это имелся в виду Федосов, которого он иначе никогда и не называл.

Иван Иванович любил вызывать в Залусского и Зайковского, ставить их рядом где-нибудь стенки: высоких, худых, как скелеты, в грязном нижнем белье, и заставлять их петь песни. Они пели ему 40-х годов, а иногда еще и гимн УПА.

Мне приходилось беседовать также со многими медсестрами. Недаром в моем деле появилась запись: «Много контактирует со средним медперсоналом», высокого интеллекта я у них не обнаружил. Политикой они не интересовались. Садистка Стеценко очень любила читать сентиментальные романы. Любовь Алексеевна пыталась «воспитывать» меня:

— Вы слышите по радио концерт? Какие прекрасные русские и украинские песни! А вы хотели бежать в Турцию! Разве турецкие песни лучше?

Настасья Тимофеевна любила рассказывать, как в конце 40-х годов однажды ее подняли с постели украинские националисты и под конвоем повезли в их секретный лагерь — принимать роды у одной женщины, и как потом, тоже под конвоем, ее возили на крестины новорожденного.

Лидия Михайловна задумчиво говорила:

— Вы хорошо работаете в отделении... режим не нарушаете... ничем не больны... Если бы вы убили даже двух человек, как Глобу, например, вас давно бы выписали! А то угораздило же: переход границы! Не знаю, сколько вы просидите здесь... Да и никто не знает!

Глава 42. Политика кнута и пряника

Глава 42. Политика кнута и пряника.

Утром в нашу камеру пришел старший санитар и объявил, что ожидается обход главврача спецбольницы. Он велел всем встать с коек, протереть пыль на них, заправить их по-военному и сесть в ожидании начальства. За ним пришла Лаврентьевна и заменила кое-кому очень грязные рубахи или кальсоны.

После Лаврентьевны камеры проверяли врачи во главе с Бочковской.

Наконец, в сопровождении свиты появилась сама Каткова. Мордастое лицо, квадратный, как у гангстеров, подбородок, хрустящий белоснежный халат...

Ходили слухи, что Каткова вместе с главным терапевтом спецбольницы и отоларингологом спецбольницы в свое время работали в лагере для немецких военнопленных. Полученный опыт в обращении с пленными немцами они теперь с успехом применяли по отношению к русским и украинцам.

С необыкновенной важностью Каткова стала подходить по очереди к больным, сидящим на своих койках, и, выслушав краткий доклад Бочковской, задавала больному какой-нибудь пустяковый вопрос. Подошла она и ко мне.

— А это наш Юрий Александрович Ветохин, — с какой-то непонятной мне улыбкой проговорила Бочковская. — Юрий Александрович больным себя не признает, лечиться не хочет, говорит, что находится он не в больнице, а в

концлагере и мы якобы пытаем его. Однако уже прошел курс аминазина, трифтазина, инсулина, серы и мажепти-ла.

— Я знаю о вас все, — отнеслась важно Каткова. — Скажите, как вы перенесли серу?

— Перенес, — ответил я.

— Вы вяжете сетки теперь?

— Да.

— Сколько сеток вы вяжете за день?

— 6 сеток.

— Хорошо-о-о-о.

— Могу я задать вам вопрос?

— Задавайте, — гордо выпрямилась Каткова.

— В июле 1968 года я подал кассационную жалобу. Есть ли на нее ответ?

— О чем жалоба?

— Жалоба состояла из двух пунктов. Первый: я просил назначения новой психиатрической экспертизы, так как я ничем не болен и

Институт им. Сербского ошибся, признав меня невменяемым. Второй пункт касался самого суда, который проходил с нарушением норм У ПК УССР.

— У нас больные не жалуются, а лечатся. Выбросьте мысли о жалобах из своей головы! — откровенно враждебно ответила Каткова и отвернувшись от меня, пошла к следующей койке, а за нею и вся свита.

***

Я проработал «на табаке» совсем немного, когда меня вызвали на «беседу» в ординаторскую. До сих пор каждая «беседа» с Бочковской означала для меня какие-то новые пытки. И теперь, направляясь в сопровождении санитара в ординаторскую, я думал: «неужели я боюсь ее?» И тут же нашел точную формулировку ответа: «да, боюсь так, как все люди боятся змею, ибо змея — символ коварства. Никогда заранее неизвестно, укусит ли тебя змея и если укусит, то в какое место». В ординаторской Бочковская указала мне на стул и близко заглядывая в глаза сквозь очки в золотой оправе спросила как я себя чувствую.

— Спасибо, хорошо, — ответил я.

— Как работа?

— Ничего, справляюсь.

— Оправились после серы?

— Более-менее.

— Ну, скажите по-совести, Юрий Александрович, ведь помогло вам лечение? Теперь вы можете сказать честно, что раньше были больны, а теперь чувствуете себя лучше?

— Что-то не помню, чтобы я чем-нибудь болел перед серой. Вроде бы ни гриппа, ни ангины у меня не было.

— Вы не изменились, Юрий Александрович, — недовольно откинулась Бочковская на спинку своего стула. — Мы столько для вас сделали...

Подумав с минуту, она уже другим, сухим и официальным тоном спросила:

— Когда вы к нам поступили? Сколько лет вы у нас?

— Я не разделяю на «у вас» и «у них». Для меня, что «вы», что «они» — все едино: советская тюрьма — концлагерь. Вот в советских тюрьмах я могу

сказать, сколько нахожусь — 3 года.

— Федосов и в иранской тюрьме был, а никогда не употребляет термина «советская тюрьма», а тем более слова «концлагерь»!

Подождав моего ответа, но не получив его, она продолжала:

— Уж вы бы не поступили, как Федосов! Вы бы не вернулись в Советский Союз, если бы попали за границу. Ни за что!

— Конечно, нет! — откровенно ответил я.

— А как бы вы стали жить за границей, не зная иностранного языка? — вдруг заинтересованно спросила Нина Николаевна.

— Подумаешь, язык! Ленин научился иностранным языкам и жил за границей больше половины жизни. Неужели я не смогу, подобно ему, изучить иностранный язык? — ответил я с вызовом.

Я попал в цель. Бочковская взорвалась от злости.

— То Ленин, а то — вы! Вы не равняйте себя с Лениным! Вы — совсем другое. Между прочим, вы — совсем не

тот, каким хотите себя нам представить. Вы хотите представить себя «невинной жертвой», этаким... ягненочком. Но вы— далеко не ягненочек. Вы — матерый... матерый антикоммунист. Ненависть к коммунизму так и прет из вас, даже помимо вашей воли. Здесь в отделении нет другого больного, кого бы я могла сравнить с вами. На этот раз вы сказали правду: если бы вы попали за границу, то никакая ностальгия не смогла бы принудить вас вернуться назад!

Перед тем, как отпустить меня, Бочковская сообщила:

— Сегодня будет работать очередная комиссия. В списке есть и ваша фамилия тоже. Можете высказать комиссии свои претензии.

После обеда мне и некоторым другим больным велели переодеться в чистые пижамы, которые имелись у Лаврентьевны специально для торжественных случаев: для комиссий и для свиданий.

Всех нас, около 10 человек, построили в коридоре недалеко от ординаторской. Минут через 30 открылась наружная дверь и еле переставляя ноги, ведомый под руки: с одной стороны Катковой, а с другой стороны — главной медсестрой больницы, вошел плюгавый немощный старикашка в мятом неопрятном костюме. Это был председатель комиссии по выписке больных из спецбольницы,

профессор Шостакович.

После прихода Шостаковича в ординаторскую 9-го отделения спешно стали сходиться члены комиссии. Некоторое время они совещались и потом стали вызывать больных. Вызывала старшая медсестра, а сопровождал больных Бугор.

Когда она объявила мою фамилию, то Бугор сделал мне знак рукой и открыл дверь в ординаторскую. Я вошел туда и поздоровался. Мне никто не ответил. Я осмотрелся. Слева, за сдвинутыми письменными столами сидели Каткова, врачи 9-го отделения и врачи — члены комиссии. Шостакович неловко, как ворона на шесте, сидел один за столиком у окна. Перед ним стояли блюдце с куском торта, стакан чаю и пепельница, битком набитая выкуренными сигаретами. Он и теперь держал в руке дымящуюся сигарету, пепел с которой падал на торт. Близ-

ко перед столом Шостаковича стоила табуретка.

Бугор схватил меня за шиворот и посадил на эту табуретку. Во все время разговора с Шостаковичем он держал меня за шиворот.

Шостакович заговорил скрипучим голосом:

— Так значит вы себя не признаете больным?

— Нет, не признаю.

— А почему же тогда вы хотели бежать в Турцию?

— Я не хотел бежать в Турцию. Я только хотел обратить внимание властей на свои очень плохие жилищные условия.

— А что это за условия?

— Я жил в кухне.

— Не хотели жить в кухне, будете жить у нас! Увед-и--ите!

— Ну, что? — набросился с вопросом Федосов, едва я вышел из ординаторской. Федосов, как библиотекарь (2-3 десятка списанных в следственном изоляторе книг назывались «библиотекой»), и писарь сестринской, тоже имел право иногда находиться в коридоре и теперь, сгораемый любопытством, воспользовался этим своим правом.

— Выписали! — со злостью ответил я.

— Правда? — изумился Федосов.

— Конечно, правда, спроси у санитара!

Через полчаса весь этаж знал, что меня «выписали». Уголовник Шарабан, с которым мы были в хороших отношениях, подошел ко мне, когда я раздавал табак, поздравить:

— Поздравляю с выпиской! Многие удивляются, но удивляться собственно нечему. Вы отсидели уже свои 3 года, а больше, чем на три года ваше преступление и не тянет!

Муравьева тоже вызвали на комиссию. У него произошел такой разговор с Шостаковичем:

Шостакович: — Ну, Муравьев, будешь еще писать письма порочащие советских руководителей?

Муравьев: — Я писал насчет Хрущева и все оказалось правдой — его сняли за волюнтаризм. Не я Хрущева опорочил, он сам себя опорочил.

Шостакович: — Это не твоего ума дело! Твое дело: рубанок, пила, топор (ведь ты плотник?), и поллитра водки с получки! Будешь у нас до тех пор, пока не поймешь этого. Иди в палату!

Вечером с таинственным видом ко мне подошел Федосов.

— Послушай, я ничего не пойму! Ты говорил, что тебя выписали на комиссии. А сейчас в сестринской мне дали журнал врачебных назначений — сделать выписки для дежурной сестры — и там оказалась твоя фамилия!

Я заглянул в журнал и увидел свежую запись, сделанную почерком Бочковской: «Больному Ветохину — мажептил в уколах, 2 раза в день».

Я не удивился. Я ждал этого. Каждый вызов к Бочковской кончался назначением нового «лекарства». Скоро меня вызвали в манипуляционную. После укола мажептила у меня в глазах появились какие-то черные точки. Я шел по коридору и черные точки рисовались по всему полу. Потом пришло недомогание, сонливость, слабость и еще что-то неприятное, что я не мог объяснить.

Я подошел к дверям сестринской и сказал дежурной сестре:

— Лидия Михайловна, скажите, пожалуйста, кому я могу сдать табак? Я больше не могу работать.

Сестра пошла в ординаторскую за инструкциями и возвратившись сообщила:

— Нина Николаевна сказала, что вы будете и уколы принимать и работать.

Я поставил свой ящик с табаком к стенке в коридоре, сел на него и задумался. Вдруг передо мной остановился тюремный офицер, капитан.

— Вы почему не встаете, когда офицер проходит?

— Потому что я — не солдат, а больной, — ответил я сидя.

— Если вы больной, тогда нечего находиться в коридоре, надо лежать в койке! Санитар! — обратился он к подскочившему Бугру: — Снимаю его с работы. Сейчас же раздеть и водворить в камеру.

Через десять минут я уже сдал свои обязанности другому больному, отдал Лаврентьевне рабочую одежду и

Оказался снова в своей камере, в одном нижнем белье.

Говорят, что узнав о случившемся, Бочковская устроила капитану скандал:

— Я и **только я** имею право снимать с работы больных моего отделения, — кричала она. — Я — начальник отделения, а вы — **только** капитан!

Бочковская имела чин майора и уязвленное самолюбие побудило ее в скором времени отменить мне уколы мажептила и восстановить на прежнем месте работы.

Месяца через два после того, как я снова стал «заведовать табаком», освободилась должность кладовщика личных продуктов. Бочковская сперва предложила ее Федосову, но он отказался: потом — Евдокимову. Евдокимов принял шкаф с продуктами, поработал день, запутался и сказал, что больше не может. Тогда Бочковская вызвала в кабинет меня. О цели вызова меня заранее предупредил санитар и я успел подумать.

— Юрий Александрович, с раздачей табака вы справились. Насколько мне известно, санитарам без ведома больных вы табак не давали. Теперь я хочу предложить вам принять продукты. На табак мы найдем кого-нибудь другого, а вот на продукты — не найти.

— Кладовщиком я никогда не работал, — ответил я, — и потребуется какое-то время, пока я освоюсь. Однако я не отказываюсь и буду стараться освоить эту работу как можно быстрее.

Шкаф с продуктами стоял в коридоре напротив ординаторской. Это был большой трехстворчатый фанерный шкаф. В нем под замком хранились личные продукты больных 9-го отделения. Хотя в отделении было 115 человек, но продукты имели только около 60 человек. Некоторые больные получали деньги или посылки от родственников очень редко, а другие никогда. Если, например, богатый уголовник Дуплийчук имел столько продуктов, что они занимали чуть ли не четверть шкафа, то другой больной, политический Залусский, никогда не имел ни грамма дополнительных продуктов, заболел дистрофией и умер от голода. Если другой больной уголовник Триандофилиди, отец которого работал мясником в

Сухуми, что в СССР гораздо денежнее профессора, получал в посылках столько дефицитных продуктов, что имел возможность угощать даже сестер (которые были не голодны) и за свое богатство пользовался неслыханными привилегиями: ходил в тюремный двор играть в волейбол с санитарами, то другой больной — Глобу, был до такой степени голоден, что вылизывал в столовой пустые миски.

Богатые больные очень редко делились своими продуктами с бедными и не скрывали к ним своего презрения. Даже в обиходе было обидное слово «байструк», применяемое к тем, у кого нет родных или же родные — не состоятельные. В то же время богатые уголовники с каждой посылки, с каждой передачи несли угощение старшему санитару-«бугру» и другим санитарам, получая взамен привилегии.

Коррупция, изъевшая весь советский государственный механизм, в тюрьмах проявляется более откровенно, чем где бы то ни было еще. Все услуги в Днепропетровской спецтюрьме были платные. Если хочешь сходить в туалет — отдай санитару банку консервов, хочешь покурить — банку консервов. Хочешь побриться новым лезвием — банку консервов и т.д. и т.п. У кого ничего нет — тому в советской тюрьме во сто раз тяжелее, чем тому у кого есть и деньги и продукты.

Открыв в первый раз шкаф, я ужаснулся. В шкафу вперемежку были напиханы всевозможные консервы, куски шпига, сыр и колбаса, печенье и пряники, банки с маслом и банки с сахаром. Ограничения на посылки и передачи больным только в этом году были смягчены и мой предшественник «потонул» в нахлынувших продуктах. Как я смогу быстро находить нужные больным продукты? Если общее количество банок и названия консервов, имеющихся у каждого больного, были

зарегистрированы в специальной тетради и поэтому находить их было легко, то все остальные продукты имели указание на то, кому они принадлежат, лишь на бумаге, в которую были завернуты, и искать их было трудно. Нелегко было и резать продукты, ибо по тюремному режиму нож кладовщику не полагался и кладовщик должен был резать

продукты алюминиевой ложкой, заточенной об цементный пол.

Моя работа заключалась в приеме и выдаче личных продуктов. Ежедневно я принимал передачи и 1 или 2 раза в месяц — отоварку больных из тюремного ларька. Продукты выдавались больным два раза в день перед завтраком и перед ужином. За полчаса, а иногда за час до общего построения в столовую санитар начинал выпускать «на продукты» — по несколько человек, в порядке очередности камер. В присутствии медсестры, которая в специальной книге регистрировала то, что получает больной, я выдавал по их требованию те или иные продукты, однако в пределах норм, установленных Боч-ковской. Консервы на руки не выдавались. После окончания выдачи продуктов я брал консервный нож у медсестры и открывал им все заказанные больными консервные банки. Затем я выкладывал содержимое банок в металлические миски, которые и получали больные, когда шли в столовую. Банки я должен был отдавать Лаврентьевне.

Вот тут у меня оказалось «золотое дно». Наша советская «сверхмощная индустрия», оказывается не в состоянии обеспечить свое население даже обыкновенными металлическими крышками для консервирования в стеклянных банках фруктов и овощей. Поэтому сестры дали специальный ключ, с помощью которого крышки стеклянных банок снимались не деформируясь, и просили меня эти крышки не выбрасывать, а собирать и потом по очереди отдавать сестрам для вторичного их использования. За это некоторые сестры приносили мне что-нибудь съедобное, конечно, тайно от всех других, ибо кормить больных в Советском Союзе считается преступлением. Если бы тюремные власти узнали, что сестры приносили мне то банку варенья, то банку грибов, то немного овощей, — то их бы уволили с «волчьим паспортом» за «связь с заключенными». Для нас с Петром Михайловичем Муравьевым, с которым к этому времени мы так подружились, что всю перепадавшую нам еду делили пополам, это было некоторой поддержкой. Кроме варенья и грибов я иногда имел старый пожелтевший шпиг, от кото-

рого отказывался тот или другой богатый больной. Тогда я просил у сестер разрешения воспользоваться их электроплиткой и перетапливал шпиг вместе с луком.

Конечно, работа кладовщика была «не сахар». Сумасшедшие уголовники часто забывали о том, что они уже съели свои продукты, и снова требовали их у меня, бросаясь в драку. Кроме того, что работа была нервная, она была очень утомительная, без выходных дней и неоплачиваемая. И я не освобождался от обязанности вязать сетки, если в это время не был занят своими обязанностями. Недаром другие больные отказывались от работы кладовщика! Но меня эта работа отвлекала от тюремной действительности и по своей специфике немного облегчала тюремный режим, так как я работал в коридоре, где мог побеседовать со здоровыми людьми и узнать от них что происходит за тюремными стенами.

Постепенно я упорядочил хранение продуктов и завел новую систему их отыскания, основанную на принципах кибернетики. Я привык к большой нагрузке, которая ложилась на меня в дни отоварок в тюремном ларьке и в предпраздничные дни. Врачи заметили мою адаптацию и были, очевидно, этим недовольны. Им не нравилось и то, что мы с Муравьевым делились продуктами. Пытаясь поссорить нас, они говорили Муравьеву, что я его «объедаю», а мне — что Муравьев — «настоящий сумасшедший», дружить с которым якобы опасно для здоровья. С большим раздражением мой лечащий врач Нина Абрамовна Березовская отказала мне в разрешении перейти жить в рабочую камеру, когда там умер больной и освободилась койка, хотя кроме строительных рабочих, там уже жило несколько больных, работавших, как и я, на внутренних работах.

А перейти в рабочую камеру мне очень хотелось. Там была совсем другая обстановка: горела яркая лампочка, играло радио, а наиболее здравомыслящие больные, собранные в ней, не все время лежали в койках, как в других камерах, а, придя с работы, читали, играли в шахматы или шашки, беседовали друг с другом или слушали радио. Дежурный санитар, в присутствии которого я говорил с врачом, пообещал мне, когда мы вышли из ордина-

торской:

— Подождите, Юрий Александрович, когда все врачи уйдут по домам. Тогда я пущу вас в рабочую камеру и можете там находиться вплоть до

последней оправки.

То же самое разрешили мне и остальные санитары нашего отделения. Так я стал ежедневно по вечерам бывать в рабочей камере, где имел возможность послушать по радио последние известия и концерты классической и эстрадной музыки, по которой я сильно истосковался. Однажды я даже услышал знакомые имена Игоря Ефимова и Лиды Потаповой, когда по радио читали их рассказы. «Наши пробиваются в большую литературу!» — подумал я без зависти и оглянулся по сторонам, ища человека, с кем можно было бы поделиться этой новостью. Все занимались своими делами, только Виталий Беляков, который появился в спецбольнице недавно и сразу же попал в рабочую камеру на освободившуюся койку, вопросительно встретил мой взгляд.

— А я ведь знаю авторов этих рассказов! — кивнул я ему на радио, только что вторично сообщившее имена авторов прочитанных рассказов.

— Да ну? — без всякого интереса переспросил меня Виталий.

— Да, я на свободе ходил в литературное объединение. Там и познакомился с ними, — пояснил я.

— Я тоже бывал на свободе, — ответил задумчиво Беляков, и вспомнил свое: Ты вот ходил на свободе в литературное объединение, а я — в шашечный клуб. Я был чемпионом Украины по стоклеточным шашкам.

— Да ну? — в свою очередь удивился я и вспомнил, что мне рассказывали санитары об этом человеке. (Они сопровождали больных на беседы к врачам и поэтому всегда все знали). Они говорили мне, что Беляков бывший рабочий, который после службы в армии успел побывать на строительстве Братской ГЭС, где увидел подлинную жизнь без прикрас и лакировки. Затем он переехал в Днепропетровск и здесь написал на телевидение такое письмо: «Вы объявите призыв к восстанию, а я — подниму рабочих!»

Что это было такое: идеализм малограмотного человека или действительно болезнь—я не знаю. Возможно и то и другое. Анализ условий жизни советского рабочего, который он иногда проделывал вслух, говорил о здравом мышлении. Однако, Беляков иногда заговаривался, то есть не замечал, что его собеседник уже ушел, а он все продолжал говорить. У Белякова был приятный голос и иногда, если его не очень мучили лекарствами, он тихо пел классические романсы или русские старинные песни. Он сразу признал себя сумасшедшим, ни

в чем не противоречил врачам и они относились к нему без особенной злобы, позволив жить в рабочей камере и раздавать больным табак.

В рабочей камере также жил переходчик границы по фамилии Боровский, работавший официантом. Он был очень молодой и очень нетерпеливый. Было ясно, что психически Боровский был здоров. Сначала он держал себя насмешливо. Особенно, он любил подшучивать над Федосовым. Узнав, что Федосов пишет для врачей подробную автобиографию, Боровский выкрал ее и громко прочитал в камере. Врачам его поведение не понравилось и они назначили ему столько лекарств, что шутить Боровскому больше не захотелось. Тогда он пошел врачам якобы навстречу. Он «признался» в том, что он — сумасшедший. Бочковская ответила:

— Не верю! — и засмеялась.

Боровский начал доказывать свое «сумасшествие». Один раз он симулировал приступ безумия, уверяя всех, что... койка хочет его ударить. Врачи удвоили ему количество лекарств. Тогда Боровский в моем присутствии сказал приятелям:

— Смотрите, я сейчас гнать начну! — и сразу после этого закричал:

— На помощь! Помогите!

Пришла дежурная медсестра и ей Боровский объяснил:

— Я сейчас считаю про себя до 1000 и не могу остановиться. Я уже досчитал до 500. В то же время я знаю, внутренний голос говорит мне, что когда я дойду до 1000 то умру! Спасите меня!

Его, конечно, «спасли». Начали делать уколы. Кончи-

лось все трагически. От изобилия ядохимикатов, которыми пичкали его врачи, при этом смеясь и приговаривая, что «они-то знают, что Боровский «гонит тюльку», у Боровского случилась прободная язва желудка. Ему сделали операцию в хирургическом отделении больницы и только молодость спасла его от могилы. Но после операции его почти невозможно стало узнать: до того он похудел и такой у него стал болезненный вид.

В рабочей камере безвыездно жил Федосов. Сколько я его помню, он всегда выступал в защиту коммунизма. В 1968 году, во время Пражской Весны, он громко кричал: «Танками их! Танками!», потом вырезал из журналов портреты Ленина и расклеивал их по стенам в коридоре.

Однажды он пожаловался Бочковской на Муравьева, с которым поссорился из-за политики. В другой раз, когда я находился в рабочей камере, по радио передали сообщение об угоне отцом и сыном Бразинскасами советского самолета в Турцию. При этом была убита бортпроводница-комсомолка, пытавшаяся выступить в роли надзирательницы «тюрьмы СССР». Федосов страшно разволновался:

— Их все равно заберут из Турции! Их все равно расстреляют! — кричал он на всю камеру.

— Что ты каркаешь, Федосов! — возмутился я. — Ты в слове «корова» три ошибки делаешь, а туда же лезешь — в политику! Научись грамоте сначала!

— Когда я три ошибки в слове «корова» сделал? — обиделся Федосов.

Если Федосов был «любителем-шпионом», то живущий в той же камере Виктор Ткаченко являлся профессиональным чекистом. Однажды, напившись до потери сознания, Ткаченко совершил убийство из казенного оружия. Понятно, что такого «ценного для дела коммунизма» человека не отдали под суд, а признали «невменяемым в момент совершения преступления» и направили в спецбольницу. В спецбольнице Ткаченко внезапно «выздоровел» и якобы по этой причине ему не прописывали никаких тяжелых лекарств. Его сразу поселили в рабочую камеру и позволили работать в качестве инсулинового санитара. Ткаченко чувствовал свое превосходство над ос-

тальными и всегда вмешивался в разговоры больных, если они хоть сколько-нибудь имели критический оттенок. Однажды я рассказал о том, как меня пытали серой. Услышав мой рассказ, Ткаченко заявил с апломбом:

— Все это, наверно, было до революции!

Таких Ткаченок в спецбольнице было несколько десятков человек и все они принадлежали к так называемому «активу».

Если на свободе коммунистам в их работе помогают так называемые «беспартийные большевики», то в спецбольнице эту помощь осуществляли здоровые «больные-уголовники», нашедшие там убежище от расстрела за совершенные ими преступления.

Разница между здоровыми пациентами-уголовниками и здоровыми политическими пациентами была та, что уголовников направляли в

спецбольницу с целью спасти их «драгоценные» жизни, когда преступление грозило им смертной казнью, а политических направляли в спецбольницу тогда, когда нормальное судопроизводство не могло обеспечить им расстрел или длительный срок заключения. Иными словами, политических направляли в спецбольницу в качестве наказания, а привилегированных уголовников — в качестве поощрения.

Если большинство политических, за исключением нескольких человек, кому КГБ велело применять «щадящее лечение», испытывало на себе всевозможные виды лекарств и всегда находилось в спецбольнице дольше максимального срока наказания по инкриминируемой им статье уголовного кодекса, то уголовники, наоборот, лекарств получали мало и выписывались очень быстро.

Вторым представителем таких «поощренных Партией и Правительством уголовников» в нашем отделении был Шушпанов, который тоже жил в рабочей камере. На свободе Шушпанов работал парторгом какого-то завода и, как все парторги, был пьяницей. Однажды его очередной запой перешел в белую горячку. Шушпанов взял охотничье ружье, патронташ с патронами, сел у окна и стал стрелять по всем, кто проходил или проезжал мимо его дома. Он убил или ранил около десяти человек, прежде чем милиционерам удалось его обезоружить.

Шушпанова лекарствами тоже не травили. Ему не прописывали никаких уколов: ни серы, ни инсулина, ни аминазина. А когда Шушпанов получал таблетки, сестры не заглядывали ему в рот. Несколько месяцев Шушпанов днями и ночами спал, приходя в себя от многолетнего пьянства. Наконец, когда он немного очухался, Бочковская назначила его раздатчиком табака, а потом — библиотекарем. Лет через 5 его выписали.

В соседнем 10-ом отделении находился такой же привилегированный уголовник с отвратительным преступлением. Будучи крупным партийно-комсомольским активистом и руководителем дружинников (т.е. добровольных милиционеров), он долгое время занимался тем, что насиловал девушек, а потом убивал их. Один раз он уронил около очередного трупа девушки газету, на которой был указан его адрес. Так следователи напали на его след. Врачами 10-го отделения он был поставлен в привилегированное положение. Он был уравнен в правах с санитарами и делал все, что делали санитары: дежурил около камер с ключом в руках, требовал с больных консервы за разрешение сходить в

туалет, водил больных строем на плетение сеток, в тюремный двор, бил больных и доносил врачам обо всем, что видел и слышал в камере. Такие же Шушпановы и Ткаченки были во всех других отделениях. Если вы когда-нибудь повстречаете одного из них на свободе и спросите про спецбольницу, то он обрисует ее в самых радужных красках.

— А то, о чем рассказывает Ветохин, — заметит он, — то было до революции!

Говорить с такими людьми о политике я считал бессмысленным занятием и высказывал свое мнение только когда не мог сдержать себя. Главным же моим занятием в рабочей камере, из-за чего я и ходил туда, были шахматы. В шахматы играли только в рабочей камере. После того, как один идиот, сидевший за убийство собственного отца, выколол себе глаз шахматной фигурой, в других камерах играть в шахматы запретили.

После ужина я всегда шел во 2-ю камеру, где Сычев уже ждал меня. Сычев хотя и совершил убийство в невменяемом состоянии, но во время игры в шахматы ничего

странного не делал и не говорил. Поэтому играть с ним было приятно. У Сычева были собственные шахматы и мы с ним играли непрерывно, партия за партией, вплоть до вечерней оправки, то есть до 21 часа. После этого я шел в свою камеру, ложился в койку и, помолившись, засыпал. Когда Сычева выписали и он уехал в вольную больницу, то я стал играть в шахматы с Витей Дьяченко. Дьяченко был добродушным больным с явно выраженными признаками психической болезни, которая, впрочем, не мешала нам играть в шахматы. Мы с ним вели сквозной счет и цифры были астрономические. Витя очень любил выигрывать, за что я прозвал его «Чемпион». Кличка привилась и больные и сестры стали звать его так. Однако, выигрывал чаще я. Человеку всегда нужно иметь маленькое удовлетворение хоть в чем-нибудь, чтобы на этой основе создать себе душевное равновесие. Выигрыш в шахматы и давал мне такое маленькое удовлетворение.

По воскресеньям, когда врачи были выходные, я приходил в рабочую камеру также днем. Тогда я залезал на койку, так как окно было высоко, и смотрел через окно на строительную площадку. Строители иногда работали даже по воскресеньям, так как большая текучесть состава бригады привела к низкой производительности труда. Текучесть обуславливалась тем, что бригада состояла исключительно из больных уголовников, которые часто возбуждались и их приходилось заменять

новыми людьми. А новых людей сперва надо было обучать. Наконец, Прусс понял ситуацию и разрешил укрепить бригаду несколькими молодыми политическими. Из моих знакомых на стройку попали Николай Ведров и старший из братьев Шатравок — Александр.

Теперь строители кончили копать котлован и начали возводить стены. Бригада была разделена на звенья. Одно звено, которым руководил Сидоров, делало раствор, другое — подносило этот раствор и кирпичи к месту кладки. Каменщики, раздевшись до пояса, непрерывно возводили стены. Урядов мелькал то тут, то там — широкоплечий, энергичный, всегда в высоких сапогах, которые прислала ему мать. Сидоров как-то рассказал мне, что

одному из строителей не понравились его сапоги.

— Что ты все в сапогах ходишь? — пристал он к Урядову. — Мы все в ботинках, а ты — в сапогах?

— Не твое дело! — отрезал Урядов. — Иди, работай!

Нет, моё! У тебя, говорят, подслушивающие аппараты вделаны в сапоги! Ты подслушиваешь, о чем мы разговариваем между собой!

— Иди работай, не мешай мне! — опять повторил Урядов.

Рабочий схватился за лопату и хотел ударить Урядова. Урядов подозвал надзирателя и приказал ему:

— Отведите этого больного в отделение и вычеркните его из списков бригады!

Надзиратель выполнил его распоряжение. В другой раз Сидоров рассказал мне, что Урядов нашел ошибку в чертежах и сказал об этом Пруссу. Прусс был очень доволен и наградил Урядова 90 рублями. Так и пошло с того раза, что каждый месяц Урядов стал получать 90 рублей. Начали получать зарплату и другие рабочие, но меньше. Звеньевой Сидоров получал в месяц от 20 до 30 рублей, а рядовые рабочие — порядка 15 рублей.

Но была еще одна плата за их тяжелый труд: всем строителям или совсем отменяли лекарства, или давали самый минимум, лишь для видимости.

***

Я уже писал, что санитары собирали дань с больных. Больной, который

отказывался поделиться с санитарами полученной посылкой или передачей, подвергался всяким преследованиям и не только не получал от них разрешения сходить в туалет лишний раз, но нередко избивался ими. Наиболее откровенные санитары говорили мне, что так хорошо и вкусно они не питались даже на свободе. Сменяясь с дежурства каждый санитар уносил с собой целый пакет еды, и я надолго запомнил вид одного санитара (брат его — майор КГБ), который шел по коридору демонстративно неся в каждой руке по целому кругу колбасы! И это в концлагере, где многие больные были бы счастливы, если бы могли вдоволь наесться просто каши!

Но настоящая «райская жизнь» для санитаров началась с того момента, когда Бочковская то ли от скуки, то ли вследствие постоянного желания выделиться среди других, — ввела в нашем отделении «новый порядок» оправки больных.

Этот «новый порядок» шутники сравнивали с тем «порядком» какой, по словам советской пропаганды, хотел насадить Гитлер в Европе. Начать с того, что Бочковская дала распоряжение санитарам выводить больных на оправку только по графику, а в другое время ни под каким видом не выпускать из камер. В камерах параш уже не было и я дальше опишу к чему это привело.

«График оправок», написанный красивым федосовским почерком, с массой орфографических ошибок, пришпилили на дверях туалета. За этот «научный» труд Бочковская несомненно достойна того, чтобы минуя степень кандидата, сразу стать доктором тюремных наук. Вот как выглядел этот график:

График Аправок больных 9-го психатделения.

06.00—06.30 - аправка с курением,

10.00—10.30 - аправка без курения

14.00—14.30 - аправка без курения

18.00—18.30 - аправка с курением

21.30—22.00 - аправка без курения.

Горе было тем больным, которые не могли терпеть от одной оправки до другой, особенно долгие ночные часы. Они безуспешно стучали в дверь камеры, но в ответ слышали только одно: «оправка будет по графику!»

Некоторые, не вытерпев, оправлялись в штаны. Другие оправлялись в тапочек или в ботинок, а потом через форточку выливали мочу из ботинка во двор. При этом часть мочи проливалась на койку, стоящую под окном.

Петр Михайлович Муравьев, человек старый и больной, больше других страдал от нововведения. Однако, оправляться в тапочек и потом ходить в мокром и вонючем тапочке он не хотел. Муравьев подходил к закрытой двери камеры, стучал в нее некоторое время, а затем убедившись, что его не пустят в туалет, оправлялся под дверь. Когда лужа мочи просачивалась в коридор, в ка-

меру врывались санитары и избивали старика.

— Ну, какие вы «санитары»? Вы — самоохрана, как в немецко-фашистских концлагерях! — хрипел старик.

За это большинство санитаров ненавидели его. Однако, были и такие, которые очень уважали его, считали умным человеком и полностью соглашались с его словами.

Понятно, что за разрешение сходить в туалет вопреки запрету Бочковской, санитары стали брать с больных любую плату.

Кладовщика санитары традиционно уважали.

Теперь уже все санитары обращались ко мне не только на «вы», но и по имени-отчеству. Я мог постучать в дверь свой камеры, когда хотел в туалет, и санитар, посмотрев в глазок и увидев меня, сразу открывал дверь и выпускал без всяких расспросов. В бане я стал получать не рваное белье, на прогулку — ботинки без гвоздей.

Хотя жить мне стало немного легче, но я никогда не забывал о том, что это было только временное улучшение условий, лишь «пряник», имеющий все ту же цель — сломить меня. Я догадывался, что вслед за «пряником» опять будет «кнут». Пользуясь временной передышкой, я более интенсивно обдумывал те проблемы, которые еще в начале своего заключения наметил для решения в тюрьме.

Обдумывая будущий побег я снова и снова возвращался к идее превратить собственное тело или матрац в корпус мини-корабля. Требовалось найти к нему какой-то движитель. Более вероятным казался парус. Но как на себе укрепить рею для паруса? Однажды, лежа на койке, я вытащил руки из-под одеяла, и, потягиваясь, поднял их

вверх, скрестив между собой. Тотчас это положение рук натолкнуло меня на мысль о двух скрещенных мачтах. Вот оно решение! Я сразу понял, что найдено оптимальное решение. Дальше я только дорабатывал и уточнял это техническое решение. Надо было подумать о размере мачт, способе их крепления, сборки и разборки, а также о том, чтобы в поднятых руках не скапливалась молочная кислота.

Раздумывая о способах побега вплавь через Черное море, я в то же время не оставлял мысли о том, что

возможно мне еще раз представится случай участвовать в путешествии по Тихому океану без захода в порты, в так называемом «Путешествии из зимы в лето».

Я вспоминал о своем неудачном опыте в 1966 г. и пытался представить, чем бы все кончилось, если бы страх не предотвратил мой прыжок за борт. Всестороннему рассмотрению этого вопроса помогал Петр Михайлович Муравьев, когда мы встречались с ним на прогулке. Я рассказывал ему мельчайшие детали путешествия и отвечал на его вопросы, которые иногда наталкивали меня на такие аспекты, которые раньше я выпускал из виду. Я рассказывал доброжелательному слушателю и это было все равно, как если бы я думал вслух. Я никогда не говорил ему о настоящей цели моего путешествия и Петр Михайлович по простоте душевной возможно думал, что я ездил только ради развлечения. Но совсем открываться было нельзя даже Муравьеву, потому что для «развязывания языка» тем, кто не хотел выдавать секреты, существовал барбамил. А содержанием наших бесед врачи очень интересовались.

***

Однажды утром дежурный санитар шепнул мне: Сегодня вам будут вводить барбамил.

Я сразу потерял покой. Прошло уже около 4-х лет со дня моего ареста и КГБ до сих пор ничего не знало о том каким образом я очутился в Черном море на расстоянии 10 километров от берега. Я сочинил для КГБ две легенды и обе — малоправдоподобные. Для меня, не потерявшего надежду после выхода из тюрьмы снова повторить попытку побега за границу, было жизненно необходимо сохранить в секрете методы и технические приемы, с помощью которых я уже дважды обманул бдительность пограничников, незамеченным вошел ночью в море и уплыл от берега. Я боялся, потеряв над собой контроль

после введения в организм наркотика, проговориться об этом.

Я принял меры предосторожности. По главным вопросам, по которым я боялся проболтаться, я придумал под

ходящие ответы и весь день твердил эти ответы про себя чтобы выработать автоматическую реакцию: вопрос — ОТВЕТ. Мысленно я просил Бога помочь мне в этом.

Во второй половине дня меня вызвали в манипуляционную. Сперва медсестра ввела мне в руку сердечный допинг (чтобы я сразу не заснул от барбамила), а затем велела лечь на топчан. Нащупав вену на сгибе моей руки она воткнула в нее иглу большого шприца и ввела примерно половину содержимого. Потом, оставив иглу со шприцем торчать в моей руке, сказала санитару:

— Позовите, пожалуйста, Нину Абрамовну!

Нина Абрамовна вошла в манипуляционную, и закрыла за собой дверь.

— Что вы чувствуете, Юрий Александрович? — спросила она меня.

Хотя я чувствовал, что куда-то проваливаюсь, лечу, вот-вот потеряю сознание, я ответил, как задумал:

— Все в порядке.

— Добавьте еще! — скомандовала Нина Абрамовна сестре.

Больше я ничего не помню. Был какой-то разговор или нет — я не знаю. Санитар уверял меня, что я был как без памяти и не мог сказать ни слова. Очнулся я на койке в своей камере. Голова сильно болела, меня мутило. Когда я встал с койки, то меня шатало как пьяного. Болезненное состояние продолжалось еще два дня. На третий день меня снова вызвали на барбамил.

Вначале все повторилось также, но потом пришла Бочковская и Нина Абрамовна и, наученные опытом, запретили сестре вводить мне больше половины шприца барбамила. Я остался в памяти и мог контролировать свои ответы.

— О чем вы беседуете с Муравьевым на каждой прогулке? — начала допрос Бочковская.

— О природе.

— Как это о природе?

— Вот так, мы оба любим русскую природу и говорим о ней.

Но я тоже люблю русскую природу! Вы сами видели, что у меня на столе в ординаторской круглый год жи-

вые цветы! Но я не говорю все время о своей любви к природе!

— А я — говорю. Я рассказываю Муравьеву на каких реках и озерах я ловил рыбу, в какие леса ходил за грибами. Как они выглядят утром, днем и вечером, на закате солнца.

Явно неудовлетворенная моим ответом Бочковская замолчала. Ее сменила Нина Абрамовна:

— Почему вы никогда не спросите у нас, скоро ли вас выпишут?

— Я надеюсь, вы сами об этом скажете.

— Да, скажем, — ответила она. — Ваша выписка настолько близка, что вы даже и не подозреваете об этом.

Остальные вопросы были не существенные, и их я не запомнил.

***

Это случилось в субботу. По субботам в нашем отделении бывало бритье и измерение кровяного давления. Я уже знал свои обязанности во время этих мероприятий. Сразу после подъема я пошел к Цыпердюку и взял у него помазок, стеклянную банку и кусочек хозяйственного мыла. Тем временем больной Черепинский принес из раздаточной ведро горячей воды и, как всегда, вытаращив глаза и ужасно суетясь, вылил воду в таз, из которого моют полы в камерах, а потом поставил этот таз на стол. Я налил горячей воды в свою банку и стал разводить пену для того, чтобы мазать ею лица больных.

Увидев, что вода и мыльная пена готовы, санитар выпустил из камер четырех брадобреев. Бритье больных началось недавно, а до этого больных не брили, а стригли машинкой: и голову и лицо одновременно. Формально брить должны были санитары, но постепенно они передали это неприятное занятие больным, для чего отобрали постоянных людей.

Так и в этот день были выпущены из камер уже известные лица: Федосов, Беляков, Триандофилиди и Виктор Ткаченко. Бугор выдал им всем по одному лезвию, которым уже побрились санитары, и предупредил:

— Запомните: лезвий больше нет! Каждым лезвием вы должны побрить 25 человек!

Больные сперва мылились у меня, а потом шли к брадобреям. Те брили их стоя, полоская свои бритвы в общем тазу, вода в котором сделалась совершенно черной… Очень скоро бритвы затупились и стало неприятно смотреть как больные извивались ли под неумолимой рукой брадобрея. Однако бриться было нельзя. Все равно санитары приведут силой, свяжут и побреют. И еще тумаков надают.

Закончив бритье, Беляков, Федосов и я перешли сестринскую и принялись за другую работу: кровяного давления больных. Беляков нажимал грушу, Федосов накладывал жгут на руку очередного больного, я — записывал показания прибора, которые считывала медсестра. Когда и эта работа закончилась мы выходили из сестринской, дежурившая в этот Ирина Михайловна сделала мне знак рукой, что поговорить по секрету. Я подошел ближе и она шепнула:

— Я слышала, что вас выписали, Юрий Александрович!

— От кого вы слышали?

— От Лаврентьевны. Она такие вещи самая первая узнает.

— А на комиссии совсем не было похоже на выписку?!

— Ну, а теперь идите Юрий Александрович, — заторопила меня Ирина Михайловна. — А то кто-нибудь заметит, что мы с вами шепчемся и передаст врачам. И уже в истории болезни записано, что вы со средним медперсоналом…» А Прусс этого не любит.

Я вышел из сестринской и важная новость захватила все мои мысли. Однако у меня хватило благоразумия никому об этом не говорить. На следующий день то же самое мне сказал старший санитар: А вас выписали!

А вы откуда знаете? — спросил я. Да все сестры об этом говорят.

Я почти поверил и стал ждать. В те годы больным о выписке не сообщали. Заключенный узнавал о своей выписке только тогда, когда после утверждения решения ко-

миссии судом, его вели фотографироваться на «Записку об освобождении». И то говорили неправду: вызывали якобы «на рентген». Дело в том, что рентген-кабинет и фотография находились в одном и

том же помещении.

В течение нескольких месяцев, не подавая никому вида, я каждый день ждал этой команды «на рентген!» Но когда пришло время следующей комиссии, я понял, что все слухи о моей выписке, точно также как и давнее обещание Березовской, данное мне под барбамилом, были одинаковой провокацией и имели единственную цель — вывести меня из состояния душевного равновесия.

Поняв, что меня специально разыгрывали, я стал больше молиться и больше времени посвящать обдумыванию проблем внутренней и внешней политики. В этот период у меня и зародилась мысль: убить начальника концлагеря Прусса. Но об этом я напишу позднее.

По вечерам я отвлекался от всех мыслей за шахматной доской. Постепенно ко мне вернулось прежнее душевное равновесие.

В спецбольнице ни один человек никогда не выпадал из поля зрения врачей. Едва врачи увидели, что я успокоился и вернул себе душевное равновесие, они приняли меры к тому, чтобы снова вывести меня из этого состояния.

Для этого они вызвали меня на «беседу».

Когда я вошел в ординаторскую, там было трое врачей. Первым, как всегда на совещаниях, заговорил самый глупый — в данном случае — парторг спецбольницы майор Халявин:

— Юрий Александрович, вы не оправдываете наших надежд! Мы вас поставили на должность кладовщика единственно потому, что ваше рабочее место находится рядом с ординаторской. Мы надеялись, что будучи так близко от нас, вы, наконец, придете к нам...

В ответ я выразил свое удивление:

Не знаю, гражданин майор, что вы от меня хотите. Свою работу кладовщика я вроде бы выполняю неплохо. А что еще нужно, я не понимаю.

Тогда заговорила следующая по чину, не очень глупая и не очень умная Нина Абрамовна Березовская:

— Мы хотим, чтобы вы сами пришли к нам и расска-

зали, как это у вас все получилось? О преступлении и вообще обо всем, что привело вас в больницу.

— В больницу? Я нигде не вижу больницы! Я вижу только концлагерь!

— Вы опять за старое! — вмешалась Бочковская. — Как же вы не видите больницы, если мы вас лечим?

— Если вы меня лечите, тогда американские бомбардировщики тоже лечат северовьетнамских коммунистов! — ответил я.

***

— Юрий Александрович, неужели это правда, что записали врачи в историю болезни о вашей сегодняшней беседе? — спросила пришедшая вечером на смену сестра Наталья Сергеевна, бывший мой враг, необъяснимо перешедший в друзья.

— Вы имеете в виду бомбардировщиков?

— Да.

— Правда.

— Что вы наделали? Врачи т-а-ак вас ругают и они обязательно что-нибудь для вас придумают! Это уж обязательно!

На следующий день был обход. Когда врачи в сопровождении сестры и санитара подошли к моей койке, то Бочковская не задавая стереотипного вопроса о здоровье, сразу начала по существу:

— А вы, Ветохин, давно у нас лекарства не получаете. Так нельзя. Вас привезли сюда лечиться. Без лечения никто выписан не будет.

— Ну, и не выписывайте, только не травите лекарствами, — ответил я.

Бочковская пропустила мой ответ мимо ушей и продолжала:

— Вот что я хочу вам предложить: подумайте сами, какое лекарство вы хотели бы принимать, и придите сказать мне. Я буду вас ждать два дня.

И когда врачи выходили из камеры, Бочковская обернулась ко мне и еще раз проговорила:

— Не забудьте! Два дня!

Это было беспрецедентное предложение. Узнав о нем, Федосов забегал и засуетился, предлагая мне то или другое «легкое» лекарство. Но я, конечно, не пошел.

Через два дня вечером, изготовив шкаф с продуктами для выдачи больным, я сел отдохнуть на стул около него. Переводя бездумно взгляд

с санитара, который крутил на пальце большой тюремный ключ, на дежурную сестру, скучающую у входа в сестринскую, а затем — на пол и стены, я увидел паутину, которую соткал паук между шкафом и стеной. Приглядевшись, я увидел и паука. «Интересно, вверх или вниз поползет?» — подумал я и стал терпеливо ждать. Паук полез вверх. «К освобождению», — саркастически подумал я в соответствии с тюремными приметами. Уже выдавая продукты больным, которых выпустил из камеры санитар, я еще раз взглянул на паука и убедился, что он продолжает упорно ползти вверх. Паук создал у меня шутливо-приподнятое настроение, которое оставалось вплоть до выдачи лекарств после ужина.

Неожиданно меня тоже вызвали на лекарство. Оказалось, Бочковская прописала мне тизерцин в таблетках.

Я конечно таблетки не проглотил, а спрятал их под языком. Утром — тоже. Дежурная сестра Сара Дьяченко это заметила и донесла врачам. Днем врачи заменили мне таблетки уколами. Сразу после укола я отказался работать и дежурная велела мне сдать обязанности Алянчикову, который появился у нас недавно и казался вполне нормальным человеком.

Тизерцин действовал, как сильное снотворное. Я заснул, едва дойдя до койки и проснулся по подъему с большим трудом, чувствуя себя больным. По пути в туалет мне сделалось плохо и я потерял сознание. Очнулся я в сестринской. Сестра замеряла мое кровяное давление.

— Пятьдесят на тридцать, — сказала она дежурному врачу, стоящему рядом.

— Сделайте ему укол кофеина и укол кардиомина, — распорядился врач.

Через некоторое время я смог встать и поплелся в камеру, где и лег на свою койку. Ко мне в камеру пришла

медсестра.

— Юрий Александрович, — сказала она, — на свою ответственность я не буду делать вам укол тизерцина после обморока, но как только придет лечащий врач Нина Абрамовна, вы сразу попросите ее отменить вам лекарство официально.

Нина Абрамовна приняла меня только под вечер, сидела на стуле и ее

короткие ноги, похожие на обрубки, не доставали до пола.

— Нина Абрамовна, у меня от тизерцина был обмарок.

— Знаю, мне доложили.

— Отмените мне, пожалуйста, его. Мой организм не переносит тизерцин.

— Обморок у вас случился оттого, что вы вчера выплюнули таблетки. Если бы вы этого не сделали и обморока никакого не было бы. Я пропишу вам дополнительные уколы для сердца.

Я постоял немного и чувствуя, что санитар тянет меня за рукав, вышел из ординаторской.

Вечером мне сперва сделали укол кофеина, а затем— укол тизерцина. Утром — тоже два укола.

Я понимал, что один укол противоречит другому (кофеин или кардомин возбуждают сердце, а тизерцин — действует как снотворное) и потому очень вредны для моего организма. Но что я мог поделать? Через несколько дней дозу тизерцина мне еще увеличили.

Ночью у меня случился сердечный приступ. Через день я потерял сознание в туалете и упал на деревянный настил. Счастье мое, что не на цементный пол, а то бы я кончил жизнь, как мистер Мальцев.

После этих трех случаев Бочковская решила вызвать ко мне терапевта. Терапевт пришел на другой день. Это был тот самый терапевт, который вместе с другим врачом, специалистом по уху-горлу-носу и с Катковой работал в лагере для немецких военнопленных. Со мной он разговаривал именно как с пленным немцем. Сняв свою шинель с майорскими погонами в кабинете Бочковской, он уселся за ее письменный стол и перебрасываясь с ней интимными репликами, обратился ко мне:

— Отверните голову в сторону! Не дышите на меня!

Расскажите, что с вами случилось?

После моего рассказа он повернулся к Бочковской и проговорил:

— Как по книге шпарит! Прочитал, наверно, где-нибудь.

Затем, приказав раздеться, он с видимой брезгливостью подошел ко мне, снова повторил приказ «не дышать на него» и приложил стетоскоп

к моему телу. Потом велел одеваться и уходить.

По его направлению у меня взяли анализы. Некоторое время спустя я случайно прочел его диагноз на одной из бумаг: «Стенокардия покоя». Терапевт выписал мне какое-то лекарство, но рекомендации об отмене тизерцина он не дал. Конечно, лекарство, выписанное таким врачом, я глотать не стал и выплевывал его обычным способом. Но Муравьев забеспокоился. Он запросил у своих родственников не очередную посылку и стал усиленно подкармливать меня.

***

Год прошел у меня в кошмарном тизерциновом сне. На прогулки я не ходил. Книг и газет не читал. Даже с Муравьевым виделся не часто. Дни и ночи я непрерывно спал. В этом вязком, липком, отвратительном искусственном сне иногда были сновидения. Лучше всего их назвать кошмарами. Чаще всего мне снился один и тот же кошмар. Он начинался всегда одинаково, а дальше я «додумывал» его и все хотел перенести дальнейшее желательное развитие событий на мой умственный видеоэкран, но это у меня никогда не получалось.

Начинался сон всегда с того, что я или плыл, или шел на теплоходе за границу. Даже иногда я видел острова, мимо которых проплывал. Но дальше, хотя я и думал во сне о том, что пришло время воспользоваться удобным случаем для побега, на деле у меня всегда не получалось. Мои руки и ноги переставали слушаться меня и я прилипал к месту, как муха к клейкой бумаге, в тот момент, когда можно было совершить побег.

Другой типичный сон заключался в том, что я шел по

улице, одетый лишь в одну коротенькую, как у ребятишек рубашку. Мне было очень стыдно, я пытался натянуть эту рубашку вниз, но она была очень короткая и у меня ничего не получалось.

— Очень плохой сон, — сказал мне о нем Петр Михайлович, когда я однажды рассказал ему.

— Хорошо, если видишь себя во сне красиво, тепло и добротно одетым. А твой сон — очень плохой!

По мере того, как тизерцин проникал в мой организм и все больше и больше отравлял его, сны стали принимать абстрактный вид. Теперь я уже видел чаще всего какие-то цветовые гаммы. Причем я понимал, что смысл сна состоял не в цвете, а совсем в другом. Цветовые полосы были закручены подобно спирали и чем ближе к центру спирали, тем эти

полосы были уже. Смысл сна и моя задача во сне якобы состояла в том, чтобы лучше присмотреться к этим спиралям и найти заключительную точку. Но чем больше я всматривался, тем большее количество новых более тонких цветовых полос я обнаруживал, но никак не мог увидеть заключительную точку. Когда меня будили на очередной укол, на оправку или на прием пищи, я просыпался с ощущением неудовлетворенности и лишь потом вспоминал, откуда это ощущение — от нелепого фантастического и неприятного сна.

Наконец, в начале осени 1973 года уколы мне отменили и вновь назначили таблетки. Я опять стал эти таблетки оставлять во рту, а позднее — выплевывать.

Чтобы посмотреть, как подействовали на меня пытки, я был снова вызван к врачам.

— Как вам помогает тизерцин? — первым делом спросила Бочковская, выглядывая из-за большой вазы живых цветов, стоящей на ее письменном столе.

— Отчего, собственно, он может мне помочь?

— Как отчего? — фальшиво рассмеялась она. — От сумасшествия.

— Вы лучше других знаете, что я психически здоров. Украинская экспертиза признала меня совершенно здоровым человеком, вменяемым.

— Какой же вы вменяемый, если после разрыва с женой думали о самоубийстве? — злобно засмеялась

Бочковская.

— В таком случае, почти все коммунистические идеологи тоже невменяемы. Я хочу напомнить, что Маяковский, Фадеев и Орджоникидзе покончили самоубийством, а Горький — пытался покончить самоубийством.

— Когда вы об этом узнали?

— Давно знаю.

— Я все хочу спросить вас. Вот вы говорите, что давно знали о многих отрицательных качествах коммунистов. Зачем же вы вступали в партию?

— Я вступил в партию не по своему желанию.

— А как же?

— В добровольно-принудительном порядке.

— Что это такое? Федор Викторович! — обратилась она к майору Халявину тоном капризной девочки. — Вот вы — парторг больницы. Скажите, вы принимаете кого-нибудь в партию в «добровольно-принудительном порядке»?

Халявин гневно выпрямился на своем стуле, сделал очень возмущенное лицо, пожевал губами, прокашлялся,... но не нашелся, что сказать.

— Нет, такого никогда не бывает, — наконец, проговорил он.

Гора родила мышь! Все его видимое и наигранное возмущение вылилось в маленькие бесцветные слова.

— Расскажите, Юрий Александрович, подробнее, я не понимаю! — потребовала Бочковская.

— Тут все яснее ясного, — ответил я. — В военно-морском училище я был отличником. Однажды вызывает меня замполит, кладет передо мной лист бумаги и говорит: «мы вам доверяем и считаем вас достойным. Пишите заявление в партию!» Если бы я не написал, то прямым ходом попал бы в концлагерь. А в 23 года идти в концлагерь мне было рано!

— Да, жаль мне вас, Юрий Александрович! — вдруг заявила Бочковская. — Не поддаетесь вы лечению! Вы уже много приняли лекарств. Больше, чем другие больные. А сдвигов в лечении не намечается! Вы говорите и думаете по-старому. А нам надо не только, чтобы вы начали говорить другое, а чтобы уверовали в другое. Нам надо,

чтобы вы полюбили то, что раньше ненавидели и возненавидели то, что раньше любили. Надо, чтобы у нас изменилась личность. Пока личность ваша не изменится — мы не выпишем вас из спецбольницы.

Последние слова Бочковская произнесла трогательным голосом, почти что со слезой в голосе и также «жалеючи» отпустила меня.

А я шел в камеру и вспоминал Орвелла: «С вами произойдет нечто такое, от чего вы не оправитесь и через 1000 лет! — сказал КГБ-шник из романа Орвелла «1984» своей жертве. — Мы не просто уничтожаем людей, мы их сперва переделываем».

Живые советские палачи, а не книжные герои, говорили мне то же

самое…

Если бы не моя глубокая вера в Бога, если бы не слово, которое я дал сам себе: «пока мысленно не решу всех намеченных проблем, — о свободе и мечтать не буду!» — я бы конечно был раздавлен этой адской коммунистической машиной.

***

Стоял сентябрь 1973 года. Строительство нового тюремного корпуса было в полном разгаре. Теперь уже не нужно было смотреть из окна рабочей камеры, чтобы увидеть, что делалось на строительной площадке. Даже с прогулочного дворика было хорошо видно, что строители заканчивали третий этаж здания. Бригада была вновь пополнена до 50-ти человек и все они непрерывно копошились, черные от загара и мокрые от пота. Теперь кирпичи и раствор нужно было поднимать вручную на большую высоту и этим было занято много людей. Каменщики превратились в своего рода элиту, ибо далеко не каждый мог выполнять эту работу. Урядов все время мелькал на разных участках работы: мерил стены отвесом, сверялся по чертежам, кого-то учил, кого-то убеждал. Тут же был и Прусс, окруженный надзирателями. Сидоров говорил мне, что Прусс большую часть своего рабочего времени проводил на площадке.

По мере того, как строители приобретали опыт, сфера

их деятельности расширялась. Командир полка, охранявшего спецбольницу, узнал о бесплатной рабочей силе и попросил Прусса прислать ему рабочих, чтобы произвести ремонт казарм. Прусс послал. Едва был закончен ремонт казарм, группу рабочих послали перестраивать одно из помещений старого корпуса. В этой группе оказался мой друг Николай Ведров.

— Вы не представляете себе, что я обнаружил! — воскликнул он, едва возвратясь вечером в камеру. — Оказывается, камеры, которые мы сегодня ремонтировали, еще недавно занимала сверхсекретная бактериологическая лаборатория! В ней работало много научных сотрудников и три ПРОФЕССОРА! Очевидно они работали в области бактериологического оружия.

— Так вот почему сестры брали у нас якобы для анализов так много крови! — догадался я. — Наша кровь была им нужна для выращивания бактерий!

— Именно так, — согласился Николай.

— А для секретности лучшего места, чем тюрьма, и не придумаешь!

***

Алянчиков, которому я передал свои обязанности кладовщика, в конце сентября 1973 года вдруг сообщил мне, что его влиятельные родственники добились для него повторной экспертизы в институте имени Сербского. Должность кладовщика снова освобождалась, но никого желающих принять ее не было. Алянчиков предложил ее мне. Я в принципе дал свое согласие. Тогда он сказал об этом врачам. По их поручению сестра официально предложила мне занять прежнюю должность.

— Если отменят лекарство, — поставил я условие. Сестра сходила к врачам и, возвратившись, передала их ответ:

— Лекарство не отменят, но заменят на более легкое.

Я согласился. В последующие полтора года я проглотил таблетки только один раз. Все остальные я выплюнул. Всего за эти полтора года я выплюнул 16410 таблеток, из расчета 3 раза в день по 10 таблеток.

После принятия должности кладовщика у меня вновь появилась возможность ходить по вечерам в рабочую камеру и больше времени находиться в коридоре. Там я познакомился с курсантом школы КГБ. Когда много лет назад я тоже был курсантом, правда не школы КГБ, а Военно-Морского училища, то наши воспитатели любили в неслужебное время цитировать адмирала Нельсона: «Морской офицер должен совмещать в себе благородные привычки джентльмена с рабочими навыками простого матроса!».

Насчет привычек джентльмена дальше цитаты дело не шло, а вот рабочие навыки матроса нам прививали с первого по последний курс. Очевидно, подобную цитату имеют про запас воспитатели всех военных училищ Советского Союза, включая и школу КГБ. Я вспомнил об этом, когда однажды увидел на нашем этаже нового дежурного надзирателя — в тщательно выглаженной форме, молодого, подтянутого, рослого, со смышленым лицом и — курсантскими погонами.

Как объяснили мне санитары, это был курсант школы КГБ, присланный в спецбольницу на практику в должности надзирателя. Очевидно, это был тот период его обучения, когда ему прививали «рабочие навыки простого тюремщика».

Курсант школы КГБ вел себя так же, как в свое время вели себя мы — то есть проклинал эту практику и искал всевозможных способов скорее убить время, отведенное для дежурства. Пост надзирателя, или как его называли официально — «контролера», был у выходных дверей на лестницу, и все другие надзиратели, оправдывая свое прозвище «попка», всегда стояли там, как истуканы, и ни с кем не вступали ни в какие разговоры, кроме служебных. Но курсант ходил по всему коридору и всюду совал свой нос. Особенно его заинтересовали уколы серы и он простоял около входа в манипуляционную все время, пока сестра делала эти уколы. Потом он обратил внимание на меня и будучи человеком образованным, сразу понял, что перед ним находился не совсем обычный больной. Он выждал, когда я кончил открывать банки с консервами, и тогда подошел ко мне.

— Я наблюдал за вами, когда вы работали сегодня, — сказал надзиратель, — и удивлялся: вы совсем не похожи на психически больного человека. Почему вы здесь?

— Пойдите к моему лечащему врачу и спросите у него. Если врач найдет нужным, чтобы вы знали, — он вам расскажет.

— Не надо врача! Я надеюсь, что со временем вы сами расскажете мне, — ответил примирительно надзиратель и добавил: — Я буду здесь еще долго на практике.

Придя на следующее дежурство, курсант — надзиратель принес мне свое домашнее задание по английскому языку.

— Я спрашивал вашего Бугра, кто из больных знает английский язык. Бугор указал на вас, — заметил он небрежно.

Я сделал ему задание один раз, он принес во второй. А потом стал приносить каждый раз, как будто так и надо.

Узнав о моих переводах, Муравьев спросил меня:

— А платит он тебе что-нибудь?

— Ничего, — ответил я.

— Как же так? — возмутился Муравьев, — за работу даже в Освенциме платили. Однажды тамошний надзиратель попросил меня наколоть дров. И моя работа не осталась неоплаченной: надзиратель дал мне несколько отварных картошин. А этот чекист эксплуатирует тебя даром!

Не делай ему ничего!

Красный Командир тоже охотно беседовал со мной. Вместе с тем, он иногда не отвечал на мои вопросы или умышленно говорил неправду. Так, например, он отказался назвать мне химический состав наполнителя к сере, который Бочковская добавила мне на 20-м уколе, что вызвало у меня истерические рыдания, невыносимую боль и необыкновенный аппетит одновременно. В другой раз он сообщил мне, что Сахаров выехал за границу, что было неправдой.

***

После того случая, когда на обходе главврача Катковой я спросил о судьбе моей кассационной жалобы и она ответила, что «у нас не жалуются, а — лечатся» — я больше не делал попыток узнать ответ, да и был уверен, что ответ — отрицательный.

Каково же было мое удивление, когда в 1973 году, спустя 5 лет после подачи жалобы на решение Крымского областного суда, запрятавшего меня, — здорового человека, на неопределенный срок в психиатрическую больницу специального типа, — я получил хотя и косвенный, но все же ответ.

Однажды утром, еще не успев снять с себя пальто, Бочковская увидела меня, работающим около шкафа с продуктами, и с видимой поспешностью вызвала к себе в ординаторскую.

— В больницу из Крымского У КГБ пришло письмо. Оно касается вас. Прочтите, сбоку на письме распишетесь в прочтении и дайте ответ по существу запроса, — проговорила Бочковская, подавая мне письмо.

Я начал читать:

«Начальнику Днепропетровской психиатрической больницы специального типа, подполковнику Пруссу Ф.К. В связи с решением Коллегии по Уголовным делам Верховного Суда УССР от 8 августа 1968 года, переквалифицировавшей преступление находящегося в больнице осужденного Ветохина Ю.А. со статьи 17 и 56 на статьи 17 и 75 УК УССР и аннулировавшей определение Областного суда о конфискации имущества осужденного, прошу срочно сообщить желание осужденного, куда направить ранее конфискованные его вещи.

Начальник следственного отдела Крымского УКГБ,

майор Казаков».

Это письмо вызвало у меня самые разнообразные мысли. Сперва мне пришла незначительная мысль: новый начальник следственного отдела! А где подполковник Лысов? Потом я уже стал думать о самом существенном. Все-таки я кое-чего добился своими кассационными

жалобами: статью переквалифицировали, конфискацию отменили. И когда? Пять лет назад! А я до сих пор ничего не знал об этом! И когда я спрашивал Каткову о судьбе моей кассационной жалобы — решение Верховного суда уже было! Но она скрыла от меня. А может быть и сама не знала.

— Нина Николаевна! — сказал я. — Тут главное не вещи, тут главное — переквалификация статьи с 56 на 75! Максимальный срок заключения по 75 статье — 3 года. Я же сижу уже 6 лет! Меня должны немедленно освободить!

— И не надейтесь! — с раздражением ответила Бочковская. — Вот если бы вы находились в лагере, тогда другое дело, вас бы теперь освободили. Но вы находитесь не в лагере, и не в тюрьме, а в больнице. И будете здесь до тех пор, пока не вылечитесь. А вы, между прочим, лечиться не желаете: лекарств не глотаете, от уколов тоже стараетесь увильнуть. Пишите лучше, куда отправить ваши вещи!

— А где писать, на письме? Бочковская подумала и сказала:

— Нет, лучше на отдельной бумаге, на имя начальника больницы Прусса. Идите писать в коридор.

Первый вариант моего письма она забраковала, даже не прочитав до конца. Ей не понравилось, что я перечислил конфискованные у меня вещи.

— В КГБ лучше вас знают, какие вещи у вас конфисковали. Этого писать не надо. Кроме того, многие предметы, что вы здесь написали, давно мыши съели.

Бочковская заставила меня еще дважды переписывать заявление Пруссу. Во втором варианте заявления ей не понравилось, что я просил переслать мои вещи в спецбольницу.

— Нет у меня хранилищ для ваших вещей! — заявила она мне.

В третьем варианте заявления я просил переслать вещи в мою комнату в Ленинграде.

Мой знакомый курсант-надзиратель, который так и не сказал мне, как его зовут, продолжал интересоваться мной. От кого-то он узнал, что я сидел за попытку побе-

га и однажды вечером, когда Лаврентьевна ушла домой, он позвал меня в ее кладовую:

— Но здесь никого нет. Расскажите мне, наконец, за что вы сюда попали?

— Нет! — коротко ответил я.

— Тогда извините меня, — вежливо сказал надзиратель и позволил мне уйти.

Однако, он узнал и запомнил мою фамилию и, придя на дежурство, нередко подзывал меня к выходным дверям, где он иногда стоял, чтобы я развеял его скуку. Мы разговаривали на отвлеченные темы и надзиратель показал мне свою начитанность. Как оказалось, он читал даже Платона. Однажды он позвал меня, находясь посредине коридора:

— Ветохин, идите сюда на минуточку!

Я подошел и увидел, что глаза надзирателя улыбались, а на лице было написано плутоватое выражение. Смотрел он на стену, где Федосов только недавно повесил вырезанный им из журнала известный портрет Ленина с наклоненной, как у бодающегося быка головой.

Вот на этом портрете наш вождь особенно похож на шизофреника, — вполголоса сказал мне надзиратель. — Классический портрет шизофреника!

Конечно, я ничего ему не ответил.

***

Однажды, когда после выдачи продуктов больным я открывал заказанные ими консервы и согласно правилам, чтобы не давать больным банки с острыми краями, вываливал содержимое банок в металлические миски, я увидел вошедшего в коридор с лестницы постороннего санитара, молодого, но с лысиной, который сразу пристально уставился на меня. Человек показался мне чем-то знакомым, но я не мог вспомнить, где я его видел. Считая это не важным, я не стал напрягать память, а продолжил свое дело. Но санитар подошел ко мне:

— Здравствуйте, Юрий Александрович, — сказал он таким специфически слащавым голосом, что я моментально его вспомнил.

— Здравствуйте, Владимир, — ответил я и сразу у меня в голове всплыл образ ленивого, малограмотного, но заносчивого родственника нашего начальника Брадобрее-ва, который пришел в вычислительный центр ЛОМО сразу на должность старшего инженера, хотя еще учился только на третьем курсе института.

— У нас в общежитии санитаров кто-то назвал вашу фамилию и я решил сходить посмотреть, — продолжал Владимир. — Фамилия у вас редкая и я подумал: уж не Юрий ли Александрович? Как вы сюда попали? Вот бы никогда не поверил, если бы не увидел своими глазами! —театрально воскликнул он. — Сравнить ваше положение в вычислительном центре и здесь... просто невероятно!

— То, что случилось со мной — и вероятно и логично в нашей стране, — ответил я. — Вот когда такой человек, как вы, попадает в тюрьму — это действительно неожиданно.

— Ну, у меня бытовое преступление... маленькое, не такое, как у вас, — вяло ответил Владимир, выдав, что он уже знал, за что я сидел. — Я скоро освобожусь по половинке. Кстати, не надо ли вам чего передать на свободу? Скажите только, я в лепешку разобьюсь, но все сделаю!

— Нет, спасибо, не надо, — ответил я.

— А какой у вас срок, Юрий Александрович?

— Срок у меня такой: может быть, меня освободят еще сегодня, а может быть, никогда!

Когда Владимир ушел, я спросил у нашего санитара, не знает ли он за что он сел?

— Как же, знаю! — ответил он. — Поехал с другом в отпуск в Крым, поселился с ним в одной комнате и там обо крал его.

Владимир стал часто приходить ко мне и вспоминать вычислительный центр, общих знакомых, а больше всего — развлечения и проказы. Однажды он сообщил мне, что Прусс организует еще одну работу с помощью больных. Он задумал установить телевизионные датчики вдоль тюремного забора, на прогулочном дворике и во внутренних помещениях. Владимир узнал об этом от самого Прусса, который вызвал его в числе других санитаров, у

которых в бумагах значилось радио-техническое образование. Он предложил ему возглавить бригаду электронщиков.

— Я отказался от его предложения, — сообщил мне Владимир. — Вы ведь знаете, что я бы не справился с такой работой. Но я указал ему на вас! — воскликнул он, видимо ожидая, что я буду благодарить его за это. — Я рассказал ему о том, как вы организовали вычислительный центр почти что на пустом месте и как вы обучили весь персонал! Прусс был очень заинтересован!

Я молча ждал продолжения. Владимир признался:

— Юрий Александрович! — заговорил он просительным тоном, — если Прусс назначит вас бригадиром, возьмите меня в бригаду простым рабочим! Работа в бригаде помогла бы мне освободиться по половинке! Я буду честно работать, не как в ЛОМО, честное слово!

— Я совсем не думаю, что Прусс назначит меня на эту должность, — ответил я.

Через несколько дней, вечером, когда я сидел в рабочей камере и играл с Витей Дьяченко в шахматы, дверь камеры вдруг открылась и дежурная сестра Вера Ивановна вызвала меня и Цыпердюка в коридор. В коридоре она взволнованно сказала нам почему-то шепотом:

— Юрий Александрович, вас Прусс вызывает к себе в кабинет. Все наши врачи ушли по домам... Я право не знаю, что надо делать в таких случаях... это в первый раз, чтобы Прусс вызывал больного вечером...

Она оглядела меня со всех сторон и приказала Цыпердюку, подавая ему связку ключей:

— Вот вам ключи от вашей кладовой. Выдайте Ветохину новую пижаму, в которой больные ходят на свидание, а санитару — чистую белую куртку.

Потом, провожая нас к выходу из отделения, Вера Ивановна силилась придумать какие-то инструкции. Это было видно по ее лицу и по тому, что она пыталась что-то сказать и вдруг замолкала:

— Юрий Александрович!.. Ветохин!.. Смотрите там! — наконец неопределенно напутствовала она меня и велела надзирателю открыть нам дверь на лестницу. Было очевидно, что о причине вызова она не знала ничего и теря-

лась во всевозможных догадках. Дежурный санитар повел меня на первый этаж соседнего корпуса. Там мы вошли в просторную приемную, где место секретарши уже пустовало, а ее пишущая машинка была закрыта чехлом. Мы пересекли приемную и санитар постучал в дверь с табличкой «Начальник спецбольницы подполковник Прусс Ф.К.»

— Войдите! — раздался негромкий сочный голос Прусса Санитар открыл дверь, пропустил меня и вошел следом за мной. Я увидел Прусса, сидящего в мягком кресле за большим письменным столом. Он был в кителе, застегнутом на все пуговицы, и без белого халата. Его огромные очки лежали на столе, где также были разложены папки с какими-то бумагами. Около стола стояли два мягких кресла, а в другом конце кабинета — еще один стол, канцелярские стулья вокруг него и шкаф с книгами. На маленьком столике около Прусса находился телефон и какие-то средства сигнализации.

— Гражданин подполковник! По вашему приказанию больной Ветохин доставлен! — доложил санитар по-военному.

— Здравствуйте, Юрий Александрович, — высокомерно-ласково, «по барски» приветствовал меня Прусс.

— Здравствуйте, гражданин подполковник, — ответил я.

— Вы, санитар, выйдите за дверь и ждите в приемной! — приказал Прусс санитару. — Когда я кончу беседовать с больным, я вас вызову. Садитесь, пожалуйста, — пригласил он меня и откинулся на спинку кресла, как бы приглашая меня чувствовать себя непринужденно.

Я сел. «Оденет или не оденет Прусс свои очки?» — пришла на ум пустяковая мысль. — «Если он забудет одеть, значит прав Альберт, что в очках у него вделаны оконные стекла и носит он их единственно для солидности». Прусс сделал добродушную гримасу на лице и «по-отечески» поинтересовался:

— Я не помешал вам своим приглашением, Юрий Александрович? Может быть, вы читали интересную книгу, а я перебил вас на самом драматическом месте? Что вы делали в отделении, когда я позвонил вашей медсестре?

— Я играл в шахматы.

— О! Вы играете в шахматы? Хорошая игра! Великолепная игра! Даже Владимир Ильич при всей его занятости любил иногда сыграть в шахматы. А с кем вы играли?

— С Дьяченко.

— Что-то я такого не знаю. Он... тоже за антисоветизм?

— Нет, он простой уголовник.

— А-а-а, — с явным безразличием протянул Прусс сразу перешел к делу:

—Я пригласил вас сюда для того, чтобы предложить принять на себя должность бригадира бригады электронщиков, наподобие бригады строителей, которую возглавляет Боря Урядов.

Предложение не было для меня неожиданным, но слово «Боря» резануло мой слух. «Какой он ему «Боря»! Солидный высококвалифицированный специалист, инженер -капитан... — а он зовет его «Боря», как мальчика! Неприязнь к Пруссу росла во мне с самого того момента, как я вошел в его кабинет. Меня коробило его притворно отцовское поведение, все его лощеные манеры советского вельможи и слова «Боря» оказалось достаточно, чтобы моя неприязнь вышла наружу:

— Пять минут назад, обращаясь к санитару, вы назвали меня БОЛЬНЫМ, гражданин подполковник, а сейчас вдруг предлагаете должность, которая не каждому здоровому под силу!

К моему удивлению Прусс не показал ни обиды, ни раздражения в ответ на мое невежливое замечание. Все таким же тихим, сочным голосом с любезным выражением на лице, он ответил:

— Когда моя жена находилась в родильном доме, то там ее тоже звали БОЛЬНАЯ. Ну какая она больная? Разве беременность — это болезнь? Но так принято! Поэтому и вам не стоит обижаться на то, что пока вы находитесь у нас, вас будут звать больным. Вы лучше подумайте о том, как вам сократить свой срок пребывания здесь. Вот Боря пробыл у нас всего три года и будет выписан на ближайшей комиссии!

Потом, видимо спохватившись, Прусс решил разъяснить мне свои слова в несколько другом свете:

— Конечно, Боря быстро выйдет из больницы не в награду за то, что он был бригадиром, а потому, что будучи бригадиром, он сумел отвлечься

от своих больных мыслей. У него получилась стойкая ремиссия и поэтому мы можем его выписать. Дальше все будет зависеть от него: если, выйдя на свободу, он снова начнет пьянствовать, то к нему вернутся его больные мысли — его антисоветский бред и он снова окажется в спецбольнице! А жаль Борю: у него золотые руки, только вот — голова! — и Прусс печально потряс своей пышной черной шевелюрой, в которой еще не было видно седых прядей. Тут я вспомнил рассказ Альберта о том, что Урядов —непьющий, вспомнил, как меня, тоже непьющего, парторг Петров рекомендовал пьяницей, — и ненависть к Пруссу с новой силой охватила меня. А Прусс, высказав все это, принялся изучать выражение моего лица, в то же время играя своими очками, переворачивая их и постукивая ими о кончики своих холеных пальцев. Потом он взял ручку, что-то записал себе в блокнот, и снова обратился ко мне:

— Если вы станете бригадиром, то будете иметь те же самые права, что имеет Боря: у вас будет свой ключ от всех дверей, вы будете иметь право рекомендовать рабочих в вашу бригаду и право увольнять их из бригады. Мы с вами будем часто встречаться и жизнь ваша изменится к лучшему. Ну, так что?

— А могу я спросить конкретно, что за работа меня ожидает?

— Об этом не беспокойтесь. Когда придет время, вы получите подробное задание. А теперь, если вы готовы дать свое согласие, потрудитесь, пожалуйста, написать перечень всех научных и прочих тем по электронике, с которыми вы имели дело за время вашей трудовой деятельности. Укажите названия ваших опубликованных научных статей и напишите, о чем они. Особенно подробно сообщите о тех темах, которые были связаны с телевидением. Когда кончите писать, передайте перечень санитару, а он принесет мне. До свидания, Юрий Алекс-

андрович.

— До свидания, Федор Константинович, — ответил я и вышел в приемную, где санитар ждал меня. «А очков он так ни разу и не одел!» — подумал я по пути обратно, в свою камеру. В камере я написал перечень для Прусса и указал в нем, что в телевидении опыта не имею. Больше он меня не вызывал.

Глава 43. Политические заключенные

Глава 43. Политические заключенные.

Я уже находился в заключении 6 лет. Своим чередом осень сменяла лето, зима — осень. Где-то во Вьетнаме шла война. На границе с Китаем Кремль имел вооруженное столкновение. Брежнев нанес визит Никсону в США.

— Никсон держал себя с Брежневым так, как будто он — меньше, — прокомментировал мне эту встречу Красный Командир.

Но в нашей тюрьме ничто не менялось. Бочковская регулярно проводила свои обходы, Каткова и Прусс — менее регулярно. Врачебные комиссии собирались каждые 6 месяцев, вызывали больных, беседовали с ними, но те никого не выписывали. Каких-нибудь 2-3 человека в год в расчет принимать не стоит.

Зато «выписка через баню» шла полным ходом. Мы видели таких «выписывавшихся», когда выходили на прогулку. Среди других машин, медленно проезжавших мимо нашей прогулочной клетки по заваленному строительным мусором двору, мы всегда замечали маленький ПИК-апчик с откинутой задней крышкой, и видели торчащие из него голые ноги очередного трупа. Это были или тела самоубийц, или трупы зарезанных на операционном столе хирургического отделения, или же — жертвы лекарств и неудовлетворительного питания. В результате такой «выписки через баню» в спецбольнице часто появлялись свободные койки. На каждую освободившуюся койку сразу привозили нового больного. Среди вновь прибывших значительный процент составляли политические. В наше отделение привезли нескольких перебежчиков границы. Среди них: Шведов, Козулин, Ларин, Павлов и Чиннов.

Шведов был молодым человеком, воспитанником детского дома. Несмотря на неблагоприятные условия своего детства, Шведов не научился ни пить, ни воровать, ни даже курить. Вполне закономерно, что этому порядочному молодому человеку, хоть и не очень образованному, не понравился пьяный, лживый и вороватый советский образ жизни. Шведов уже предпринял две попытки побега и отсидел два срока в тюрьмах. За третью попытку его направили в спецбольницу. Козулин и Павлов были в житейских делах поопытнее Шведова и их тянула за границу не одна идеология, а также желание избавиться от

постоянной нищеты. Ларин тоже был идеалист, как и Шведов. Участник Отечественной войны, Ларин после контузии получил инвалидность по психиатрии. Эта его инвалидность очень пригодилась КГБ-шникам. Арестовав при попытке перейти границу Ларина без лишних формальностей послали в спецбольницу. Самым значительным и самым приятным среди вновь прибывших был Анатолий Федорович Чиннов. Чиннов окончил химическое отделение Ленинградского Политехнического института и был аспирантом Технологического института, когда решил бежать на Запад. Вместе со знакомым священником он сделал попытку проникнуть в Западную Германию через Чехословакию.

Будучи глубоко верующим человеком, Чиннов больше всех из когда-либо встреченных мною христиан, подходил под это название «христианин». Религиозное смирение и любовь к врагам не только были написаны на его лице и чувствовались во всей его небольшой фигуре, но и составляли самую его суть. Едва только Чиннова привезли, как Бочковская назначила ему мажептил в уколах. На всю жизнь я запомнил вид Чиннова, когда я встретил его в коридоре через несколько дней. Судороги от мажептила свели все его тело, а санитар силой тащил его в манипуляционную на очередной укол. У Чиннова перекосило шею, руки и ноги... Халат задрался ему на голову и все его маленькое тело так обезобразилось, что я, подойдя вплотную, некоторое время не мог найти где же у него голова?

Пытки не вызвали у Чиннова никакой ненависти к па-

лачам. Однако пытки не заставили его и отказаться от Бога, на что рассчитывали палачи. Он переносил пытки спокойно, с достоинством. Когда наше отделение приходило в столовую и рассаживалось по местам, поднимался Чиннов и осеняя себя крестным знамением, читал молитву. Читал он очень тихо. Однако, когда он сделал это в первый раз, это вызвало бурю негодования у тюремного начальства. С благословения начальства на Чиннова налетели санитары и надавали ему тумаков. Чиннов ни слова не возразил. Во время следующего приема пищи он опять встал и опять прочитал молитву. На этот раз санитары уже не били его, а только обругали. Потом все привыкли к его молитвам и уже ничего не говорили. Не малую роль в этом сыграл характер Чиннова. Чиннов жалел всех: и политических, и больных—уголовников и даже санитаров. Поэтому в конце концов санитары стали относиться к Чиннову не плохо. Я всегда признавал, что у Чиннова

более совершенная вера в Бога, чем у меня.

— Толик, помолись за меня! — сказал я ему однажды.

— А я всегда молюсь за тебя, — просто ответил Чин-нов.

Чиннов даже в спецбольнице распространял религиозную литературу. Формально эта литература называлась «антирелигиозной» и состояла из серии брошюр под названиями «Критика Православия», «Критика Католицизма» и т.п. Толик выбрал и отметил карандашом в этих книжках рациональное зерно и зачеркнул то, что не стоило читать, а в конце каждой брошюры вписал какую-нибудь молитву. Политзаключенные с радостью читали эти брошюры, а потом тайно передавали их друг другу. Ко мне попала такая брошюра, когда меня очередной раз пытали. Читать я не мог, однако, молитву все же выучил наизусть и стал повторять ее ежедневно перед сном.

Все переходчики границы действовали на один манер, пытаясь попасть на Запад через буферные коммунистические страны. Они стремились, и как правило, им это удавалось, — перейти чешскую, румынскую или польскую границу. Переход границы позднее обнаруживался по ос-

тавленным на вспаханной земле следам. Советские власти сообщали о нарушении границы «дружественным» пограничникам. Те организовывали поиск и находили беглецов.

Одному только Ведрову удалось уйти вглубь Румынии и даже побывать в Американском консульстве. Он попался, когда шел на пристань, чтобы сесть на американский пароход, о чем у него уже была договоренность в консульстве. Ведрова мне особенно жаль. Подобно Шведову, он воспитывался в детском доме и никогда не знал родительской ласки или искреннего участия. Проникнувшись ко мне уважением и симпатией, Ведров рассказал мне всю свою жизнь, не утаив даже некоторых своих грехов.

Одни только братья Шатравки разработали для себя оригинальный план побега. С помощью проводника им удалось пересечь финскую границу в болотистой местности. Преждевременно празднуя победу, они прыгали от радости. Однако, скоро появились финские пограничники с собаками, которые арестовали их и самым грубым образом доставили на заставу. Потом, не обращая внимания на их просьбы и не считаясь с тем, что их ожидало в СССР, финны выдали Шатравок советским властям.

— Мало коммунисты били финнов! — говорили братья, вспоминая бессердечное отношение финских властей не только к ним, но и к эстонским беглецам, которые попались в то же время. Единственную и самую элементарную просьбу эстонцев: позволить им написать письма родственникам в Швеции перед передачей их в руки КГБ, — и то финны не удовлетворили.

Оба брата Шатравки были очень молодые: одному 20 лет, а другому — 17. Тюремщики разъединили братьев, направив их в разные отделения, и даже на разные этажи здания.

Знакомство с новыми политзаключенными у меня происходило на прогулке. Как правило, я первый подходил к ним. Но один из вновь прибывших сам узнал меня:

— А я вас знаю, — сразу сказал он мне, едва мы повстречались на прогулке. — Я помню, как вы читали Есенина в Херсонской тюрьме 7 лет тому назад, когда я си-

дел за свою первую попытку побега. И прибавил:

— Такое забыть нельзя!

Тогда и я вспомнил его уроки Дзю-До, которые так и не помогли ему, ибо и вторая попытка побега тоже оказалась неудачной.

Значительную группу политических, которая постоянно пополнялась новыми заключенными, составляли осужденные за «антисоветскую агитацию и пропаганду» и за «злостную клевету на советскую власть». К их числу принадлежали Муравьев, мистер Мальцев из США, Иван Стеба из Австралии, Матросов, Пла-хотнюк и другие, всего несколько десятков человек. Был среди них один малограмотный колхозник, который написал от руки и повесил на своей избе такое воззвание:

« Дорогие односельчане!

Не выходите на работу на Пасху! Пускай в этот праздник работают одни коммунистические носороги!»

За это его пытали уже 13 лет.

На прогулке я познакомился с представителем «военной оппозиции» подполковником Матросовым. Он был начальником штаба дивизии (фельдшер уверял меня, что не простой дивизии, а дивизии КГБ!) Сел Матросов якобы за антисемитизм: в кандидатской диссертации на соискание ученой степени «кандидата военных наук» Матросов

допустил какие-то выпады против евреев. Он имел очень влиятельных знакомых и родственников. Брат его занимал должность заместителя главного редактора газеты «Красная Звезда», приятели были, в основном, генералы. В разговоре со мной Матросов называл себя «тоже политиком» и предлагал мне свою, дружбу. Однако, во время беседы, из него выскакивали всякие коммунистические штампы и цитаты, как отрыжка из глотки пьяницы. Они раздражали меня и не способствовали возникновению чувства доверия к этому человеку. Матросов, подобно небольшому числу других привилегированных политзаключенных получал так называемое «щадящее лечение», исключающее применение серы, инсулина, халоперидола и вообще всяких инъекций. Видимо, и питание его тоже было неплохое, ибо он сохранил свою солидную, крупную фигуру.

Другим, таким же привилегированным политзаключенным на особом положении, был бывший Областной прокурор, но о нем я не знаю никаких подробностей.

Ярким представителем той группы политзаключенных, кто с оружием в руках боролся против коммунистов, кроме Фетишева, Залусского и Зайковского, был также Троцюк. Он сражался в рядах У ПА и после пленения получил 25 лет. С каторги, которая проходила на рудниках в Казахстане, Троцюк сумел убежать. Он год скрывался, но потом его поймали и направили во Львовскую психбольницу. В психбольнице ему насильно сделали пункцию, т.е. взяли спинно-мозговую жидкость. Пункция дала осложнение, на которое, видимо, палачи и рассчитывали: отнялись ноги и пропала речь. Тогда Троцюка перевели в Днепропетровскую спецбольницу. Постепенно он стал понемногу ходить, но речь не вернулась. Он носил с собой карандаш и на бумажке писал слова. Писал он врачам, напоминая им, что сидит уже 30 лет, что с лихвой превысило и 25-летний срок по суду и еще два года за побег. Несмотря на пытки, несмотря на все ужасы каторги, с ума он не сошел, только лицо посерело от лагерей и застыло в скорбном, мрачном выражении. Однажды он написал мне, что у него есть жена и она до сих пор ждет его.

Василий Иванович Серый, угонщик самолета, тоже говорил мне, что жена его ждет. Она, как когда-то жены декабристов, бросила дом и работу в Одессе и переехала в Днепропетровск, чтобы быть неподалеку от мужа и носить ему передачи. Такие женщины теперь большая редкость. Всего только у четырех политзаключенных, которых я знал,

жены остались верны им, несмотря на давление со стороны КГБ: это у Серого, у Попова, у Тро-цюка и позднее — у Шостака. Остальные женщины по наущению коммунистов (жизнь проходит!) прокляли своих мужей, заочно развелись с ними и «устроили себе новую жизнь». Я думаю, что вряд ли эта «новая жизнь», построенная на предательстве, может быть счастливой. Но материалистки наверное путают счастье с удовлетворением своих половых потребностей.

Из политзаключенных, находившихся на других эта-

жах главного корпуса спецбольницы или же в соседних ее корпусах, я встречал очень немногих. Пару раз я встретил умершего сразу после освобождения члена НТС Евдокимова, один раз — механика иностранного теплохода. КГБ арестовало его, припомнив его русское происхождение, когда корабль зашел в советский порт. Я встретил также бельгийца, который после 35-ти лет проживания в Бельгии приехал в качестве туриста посмотреть на свою родину. Детей, родившихся в Бельгии, КГБ отпустило, а его самого упрятало в спецбольницу.

Хотя я никогда не видел многих политзаключенных, но один раз мне показали списки, сделанные тайно одним из моих товарищей по заключению. В этих списках количество политзаключенных значительно превышало 100 человек, т.е. составляло около 10 процентов от числа всех больных.

Самыми близкими моими друзьями среди политзаключенных были Петр Михайлович Муравьев и Павел Федорович Фетишев. На прогулке мы всегда ходили вместе с Муравьевым, взявшись под руку, чтобы нас не разделили встречные больные, и разговаривали вполголоса. Часто к нашей прогулочной клетке подходил Фетишев, держа в руках метлу и делая вид, что он подметает около самой клетки. Мы приближались к решетке и у нас начиналась беседа. Павел Федорович умел создать настроение какого-то душевного уюта, душевной радости. Он говорил такими словами, какими никто больше не говорил, и говорил о том, о чем другие не говорили. Едва я пожимал его руку через щель в проволочном плетении, как мне становилось так хорошо, как будто я вдруг оказался дома, с родителями, где не надо никого и ничего опасаться, а можно быть самим собой, можно даже пожаловаться на жизнь и получить моральную поддержку. Неторопливо Фетишев спрашивал нас о здоровье, о настроении, о новостях. Потом он замечал, что приближается тот или иной религиозный праздник и, может быть,

он окажется для нас последним праздником, проведенным в стенах тюрьмы.

— Международное положение такое, что освобождения можно ждать даже в этом году! — говорил Павел Федоро-

вич.

Конечно, он имел в виду только освобождение военной силой: наступление извне и поддержка наступления изнутри, средствами терроризма. Иного освобождения Фетишев не ждал.

Иногда к нам с Муравьевым на прогулочном дворике подходил Завадский.

— Нет ли каких-нибудь свежих «уток»? — спрашивал я его.

Мы звали Завадского «уткометом» за его пристрастие к слухам. Он не обижался и охотно передавал нам «утки» От него мы услышали о предстоящем переводе больницы во Львов и о показе кинофильмов. Оправдалось только насчет кино. Пару раз в месяц нас стали выгонять в коридор с подушками. Мы садились рядами на пол на эти подушки и смотрели шпионские или детективные фильмы. От Завадского же мы узнали о Попове. В результате постоянно проводившейся сортировки больных Дмитрия Ивановича Попова перевели на другой этаж. Завадский видел, как он плакал, предчувствуя, что больше никогда не увидит тех, с кем подружился на нашем этаже.

Скоро не стало у нас и Никитина. Сперва его перевели в 5-ую камеру, где жил я, и назначили халоперидол. В отличие от других больных Никитину назначили халоперидол без корректора, т.е. без ромпарюща. Со 2-го или 3-го приема Никитина стали мучить судороги конечностей, а также — шеи и глотательных мышц. Он жалобно просил сестер дать ему ромпаркин, чтобы прекратились судороги, но одна только Ирина Михайловна жалела его и давала таблетку. Отчаявшись, он как-то сказал Саре Дьяченко:

— Почему вы не хотите дать мне ромпаркин? Другие больные получают ромпаркин, да и мне тоже Ирина Михайловна дает.

Дьяченко донесла врачам. Ирине Михайловне врачи сделали выговор и она тоже перестала помогать Никитину. Дмитрий Иванович решил покончить самоубийством. Я видел его приготовления, но никому ничего не сказал и его не остановил. Я был уверен, что самоубий-

ство для Никитина — наилучший выход. Однако, его попытка задушиться — не удалась. Не то, что его попытку заметили. Просто, под влиянием халоперидола он настолько ослабел, что у него не хватило физических сил. Я не мог без жалости смотреть на его страдания. Но чем я мог ему помочь? Я только советовал ему мысленно обратиться к Богу. Его пытали халоперидолом несколько месяцев. Затем разрешили написать короткое письмо сестре с просьбой о посылке. Когда посылка пришла Никитина уже куда-то увозили. Медсестра, провожавшая его в пересыльную тюрьму, принесла обратно банку меда из его посылки, которую тюремные начальники не разрешили ему взять с собой. Никитин подарил мед мне. Этот мед был последним приветом от Дмитрия Ивановича Никитина. Больше я ничего о нем не слышал. Вероятно, коммунисты его расстрелял и, также как и Вальтера Мантейфеля, о смерти которого я узнал много позже.

Муравьев остался в 3-й камере один, без друзей, в компании больных уголовников. Он стал очень болезненно переносить ежедневные истерики, которые закатывал в его камере больной Молодецкий и однажды, не выдержав, поссорился с Молодецким, а потом постучал в дверь и попросил перевести его в другую камеру. Санитар сам перевести не имел права и повел Муравьева к врачам.

— Вот вы всегда утверждаете, что — не больной! — обрадовался случаю его лечащий врач майор Халявин. — А в сегодняшней ссоре с Молодецким вы разве вели себя, как здоровый?

— Вы меня 15 лет вместе с сумасшедшими в одной камере держите! — повысил голос Муравьев. — Никто бы на моем месте не выдержал этого!

— Это от вас зависит! — возразил майор. — Сознайтесь, что вы — психически больной человек. Согласитесь, что все ваши политические претензии — сплошной бред сумасшедшего. Раскайтесь в своей писанине — и не будете больше сидеть вместе с сумасшедшими!

— Если вы даже наставите на меня револьвер, гражданин майор, я и тогда не соглашусь признать себя сумасшедшим!

— Тогда сидите и помалкивайте! Никто вас в другую камеру не переведет!

— Вы так отвечаете на мою просьбу! Со мной так даже в Освенциме не разговаривали! Советские газеты сейчас ругают «черных полковников» в Греции. А вы чем лучше — «красные полковники»?

За это Муравьеву сразу же прописали курс серы и он долгое время не мог встать с койки.

***

В полку МВД, который охранял нашу спецбольницу, произошло подряд два события. Одно из них было убийство.

В одно воскресное утро, воспользовавшись отсутствием врачей, я пошел с разрешения санитара в рабочую камеру и начал партию в шахматы с Дьяченко. В друг за окном, откуда были видны и вышка с часовым и запретка, раздался звонкий выстрел. Мы все бросились к окну и увидели лежащего под вышкой часового. Под ним постепенно расплывалась лужа крови. Сперва к телу подбежали люди, но когда они отошли, труп остался лежать на прежнем месте, и лежал там почти целый день. А тем временем вооруженные автоматами солдаты начали прочесывать территорию военного завода, граничащего с нашей больницей и казармами полка.

Мой знакомый надзиратель, едва придя вечером на смену, с готовностью рассказал мне все. Оказывается, по невыясненной еще причине, разводящий застрелил часового, а сам бежал. Солдаты, которых мы видели из окна, были посланы на поиски убийцы.

Другое происшествие было еще серьезнее. Моего надзирателя утром никто не сменил на его посту. Заметив это, я подошел к нему и спросил, «платят ли ему сверхурочные?»

— Сегодня — не до шуток, — ответил он. — Ночью наш полк подняли по тревоге и в полном составе отправили в Днепродзержинск на подавление народных волнений. Поэтому сменить меня некому.

— Что-о-о? — удивился я. — Восстание на родине Бреж-

нева?

— Тише! Тише! Что вы так громко? Напрасно я сказал вам! — и курсант пугливо отвернулся от меня.

С этого дня я больше не видел своего знакомого. Вообще-то надзирателей иногда меняли, чтобы они не привыкали к одному месту и не знакомились близко с заключенными. Но в данном случае, он наверно сам попросился на другой этаж, раскаиваясь в том, что сказал мне. Но и без него поползли слухи. Уже от санитаров я узнал, что в

Днепропетровске были подняты по тревоге все воинские части и все они отправлены в Днепродзержинск.

А там произошло вот что: в одной семье справляли свадьбу. Пьяный гость вышел на улицу проветриться и был задержан проезжавшим милицейским патрулем. Его посадили за решетку в этой же машине и дверь закрыли на замок. Пьяный закурил в машине и от его спички вспыхнула канистра с бензином, находившаяся зачем-то тоже за решеткой. Пьяный стал стучать в кабину к шоферу, которая отгорожена от камеры глухой перегородкой, и требовать, чтобы его выпустили, но ни шофер, ни милицейский начальник не обращали внимания на его стук. И человек заживо сгорел.

Как-то случилось, что жители Днепродзержинска быстро узнали о случившемся. Толпа перевернула машину и убила обеих милиционеров, а потом направилась громить отделение милиции и горком КПСС. Вот тут была поднята тревога на всю Украинскую республику и хотя дальше слухи противоречили один .другому , я лично думаю, что толпа не успела сделать больше ничего. Однако, этот случай как нельзя лучше иллюстрирует взрывоопасную обстановку в СССР. «Из искры возгорится пламя!» — этот большевистский ленинский лозунг стал теперь явно антисоветским.

Глава 44. Концлагерь с «человеческим лицом»

Глава 44. Концлагерь с «человеческим лицом».

Когда радио объявило о начале войны между Израилем и Египтом, то я сразу подумал, что Москва выступит на стороне Египта, а США — на стороне Израиля и начнется мировая война. С этой вестью я направился к

Муравьеву, но заглянув в глазок его камеры, увидел, что старика бил озноб. Какая-то сила подбрасывала его вверх, зубы его щелкали, руки тряслись и он ничего не мог поделать. Я знал, что Муравьева начали снова, уже во второй раз, пытать серой. Он провинился. Санитары не пустили его в туалет и Муравьев оправился в дверь камеры. После того, как они избили его, санитары еще пожаловались на Муравьева врачам.

Врачи захотели говорить с Муравьевым лично.

— Не о чем мне разговаривать с палачами! — заявил Муравьев. Тогда санитары привели его силой.

— Так вы нас палачами называете? — закричал на него «лечащий врач» майор Халявин.

— А кто вы?

— Мы — врачи.

— Врачи — те, кто восстанавливают здоровье людей. Вы же отнимаете здоровье. Значит, вы — не врачи, а —палачи!

За эти слова Муравьеву сразу же ввели серу. Теперь, увидев, как Муравьев мучается, я побежал в раздаточную, где еще оставался кипяток, и принес ему в камеру. Сосед влил кипяток в дрожащий рот Петра Михайловича и дрожь кое-как удалось унять. Однако, Муравьеву было не до сообщений о военных действиях. Но многие политзаключенные и, конечно, Фетишев, воспрянули духом. Мировая война была единственной, видимой возможностью освобождения или же быстрой смерти. В тот раз мир избежал мировой войны. То, что для всего человечества было огромной радостью, для нас, обреченных на пожизненное прозябание в коммунистическом концлагере, было разочарованием. Не меньшее разочарование вызвал у нас неоправданно теплый прием, который оказал приехавшему в США Брежневу Президент Никсон и его правительство. Все вновь увидели, что их страдания также безразличны западным правительствам, как и Кремлю.

Безисходность породила отчаяние среди заключенных и волна самоубийств с новой силой захлестнула концлагерь. Почти каждый день неведомыми путями в наши ка-

меры проникали слухи о том, что на таком-то этаже покончил самоубийством еще один заключенный. Как правило, на прогулке слухи подтверждались. Мы видели проезжавший ПИК-апчик с откинутой задней дверцей и голые ноги трупа, торчащие из машины.

— Вот и «выписали» еще одного... — замечал кто-нибудь.

Другие молча смотрели вслед. К смерти относились спокойно. Недаром самая ходовая фраза в спецбольнице была такая: «Скоро и меня тоже выпишут «через баню». Немало было таких, кто завидовал покойнику:

для него пытки и издевательства кончились.

Несмотря на то, что администрация принимала меры предосторожности, самоубийцы находили все новые и новые способы. Мой друг Николай Ведров покончил самоубийством в новом здании тюрьмы, когда в нем уже были возведены все 5 этажей. Он закрылся в помещении, которое оборудовали для отдела кадров, и повесился на куске проволоки. Говорят, он оставил письмо.

На 3-ем этаже тоже повесился больной-заключенный. Во время построения на прогулку, он залез под койку и его не заметили. Когда другие больные ушли на прогулку, санитары, думая, что камера пустая, закрыли ее. Не вылезая из-под койки самоубийца сумел задавиться.

Другой больной на 3-ем этаже хотел повторить такой же прием самоубийства. Однако после первого случая санитары были настороже. Как только больные отправились на прогулку, дежурный санитар стал проверять под койками. Под одной из них он нашел больного с петлей на шее, но еще живого.

Сбежавшиеся на его зов санитары выволокли самоубийцу из-под койки, дали ему отдышаться, а потом били привязанного до тех пор, пока он не скончался от побоев.

Еще один больной изучил правила движения грузовиков со стройматериалами по тюремному двору и, убедившись, что шофера все время начеку, придумал верный способ. Однажды, когда строй больных остановился, пропуская медленно ползущий грузовик, он сделал шаг вперед и подложил свою голову под заднее колесо

машины. Через мгновение его голова превратилась в лепешку.

Было много и других случаев самоубийств, но я думаю, хватит перечислять. Теперь о неудачах.

Неудачных попыток было еще больше. Больной нашего отделения Самофалов вынул из спинки койки железный прут. Затем он накинул себе на шею полотенце со связанными концами, вставил в получившуюся петлю этот железный прут и закрутил полотенце так туго, что оно сдавило ему дыхательные пути. Не вынимая прута из петли. Самофалов подогнул прут под себя и лег на него. Сверху он с головой закрылся одеялом. Закрываться одеялом с головой по больничным правилам не разрешалось. Увидев через глазок нарушение правил, санитар вошел в камеру и сдернул одеяло. Ему предстало совершенно

синее лицо Самофалова. Медсестра вместе с дежурным врачом вернули больного к жизни. После этого на Самофалова набросились санитары. Если бы дежурила не Ирина Михайловна, а другая сестра, которая не решилась бы отбивать у санитаров их жертву, то Самофалову пришел бы конец. И то на глазах у сестры и вопреки ее самых энергичным требованиям прекратить избиение, санитары успели отбить ему почки.

Политический из цыган, на лбу которого была наколка «Раб КПСС», находившийся в соседнем 10-ом отделении, нашел острый предмет и ночью вскрыл себе вены на сгибах обоих рук. Лужа крови сперва потекла под койку, а затем стала вытекать в коридор. Тогда дежурные и заметили. Самоубийцу на носилках отнесли в хирургическое отделение, где ему зашили вены. Долго он находился на грани смерти, но не умер.

Больной из 8-го отделения заметил трубу, лежащую во дворе с торчащим вверх острым громоотводом. Сильно разбежавшись он ударился головой об острие громоотвода. Однако смерть не наступила. После того, как рана зажила, врачи прописали ему лошадиную дозу халопери-дола. Потом я видел этого больного заторможенного, с остановившимся взглядом... От халоперидола у него изо рта текли длинные, липкие слюни до самой земли.

Конечно, держать в секрете подобную эпидемию самоубийств в спецбольнице было очень трудно и под давлением общественности из Москвы начали приезжать разные комиссии. Я не придавал этим комиссиям особого значения. Комиссии приезжали и раньше, но у нас ничего не менялось. «Скорее всего, эти комиссии приезжают сюда учиться истязать людей» — думал я, и в большинстве случаев был прав. Но одна комиссия оказалась особенной. Она состояла из полковников КГБ и МВД, которые, казалось, что-то искали в камерах, коридорах, прогулочной клетке и вдоль всего ограждения, не обращая внимания на больных. Уже через несколько дней сказались результаты этих поисков.

Во все отделения явились заключенные со сварочными агрегатами. Они срезали автогеном все металлические выступы в стенах камер, на которые хотя бы даже теоретически можно было накинуть веревку висельника. Потом явились заключенные-плотники. Сперва они заделали заподлицо кормушку, а затем вырезали в дверях камер окна для наблюдения за больными и вставили в них стекла.

Вдруг взяли на работу Муравьева.

— Вы, кажется, плотник? — спросила его Бочковская. — Хотите поработать на свежем воздухе?

Работа оказалась в прогулочном дворике. Муравьеву и нескольким другим больным-заключенным из разных отделений выдали топоры и прочий плотничий инструмент и велели клетку сломать, а на ее месте поставить обыкновенный деревянный забор.

Пользуясь случаем Муравьев высчитал площадь нашего прогулочного дворика. По его подсчетам она оказалась равной 112 кв. метров. На эту площадь выгоняли на прогулку сразу 3 отделения, до 300 человек. Читатель может себе представить какое это было столпотворение и какой там был воздух, когда все одновременно начинали курить махорку.

Во время работы к Муравьеву подошел Фетишев и сообщил о большом горе. Та же комиссия, которая распорядилась насчет камер и дворика, велела снести садик Фетишева. Садик для Фетишева был почти что живым

существом. Не имея возможности вылить любовь своего сердца на детей и внуков, Фетишев всю эту любовь отдавал растениям. И вот теперь приказ: заровнять! Пришли ЗЭКИ. Грубо и со злорадством повыдергивали они все растения в садике, а потом, как им было приказано, обнесли это место колючей проволокой...

— Я никогда не видел у Павла Федоровича такого убитого вида, — рассказывал мне Муравьев.

Эта утрата оказалась для Фетишева роковой. Еще некоторое, очень небольшое, время он проработал дворником, и сделал клумбу с цветами напротив прогулочного дворика. Потом его отстранили от работы, закрыли в камеру и стали насильно давать лекарства. От лекарств у Фетишева сперва заболели почки, потом — сердце. Он слег в постель и скоро Павла Федоровича не стало. Непрерывные тридцатилетние Страдания этого человека кончились. Неужели никто никогда не ответит за его смерть?

Едва уехала комиссия в униформе, приехали высокопоставленные представители из Москвы в цивильной одежде. Их возглавлял главный психиатр МВД СССР Рыбкин. Пошли слухи о том, что новая комиссия интересуется другими вопросами. Они ходили на кухню, разговаривали

с больными, а теперь разделились на группы и проверяли истории болезни чуть ли не всех 1200 больных — заключенных.

В наше отделение для этой цели явился сам Рыбкин. Через пару дней, которые он провел изучая истории болезни, Рыбкин изъявил желание побеседовать со мной. Мне велели переодеться в новую пижаму и в сопровождении Игоря Ивановича я вошел в кабинет Бочковской. Там сидели Бочковская и Рыбкин. Это был человек лет пятидесяти, с неинтеллигентным лицом, свидетельствующим о происхождении из низов, но с приобретенными манерами интеллигента. Этим своим контрастом он напоминал дрессированную обезьяну.

Рыбкин вежливо ответил на мое приветствие, предложил мне и Игорю Ивановичу стулья и заговорил:

— Я познакомился с вашим делом и мне захотелось поговорить с вами. Вы не возражаете?

Я не возражал.

— Скажите почему вы разошлись с женой? У вас был мезальянс? Я имею в виду: она была недостаточно образованна, культурна?

— Нет, нельзя сказать так. До замужества она работала учительницей пения в детском саду.

— Тогда почему же вы разошлись?

— Не сошлись характерами.

— Это стандартный ответ. Так все говорят, когда не хотят ответить по существу. Однако настаивать Рыбкин не стал.

— Вы по профессии кибернетик, правильно я понял из документов?

— Правильно поняли.

— И вы знаете, что такое «сетевое планирование»?

— Знаю. Только я привык называть перт-тайм и перт-кост.

Рыбкин повернулся к Бочковской, сидевшей сбоку с казенной любезной улыбкой на лице, и воскликнул:

— Нина Николаевна! Что же это такое? Нужный специалист сидит без дела! Я читал в газетах и слушал доклад по телевидению о сетевом планировании. Это сейчас одно из главных направлений прогресса. Только специалистов не хватает. И вместо того, чтобы быть в авангарде

один из крупных специалистов в этой области находится у вас!

Нина Николаевна с вопросительным выражением на лице уставилась на меня.

— Юрий Александрович, — повернулся опять ко мне Рыбкин.

— Сами-то вы как объясняете все это? Почему вы здесь?

Минуты две я думал над своим ответом. «Паясничает Рыбкин или серьезно говорит?» — трудно было решить. Наконец, я сказал:

— Вам, как главному психиатру МВД СССР лучше знать, почему я здесь. О своем здоровье я могу сказать одно: я ничем не болен и никогда не был болен. Таким же было заключение Херсонской психиатрической экспертизы.

— Ну-у-у, это я знаю! Нина Николаевна говорила мне о том, что вы не признаете себя больным. Однако, вы больны! В этом нет никакого сомнения!

Рыбкин зачем-то вскочил со своего стула и несколько раз прошелся по кабинету.

— А почему вы отвечаете не сразу на мои вопросы? — вдруг спросил Рыбкин.

— Потому что я понимаю всю важность и ответственность этой беседы с вами и взвешиваю слова.

— Правильно. Хорошо. Ну, ладно, последний вопрос: в деле написано , что вы веруете в Бога?

— Да, верую.

— Но не может же такой образованный человек, как вы, верить в Бога так, как верует какая-нибудь старушка: в чудеса, в загробную жизнь и т.п.? Вы верите в Бога как-нибудь по своему?

Я вспомнил слова Степана Трофимовича Верховенского из романа Достоевского «Бесы», до удивления похожие на те, которые только что услышал: «Я в Бога верую, как в Существо, Себя лишь во мне сознающее. Не могу же я веровать, как моя Настасья!» «До чего же все бесы похожи друг на друга!»—подумал я и ответил:

— Я верую так, как верует упомянутая вами старушка, без всякого ревизионизма.

— Спасибо за беседу, Юрий Александрович, можете идти, — любезно разрешил Рыбкин и я вышел из ординаторской.

Кроме меня Рыбкин пожелал встретиться еще с Федосовым и с одним уголовником, убившим всех членов своей семьи. На другой день после встречи Бочковская сообщила Федосову, что Рыбкин его не выписал.

— Поэтому я не могу представить тебя на выписку ближайшей комиссии, — сказала она. — Однако, через год я выпишу тебя обязательно.

Федосов передал мне этот разговор и я мог впоследствии убедиться, что Бочковская сдержала свое обещание.

Некоторое время я ожидал, что мне тоже скажут о решении, принятом Рыбкиным, но — напрасно.

***

Когда и вторая комиссия уехала, начались перемены в спецбольнице, имевшие целью придать ей «человеческое лицо». Вот эти изменения:

• Начали выписку больных, в среднем, по 3-4 человека с каждой комиссии.

• Из супа исчезли черви, а на праздники стали давать картошку или макароны с небольшим количеством молотого мяса.

• В каждом отделении создали «надзорные палаты» и в их открытых дверях посадили санитаров.

• Солдаты на вышках перестали целиться в больных, гуляющих на прогулочном дворике.

• Санитарам запретили бить больных.

• Во всех камерах, кроме надзорных, провели радио.

• Отменили разработанный Бочковской «График оправок».

• Накануне революционных праздников по камерам стал ходить Прусс и поздравлять больных.

• Всем выдали пижамы или халаты.

• Стали платить за плетение сеток. Однако, старые долги были забыты. Плата тоже оказалась далеко не такой, как нам обещали вначале: за изготовление пары ручек - 1 копейка, за намотку челнока - 1 копейка, за

саму сетку - 7 копеек.

Вскоре после этого со всех отделений начали поступать слухи о выписке больных и даже политических. С 10-го отделения, где теперь находился Переходенко, пришел слух о нем. Рассказывали, что во время очередного обхода главврача Катковой он встал на колени и, целуя ей ноги, стал умолять «выписать и его тоже», чтобы он мог «пожить на свободе хотя бы последние годы своей жизни». На ближайшей комиссии его выписали. Еврей из 8-го отделения, сидевший за протесты против запрета ему эмигрировать в Израиль, заявил на комиссии, что «все на свете изменяется, вечно лишь одно коммунистическое учение и вечен Советский Союз». Его тоже выписали. Из 8-го отделения выписали также азербайджанца, кандида-

та наук по археологии, сидевшего за распространение антисоветских листовок. Он признал себя сумасшедшим и говорил всем зэкам и врачам одинаково:

— Я — настоящий шизофреник, со мной вам не интересно разговаривать!

Одевался он по-дурацки: штаны у него вечно спадали, а шапка бывала одета нелепо — одно ухо вверх, другое — вниз. Несколько раз он «забывал» одеть обувь в туалет и шел туда босиком. Его выпустили всего через 4 года.

Но не был освобожден Урядов, несмотря на обещания Прусса. В знак протеста Урядов перестал выходить на работу и не вставал со своей койки. Прусс назначил Сидорова временно исполняющим должность бригадира, а сам вместе с Катковой пошел в камеру к Урядову. Там он сказал ему, что «произошло недоразумение» и что он гарантирует ему выписку на следующей комиссии, если Урядов теперь закончит строительство крыши здания. Урядов покрыл здание крышей и через 6 месяцев следующая комиссия его действительно выписала.

Все это было мало утешительно, так как демонстрировало способность палачей добиваться своих целей. Вынужденный отказ от своих убеждений многих политзаключенных, и особенно, Переходенко, укрепил мою уверенность в том, что в условиях советского полицейского государства всякая партийная, всякая общественная борьба против коммунизма и вообще всякая идеологическая борьба обречена на неуспех. В этих условиях остается возможной только вооруженная борьба и то — борьба не военных организаций, а —

вооруженных одиночек. Там, где секрет знают два человека — уже нет секрета. Поэтому, в настоящих условиях борьба против коммунизма — это удел отчаянных одиночек, готовых на все, никому не доверяющих кроме себя, и ни на что, кроме собственных сил, не рассчитывающих. Они сами знают, что им делать для разрушения коммунистической государственной машины. Разве нужно руководить такими людьми, как Фетишев, Мантейфель, Серый, Ильин и десятки других? Им нужно только сверхсовременное оружие и тогда они станут сильнее армий! Над головой у них Бог, в руках неотразимое оружие. Имя им — «народные мстители».

Очевидно, моя непримиримость к палачам была написана на моем лице и Красный Командир прочитал ее. Однажды, сидя за столом в коридоре вместе с Игорем Ивановичем и потягивая лимонад, как коктейль, он глубокомысленно произнес, глядя в мою сторону:

— Нет таких уколов и нет таких наполнителей к сере, которые смогли бы переделать Юрия Александровича! Другие забудут или простят, некоторые даже в сотрудники пойдут, а вот Ветохин ничего и никогда не забудет и не простит!

Вскоре после этого Красный Командир уволился из спецбольницы. В день увольнения он встретил меня на лестнице, когда я в строю шел на прогулку. Он пожал мне на прощание руку и пожелал «скорее освободиться и начать новую, счастливую жизнь».

***

Мне было больно видеть, как лишился душевного покоя и заговорил о выписке мой друг Муравьев.

— Юрий Александрович, я чувствую, что меня наверно выписали, — сказал он мне однажды.

— Откуда ты это взял, Петр Михайлович?

— Мне так кажется.

— Лучше бы тебе не казалось. Я не хочу, чтобы ты потом разочаровался. Выписка — не для таких, как мы с тобой.

Однако Муравьев остался при своем мнении.

Глава 45. От размышлений—к действиям

Глава 45. От размышлений—к действиям.

Был 1974 год. Я находился в заключении уже 7 лет. В мире происходили разные события. В Чили восставший народ сверг коммунистическую марионетку Альенде, а его сподручные получили по заслугам. Либералы всего мира завопили в унисон с Москвой о каком-то «терроре» в Чили, о каком-то «фашизме» и т.д. Защищая коммунистических кровопийц, эти либералы никогда не жалели их жертв. По их понятиям так и быть должно. Вероятно, под голубиными перьями у всех либералов спрятано вол-

чье обличье.

Мои друзья были рады освобождению чилийского народа. Было приятно, что Сахаров думал так же и что он послал поздравительную телеграмму Пиночету.

Другим событием было покушение на жизнь Брежнева. Народный мститель Ильин, переодевшись милиционером, пытался пристрелить Брежнева, когда тот возвращался с аэродрома после встречи космонавтов. Однако кортеж машин разделился и Брежнева повезли другой дорогой. Выстрелами Ильина были ранены шофер и два мотоциклиста, эскортировавшие космонавтов. Покушение видело много народа и слух сразу распространился. Советским газетам пришлось поместить о нем сообщение. В сообщении, как и следовало ожидать от советских газет, Ильин объявлялся сумасшедшим.

Недавно возникшее так называемое «диссидентское движение» шло на убыль. КГБ удалось не только разгромить его, но и заставить некоторых его членов публично покаяться. Диссиденты Якир и Красин выступили на суде с отвратительными отступническими речами. Нескольких диссидентов прислали на «перевоспитание» в нашу спецбольницу. В наше отделение попал Шостак. Шостак был марксистом и не скрывал этого. С кремлевскими коммунистами он разошелся лишь в деталях, но зато разделял взгляды одной из зарубежных компартий и пользовался поддержкой ее генсека. Первым вопросом, который Шостак задал мне после нашего знакомства на прогулочном дворике, был вопрос о том, как я отношусь к такому вопиющему факту, что в Киеве до сих пор не поставлен памятник евреям, погибшим во время оккупации?

На этот вопрос я ответил без энтузиазма и дружба у нас не получилась.

Однако, изредка мы все же перекидывались двумя-тремя словами и Шостак сообщал мне некоторые новости со свободы, которые привозила ему жена. Шостак сам сказал мне, что ему было прописано «щадящее лечение».

В нашем концлагере по прежнему через каждые 6 месяцев заседали комиссии, но нас с Муравьевым они не вы-

писывали. После одной из таких комиссий медсестра Наталья Сергеевна под большим секретом показала мне мою историю болезни. Там красными чернилами было вписано: «Личность не изменилась. Продолжать лечение» и стояли подписи председателя и членов комиссии. Внезапно от аппендицита умер председатель комиссии Шостакович. Первым мне сообщил об этом Игорь Иванович.

— А я думал, что Шостакович — бессмертный, как Кащей! — заметил я в ответ.

График комиссий опять нарушился. Шостакович оказался незаменимым подлецом. Другого подлеца такого калибра долго было не найти. Наконец, год спустя, нашли женщину. Фамилия ее — Блохина, она работала профессором в Днепропетровском медицинском институте. Заключение комиссии под председательством Блохиной оказалось для меня, как две капли воды, похоже на заключение Шостаковича: «Личность не изменилась. Продолжить лечение».

Как раньше мне, теперь Муравьеву врачи и сестры умышленно ложно намекали на якобы состоявшуюся его выписку. Отсидевший в тюрьмах уже 15 лет, Муравьев так мечтал о свободе, что всякий раз верил им. А потом для него наступало разочарование вплоть до очередной комиссии, когда ему вновь давали ложные обещания.

— Вот теперь меня наверняка выписали! — говорил он мне после каждой комиссии и я стал опасаться за его рассудок. Опасения тем паче были обоснованы, что старик проглатывал все ядохимикаты, которые прописывали ему врачи. Муравьев не мог и не хотел изощряться в разных способах прятанья таблеток во рту. И я понимал его: это занятие было не для его возраста и не для его характера. Однако эти таблетки с каждым днем все больше и больше отнимали у него память и ограничивали умственные способности. Объективно, от ядохимикатов у Муравьева поминутно непроизвольно высовывался язык, тряслись руки и вздрагивало тело. В довершение всего Муравьев постился перед Рождеством и Пасхой. Чем он поддерживал в себе жизнь в эти дни, я не

знаю. Однако, когда вопрос касался религии, я не считал себя вправе да

вать какие-либо советы. Во время наших бесед на прогулках Муравьев стал строить планы на будущее. Он предлагал мне после освобождения поселиться вместе и заняться плотничьим промыслом.

Задумался о выписке и Завадский. Сумасшедшим он признал себя давно, а теперь начал хлопотать об опекунстве.

— Моя мать очень старенькая и неизвестно еще, разрешат ли ей взять надо мной опекунство, — поделился он со мной своими опасениями.

— А зачем вам опекунство? Разве вы — ребенок? — недовольно спросил я, хотя, конечно, знал зачем.

— Данила Романович предупредил, что без опекунства меня не выпишут.

— А кто такой Д-а-н-и-л-а Рома-но-ви-ч? — уже со злобой поинтересовался я, хотя тоже знал.

— Лунц Данила Романович.

Злоба душила меня и я отошел, чтобы в пух и прах не разругаться с Завадским. Я не понимал, **как только у человека язык поворачивался с таким уважением отзываться о самом примитивном советском палаче**. Палача, КГБ-шного полковника в маске профессора... звать по имени-отчеству! **По кличке его — как обыкновенного уголовника!** Большего он не заслуживает.

Позднее Шостак, попав на Запад, написал книгу, а в книге он тоже лестно отозвался о Лунце. Я расцениваю это как плевок на могилы тех политзаключенных, которые умерли в спецбольницах от пыток, «прописанных» Лунцем. Я понимаю Шостака: он этим отблагодарил Лунца за то, что тот прописал ему «щадящее лечение», то есть лечение без уколов и особо вредных таблеток.

***

Если для Муравьева бессрочное заключение грозило рассудку, то у меня оно вызывало ненависть к коммунистам, которую я едва мог сдерживать. Эта ненависть заставляла усиленно работать мой мозг. Теперь я все чаще и чаще возвращался к давно уже возникшей мысли о том, что раз уж суждено при коммунизме погибнуть

миллионам человек, то во всяком случае они не должны гибнуть бесполезно. «Если бы каждые четыре человека из 60 миллионов расстрелянных, замученных или умерших от голода и непосильного каторжного труда людей предпочли бы самоубийство своей медленной смерти, а перед самоубийством — убийство хотя бы одного коммуниста, то к сегодняшнему дню ни одного живого коммуниста в России не осталось бы».

Продолжая дальше свои размышления, я пришел к выводу, что не обязательно коммунистов должны уничтожать те люди, которые сами обречены на смерть, и необязательно, чтобы за уничтожение каждого коммуниста четыре антикоммуниста отдавали свои жизни. Может быть наоборот и даже еще лучшая пропорция. Для этого нужно мощное ультрасовременное оружие. И этого еще мало. Коммунисты не ходят толпами, они растворены среди некоммунистов и даже среди антикоммунистов. Поэтому оружие должно быть не только мощным, но и избирательным. Я мысленно назвал такое оружие «идентифицированным оружием», а людей, которые будут это оружие использовать — народными мстителями. Идентифицированное оружие необходимо не только для освобождения моей родины от коммунистического ига. Оно также необходимо для обезвреживания притаившихся и ушедших в подполье коммунистов после перехода власти в руки народа.

А свой переход в подполье коммунисты подготовляют еще в мирное время. Это видно хотя бы на примере нашей спецбольницы: всем палачам спецбольницы были заготовлены фальшивые документы и для них выдуманы безобидные легенды, касающиеся биографии и мест работы — на случай войны и оккупации. Об этом в разное время мне сообщили разные люди.

***

После нахождения решений главным проблемам, думать о которых я обязал себя еще в 1967 году, исчезло какое-либо «оправдание» моему дальнейшему пребыванию в тюрьме. Если раньше я мысленно говорил

себе: «Юра, тебе еще рано мечтать о свободе! Ты еще не решил поставленных перед тобой проблем!», то теперь я говорил себе иное: «Размышления кончились, пришло время действовать!» Я понимал, что только побег на Запад и опубликование книги могли способствовать распространению моих идей. Для этого надо было сперва выйти из спецбольницы. Но никакой выписки не было видно. «Может быть, мне

назначена пожизненная тюрьма?» — задавал я себе вопрос и сам себе отвечал: «Тогда надо что-то предпринять, чтобы не зря погибала моя жизнь, надо на собственном примере показать свою теорию!»

И помимо своей воли, каким-то вторым умом я стал планировать разные виды деятельности в духе принятых мною решений. Один из видов такой деятельности — уничтожение начальника спецбольницы подполковника Прусса, приходил ко мне в голову уже давно. Как-то против своей воли, ибо еще не было у меня внутреннего приказа на это, я вновь и вновь возвращался к этому вопросу и вдруг обнаружил, что располагаю оружием для уничтожения коммуниста. Это оружие — консервный нож, который выдавала мне дежурная сестра два раза в день для открывания консервных банок больным. Я тщательно осмотрел нож и убедился в том, что он был достаточно прочным и острым. Однако, его лезвие имело недостаточную длину для поражения сердца. Тогда я наметил бить в голову. Надо было еще убедиться в том, что консервным ножом действительно можно нанести смертельную рану в голову. Спросить у кого-либо было опасно и я специально наводил санитаров на разговоры о драках в надежде, что разговор зайдет об ударах по голове разными предметами.

Потом я наметил запасных кандидатов на тот свет, если что-либо помешает мне расправиться с Пруссом. Запасными кандидатами стали Каткова и Бочковская. Если бы Бочковская знала, как я мысленно примерял нож к ее виску или к темени, когда она проходила мимо меня в коридоре!

Мне надо было также решить вопрос самоубийства после уничтожения коммуниста. Чем, как и где я совершу это самоубийство? «Самое лучшее — это яд, — думал я. —

но где достать быстродействующий яд?»

Мои очень осторожные зондирования в этом направлении во время бесед с Игорем Ивановичем пока что ни к чему не привели.

Приближалось Рождество Христово и я увидел в этом более быстрый шанс проявить свою несломленность перед лицом ненавистных палачей. Мне пришла мысль устроить праздник для больных в день Рождества Христова. «Этот праздник вдохновит политзаключенных и придаст им новые силы, — думал я. — И этот праздник покажет палачам, что мы не сломлены».

И я занялся подготовкой к празднованию Рождества.

Глава 46. Рождество Христово

Глава 46. Рождество Христово.

Я начал готовиться к празднованию Рождества Христова задолго до праздника, еще с конца 1974 года. Для рождественского подарка заключенным я стал собирать застарелый и пожелтевший шпиг и высохшие, твердые как камень, пряники, от которых отказывались богатые больные. Я наметил список людей, которым никто не присылал посылок и передач. К их числу наряду с Залусским, Зайковским, Шведовым и другими политическими я отнес и многих уголовников. Всего набралось около 35 человек. Незадолго до 7 января я пережарил на электроплитке в сестринской весь собранный шпиг вместе с луком. 6 января вечером я разделил все собранные продукты на 35 частей, а утром 7 января—роздал подарки больным, не упоминая о Рождестве. Однако, злобный уголовник, Дуплийчук догадался:

— Рождество решил справлять? Ну, подожди! Нина Николаевна покажет тебе Рождество!

Он ли сообщил врачам о моих подарках, или дежурные сестры, или санитары — я не знаю. Только после обеда, во время раздачи лекарств, когда я, как всегда, подошел к сестре за своими десятью розовыми таблетками, мне в ладонь упали какие-то крупные таблетки грязно-серого цвета.

— Это не мои таблетки, Лидия Михайловна!— сказал дежурной сестре.

— Ваши! И рот мне покажите! — враждебно ответила она.

«Уже? Быстро отреагировали! И какой злобный тон!» — подумал я, но таблеток все равно не проглотил. Я лишь пихнул их за десну и рот приоткрыл чуть-чуть, так, чтобы они не вывалились оттуда. Но Лидия Михайловна—стреляная ворона. Она сразу поняла, что таблетки я не проглотил. Она лишь взглянула на мой полуоткрытый рот поверх очков и сразу отвернулась, ничего не сказав. Однако, врачам доложила. После ужина, когда я снова пришел на лекарство, сменившая Лидию Михайловну дежурная сестра Настасья Тимофеевна сказала мне:

— А вам таблетки отменили. Вас скоро вызовут на укол.

Новое прописанное мне лекарство оказалось мажептилом. После укола я пошел в свою камеру и только лег на койку, как влетела Лаврентьевна:

— Ветохин! Сдавай обязанности Виктору Ткаченко и собирайся в 4-ую палату! Врачи и так меня ругают за то, что я ДО СИХ ПОР еще не перевела тебя туда!

4-ая камера состояла сплошь из лежачих больных, «наглухо вырубленных хроников». Лаврентьевна указала мне койку между Залусским и Молодецким, который тоже недавно перекочевал из 3-й камеры в 4-ю. Мое место оказалось точно таким же, как на сере в 3-й камере — вторая койка справа от двери, рядом с койкой Молодецкого. Только с другой стороны теперь лежал не Зайковский, а Залусский. Дверь в камеру захлопнулась: «пряник» был заменен «кнутом».

Молодецкий за четыре года, прошедшие с тех пор, когда меня пытали серой и я лежал рядом с ним, нисколько не изменился. По-прежнему его били «припадки» эпилепсии, по-прежнему он часто «возбуждался» и устраивал скандалы как днем так и ночью. Удивительные люди, эти коммунисты! Молодецкий, убивший двух своих малолетних детей, схватив их за ноги и размозжив головы об камни, вызывавший отвращение даже у других больных, стал любимцем Бочковской. Она всегда ласково с

ним разговаривала, даже передавала иногда объедки со своего завтрака (и сестры ей подражали), обещала скоро его выписать и на самом деле — выписала. Мне хочется снова сравнить ее с другим бесом — Николаем Ставроги-ным. Ставрогин уверял, что не знает различия в красоте между какой-нибудь сладострастною, зверскою штукой (в данном случае: расколоть детские черепа о камни мостовой) и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества. Очевидно Бочковская также не знала этого различия. При ней санитары Молодецкого не били и пускали в туалет курить. Но стоило только Боч-ковской уйти домой, как начинался скандал. После ухода Бочковской санитары больше не пускали Молодецкого курить. Тогда он возбуждался: стучал ногами в дверь камеры и, как заведенный кричал: «конституция — проституция! Почему всем приносят дачки, а мне — нет?» Потом Молодецкий вспоминал какие-то давние обиды, полученные в детском доме, и ругательски ругал своих бывших воспитателей. В конце концов он, как испорченный патефон, застревал

на какой-нибудь одной фразе, и, дойдя до визга, повторял эту фразу сотни раз. Тогда дверь камеры открывалась, врывались санитары и начинали избивать его. На все их удары, нацеленные по почкам и печени, Молодецкий кричал: «Бей еще!» Уставшие и отбившие кулаки санитары, звали сестру. Сестра приносила шприц с аминазином и делала Молодецкому укол. После укола Молодецкий быстро засыпал. И было тихо в камере вплоть до следующего его скандала или же до следующего приступа эпилепсии.

Костя Залусский, лежащий по другую сторону от меня, был тихий, но очень тяжело больной человек. Залусский —политический. Во время войны он был бойцом УПА и после пленения, его, так же как и Зайковского, пытками свели с ума. Он был высокого роста и могучего телосложения. Глядя на него, я часто задумывался о том, какого рода были эти пытки? Сам Залусский уже не мог описать их, но ходили слухи о каких-то узких металлических «будках» в которых можно только стоять руки по швам. Якобы над головой заключенного, втиснутого в такую будку, включалась сирена и выла до тех пор, пока заклю-

ченный не терял сознание.

Рассказывали также об удушении заключенного, привязанного к койке в кабинете следователя. Якобы следователь ногой включал электромотор, который натягивал веревку и душил. Потом следователь отпускал ногу — и веревка ослабевала, потом опять нажимал...

Теперь Залусский был похож на скелет. Очень редко он вспоминал старое время. В такие минуты он пел гимн УПА и другие песни украинских националистов.

Через несколько дней меня перевели на халоперидол. Это было лекарство, которого я больше всего боялся. На ночь мне вводили халоперидол в уколе, а утром и днем давали по 8 таблеток. Все сестры теперь тщательно проверяли мой рот и не отвечали, когда я здоровался. От меня отвернулись даже те сестры, которым я еще недавно собирал металлические крышки со стеклянных банок. Они со мной больше не разговаривали и лишь иногда я ловил на себе их внимательные враждебные взгляды. Преступление, которое я совершил, отметив Рождество Христово, с их точки зрения было ужасным и непростительным. В их враждебных взглядах без труда читался укор: « А мы-то думали, что ты исправляешься, помогали тебе... Мы ошиблись!» Из 10-ти сменных сестер только Ирина Михайловна не делала мне назначенных уколов, каждый раз куда-нибудь отсылая санитара, чтобы

он не узнал об ее нарушении. Однако и она в разговор со мной не вступала. Медсестра Наталья Сергеевна, жалобно улыбаясь, перед тем, как сделать мне укол, тихо говорила: «Простите меня!»

Уж если Наталья Сергеевна боялась ослушаться врачей, значит, дело было нешуточное, значит, меня приговорили... Кругом была глухая стена отчуждения и неприязни. Санитары перестали меня «уважать» в тот день, когда я передал обязанности кладовщика Виктору Тка-ченко. Если я просился в туалет, то всегда слышал один и тот же грубый ответ:

— Чего стучишься? Оправка была? Жди теперь следующей оправки по графику!

Однажды в столовой Шостак дал мне книжку Виктора Некрасова и рекомендовал ее прочитать. Книга, это были парижские путевые очерки, мне не понравилась. Я

с трудом дочитал до того места, где Некрасов описывал свой «героический подвиг» и отбросил ее в сторону. «Героический подвиг» состоял в том, что Некрасов, находясь в Соборе Парижской Богоматери, держал свой рот закрытым в то время, когда священник вкладывал в открытые рты окружавших Некрасова верующих, просфоры. Это не первый раз, когда диссидент выставлял свой атеизм напоказ, как добродетель. У меня под подушкой была другая книжка, атеистическая брошюра, на последней странице которой рукой Чиннова была вписана молитва. Я открыл ее и стал учить молитву на память.

Больше Шостак мне книг не предлагал, да мы и не виделись с ним, ибо я перестал ходить на прогулку. Хало-перидол приковал меня к койке. Я чувствовал сильную слабость и апатию. Халоперидол отнял у меня желание жить, желание бороться и даже — желание думать. У меня возобновились сны — кошмары, наподобие тех, что я видел во время пыток тизерцином, и сильно разболелись пальцы рук и ног.

Ночью, во время прозрачного халоперидолового сна я тер пальцы рук о тело, прикладывал к наиболее теплым его местам, дул на них — ничего не помогало. Было такое чувство, как будто я их отлежал, но более сильное. Родство внешних ощущений указывало на их физическое родство. В обоих случаях причиной было нарушение кровообращения. Только в первом случае, когда отлежал, восстановить кровообращение было легко. В моем же случае восстановить кровообращение было нельзя. Халоперидол поражал сердце систематически и с каждым днем недостаточность кровообращения становилась все заметнее.

У меня появились судороги. Хотя мне был приписан корректор ромпаркин, тем не менее ежедневно, под вечер, судорогами сводило мои ноги.

Дней через 7 после начала пыток халоперидолом началась задержка мочеиспускания. Появилась скованность во всем теле. Я перестал умываться и чистить зубы. В бане я уже не мог проявить необходимую скорость и оставался тоже немытым.

Наконец, я превратился в лежачего больного. Круглые

сутки я лежал в койке, слегка прикрытый тонкой оболочкой халоперидолового сна. Вставал я лишь на, прием пищи, на лекарство, да в туалет. Оправка стала для меня дополнительной мукой. Чтобы попасть в туалет, надо было часами тихонько стучаться в дверь (сильно стукнешь — изобьют). Когда, наконец, санитар выпускал из камеры, я приходил в туалет и не мог оправиться, ибо у меня начал атрофироваться аппарат мочеиспускания. Санитар, не испытавший подобных пыток, не мог понять моих мучений:

— Придуриваешься, а еще говоришь, что не сумасшедший! Пошел в камеру!

Я так и уходил, не оправившись, а через короткое время снова стучал в дверь камеры, вызывая у санитара ярость и отборную ругань.

Муравьев, видя, что дело мое плохо, написал родственникам, чтобы они срочно прислали ему калорийную посылку. Посылку прислали и он, подкупив санитаров, забегал ко мне в камеру и кормил меня, как ребенка. Но даже дополнительное питание не могло значительно отдалить тот конец, который был уже очевиден.

Глава 47. Быть или не быть?

Глава 47. Быть или не быть?

Незадолго до того, как меня начали пытать халоперидолом, в спецбольницу привезли больного Савченко. Его направили в наше отделение. Поскольку Савченко был настоящим сумасшедшим, то он и совершил сумасшедший поступок (для здорового человека это бы

называлось преступлением). Он избил и, кажется, изувечил врача-психиатра, который лечил его на свободе. Кажется, тут нечего копья ломать! Другие уголовники из нашего отделения наделали дел и похуже. Однако, врачи считали иначе.

«Врачи возмущены до глубины души»,—шепотом говорили сестры и добавляли еще слова Бочковской: «Почему такой преступник должен жить на свете, если он изувечил действительно хорошего человека?»

Они ссылались также на Прусса, который якобы велел лечить его «без снисхождения». Что это означало на де-

ле, мы все увидели скоро.

С первого дня Бочковская назначила Савченко халоперидол в уколах.

Скоро дозу увеличили до предела, а количество уколов — до 3-х в сутки. Пришел в отделение Савченко своими ногами. Но в отделении перестал ходить. Лошадиные дозы халоперидола свалили его с ног. За несколько дней Савченко, еще совсем молодой человек, изменился неузнаваемо. Он похудел, осунулся, под глазами легли мешки. У него появились те же симптомы поражения центральной нервной системы, что и у меня: в туалете он не мог оправиться, у него начали трястись руки, ноги и голова. Появилась заторможенность. Санитары, видя, что врачи и сестры относятся к Савченко с неприкрытой ненавистью, в свою очередь били и пинали его нещадно. Савченко не возражал и никак не реагировал на это. Например, вызывают санитары его на очередной укол. Услышав, что его зовут, он медленно-медленно поднимался с койки, также медленно всовывал сперва одну ногу в тапочек, потом через минуту — другую ногу. У санитара лопалось терпение, он хватал Савченко за что попало и пихал в направлении манипуляционной. Пока инерция не иссякала, Савченко, как неодушевленный предмет, двигался, куда его пихнули. А потом застывал в самой неестественной позе, бывало даже: с поднятой ногой. Новый пинок санитара — еще несколько шагов.

Сперва у Савченко атрофировалось мочеиспускание, затем речь. Наконец, у Савченко атрофировались глотательные функции. Это произошло примерно через 1,5 месяца после начала «лечения». Ежедневно его видели сестры, часто — врачи, но никому в голову не приходило отменить халоперидол, хотя было видно, что Савченко еле жив и не сегодня-завтра умрет от халоперидола.

Ходить в столовую Савченко уже не мог. Врачи приказали приносить

ему пищу в отделение и кормить насильно. Кто будет кормить? Не сестры же, конечно! Только санитар. А уголовнику—санитару это нужно?

Каждый день, стоя в очереди за лекарством, я невольно наблюдал, как дежурный санитар в коридоре кормил Савченко.

Так было и в тот памятный день. Сперва санитар вытолкнул Савченко из камеры в коридор. Когда санитар перестал его толкать, Савченко застыл, высоко задрав голову, раскрыв рот и оттянув руки назад, ладонями в стороны. Ноги его были расставлены так, как будто он стоял на льду и боялся поскользнуться. Все его члены заметно дрожали. Санитар взял с подноса, принесенного официантом, миску супа, поднял ее и опрокинул на ту часть лица Савченко, где ориентировочно находился его рот. Я уже не говорю о том, горячо было больному или не горячо. В рот попала только незначительная часть супа. Остальное полилось за ворот рубахи и на пол. Но Савченко не сделал ни одного глотательного движения. Он не мог глотать. Санитар отдал пустую миску официанту и велел отнести в раздаточную.

— Готово! Покормил! — крикнул он сестре.

— Тогда ведите его на укол! — ответила сестра. — Сюда, в сестринскую! Не пойду из-за него в манипуляционную.

Через несколько минут санитар вытолкнул Савченко из сестринской после укола. Едва только санитар перестал толкать его, Савченко покачнулся и стал падать. Санитар хотел было поддержать его одной рукой, но не удержал и Савченко упал на пол к моим ногам.

— Ну, боров, вставай! Чего разлегся? — закричал санитар, но Савченко не пошевелился. Тогда санитар ухватил его обеими руками, поднял и прислонил к стене. Савченко опять упал. Тут санитар что-то понял и позвал сестру. Дежурная медсестра вышла из сестринской, подошла к лежащему на полу Савченко, посмотрела на него и сказала санитару:

— Не поднимайте его. Он умер. Пусть лежит здесь. А больных — по палатам!

Санитар подскочил к нам, нескольким человекам, еще не получившим лекарств и стоящим в очереди, и велел всем временно зайти в рабочую камеру. Затем он закрыл на замок дверь рабочей камеры.

В рабочей камере громко говорило радио. Раздуваясь от напряжения, репродуктор вещал об «очередных мирных инициативах Советского

правительства», без конца

повторял имя Брежнева со все новыми и новыми льстивыми эпитетами.

«Как же так? — думал я. — Только что при мне убили человека. Пусть этот человек сумасшедший, пусть он совершил преступление. Но ведь его убили не по суду. Его просто линчевали. И кто линчевал? Женщины в белых халатах. Официально они называются врачами и медсестрами. И когда их называют палачами, они оскорблены. Внешне они и не похожи на палачей. Внешне они — как все. Так же одеваются: одни красиво и изящно, другие — не так красиво и не так изящно. Они имеют те же заботы, что и другие люди: дом, семья, пенсия... Они имеют даже те же страсти: любят друг друга, ревнуют. Врач с соседнего отделения даже застрелился на почве ревности, а наша медсестра Любовь Алексеевна — дважды травилась, но ее каждый раз спасали.

Они любят цветы! В ординаторской на столе у Бочковской в любое время года стоят живые цветы. И у них у всех чистые, даже иногда надушенные руки. Ни у кого из них не найдешь рук, измазанных в крови, как принято думать о палачах.

Кто же они все такие? Обыкновенные люди или наоборот — нелюди? А если нелюди, то как они воспитывались и откуда они взялись? Как коммунисты умеют находить таких людей, которые пытки и убийства превращают в свою рутинную работу?

И еще вопрос: может быть, они ни в чем не виноваты, может быть, когда придет ЧАС, они ни за что не будут отвечать, потому что лишь выполняли чужие приказания?

Мне кажется, что какое-то оправдание все они уже имеют в душе. Это кроме фальшивых документов и легенд, которыми всех их еще в мирное время снабдило КГБ.

***

Моему соседу по койке политзаключенному Залусскому тоже делали уколы.

— Куда ему колоть-то? У него нет мяса, одни кости, — весело смеялась медсестра Стеценко.

Действительно, Залусский представлял собой один скелет.

У него не было родных (наверно коммунисты всех его родных репрессировали) и он никогда ни от кого не получал ни денег, ни посылок. Тридцатилетнее хроническое недоедание, наконец, привело к дистрофии. У Залусского начался голодный понос. Я хорошо помню голодный понос у ленинградских дистрофиков в годы блокады, когда не стесняясь друг друга, люди садились на оправку на улице рядом, и сразу понял, что дни Залусского сочтены. Было больно на него смотреть, когда ему надо было в туалет. Он осторожно вставал с койки и в одних кальсонах подходил к двери камеры. Зажав пальцем через кальсоны овальное отверстие, он тихо-тихо стучал в дверь.

Никогда с первого раза Залусского в туалет не пускали.

«Будет оправка по графику! Чего стучишь? Не стучи, некогда!» — кричали ему санитары, зная, что Залусский бедный и за открывание двери ничем им не заплатит. Он продолжал тихо-тихо, чуть слышно стучать. Когда, наконец, дверь открывали, кальсоны Залусского были уже мокрыми и по камере шел отвратительный запах. За это другие больные его ненавидели и даже били. В туалете Залусский полоскал свои кальсоны в холодной воде, а потом мокрые снова надевал на себя. Через некоторое время все повторялось снова.

Обреченных на смерть больных администрация концлагеря старалась выписывать. Срочно выписали и Залусского. Он умер от дистрофии в вольной больнице, как только его туда привезли.

Однажды, когда я дремал под действием халоперидола, дверь в нашу камеру с шумом распахнулась и в сопровождении свиты вошел Прусс, а с ним какой-то другой подполковник. Прусс что-то сказал своему спутнику, безразлично скользнул взглядом по мне, по моему соседу Молодецкому, затем повернулся и неторопливо вышел обратно в коридор. Как оказалось, Прусс уходил на пенсию и перед уходом сдавал дела новому начальнику спецбольницы. «А ведь я мог попытаться уничтожить этого крупного представителя ненавистной мне советской влас-

ти», — думал я, лежа в койке после ухода Прусса. — «Почему я этого не сделал? Может быть я упустил единственный шанс отомстить за свою загубленную жизнь? Или Бог предоставит мне другой шанс в этом роде?» Но думать было трудно. Мешало лекарство и я снова задремал, переключившись на созерцание своей внутренней физической боли.

***

Наша 4-ая камера по праву называлась камерой хроников и смертников. В ней не было ни одного хоть сколько—нибудь сохранного больного. Все больные находились в бреду, все круглые сутки лежали в койках, бормоча бессвязно какие-то слова или же внезапно возбуждаясь, то есть приходя в исступленное бешенство. И в довершение всего камера была самая темная. Под потолком висела такая слабая лампочка, что не было возможности даже разобрать черты лица своего соседа.

Такая обстановка еще более усугубляла и без того тяжелое мое положение. Так прошла зима 1975 года. Поскольку в отличие от Савченко мне делали не три укола халоперидола в день, а только один, а другие два раза я получал таблетки, — то я сравнительно долго сопротивлялся приближающейся смерти. Несмотря на строгие приказы врачей проверять у меня во рту, спустя 3-4 месяца после приказа некоторые сестры отступили от этого правила. Одной из них оказалась Любовь Алексеевна. Однажды она приказала санитару поднять меня с койки и привести в сестринскую.

— Моей дочери задали перевод английского текста, а она — не может,— сказала мне Любовь Алексеевна. Я сделал над собой нечеловеческое усилие, сел и приготовился переводить. Однако, оказалось, что я не вижу. Халоперидол повредил мне глаза, которыми я гордился всю жизнь.

Теперь мне требовались очки. Сестра взяла очки у Муравьева и дала их мне. Кое-как я стал разбирать слова и с большим трудом все-таки сделал перевод. Сестра отблагодарила меня. На ближайшем приеме лекарств

вместо прописанных мне 8 таблеток халоперидола в моем стаканчике оказалось только 4 таблетки. Конечно, я не стал глотать и их, справедливо полагая, что теперь Любовь Алексеевна не будет смотреть мне в рот. Однако, с уколами дело обстояло много хуже. Сестры боялись друг друга и поэтому даже мои друзья, тихо проговорив «Извините меня!» вводили яд в мой организм. С каждым днем увеличивалось неуклонное и неотвратимое отравление моего организма. Боли, судороги и онемение пальцев рук и ног стали постоянными.

Весной произошел качественный скачок. Мой организм исчерпал все возможности сопротивления яду и у меня полностью атрофировалось мочеиспускание. Промучившись больше суток, я обратился к

медсестре. Дежурила Лидия Михайловна. Выслушав мою жалобу и выразив сомнение, она все же вызвала уборщика сестринской Медведева и велела ему взять у меня мочу катетером под ее руководством. Убедившись в том, что я сказал правду сестра рекомендовала мне обратиться к врачу. Березовская приняла меня под вечер.

— Нина Абрамовна, — сказал я, войдя в ординаторскую, — отмените мне, пожалуйста, халоперидол. У меня атрофировалось мочеиспускание. Сегодня у меня взяли мочу катетером. У меня также онемели пальцы рук и я не могу удержать даже ложку. Я не могу спать и не могу ходить. У меня плохо слушается язык во рту и я с трудом глотаю пищу. И я очень заторможен.

— А почему вы меня «главной фашистской сволочью» называете? — вдруг спросила меня Нина Абрамовна.

— Кто вам сказал такую глупость?

— Кто бы ни сказал, но это не глупость, а правда.

— Нет, это не правда. Вы сами знаете, что вы — не «главная» и я это тоже знаю. Хотя бы поэтому вы могли судить о том, что ваши доносчики все сочинили!

— Вы все и всегда отрицаете, Ветохин! Вы отрицаете, что меня «фашистской сволочью» назвали, вы отрицаете также, что собирались бежать из Советского Союза. Вы, наконец, отрицаете то, что вы — сумасшедший! Плохо ваше дело, Ветохин! Пока вы не сознаетесь во всем, никто вам лекарство не отменит! Это мое последнее слово!

Санитар, уведите!

Я сказал ей не о всех своих болезнях. Меня очень сильно мучила отрыжка желчью, которая началась с месяц назад. После каждой такой отрыжки я не знал куда деваться — так нехорошо было мне. Да и потом все время ощущался вкус желчи. Но говорить о болезни желудка было опасно. В два счета могли отправить в хирургическое отделение, а там без всякого моего согласия — сделать операцию. После операции, оперированные, как правило, отправлялись «в баню», а оттуда в ПИК-апчике — «на свободу».

Прошло еще несколько дней и я понял, что если ничего не изменится, то через неделю, максимум через две недели, со мной произойдет то же самое, что случилось с Савченко. Пока я еще мог соображать, хотя и с

трудом, хотя и медленно, я должен был найти выход. Равнодушие, предвестник близкого конца, как и тогда в 1942 году в блокадном Ленинграде, захватывало все мое существо. Несмотря на умственное оцепенение я старался решить вопрос: «что лучше: умереть, как гордый человек, ни в чем не уступивший своим палачам, или сделать им временную, тактическую уступку, которую потом отквитать сторицей?»

Тактика временных уступок противна моему характеру, всему моему существу, но другого выхода я не видел. Тем более, что в случае моей смерти умерло бы и то, что скопилось в моей голове за многие годы. А скопились у меня в голове «Размышления советского политзаключенного», которые несли в себе определенный заряд и рациональное зерно — я был в этом уверен. И они должны были быть доведены до сведения других людей.

Глава 48. Быть!

Глава 48. Быть!

Сильное истощение моего организма неожиданно сыграло свою положительную роль. «Нет худа без добра», — еще раз я убедился в этом, когда вынужденный пост помог мне обуздать свои страсти, т.е. пожиравшую меня ненависть к тюремщикам. Я смог взять себя в руки, спокойно проанализировать обстанов-

ку и холодным, рациональным умом, сделать заключение: «Мне осталось жить одну, максимум две недели...» Затем также спокойно и рационально я подумал: «Что произойдет, если я выполню требование палачей и признаю себя сумасшедшим? Разве от этого я фактически стану сумасшедшим? Нет! Разве этим я нанесу вред хоть одному человеку? Нет! Я только унижу себя. Но это — временно. Я смою с себя это пятно, как только выйду на свободу. Но то пятно, которое я брошу на коммунистических палачей, им будет никогда не смыть!»

После долгих и мучительных раздумий я попросил у сестры лист бумаги и написал то, что от меня требовали. Я написал, что признаю себя психически больным и признаю, что на почве болезни пытался в 1967 году бежать из Советского Союза в Турцию. Одновременно я одной фразой выразил осуждение своему преступлению и обещал больше не

делать попыток побега. Все это я написал страшными каракулями, так как пальцы мои едва держали ручку. Отдав заявление сестре для передачи врачам, я подумал: «Сейчас я предал себя. Теперь один только Бог знает мои истинные намерения и только Он может помочь мне».

Вечером мне укол делать не стали.

— Вам уколы отменили, — сообщила мне дежурная сестра.

Утром следующего дня, когда я пришел за таблетками, вместо 8 таблеток халоперидола мне дали всего одну таблетку трифтазина. По спецтюремным понятиям такая порция — почти ничего. Днем меня перевели из темной и мрачной 4-ой камеры в большую и довольно светлую камеру № 5, которая показалась мне почти «свободой». Вечером мне в ладонь снова упала таблетка трифтазина. Ее я не проглотил, а дежурная сестра не стала смотреть мой рот. Значит, специальные инструкции относительно меня, были теперь отменены. Вероятно мое заявление врачи восприняли как свою крупную победу и теперь сменили «кнут» на «пряник». Медленно, с большим трудом стал я возвращаться к жизни. Только через десять дней я начал вставать с койки и медленно прохаживаться по камере. Скованность и судороги прохо-

дили. Другие физические недуги — отпускали. Однако отрыжка желчью как будто даже усилилась. Политический Ларин, человек добрый и наблюдательный, заметил у меня постоянную отрыжку и вспомнил, что слышал на свободе:

— Вам нужны цитрусовые. Я думаю, что вам могут помочь только цитрусовые.

Если бы мне сказали, что мне может помочь только лунный грунт, доставленный на землю американскими астронавтами, это было бы то же самое. Кто мог прислать мне апельсины? Никто. Совершенно также, как и лунный грунт.

Еще через две недели я вышел на прогулку. На прогулке ко мне подошел Шостак и рассказал о своей беседе с Бочковской:

— Она сравнила меня с вами, — сообщил Шостак,— и сказала буквально следующее: «Ветохина мы решили на очередной комиссии выписать. Не отчаивайтесь — придет время, выпишем и вас!»

— Я думаю, что на этот раз они действительно меня выпишут, — ответил я.

По мере того, как скопившиеся в моем организме яды выходили из него, а новых ядов я не глотал, мой организм возвращался к сравнительно нормальному функционированию. Появился аппетит. Вполне естественно, что теперь мне необходимо было питание. А где его взять? Посылка, которую прислали родственники Муравьеву, была съедена. Теперь и он сам ел тюремные помои. Пойти работать на старое место, где кое-что перепадало — об этом нечего было и думать. На моем месте работал Виктор Ткаченко. Ткаченко без сомнения был здоровым человеком и пользовался благосклонностью администрации концлагеря. Поэтому, вплоть до выписки никакая сила уже не столкнет его с этой должности. А голод с каждым днем все сильнее и сильнее давал себя чувствовать. Скоро я уже не мог ни о чем думать, кроме как о еде.

И вот я решил попробовать, смогу ли я теперь, когда я признал себя психически больным, получить инвалидность, а следовательно и пенсию. Почти все уголовники

и некоторые политзаключенные такие как Завадский, Серый, Федосов — оформили инвалидность и получали пенсию. На пенсию можно было покупать кое-какие продукты в тюремном ларьке и добавлять их к голодному тюремному пайку.

Я составил письмо одной из моих знакомых по работе в Ленинграде, прося ее помочь мне достать документы для получения пенсии. Однако дальше ординаторской мое письмо не ушло. Прочитав его, Бочковская потребовала меня к себе.

— Мы не пропустили вашего письма, Юрий Алексан-рович, — заявила мне Бочковская и посмотрела на остальных врачей в ординаторской, которые приготовились слушать наш разговор. — Вы просите вашу знакомую, чтобы она начала хлопотать вам пенсию? Но, позвольте: за что вам пенсию? Не утруждайте напрасно свою знакомую! Никто не даст вам пенсию! Для того, чтобы получать пенсию, надо иметь инвалидность. **Но ни один состав комиссии ВТЭК никогда не даст вам даже третью группу инвалидности!**

— Но... — хотел я ответить на ее неприкрыто циничное высказывание.

— Никаких «но»! Выкиньте из головы всякие мысли о пенсии!

Я очень хорошо понял смысл этого спектакля. Бочковская пользуясь случаем решила подчеркнуть, что она никогда не считала меня

психически больным человеком, а в течение многих лет добивалась того, чтобы я признал себя таковым с единственной целью: сломить меня морально. И теперь она это подчеркивала: вы, мол, сдавшийся человек, сломленный человек, не выдержавший пыток, но отнюдь — не больной и я не позволю вам даже для приличия считаться больным!

***

Я продолжал страшно голодать. И когда я сам никакого выхода из этого положения не нашел, вдруг выход мне подсказал Витя Дьяченко, с которым я раньше играл в шахматы.

— Идите работать официантом в раздаточную, — предложил Витя. — Там хоть баланды вволю наедитесь. И свободу ходить по коридору получите. Опять играть в шахматы будем.

Витя уже несколько лет работал официантом и хорошо знал эту работу. Пришлось опять спрашивать разрешение у врачей. В это время в раздаточной как раз не хватало человека и врачи разрешили. Я приступил к новым обязанностям. В мои обязанности входило: на завтрак наливать в общий бак кипяток из кипятильника и накрывать на столы селедку или тюльку (предварительно разделив ведро тюльки на 300 человек).

В обед я разливал по кружкам компот и разносил эти кружки по столам.

В ужин я разносил по столам кружки с молоком (когда оно было) или кружки с сахаром, когда молока не было, а также клал в каждую тарелку с кашей 7 (семь) грамм творога, когда он был. Кроме того, я должен был за каждой сменой убирать 4 стола. Перед началом раздачи я ходил вместе с другими официантами и дежурными больными в подвальное помещение, где помещалась кухня, за термосами с пищей. Работа была посменная: день работать, день — отдыхать. Витя оказался прав: работая в раздаточной, я стал получать больше и гуще баланду. Кроме того, изредка доставалась диетическая каша или кусочек мяса. Вольная санитарка, контролировавшая нашу работу, иногда давала официантам по лишней кружке обрата.

Санитары снова стали «уважать» меня. В моих руках оказались важные продукты: компот и селедка. Селедку ни я, ни Муравьев никогда не ели и я мог отдавать ее другим. Кроме того, я мог взять несколько лишних порций из бочки, когда сам накладывал в ведро. Поэтому санитарам я селедку давал, если они просили. Компот испокон веков разливался так, чтобы оставалось для санитаров. Наевшись разных домашних

продуктов, которыми их угощали больные, санитарам хотелось выпить компоту. Я снова стал ходить по вечерам в рабочую камеру, играть с Витей в шахматы. Витя Дьяченко остался моим единственным другом в отделении: Му-

равьева и Чиннова выписали, причем Чиннову перед выпиской сделали 2-ю группу инвалидности и родители взяли его на поруки. Муравьева увезли в Донецкую психиатрическую больницу. Оттуда он писал мне письма, но врачи эти письма мне не передавали. Освободили также и Шостака и разрешили ему уехать в Израиль.

***

23-го сентября 1975 года состоялась очередная комиссия по выписке больных. Она прошла как по нотам. Профессор Блохина спросила меня:

— Как вы себя чувствуете?

— Спасибо, хорошо.

— Больше вам не кажется, что вас пытают?

— Нет, меня лечат.

— А где вы находитесь: в больнице или в тюрьме?

— В больнице.

— А почему вы раньше называли больницу концлагерем?

— По болезни.

— А сейчас тоже больны или выздоровели?

— Выздоровел.

— Можете идти.

Уходя, я заметил, какие довольные улыбки были на лицах у зрителей этого спектакля: у Катковой, Бочковской, Березовской и др.

Они уже думали, что сломили меня, что им удалось меня «перевоспитать». Теперь они были уверены, что я напуган на всю жизнь и всегда буду видеть «новое платье на коммунистическом короле», даже когда этот король совершенно голый. Но они просчитались...

Уходя я думал: «Ничего! Смеется тот — кто смеется последним! Я еще оправдаю все! Я смою с себя это пятно!»

Когда на следующий день Нина Абрамовна вызвала меня в ординаторскую и «по секрету» сказала, что комиссия выписала меня, это известие не явилось для меня неожиданностью. Она добавила, что решение комиссии пойдет сперва на утверждение в суд, а после суда в КГБ.

— Так что работайте спокойно, еще долго ждать. И никому не говорите о том, что я вам сказала.

Небольшому числу политзаключенных я все же сообщил о выписке. — Будьте осторожны на свободе, — предупреждали меня они. — Целый год агенты КГБ будут ходить за вами по пятам, да и потом тоже из вида не выпустят.

«Если раньше, до тюрьмы, я никого не посвящал в свои планы, то теперь-то и подавно», — подумал я. — «Надо вообще не показывать вида, что у меня есть какие-то планы». Саша Полежаев, которому я сообщил о своей выписке, сказал мне:

— Недавно, как ты знаешь, уехал за границу Шостак. Только вряд ли он поможет мне чем-нибудь, хотя я и просил его об этом. Вот если бы ты попал на Запад!

Единственно, что я начал готовить к своему отъезду, это сетку. Теперь мы вязали сетки в подвале нового здания, верхние этажи которого были заняты под кабинет Прусса, кабинеты его заместителей и под различные офисы. Санитары приводили нас в подвал около 8 часов утра. Мы рассаживались на скамейки и вязали сетки целый день при электрическом свете, так как окошки были маленькие и не давали достаточно света. Сделавшись официантом, я мог ходить на сетки только через день. Во время общего вязания стандартных сеток я стал вязать особую сетку — большого размера и с очень длинными ручками. Эту сетку я придумал во время своих многолетних размышлений о побеге. В нее я собирался уложить надувной матрац, парус, продукты питания и другие необходимые в море предметы. Длинные ручки сетки я собирался надеть себе на шею через голову, и саму сетку приспособить на животе и специальными тесемками привязать в обхват туловища, за спиной. Так я мог бы плыть долгое время. Вряд ли кто-нибудь мог догадаться об истинном назначении этой моей сетки. Инструктор трудотерапии увидев, что я вяжу не стандартную сетку, подошла ко мне с вопросом. Я тихо объяснил ей, что комиссия меня выписала и я вяжу сетку для своих вещей, ибо мой рюкзак на тюремном складе украден.

Она была удовлетворена ответом.

***

Потянулись долгие дни и месяцы ожидания. Уголовники, выписанные одновременно со мной 23-го сентября, уехали через один, максимум через два месяца. Потом состоялась еще одна комиссия — для другой группы больных. На ней тоже выписали нескольких больных. Прошло время, и эти уехали тоже. А я все ждал решения суда и КГБ. Прошла осень и началась зима. Всю зиму я работал официантом, а в свободное время вязал сетки, чтобы заработать хоть немного денег к освобождению.

В первых числах марта 1976-го года я заболел. Меня, потного, продуло из открытого окна, когда я накрывал столы в столовой. Я слег в постель и Бочковская поставила диагноз «грипп» (коммунистические врачи любую болезнь называют гриппом). На самом деле моя болезнь оказалась намного серьезнее. Когда заболевали другие официанты, то их не «увольняли», наоборот, их всячески подкармливали. Оставив у себя халат, они перед каждым приемом пищи одевали его, как пропуск, и шли в раздаточную, где и ели. Раза два также поступил и я. Однако скоро ко мне в камеру пришла все та же Лаврентьевна и сказала:

— Не работаешь — отдай халат!

— Но я буду работать опять, как только поправлюсь, — ответил я.

— Ничего не знаю! — возразила Лаврентьевна. — Приказ врачей.

Лишившись халата, я тем самым лишился и «пропуска» в раздаточную и, следовательно, лишился добавки, которую давали официантам.

Для меня снова наступил голод. Даже будучи больным воспалением легких, а вовсе не гриппом, я сильно ощущал этот голод и вновь перед моим мысленным взором замелькали миски с кашей, с картошкой и тому подобные «деликатесы».

Отвлечься от голодных мыслей меня заставил вызов к врачам. В ординаторской, кроме врачей находился молодой офицер из охраны тюрьмы.

— Очевидно, скоро придут из суда ваши документы, — сказала мне Бочковская,— а ехать вам не в чем, вещи ваши украдены. Пойдите сейчас в склад вместе с лейтенантом и выберете себе там что-нибудь из

одежды.

Мы вышли. В складе сперва отыскали и выбросили прямо на грязный цементный пол те мои вещи, которые воры посчитали слишком старыми и потому не взяли. Я вновь увидел свое зимнее пальто и зимние ботинки, купленные 20 лет назад. Оказалась не украденной меховая шапка из-за сильной ее потертости, а также свитер, фланелевая рубашка и рваное шерстяное белье, чему я больше всего обрадовался. Украдены были костюм, рюкзак, две пары белья и рубашка.

Кладовщик по распоряжению лейтенанта принес мешок с вещами умерших. Мало того, что все вещи были сальные, грязные и скомканные, но главное — все они были маленьких размеров. Перебрав все, я отложил в сторону 2 пары белья и рубашку, но остального найти не мог. Тогда лейтенант отложил сам пиджак маленького размера, рваные брюки и простой черный мешок вместо рюкзака.

— Придется довольствоваться тем, что есть, — сказал он. — Низ и рукава пиджака я велю выпустить.

Оставив все вещи в складе, мы вернулись в отделение. В отделении лейтенант продиктовал мне расписку такого содержания: «...Я, Ветохин Ю.А. даю настоящую расписку в том, что все свои вещи получил полностью и никаких претензий не имею».

Я подумал о том, что произойдет, если я не подпишу, пожалел свои нервы и спокойствие — и подписал. А кроме того я чувствовал высокую температуру и слабость и стремился скорее вернуться в койку.

Не выдержав мук голода, я решил 18-го марта, когда началась отоварка нашего отделения в тюремном ларьке, также отовариться. До сих пор я берег как зеницу ока семьдесят с небольшим рублей, заработанных плетением сеток. Я знал, что после выхода из тюрьмы мне никто не поможет. Я купил в ларьке масла, сахару, пряников и две банки рыбных консервов.

Когда я вернулся в отделение, держа в руках продукты, сестра сказала:

— Ветохин, на ренген!

Не могла она сказать об этом на полчаса раньше! Я бы не потратил денег на ненужные теперь продукты!

Глава 49. Отъезд из спецбольницы

Глава 49. Отъезд из спецбольницы.

Через два дня «Справка об освобождении» с моей фотокарточкой была готова и меня в последний раз вызвали в ординаторскую. Все врачи были в сборе. На письменном столе Бочковской, как всегда, стояла ваза с цветами. Когда я сел на предложенный стул, разговор начал самый глупый, в данном случае врач-ординатор, он же парторг спецбольницы майор Халявин.

— Юрий Александрович, — заговорил он торжественно. — Сегодня вы от нас уезжаете. Вероятно другие... (он помялся, пожевал своими толстыми губами)... другие **государственные преступники** будут предлагать вам взять с собой какие-нибудь письма или записки. Не надо! Не берите! Имейте в виду, что на выходе вас будут тщательно обыскивать. Не надо! Не берите никаких писем!

Затем заговорила Нина Абрамовна Березовская:

— Если бы вы не дружили с Муравьевым — вас бы выписали раньше, — вот главное, что содержалось в ее речи.

Слова Бочковской, как всегда высокопарные и заставлявшие меня подозревать, что она больна манией величия, я запомнил хорошо.

— Юрий Александрович, — солидно и убежденно начала она. — Во-первых, запомните, что ваша выписка — это случайность. Просто вам повезло. Я хочу предупредить вас, чтобы вы остерегались попасть сюда еще раз. По выходе из больницы вы опять встретитесь со своими старыми товарищами-антисоветчиками, забудетесь и будете вести себя по-старому. А раз так, то неминуемо попадете сюда снова. Но помните: сюда ведут ворота широкие, а выход отсюда — очень узкий. Для вас же, если попадете еще раз — не будет уже никакого выхода.

— И еще, — продолжала Бочковская, — пусть не будет для вас сюрпризом, что ни инженером, ни кем либо другим, кроме рабочего, вас на работу теперь не примут.

— Об этом я не беспокоюсь, — вмешалась Березовская. — Ветохин способен работать на любой работе.

— Тогда все, — заключила Бочковская. — Деньги, которые вы заработали на сетках, сопровождающая вас сестра передаст администрации

вольной психбольницы, от кого вы их и получите после выписки. Еще раз желаю вам больше сюда не попадать.

Я попрощался и вышел.

Потом я попрощался с больными своего отделения и в сопровождении двух старших сестер покинул тюрьму. В последний раз я прошел мимо нового тюремного здания, в одном из помещений которого повесился мой друг Ведров. Строительный мусор вокруг здания был уже убран и новое здание из светлого кирпича выгодно отличалось своей чистотой от других, потемневших от времени темно-красных корпусов. Я уже знал, что было начато строительство еще одного корпуса спецбольницы. Этот второй новый корпус должен был удлинить среднюю черточку в Е-образной форме нашей тюрьмы. Я оглянулся, чтобы посмотреть на него, но копать котлован только еще начали и я ничего не увидел.

— Ой! Зачем вы оглянулись!? Этого нельзя было делать! Плохая примета! — в один голос закричали сестры, — Да еще надзирателю сказали «До свидания!»

— Я — верующий, но не суеверный, — ответил я. — Это вы суеверные. Вы поднимаете панический крик, если кто-либо засвистит в помещении или, как я теперь, — оглянется на тюрьму.

«Суеверие и атеизм — как брат и сестра», — подумал я про себя. А оглянулся я для того, чтобы лучше запомнить это место. Мысли мои были не о свободе, не о построении семейного очага и т.п., а о борьбе с коммунизмом.

На трамвае мы приехали на вокзал и там некоторое время стояли в зале ожидания. Наконец, объявили посадку. Когда мы подошли к вагону, на котором было написано «Днепропетровск-Ленинград» и сели в этот вагон,

я, наконец, поверил в то, что меня действительно везут в Ленинград. До того времени я не очень этому верил, помня, как 8 лет назад Бочковская грозила мне, что после освобождения «ни в каком крупном городе жить мне не разрешат».

Мы, все трое, поместились в купэ. Сестры, перед отъездом получившие инструктаж у начальника спецбольницы, в дороге пытались спрашивать меня о моих планах после освобождения. Однако я сделал вид, что читаю книгу, и в беседу не вступал. Ночью сестры спали поочередно, да

и днем никогда не оставляли меня одного.

Через два дня поезд пришел в Ленинград. Сестры сдали меня под расписку в областную психбольницу. Оттуда меня перевели в районную психбольницу на Пряжке. Ничто там меня не волновало, кроме заботы о целости шерстяного белья: я уже мысленно готовился к новому заплыву. Я настоял, чтобы кладовщица записала в квитанции: «шерстяное белье» и не напрасно — подменили бы! Перчатки, которые я не вписал в квитанцию, там у меня украли.

Первое, что меня поразило в вольной психбольнице — это мат, который буквально «висел в воздухе». И мат исходил не от больных, а от персонала. Нередко случалось, что старшая медсестра становилась в одном конце коридора, а другая сестра — в другом конце, и они начинали разговаривать (не ругаться, а именно разговаривать) исключительно матом, да еще таким скверным, какой я и в тюрьмах-то слышал не часто.

Один больной сказал старшей сестре:

— Как вам не стыдно? — и тут же был лишен прогулки. Однако больших прав в вольной больнице сестра не имела. В вольной больнице больных не били, сильных ядохимикатов не давали и кормили на 97 копеек в день.

Заведующая отделением, куда я попал, оказалась порядочной женщиной. Побеседовав со мной, прочитав сопроводительное письмо и взяв анализы, она категорически заявила:

— Вы ничем не больны, кроме воспаления легких, которое заканчивается, и никогда ничем не были больны. Однако, она тут же добавила, что хотя лечить меня и

не собирается, но выписать тоже не может, так как «суд снял с меня спецлечение, но оставил принудительное лечение». Принудку можно будет снять через Ленинградский суд только через 6 месяцев. А на это время она посоветовала мне пойти чернорабочим на больничную кухню, где повара помогут мне восстановить силы после тюрьмы. (Ее преждевременно уволили на пенсию за доброжелательное отношение ко мне и другим политическим, находившимся в ее отделении).

Узнав о том, что меня освободили из тюрьмы, посмотреть на меня пришел мой сосед по квартире, коммунист Хмиров. Поговорил о том, о сем и вдруг задал вопрос:

— А деньги вам вернули, Юрий Александрович?

— Какие деньги? Ах, да — 50 рублей? Вернули.

— Нет, не 50 рублей. Следователь мне говорил, что у вас нашли 5000 рублей!

— Не было у меня никогда в жизни таких денег!

— А следователь говорил: были! — пожал плечами Хмиров. Под конец визита, Хмиров, заикаясь, сообщил мне:

— Мы вашу комнату... того... в кухню переделали... А ваши вещи в комнате... моль съела. Ну, а стол, стулья, диван мы в домоуправление на хранение сдали.

Я был настолько поражен его словами, что ничего ему не ответил, а он торопливо попрощался и ушел.

Мне сделали комиссию немного раньше срока и сразу направили ходатайство в суд. Ровно через 6 месяцев после моего поступления в вольную больницу суд освободил меня от принудительного лечения. В тот же день меня выписали.

Часть 5. СВОБОДА ОБЩЕГО РЕЖИМА

Глава 50. Грустная радость

« Кого позвать мне?

С кем мне поделиться

Той грустной радостью,

Что я остался жив?»

(Сергей Есенин)

Глава 50. Грустная радость.

Подобно Дантову аду с его «кругами», ГУЛАГ тоже делится на части. Эти части отличаются одна от другой как тяжестью принудительного труда, качеством и количеством пищи, так и степенью оставленной заключенному свободы. Они имеют такие названия:

Психиатрическая больница специального типа.

Крытая тюрьма.

Лагерь особого режима.

Лагерь строгого режима.

Лагерь усиленного режима.

Лагерь общего режима.

Но и для так называемых «свободных советских людей» жизнь в Советском Союзе тоже имеет жесткие ограничения. Эти ограничения распространяются на свободу слова, печати и собраний, свободу получения информации, свободу выбора места жительства и места работы и свободу поездок за границу. Поэтому я приравниваю жизнь «свободных советских людей» к жизни заключенных ГУЛАГ-а и ту часть книги, которая посвящена описанию этой жизни, называю согласно тюремной терминологии — «свободой общего режима».

15 сентября 1976 года я вновь оказался на «свободе общего режима», но в сердце моем не было никакой радости. Выйдя из больницы, я прошел несколько безлюдных

кварталов пешком.

Когда навстречу мне стали попадаться люди, я почувствовал себя неловко. На мне был грязный и мятый костюм, на ногах — зимние ботинки, несмотря на теплую погоду, а за плечами болтался черный вещевой мешок, с каким приезжают в Ленинград бедные колхозники из дальних деревень. В то же время я знал, что на колхозника я не был похож и думал, что прохожие будут смотреть на меня с опаской и подозрением, как на бродягу. Поэтому я сел в первый попавшийся автобус. Но и в автобусе и на улице Чайковского, когда я вышел из него, никто не обращал на меня внимания. Все куда-то спешили: одни с кошелками шли за покупками, другие — домой, третьи — к пивным ларькам, где уже стояли длинные очереди. Никому до меня не было дела. Я подошел к красивому старинному особняку, где помещался Исполком Дзержинского района, и вошел внутрь.

На первом этаже никого не было. Я поднялся на второй этаж, прошел мимо отдела ЗАГС, где 25 лет назад был зарегистрирован наш брак с Татьяной, и увидев табличку на одной из дверей: «Сегодня посетителей принимает зам Председателя Исполкома тов.» постучался в дверь.

— Войдите! — раздался женский голос из-за двери. Я вошел в кабинет, менял с плеч свой вещевой мешок и сел в предложенное кресло. Потом я сказал пожилой женщине, сидевшей напротив:

— Моя фамилия Ветохин. До ареста я жил в вашем Дзержинском районе по адресу: улица Салтыкова-Щедрина 8 квартира 64. Теперь, спустя 10 лет, я вернулся, но моя комната оказалась переделанной в кухню и мне негде жить. Я слышал по радио, что жилплощадь сохраняется за теми лицами, кто находился в больнице. А я тоже все это время был в больнице, так называемой психиатрической больнице специального типа, и потому я не потерял право на свою комнату или другую комнату взамен моей.

Я вынул из кармана «записку об освобождении», которую мне оформили еще в Днепропетровске, а выдали только сегодня, и положил ее на стол. Женщина прочи-

тала «записку» и начала звонить по разным инстанциям. Это продолжалось около часа. Я терпеливо ждал. Наконец, она сказала мне свое решение:

— Вас временно поселят в комнату из маневренного фонда. Идите сейчас в райжилотдел и получите там ордер.

Случилось так, что в тот день в маневренном фонде числилась сравнительно неплохая комната около 13 м. кв. на углу Инженерной и Садовой улицы. Когда я пошел туда с ордером, то обнаружил, что мой дом принадлежал к ансамблю Инженерного замка (бывшего Михайловского дворца). По-видимому, в этом доме раньше жили царские слуги и он был сделан хорошо и добротно. Коммунальная квартира имела 4 комнаты, в которых жило 4 семьи. Я занес вещмешок в свою комнату, где на мое счастье оказался стул.

Я сел на этот единственный стул и повторяя про себя время от времени старую русскую поговорку: «за одного битого двух небитых дают!» стал строить планы на будущее. Задачи мои по сравнению с 1961 годом, когда я только приступил к подготовке побега, мало изменились. По-прежнему передо мной стояла проблема выбора оптимального района побега. Теперь я особо выделял моральную подготовку. А самой главной задачей было: вернуть к жизни и модифицировать мой главный движитель в побеге — меня самого, то есть: поправить здоровье и снова вернуть себе спортивную форму, чего бы это ни стоило.

Затем я встал, вышел на улицу, и по Невскому направился к Московскому вокзалу. У входа в вокзал, как и 10 лет назад, стояла будка с надписью «Ленгорсправка». Я заплатил женщине в окошке положенные копейки и заполнил два бланка: на имя Иры Бежанидзе и Игоря Ефимова.

— Подождите несколько минут, — сказала женщина и стала куда-то звонить. Скоро она сообщила мне:

— Ирина Бежанидзе поменяла фамилию...

— Игорь Ефимов в прошлом месяце эмигрировал в Израиль...

Я поблагодарил женщину и медленно пошел к трамвайной остановке. По пути мне встретилось несколько человек, похожих на Иоанновича — таких же смуглых, с усами, со смелым взглядом и осанкой спортсменов. Потом я узнал, что это были сирийские офицеры в штатском. Трамвай привез меня на улицу Салтыкова-Щедрина, неподалеку от которой раньше находилась одна из четырех действующих в Ленинграде церквей, с красивым забором из стволов старинных орудий . К счастью, она продолжала работать и теперь. Я вошел в церковь, и поставив свечку, стал благодарить Бога за чудо моего освобождения. Я молился и я просил Его не оставить меня и теперь и дать мне силы и сообразительность для планирования и успешного выполнения побега. Знакомая обстановка храма, знакомые и любимые с детства церковные песнопения, неторопливая служба и спокойные, добрые лики святых на иконах подействовали, как бальзам, на мою душу. Огорчение и неуверенность исчезли, мысли прояснились и весь мир показался прозрачнее.

Выйдя из церкви, я повернул направо, к дому, где раньше жил мой приятель, доктор Николай Александрович Пущин. У меня все время ощущались боли в сердце и отрыжка желчью и я хотел, чтобы доктор, которому я доверял, осмотрел меня.

« Только живет ли он еще здесь? Ведь прошло 10 лет!» — думалось мне. Оказалось, что доктор по-прежнему жил в этом доме и по счастливому стечению обстоятельств вся семья была в сборе.

— Юрий Александрович! — обрадовался мне доктор. — Наконец-то мы видим вас! Мы часто вас вспоминали, где вы? И, наконец, мы решили, что вы разгуливаете где-нибудь в Лондоне или Париже!

«Как они догадались о моих мыслях и намерениях? Я ведь никогда не

посвящал их в свои планы!» — подумал я.

Меня провели в гостиную и, пока накрывали на стол, продолжали засыпать вопросами, где я был?

— В тюрьме? В психконцлагере? — ужасно удивились они. — Уж не вместе ли с Шостаком?

— Да, вместе, — отвечал я.

— Неужели там был такой ужас, который описал он по «Голосу Америки»?

— Еще хуже! Он мало находился там и не все знает!

— Ну, садитесь и расскажите нам обо всем!

Во время моего повествования все члены семьи с неподдельным интересом и явным сочувствием следили за картиной, которую я представлял им.

— А вы их ужасно ненавидите! — заметил Николай Александрович о коммунистах, когда я кончил рассказывать.

— Это естественно, — ответил я.

— Что вы теперь намереваетесь делать?

— Прежде всего, я хочу знать, что осталось от моего здоровья после пыток и голода, т.е. я хочу знать, что у меня в активе. Потом уже я могу намечать какой-то план.

— Хорошо, — сказал Николай Александрович, — сделаем так: вы позвоните мне завтра утром и я скажу вам, где и когда я приму вас для медицинского освидетельствования. А сейчас давайте пообедаем вместе!

Пододвинув к себе тарелку вкусно пахнущего супа, я невольно вспомнил бульон, который ел на больничной кухне, и с энтузиазмом поделился своим везением с гостеприимными хозяевами:

— В Ленинградской больнице я работал рабочим на кухне и повара каждый день давали мне тарелку мясного бульона! Настоящего мясного бульона! Даже не разведенного кипятком! Какой у него запах — у мясного бульона! И какой он наваристый! Вы понимаете, что значит этот бульон для моего организма! Я, мелко нарезав большую луковицу, клал в бульон и ел... и я чувствовал, как силы возвращались ко мне. Я никогда

не знал, что мясной бульон имеет такую...

Тут я осекся и замолчал, заметив, наконец, что доктор смотрел на меня как-то странно, а его жена принесла с кухни и положила в мою тарелку огромный кусок вареного мяса, грамм на 400... «Я теперь для них — пришелец из другого мира, — осознал я свое положение, — мой опыт встал между нами. Мы больше не можем быть равными, не можем быть друзьями».

Пообедав, я встал и начал прощаться. Доктор помог мне одеться в прихожей и мы простились по-дружески. На следующее утро я позвонил доктору из автомата. Николай Александрович взял трубку и виноватым голосом ответил:

— Извините меня, Юрий Александрович, пожалуйста! Такая оказия! У меня одолжили стетоскоп и я без него, как без рук! Позвоните мне в другой раз: дня через два или три!

— Хорошо, — сказал я и повесил трубку.

Про себя я подумал: «Все ясно, как день — человек испугался!» Как это ни горько, но не было для меня новостью и я пошел искать тех, кто не испугается, что я — бывший политзаключенный, а наоборот, примет это, как лучшую рекомендацию. Я имел в виду явку, которую Юрий Белов дал мне в институте имени Сербского, еще в 1968 году. Явка была на Васильевском острове. Я проехал на трамвае до Кировского моста, а дальше пошел пешком.

Я шел и с пристрастием смотрел на знакомые улицы, где заметно прибавилось мраморных досок с такими надписями: «Здесь жил Ленин», «Здесь скрывался Ленин» или «Здесь бывал Ленин». Почему-то таких досок не было на общественных туалетах — не додумались еще! Я зашел в разные магазины и обнаружил, что в них, как и 10 лет назад, существовал дефицит продуктов и товаров первой необходимости. Меня озадачила очередь в канцелярский магазин длиной в целый квартал.

— За чем очередь? — спросил я.

— За туалетной бумагой, — ответили мне. Не менее странной показалась мне очередь в ювелирный магазин.

— За чем очередь? — снова спросил я.

— Еще точно не знаем, — ответила мне женщина, смахивающая на

пивную торговку. — Говорят, что сегодня будут давать золото.

— Какое золото? — удивился я.

— Любое! — с раздражением уже ответила мне пивная торговка. — Может, выбросят золотые часы, а может — кольца!

Я пошел дальше и на одном заборе увидел рекламу. Она приглашала в «Путешествие из зимы в лето». Я прочитал рекламу полностью и вспомнил свое путешествие по такому же маршруту в 1966 году, свой страх перед акулами и потерянную возможность побега около Манилы. «Уж теперь бы я не струсил! — подумал я. — Но теперь у меня нет денег на эту путевку». Все же я решил при случае зайти в Бюро Путешествий и получше разузнать насчет этого маршрута.

С явкой мне тоже не повезло. Когда я нашел дом на Васильевском острове, номер которого я боялся записать и твердил на память в течение восьми лет, то он оказался на капитальном ремонте. Я обошел вокруг остова дома, посмотрел в его пустые глазницы, уже без рам, и медленно, сразу обессилев, двинулся к трамвайной остановке. «Вечен только Бог! Реальная надежда — это только надежда на Бога!» — думал я, стараясь рассеять разочарование и вернуть себе бодрость духа. Я сошел с трамвая на Инженерной улице, поднялся в свою квартиру, прошел в свою комнату и сразу лег на пол спать. Кровати у меня не было. Слава Богу: я мог уснуть, когда мне бывало плохо, и во сне ко мне возвращалась бодрость.

Глава 51. Один день грузчика столовой

Глава 51. Один день грузчика столовой.

Как всегда, я проснулся без будильника. Сказывалась многолетняя тюремная привычка — рано вставать. Зажег самодельную настольную лампу и она осветила развешанную с вечера на гвоздях вдоль стен мокрую от пота и грязи одежду. В комнате было холодно. Я потрогал рукой трубы парового отопления — оно почему-то опять не работало. Два окна моей комнаты смотрели на север и северный ветер выдул все тепло. С сожалением я вспомнил теплую комнату из «маневренного фонда», из которой меня недавно переселили в мой теперешний дом № 52 по улице Маяковского. В теплую комнату я попал случайно, по

ошибке.

Однако такой комфорт продолжался всего несколько месяцев. Однажды мне пришла повестка, в которой гово-

379

рилось, что я должен немедленно освободить «маневренную» комнату. Взамен мне предоставлялась постоянная комната. Новая комната уже не была результатом ошибки. Она представляла собой «нормальное советское жилье» и находилась в коммунальной квартире, состоящей из 10 комнат, в которых жило 10 семей. В квартире было так много жильцов, что я так и не запомнил как их всех звали, однако — только одна кухня и один туалет. В кухне даже не вмещались столы для всех 10-ти семейств, а в ванную и туалет в часы пик выстраивались очереди, как в магазине за селедкой.

380

Зная об этом, я поспешил встать в очередь, пока еще не все жильцы проснулись. После бритья и мытья я стал одеваться на работу. Я снял с гвоздей нижнюю рубашку и верхнюю фланелевую рубашку и надел их на себя. Обе они прошли со мной все тюрьмы и вот теперь, заштопанные и залатанные, продолжали еще служить мне. Муравьев бывало, говорил мне: «Как только освобожусь — сожгу всю одежду, которая была со мной в тюрьме». Я такую роскошь не мог себе позволить. Где я возьму другую одежду, если сожгу тюремную? На 60 рублей в месяц — оклад грузчика в столовой, — не разгонишься! И брюки я надел тоже тюремные, те самые, что остались

381

от какого-то умершего заключенного и были отданы мне взамен моих украденных. Я ушил их сзади прямо через край, а на коленях и внизу поставил заплаты. Ничего — сойдет! Сверху рубашки я надел куртку и засаленный ватник, выданные мне в столовой, как спецодежда, а поверх их «для приличия» — старый-престарый, во многих местах зашитый, плащ-болонью. На голову я натянул чепчик от болоньи.

«Завтра — среда, наш выходной, да к тому же — женский праздник - 8 марта! — подумал я. — Дадут паек!» — и я сунул в карман болоньи ту самую сетку, которую связал в спецбольнице. Затем закрыл дверь своей комнаты на ключ и вышел из квартиры.

Уличные часы показывали 7:50, когда я пришел на работу. Моя столовая № 1 Треста Столовых Дзержинского района, где я теперь работал, находилась близко от угла Литейного проспекта и улицы Белинского. На

эту работу я был направлен инспектором Бюро по трудоустройству, этого введенного в обиход в мое отсутствие суррогата Биржи Труда. Когда милиция на основании Справки об освобождении из мест заключения выдала мне Справку об утере паспорта., которая позволяла устраиваться на работу, я сразу пошел в такое Бюро, ибо для освободившихся из заключения это было обязательно. Я очень торопился устроиться на работу, ибо мне было нечего есть и никто не собирался помочь мне. Правда, один человек приходил ко мне от имени диссидентов и спрашивал, нужна ли мне материальная помощь от Солженицынского или какого-то еще фонда и хочу ли я встретиться с ленинградскими диссидентами? Я ответил, что помощь нужна, а диссиденты — нет. После этого никакой помощи я не получил.

Ближайшее Бюро по трудоустройству находилось на Невском проспекте. Когда я пришел туда, там стояла очередь. Прождав около 2-х часов, я, наконец, вошел в кабинет к аппаратчику. Аппаратчик оказался пожилым человеком с манерами чекиста. Посмотрев на мой диплом, на трудовую книжку с длинным перечнем инженерных должностей, и более внимательно — на справку об освобождении из тюрьмы, аппаратчик быстро и уверенно

выписал мне направление на работу... грузчиком. К счастью, я уже выполнял работу грузчика при столовой вольной психбольницы и поэтому такое назначение не испугало меня своей тяжестью. Моральная сторона дела меня мало беспокоила. «Это только до лета! — подумал я. — А там, как только вода в Черном море достаточно нагреется, я совершу побег на Запад!»

Складские помещения нашей столовой располагались в подвалах жилого дома, в проходном дворе. Я вошел в этот двор, миновал набросанные прямо на дороге ящики из-под картошки и металлические мясные лотки, и вошел с черного хода в служебный коридор столовой. Направо от входа находился загороженный фанерой закуток, в котором раздевались грузчики. Оттуда вышел Володя. Мы поздоровались. Володя — грузчик и мотоциклист. На своем грузовом мотоцикле с коляской он ездил по складам и базам и получал там разные дефицитные продукты, о выписке которых удавалось договориться по телефону кладовщику или директору столовой. Поскольку эти продукты на складах грузил он сам, то ему доплачивали «за грузчика» что-то около 20 рублей в месяц. Работа у Володи была блатная. Половина перевозимых им продуктов были «левые» или же

выданные по блату. Поэтому он имел небольшую долю в этих махинациях. Держал он себя по отношению к другим грузчикам покровительственно и каждый день к вечеру бывал пьян. Я вошел в закуток, быстро скинул с себя «болонью», поддел под ватник длинный фартук грузчика и пошел к кладовщику. Конторка кладовщика находилась в маленьком помещении под аркой. Там стоял большой холодильник, в котором хранились мясные и молочные продукты, и письменный стол. Рядом с письменным столом были установлены большие весы. Маленькие весы находились на самом столе. За холодильником были сделаны полки, на которых лежали конфеты, печенье, чай и кофе. Кладовщик, усатый пожилой человек в белом халате с курчавыми черными волосами на голове, чем-то похожий на Сталина, сидел за письменным столом, а его кожаное пальто висело на гвозде, прибитом к стенке. Тут же стояла лопата, аккуратно завернутая в газету и перевязанная бечев-

кой: в предвыходные дни кладовщик ездил на свою дачу прямо с работы. Лопату он приготовил, чтобы на даче разгребать снег. Руководящий повар, приблатненный молодой мужчина в засаленном ватнике поверх белого халата стоял у стола и что-то шепотом говорил кладовщику. На больших весах лежали металлические лотки с мясом, которые уже носили два грузчика: Сергей и Коля-Глухой. Я поздоровался и включился в работу. После мяса мы подали на кухню овощи, молоко и крупу, вынесли из коридора скопившуюся там тару и пошли завтракать.

— Не могу есть, не опохмелившись! — пожаловался мне Сергей. — Дай в долг 40 копеек: пойду выпью пива в ларьке!

Я дал и он ушел. На завтрак была каша с котлетами, чай и бутерброд. Кашу с котлетами я съел, чай выпил, а бутерброд завернул в газету и оставил, как всегда на ужин. Его я съедал вечером, когда приходил домой.

После завтрака мы с Колей-Глухим повезли в Домовую Кухню овощи. Тележка была тяжело нагружена: 12 ящиков картошки, 2 клетки капусты и еще Коля стал грузить лотки со свежей треской.

— Ну, куда ты грузишь? Мы же не лошади! — прокричал я ему в ухо.

Однако Коля только подмигнул мне в ответ. «Значит задумал стащить рыбину»,— подумал я и не стал ему мешать. Погрузив и треску, мы с Колей ухватились за ручки тележки и стали ее толкать со двора. 400

килограммовая поклажа со скрипом двинулась в подворотню, а потом — на Литейный проспект, где кишмя кишело народу и со всех сторон двигался транспорт. Домовая Кухня была на противоположной от нас стороне Литейного, направо от улицы Некрасова. Мы повезли наш груз прямо на поток транспорта и, неприятно действуя на нервы, тормоза заскрипели в непосредственной близости от нас. Моргая фарами, пыхтя моторами и неистово матерясь, водители всячески торопили нас, но колеса телеги зацепились за рельсы и никак не хотели отцепиться. Мы остановились прямо посреди Литейного,

перекрыв весь поток транспорта. Нервничая, Коля забежал вперед, напряг всю свою немалую силу и приподнял перед тележки, а я в это время толкнул ее. Тележка немного проехала и освободила дорогу трамваям, троллейбусам и машинам. Дальше предстояло втащить тележку на тротуар. Мы развернули ее ручками к панели, приподняли и изо всех сил дернули на панель. Тележка въехала, но два крайних ящика полетели с нее и картошка рассыпалась по грязной мостовой. Вслед за ящиками с картошкой опрокинулся и рассыпался по мостовой лоток с треской. Тут же образовалась толпа и со всех сторон посыпались вопросы:

— Что это? Треска, да?

— Куда везешь треску?

— Продай треску!

Всякая рыба в Ленинграде — дефицит, а треска — в особенности. Пока Коля, не отвечая им, складывал треску обратно в лоток, я собрал сколько мог картошки.

— Да плюнь ты на картошку! — посоветовал мне Коля.

Мы поехали дальше. Оглянувшись назад, я увидел, как несколько человек вылавливали из грязного снега рассыпанную нами картошку и засовывали себе по сумкам. Проехав метров 100 по панели, мы въехали во двор.

— А! Привезли, наконец! Ну, разгружайте быстрее! — вышла нам открывать дверь руководящая повариха Надежда Григорьевна и ушла опять.

Коля схватил лотки с треской и занес их в коридор. Там он выбрал три хороших рыбины и незаметно бросил их в один из пустых молочных бидонов, валяющихся в коридоре в ожидании, пока мы их увезем.

Остальное он снес на кухню. Затем мы переносили картошку и капусту в овощной цех, нагрузили полную телегу пустой тары и поехали обратно.

— Начальство, небось, черную икру жрет, да коньяком запивает! А мы хоть треской побалуемся, — проговорил Глухой Коля, вынимая треску из бидона уже в нашем закутке.

Скоро в раздевалке раздался грохот — это Сергей уронил бидон. Оказалось, он был уже совершенно пьян.

— Юра! Ну его к черту! — позвал меня Глухой. — Вон

Надя просила паштет в магазин свезти — рубль на двоих дает! Поехали?

— Поехали, — согласился я.

Печеночные паштеты, заливные и холодцы для магазина, также как и отварные куры, очевидно приносили руководящему повару Домовой Кухни немалый личный доход. Откуда иначе она взяла бы денег, чтобы заплатить за нашу работу наличными? Собственно говоря, эта работа не была тяжелой. Платили за аккуратность. Чтобы не перевернули, не размазали паштет, чтобы правильно оформили документы.

Коля технологию перевозки знал досконально. Сперва он положил на тележку три деревянных хлебных лотка. В них уложил посудины с паштетом, заливным и холодцом. Сверху закрыл такими же хлебными лотками и прижал большими кастрюлями с курами. Потом сверху накинул какую-то белую тряпку. Мы осторожно поехали. Задача состояла в том чтобы это сооружение не растряслось и не развалилось по дороге. Поэтому один вез тележку, а другой сбоку придерживал лотки и кастрюли. Магазин, куда обычно сдавала свои изделия Домовая Кухня, находился в 2-х трамвайных остановках от нее по Некрасовской улице. С соблюдением осторожности мы ехали в магазин минут 15. Потом Коля сдавал продукцию по весу.

— Жмот заведующий! — убежденно заявил он, выйдя на улицу, где я ждал его. — Паштет вытянул на 1 кг. больше, чем записано в накладной, куры на 800 гр. и все остальное — тоже в плюсе, а нам «на лапу» ничего не кинул!

— А в других магазинах «кидают»?

— «Кидают» иногда! 500 грамм — это их законные. Без этой надбавки магазин и не примет никогда. Им тоже надо иметь. Ну, а что лишнее сверх 500 грамм в каждом наименовании накладной — за это они

должны рассчитываться с грузчиками. А этот жмот сделал вид, как будто не знает правил!

— Вот вам ребята по полтиннику, — обрадовалась руководящая, когда мы привезли ей накладную. — И идите скорее в кладовую. Кладовщик уже несколько раз зво-

нил: тушевое мясо пришло, а вас нет.

Тушевое мясо было мороженое. В нашу столовую полагалось примерно 500 кг., — около 5-ти полутуш. Я принес и положил на землю перед открытыми дверцами фургона 6 картофельных ящиков. Коля залез в машину и стал сбрасывать туши, а я их принимал, укладывая на эти картофельные ящики, которые трещали и ломались под тушами. Уложив очередную тушу на ящики, мы с Колей распиливали ее пополам обыкновенной пилой, какой пилят дрова. Иногда туша соскальзывала и падала на землю. Мы ее поднимали и продолжали пилить. Сергей хотел было включиться в работу, но упал с тушей и кладовщик его прогнал.

Обидевшись Сергей ушел домой. Сергей вообще часто обижался. Он считал, что его здесь никто не может понять, кроме меня. Меня он не равнял со всеми, потому что я — тоже инженер.

— Вот мы с Юрием Александровичем инженеры, а вынуждены работать грузчиками, — часто плакался Сергей какой-нибудь посудомойке после того, как распивал с этой же посудомойкой очередную бутылку барматухи. Сергей действительно когда-то был инженером и его выжили с инженерной должности за глупость и пьянство. Мотоциклист, совмещающий обязанности грузчика, кстати тоже был инженером и тоже пьяницей, но не дураком. Причину его деградации я так и не узнал.

К этому можно было прибавить 2-х буфетчиц с высшим образованием, одна из них — юрист. Не знаю, какое образование было у кладовщика, но его жена преподавала в музыкальном училище.

Однажды телефонный разговор привлек мое внимание:

— Вы хотите определить своего сына в музыкальное училище? — спрашивал кого-то кладовщик. — А сколько классов он окончил?

— Вы говорите, что он пытался поступить в училище, но не прошел по курсу?

— Хорошо, дорогой Аркадий Григорьевич, я поговорю о вашем сыне с

женой. Она сделает для него все, что сможет!

200 кг. мяса мы с Колей-Глухим сложили в холодильник, а 300 кг. погрузили на тележку и повезли в Домовую Кухню.

— Ребята! — закричала руководящая, увидев мясо. — Мне жаль вас, но если вы еще раз привезете мне мясо, не позвав меня предварительно проверить на весах вес, я верну вас обратно вместе с мясом!

Она, конечно, была права. Кладовщик нередко обманывал ее.

Конечно, не зевали и в Домовой Кухне. Когда мы с Колей затащили туши в мясной цех, мясник сделал Коле знак, а мне разрешил ехать обратно в столовую одному. Мне было все ясно: сейчас мясник отрубит хороший кусок мяса от туши и даст Коле. Коля пойдет, продаст это мясо и купит бутылку барматухи. Потом они вместе ее разопьют.

Когда я вернулся в столовую, кладовщик попросил меня перебрать яблоки. Из 20-ти ящиков яблок надо было выбрать самые лучшие отдельно — для начальства. Потом надо было отобрать «средние яблоки» — для продажи на улице. Третья сортировка: отобрать битые и гнилые — для компота в столовой. Конечно, цена всем яблокам была одинаковая.

Не успел я кончить переборку яблок, пришла машина с кусковым мясом. Перетаскав лотки с мясом с машины на весы и дождавшись когда его взвесят, я потом снял эти лотки с весов на пол.

— Подождите, Юрий Александрович, — сказал мне кладовщик. — Посидите, отдохните пока. Я сейчас кое-что сделаю, а потом вы уберете мясо в холодильник.

Кладовщик все свое внимание обратил на сортировку мяса, на подобие той, что я делал с яблоками. Только сортировку мяса он никому не доверял, а делал сам. Мясо привозили 3-х категорий. Цены на разные категории сильно отличались. Свою задачу кладовщик понимал так: лучшие куски мяса из лотков 3-ей категории переложить в лотки 2-й категории, а лучшие куски из 2-ой категории — в 1-ую категорию. Следующей его задачей было обмануть руководящего повара и доказать ему, что «все так пришло с мясокомбината». Денежную разницу кла-

довщик клал себе в карман.

Он некоторое время брезгливо ковырялся в металлическом лотке, где куски мяса плавали в крови пополам с водой (экспедитор, развозящий мясо по столовым, тоже жить хочет, и он подливал в лоток воду «для веса»), а потом заговорил:

— Жить стало трудно в Советском Союзе, потому что больше нет порядка. Каждый делает то, что хочет! Захотел экспедитор воды налить в лотки с мясом — без всякого страха перед наказанием взял и налил! Захотел Сергей напиться на работе — пошел и напился... И ничего не скажи ему! Зря ругают Сталина! — вдруг с чувством воскликнул кладовщик и я понял, что это — его главная мысль.

— При Сталине такого пьянства не было! При Сталине боялись! Порядок был при Сталине... А теперь... — и кладовщик тяжело вздохнул вспоминая счастливое сталинское время.

В кладовку вошел повар Федя. Еще раз тяжело вздохнув, кладовщик из вновь привезенного мяса 1-ой категории отрезал два хороших куска и отдал Феде поджарить. Ту пищу, которую готовили для всех, он никогда не ел.

***

Коля долго не возвращался из Домовой Кухни, а когда возвратился, то лег спать в раздевалке. Он был совершенно пьян.

Оставалось еще много работы и эту работу теперь предстояло сделать мне одному. Я отвез на тележке десять ящиков яблок уличной торговке, которая продавала их на улице рядом с нашей столовой. Там она поставила стол, на стол весы, а сбоку прикрепила ценник — 1 р. 50 к. за килограмм. Пока я сгружал около нее ящики с яблоками, собралась очередь, человек двадцать.

— Пиво сейчас не привози, — попросила меня торговка. — Алкоголики налетят, не дадут торговать яблоками. — И чтобы я «лучше понял» — выругалась матом.

Только я закончил эту работу, как получил новую:

— Хорошо, — ответил я, но про себя подумал: «Хватит

пока! Всю работу не переработаешь! Пойду обедать!»

Я помыл руки и как был, в рабочем фартуке, пошел в столовую. Проходя по коридору я задержался около «графика выхода на работу», вывешенного недавно и подписанного директором столовой. С

удивлением я увидел, что кто-то ежедневно проставлял мне 8 часов работы без всяких переработок: с 9 ч. утра до 6 ч. вечера.

— Товарищ директор! — обратился я к директору, как раз в этот момент вышедшему из своего кабинета. — А как же мои сверхурочные? В графике написано, что я работаю с 9-ти ч. утра до 6-ти ч. вечера. На самом деле я работаю с 8 ч. утра, а ухожу домой иногда в 9 часов вечера.

— О ваших переработках мне ничего не известно, — ответил директор.

— Я так и думал, — засмеялся я и пошел в зал.

Грузчики получали еду из того же окошка раздаточной, что и посетители, только без чеков. Я подошел к окну и некоторое время ждал, пока раздаточница меня заметит.

— Борщ или харчо? — спросила раздатчица, наконец, заметив меня.

— Борщ.

Она подала мне борщ. Я поставил тарелку себе на поднос и повернулся к другой раздатчице, которая выдавала второе. Та без всякого вопроса подала мне котлеты с картошкой.

— Котлеты утром давали, — возразил я.

— А что тебе, мясо?

— Мясо, конечно.

На еду я нажимал. И для работы грузчиком и для побега вплавь требовалось здоровье. А здоровье не в последнюю очередь зависит от питания.

Раздатчица помялась немного, но потом схватила мою миску, вышвырнула из нее котлеты обратно в свою кастрюлю, а мне швырнула кусок мяса. Потом подала компот.

Официально считалось, что за еду у нас высчитывали из зарплаты. Но эти вычеты были чисто символические: 2 рубля с копейками в месяц. Если платить по прейску-

ранту, то 2-х рублей мне бы не хватило на питание в столовой даже на один день. Иначе говоря мы ели то, что предназначалось посетителям столовой. У посетителей воровали, им порцию уменьшали, а нам отдавали. И таких, как мы в столовой была целая армия, более 40 человек. У всех за питание высчитывали одинаково, но питались не все

одинаково: директору, заму, руководящему кладовщику и бухгалтерам готовились специальные блюда, по их заказу, из самых дорогих и лучших продуктов.

После обеда я повез на тележке бутерброды, котлеты и прочие холодные закуски из столовой в буфет соседнего научного учреждения — ГИДУФ-а. Оставив тележку у входа, я взял на руки все пакеты и свертки и прошел мимо вахтера вниз, в буфет. По пути мне встретилось несколько кучек научных работников. Они сидели, стояли, курили и обсуждали все на свете, только бы не думать о своей работе, только бы как-нибудь убить время и скорее — домой. Знакомая мне картина!

Мне вспомнилось время, когда я тоже был инженером и мои сослуживцы шутя говорили, что «они получают не зарплату, а пенсию (в среднем 90 рублей в месяц), и что эта «пенсия» дается им только за то, что они утром вешают, а вечером снимают с табельной доски свой рабочий номерок». «А настоящую работу мы будем делать тогда, когда нам будут платить по-настоящему!» И они тоже всячески «убивали» время: читали художественную литературу, спорили о футболе или дремали на своих рабочих местах. А так как на инженерную зарплату прожить в СССР невозможно, то многие находили дополнительные приработки:

Инженер расчетного отдела брал непомерно большие деньги якобы за консультации абитуриентам. На самом деле за эти деньги он гарантировал им поступление в один из институтов города, куда был большой конкурс, и где в приемной комиссии заседали его приятели.

Лауреат Сталинской премии Матвеев П.В. промышлял тем, что присваивал себе деньги, отпущенные на премирование всего коллектива инженеров. Парторг Петров Д.А. получал деньги за руководство несуществующей лабораторией. Другие партийные боссы тайно от

всех получали из райкома партии сверх зарплаты так называемые «конвертные деньги». Водились на заводе и мелкие воришки, которые воровали радиодетали и продавали их рыночным спекулянтам. Так было 20 лет назад, так продолжает быть теперь, так будет всегда, пока существует коммунизм!

А в буфете тем временем звонил телефон. Кладовщик требовал меня назад: пришла машина с картошкой. К концу разгрузки картошки, когда 100 ящиков уже было разгружено, и оставалось только 10, из раздевалки

вышел заспанный, но почти отрезвевший Глухой Коля.

— А ты для нас хороший ящик отложил? — спросил он меня.

— Нет.

— Чего же ты? Подожди! — и, остановив разгрузку, он начал искать такой ящик, где картошка была бы не очень мокрая и не очень гнилая. Нашел один, стал искать другой.

— У меня с собой рюкзак, — пояснил он мне. — Наверное, целый ящик войдет. А вам с Сергеем и Володей ведь тоже надо взять домой!

Отобрав два ящика, Коля занес их в нашу раздевалку, а потом снова вышел, прошел во двор, где были сложены пустые ящики, вынул два из них и принес мне:

— Возьми понемногу из других ящиков и наполни эти два, для счета!

В конце дня специальная машина привезла продукты улучшенного ассортимента, так как приближался коммунистический праздник — женский день 8 марта. Каждый продукт кладовщик проверял на своих весах. Привезли особо дорогой и вместе с тем остро дефицитный продукт — одну 800-граммовую банку черной зернистой икры, в красивой упаковке с английской надписью на крышке.

Я понес было икру прямо в холодильник, но кладовщик вернул меня и заметил с обидой в голосе:

— Юрий Александрович, эта банка икры стоит 180 рублей, т.е. столько, сколько я зарабатываю за два месяца работы. И если не хватит весу, я должен буду платить за нее из своего кармана.

Я никогда не думал, что металлическую банку икры в

фабричной упаковке тоже надо проверять на вес, однако, не хватило 10 грамм, что кладовщик сразу же отметил в накладной.

Вечером с ведомостью в руке пришел руководящий повар. Сперва они с кладовщиком долго шептались, а потом кладовщик сделал в ведомости пометки и велел нам, грузчикам, выдать только те продукты, которые он отметил. За остальную часть продуктов, записанных в ведомости, он уплатил руководящему деньгами.

После доставки продуктов в столовую я вернулся в кладовую. Двери кладовой были прикрыты. Войдя внутрь, я увидел нескольких постоянных покупателей с портфелями. То и дело ныряя в холодильник,

кладовщик выносил оттуда уже завернутые в бумагу свертки. Он взвешивал их, потом считал на счетах и говорил цену. Посетители молча рассчитывались, прятали свертки в портфели и уходили.

Потом, когда я складывал во дворе деревянную тару, мимо меня, направляясь к конторке кладовщика, прошел руководящий повар, а за ним — повар Федя с шипящими сковородками в каждой руке. Они вошли в конторку и Федя сразу же вышел обратно. Ему что-то крикнули и тогда он прикрыл за собой дверцы.

Я знал, что дверцы конторки прикрывались в двух случаях: когда кладовщик выпивал и когда он торговал... Яркий румянец на его щеках, который я увидел, когда он вновь появился во дворе, показывал что на этот раз было первое.

Когда я закончил складывать тару, то заметил, что около меня стоит какой-то важный старик и невежливо рассматривает меня

— Вам что-нибудь надо от меня? — так же бесцеремонно спросил я его.

— Я хочу с вами поговорить.

— Если вам нужно что-нибудь из столовой, — не трудитесь, — ответил я. — Я ничем вам помочь не могу.

Я уже знал, что нередко подобные старики и старухи просили принести им «несколько картошин», «несколько луковиц» или тому подобное.

— Я хотел попросить вас придти ко мне домой и еде-

лать кое-какую работу, за плату, конечно. Я живу в этом доме и из окна все вижу. Я заметил, что вы никогда не бываете пьяным и потому решил обратиться именно к вам.

— Какую работу?

Старик немного помялся, а потом проговорил:

— Морить клопов.

Я подавил в себе горячую волну протеста и оскорбленной гордости и вспомнив о своем положении, как только мог, спокойно спросил:

— А какая плата?

— Три рубля.

— Хорошо. Я приду завтра. Какой адрес?

— Вот тут на бумажке написан адрес, — проговорил старик и протянул мне листок. — Приходите к 12 часам дня. До свидания.

***

Я оговорился с самого начала, что выбранный для моего рассказа день — предвыходной. Поэтому после ужина, около 7 часов вечера, мы, грузчики, пошли в Домовую Кухню к руководящей Надежде Григорьевне, которая по неписаному закону выдавала нам пайки.

— Ну, что, мальчики, пришли, да? — понимающе приветствовала она нас. Она вышла из конторки, прошла в мясной цех, взяла у мясника нож и отрезала нам три куска мяса. Глазомер у нее был такой, что она никогда не отрезала меньше 700 грамм и больше 800 грамм.

— Ну, что вам еще дать? — подумала она вслух, вовсе не спрашивая нас о том на самом деле.

Затем она пошла в холодильник и подцепила из бочки по куску жира, оглянулась вокруг себя и дала еще 5 штук яиц.

— Все, ребята!

Это был паек на выходной день. Такие же «пайки» получали все работники столовой, только качество и количество продуктов в пайке зависело от занимаемой должности. Думаю, что всем ясно происхождение продуктов для этих пайков: они тоже были украдены у посетителей

столовой. Однако, мне кажется, надо объяснить, что такой порядок существовал во всех столовых и ресторанах Ленинграда и, я уверен, — всего Советского Союза! Совет-ское правительство установило месячную зарплату грузчикам и посудомойщицам — 60 рублей. Что можно купить в СССР на 60 рублей? Вот что: одну третью часть мужского костюма, или пару зимних ботинок, или один вечер скромно посидеть в ресторане, или не покупая ничего более, тратить всю зарплату исключительно на питание одного человека, да и то не досыта! Конечно, за такую зарплату никто не стал бы работать грузчиком, да и поваром тоже, ибо зарплата других работников столовой была не на много выше. Тогда коммунисты придумали для них бесплатное питание и «пайки», но не за счет государства, а за счет посетителей столовой, за счет покупателей.

Легко заметить, что подобные «пайки» существуют в СССР для всех

категорий работников сверху до низу, и во всех случаях они оплачиваются не государством, а народом. Более привычно эти пайки называть «привилегиями», а самую систему — системой «привилегий».

Плата за труд в Советском Союзе складывается из двух составных частей: заработной платы (обычно в 10 раз более низкой, чем заработная плата за ту же работу в капиталистических странах) плюс привилегии. Привилегии в СССР подразумеваются не только за работу, но и за лояльность к партии, лояльность к советской власти. На средних и низших позициях под лояльностью обычно подразумевается лояльность к начальству, к его махинациям, к его беззакониям. Привилегии нигде не оговорены в законах. Поэтому никто не может требовать их для себя по суду. Если работник проявил нелояльность, его лишают привилегий без права обжалования. Поскольку привилегии часто в несколько раз превышают зарплату по своей ценности, хотя не всегда выражены непосредственно в деньгах, то лишившись привилегий, работник оказывается на положении человека, работающего бесплатно. Для элиты привилегиями считаются государственные дача и квартира в городе, возможность съездить за границу за государственный счет, ежегодные бес-

платные путевки в лучшие санатории, а также право пользоваться специальными больницами и поликлиниками, специальными магазинами и столовыми со сверхнизкими ценами и т.п. Что касалось нас, грузчиков, то наши «привилегии» умещались в двух ладонях. Мы завернули их в оберточную бумагу и пошли по домам, столкнувшись в дверях с бухгалтерами, которые в свою очередь тоже пришли за пайком.

Выйдя на улицу, я направился по Литейному, в густой толпе прохожих дошел до улицы Салтыкова-Щедрина и свернул на нее. На этой улице, напротив кинотеатра «Спартак» находился пивной ларек. Я подошел к нему и узнал в продавщице знакомую женщину.

— Вам большую кружку? — не глядя на меня, быстро спросила продавщица, приготавливаясь открыть кран.

— Мне пива не надо, — ответил я.

Женщина подняла голову и с удивлением взглянула на меня.

— А! Это вы? — узнала она меня. — Что принесли сегодня? — понизила она голос до шепота.

— Мясо, 5 штук яиц и жир, — таким же шепотом быстро ответил я.

— Давайте незаметно сюда!

Я подал прямо в сетке. Женщина наклонилась к полу, чтобы другие покупатели не видели, что она делает, и там развернула мои свертки.

— Два рубля, как всегда? — спросила она, приподымаясь с пола.

—Да.

Она быстро подала мне пустую сетку и сунула в руку два рубля. Я сразу отошел от ларька. «Один день как-нибудь перебьюсь на хлебе и картошке, — подумал я, — а два рубля положу в копилку».

Я уже почти дошел до дома, когда вспомнил о том, что забыл в кладовой несколько пустых пивных бутылок, которые собрал в течение дня в закоулках двора и на помойке. Впереди был выходной день и я собирался снести эти бутылки на приемный пункт стеклотары. Пришлось вернуться. Когда я без стука открыл дверь кладовой, то там были двое: кладовщик и дирек-

тор столовой. На письменном столе, прямо на куче накладных, стояла открытой та самая 800 граммовая банка черной икры, в которой не хватило 10-ти грамм, и бутылка экспортной пшеничной водки. Директор столовой и кладовщик сидели за столом и большими столовыми ложками ели икру прямо из банки.

***

Придя домой, я помылся, поставил будильник на 10:30 и сразу лег в кровать. Все тело ломило от усталости, а когда я согрелся под своим зимним пальто и нашел удобное положение в кровати, в моих ушах появился тонкий, еле уловимый звон. Я знал, что это — от переутомления, возможно, — от повышенного кровяного давления, но я уже привык к нему и мне было даже приятно его слышать. И этот звон помог мне скорее уснуть.

Вскочил я от треска будильника. Было темно и тихо в нашей огромной квартире. Я быстро оделся, разогрел на кухне чай и выпил его вместе с бутербродом, который остался у меня от завтрака на работе. Потом я надел пальто, шапку, взял плавки, которые сшил сам, полотенце и вышел на улицу. На улице мороз усилился. Я быстрым шагом дошел до улицы Некрасова, где сел на трамвай № 12. С трамвая я сошел на Крестовском острове около нового стеклянного здания плавательного бассейна «Спартак». Я вошел в просторный вестибюль, в котором

посредине стоял стол дежурного, справа и слева были лестницы на второй этаж, а на переднем плане находились скамейки и игральные автоматы для ожидающих. Ждать пришлось недолго. В 11 часов дежурный объявил: «Имеющие оздоровительные абонементы на вторник могут подняться в раздевалки: мужчины — по правой лестнице, женщины — по левой!» У входа на лестницы уже стояли тренеры и проверяли абонементы. В числе других прошел в раздевалку и я.

Раздевшись в раздевалке, мы все, человек 30 мужчин разного возраста, пошли в душевые, выход из которых был непосредственно к воде. У воды к нам присоединились человек 25 женщин. Бассейн имел 10 плавательных

дорожек и вышку для прыжков в воду. Заметив время по большим стенным часам, я прыгнул в воду и поплыл брассом. Было 11 часов 20 минут. Для тренировки оставалось 40 минут. Уклоняясь от столкновения с другими пловцами, я поплыл с равномерной, однако максимально возможной скоростью, делая повороты так, чтобы не нарушать ритма движения. Очевидно заметив мою целеустремленность, некоторые пловцы перешли на другие дорожки, Ну и слава Богу! На моей дорожке осталось еще 4 пловца, избегать столкновения с которыми стало легче. Большая минутная стрелка на стенных часах неуклонно двигалась по окружности и так же неуклонно увеличивалось проплытое мной расстояние. Когда минутная стрелка показывала 55 минут, я уже проплыл 29 дорожек, т.е. 1 километр 450 метров. «Опять я не достиг своей предтюремной скорости!» — с горечью подумал я.

Увидев, что дежурный тренер смотрел на меня, я спросил его:

— Товарищ тренер, посмотрите, пожалуйста, на мой брасс: может быть вы увидите какие-нибудь недостатки? Я недоволен своей скоростью.

И я проплыл перед ним.

— Нет замечаний, — ответил тренер. — Для непрофессионала вы плаваете прекрасно!

Шесть месяцев назад, когда я пришел в этот бассейн в первый раз, он бы так не сказал! В тот день я плюхнулся в воду, как бревно. На дно, конечно, я не пошел, но и вперед стал продвигаться так, как будто делал непомерно тяжелый труд. В моих гребках не было ни ловкости, ни изящества, ни согласованности. Движения рук и ног не вытекали одно из другого и не увеличивали скорости. На каждый отдельный гребок требовалось умственное приказание. Я делал их через силу и с

нетерпением ждал, когда все это кончится.

Напрягая все силы, я проплыл 6 раз по дорожке и совершенно выдохся. Я ухватился за трап руками и почувствовал, что меня всего трясло. Было очевидно, что дольше плавать я не мог. Ничего не видя и ни на что не обращая внимания от разочарования, я оделся и поехал домой. Два дня до следующего раза, когда по расписа-

нию я мог снова идти в бассейн, я думал только о своей спортивной импотенции. «Моя способность плавать, — думал я, — это мой билет на Запад. Если я совершенно потерял эту способность и не смогу ее восстановить, то никакого иного способа уехать из СССР для меня не остается. Я должен во что бы то ни стало восстановить свою способность к длительным заплывам. Я должен снова плавать!»

На следующий раз я шел в бассейн с готовым решением: «или я проплыву 1500 метров, или пойду на дно бассейна!» И я проплыл. За отпущенные нам 45 минут я проплыл ровно 1500 метров. Дальше дело пошло лучше. Я стал ходить в бассейн 4 раза в неделю: два раза — в дни своей группы и еще два раза я проходил «зайцем» в дни, отведенные для второй группы. Когда я достаточно втянулся в тренировки, то стал обращать внимание на свою скорость. Но сколько я не старался, из предела 2,5 км/час я вылезти так и не смог. Пришлось с этим смириться. Лишь бы вернуть способность плавать на дальние дистанции!

Вместе с лыжными тренировками, которыми я занимался по выходным дням, у меня получалось, что спортом у меня были заняты 6 дней в неделю. Через месяц я заболел. Я потерял сон и у меня начались сердцебиения, спазмы и головокружения. Вновь появилась отрыжка желчью. Я пошел в поликлинику. Врач осмотрел меня и стал выписывать бюллетень о нетрудоспособности.

— Не выписывайте бюллетень, пожалуйста, — остановил я его. — Без работы мне есть будет нечего!

— Но у вас прединфарктное состояние! Вам надо лежать! — возразил врач.

— Если я буду лежать, то умру с голода, — сказал я, поблагодарил его и ушел.

Однако, теперь я знал, что со мной. Пришлось пропустить несколько тренировок в бассейне и временно не ходить на лыжах. Я не стал глотать никаких лекарств. Я только молился Богу и соблюдал диету. Бог

помог мне и на этот раз. Постепенно состояние мое улучшилось и я опять возобновил тренировки. Для того, чтобы не перетренироваться, я сократил время плавания на 5 минут.

Эти 5 минут я стал посвящать прыжкам в воду с вышки. Умение прыгать с высоты могло мне пригодиться.

— Можно мне прыгнуть с вышки? — спросил я тренера после его похвалы.

— Вообще-то мы не разрешаем вашей группе прыгать, но так и быть — после того, как я сейчас подам команду выходить из воды — ныряйте, но только один раз!

Я залез на 10-ти метровую вышку и как только люди под вышкой вышли из воды, нырнул «солдатиком».

Глава 52. Снова подготовка к побегу

Глава 52. Снова подготовка к побегу.

Однажды я вынужден был не идти на работу. Дворник принес мне и вручил под расписку такую повестку:

«Г-ну Ветохину Ю.А. явится в Ленинградское УКГБ 21-го марта 1977 года к 9 часам утра по адресу: улица Воинова, 10. В случае неявки вы будете приведены силой».

Тотчас самые разные догадки родились в моей голове. Предположение о том, что КГБ узнало о моей подготовке к побегу было маловероятно. Я соблюдал строжайшую конспирацию и ни с кем о побеге не говорил. Однако КГБ есть КГБ! Могли вызвать для выяснения моего мировоззрения, могли предложить сотрудничество, а в случае отказа— могли и взять! Поэтому я приготовился в тюрьму. Я надел на себя всю одежду, которую имел, в том числе свитер и зимнее пальто, несмотря на то, что на улице была оттепель. Потом я поехал на улицу Воинова, 10. Это оказалось бюро пропусков КГБ. Я сунул в окошко свою справку взамен паспорта и одетый в форму КГБ аппаратчик взял ее.

— А паспорта вы все еще не получили?—спросил он.

— Нет.

Аппаратчик куда-то позвонил и только после этого выписал мне пропуск.

— Вторая парадная от Литейного,— лаконично сказал он.

Ленинградское УКГБ состоит из нескольких зданий, в том числе—двух высотных, построенных при советской власти на месте взорванной церкви. Поэтому в народе Ленинградское УКГБ называют не иначе, как Большой

Дом. Но название это имеет еще и скрытый смысл. Он заключается в том, что «с него Колыму видно!» Вид у всех зданий, принадлежащих КГБ, такой, как будто там и людей нет и никто не живет. Ворота заперты наглухо, без щелочки, стекла в окнах зарешечены и замазаны масляной краской. Еще недавно вокруг зданий ходили часовые и не разрешали прохожим приближаться к ним. Теперь часовых заменили милиционерами.

Я открыл указанную мне в бюро пропусков парадную и сразу столкнулся с часовым. Часовой взял у меня пропуск и позвонил. Спустился с лестницы молодой лейтенант. Часовой проверил пропуск и у лейтенанта тоже и только тогда разрешил ему взять меня с собой.

Лейтенант, оказавшийся «товарищем» Жерлицыным (волк в Лужском лесу тебе товарищ!) завел меня в свой кабинет, предложил сесть и без вступления начал:

— Вы писали письмо в Крымское УКГБ?

« Так вот зачем они меня вызвали!»—подумал я с облегчением, вспомнив о том, что написал туда письмо с просьбой вернуть мне вещи, конфискацию которых отменил Верховный Суд.

— Писал,—ответил я.

— Крымское УКГБ сообщает, что все ваши вещи были сданы для реализации в комиссионные магазины. За них, за все, выручено 69 рублей. Напишите по этому адресу и вам вышлют деньги. Он протянул мне листок бумаги с адресом. Затем лейтенант продолжал:

— Крымское УКГБ поручило передать вам еще вот это!

«Товарищ» из Лужских лесов протянул мне что-то знакомое. Я взял у него и тогда вспомнил: мои научные статьи, правда, не все. Только две и странного вида... Но времени разглядывать не было: лейтенант повел

меня к выходу. Дома, приглядевшись, я обнаружил, что у брошюр отсутствовали заглавные листы с фамилией автора. Откровенно говоря, я был рад, что отделался только этими листами, да еще одной научной статьей, почему-то арестованной. Черт с ними! Хорошо еще, что душу не теребили, не вели никаких «собеседований»! Потом я вспомнил, что КГБ не вернуло мне авторские свидетель-

ства на техусовершенствования и рацпредложения, почетные грамоты и книги. И деньги они могли отдать мне сами, когда меня увозили из спецбольницы, не дожидаясь моего запроса!

Не лучше было дело и с вещами из моей старой комнаты. Слова Хмирова о том, что он сдал их на хранение в домоуправление, оказались ложью, а сам Хмиров временно уехал из Ленинграда. Мне пришлось апеллировать к прокурору. Ответ на свое заявление я получил как раз в этот день, но уже не от прокурора, а от какой-то пешки из райжилуправления. Пешка писала мне, что «все мои вещи были выброшены на помойку, так как специальной комиссией было обнаружено, что они все (??) были изломаны, изрезаны и приведены в полную негодность». Об этом, якобы, был составлен акт, который подписал квар-тироуполномоченный Хмиров. Письмо заканчивалось словами о том, что если я не доволен ответом, то могу жаловаться в суд. А то я не знал советский суд?! Я мысленно послал их всех к черту и решил развеяться— сходить в Районный психдиспансер, раз уж не пошел в этот день на работу из-за вызова в КГБ.

В психдиспансер Дзержинского района меня послал военкомат, когда я пришел туда становиться на военный учет. Правда, сперва они без слов поставили меня на военный учет и хотели сразу направить на военные сборы, но на медкомиссии произошла заминка. Врачи разных специальностей осмотрели меня и каждый написал на бланке: «годен, 3-я категория». То же самое написал и врач-психиатр, а потом уже спросил меня:

— Есть жалобы на здоровье?

— Жалоб нет,—ответил я,— но, может быть, вам не-безинтересно знать, что я девять лет находился в психиатрической больнице специального типа?

Психиатр с большим удивлением посмотрел на меня, а потом повел к председателю комиссии. Они посовещались между собой и председатель решил:

— Мы не будем сегодня давать заключение о вашей годности к военной службе и не пошлем вас на военные сборы до тех пор, пока не получим официальной бумаги с диагнозом вашей болезни.

Тут же он написал запрос в Дзержинский райпсихдис-пансер и велел мне отнести его на улицу Некрасова.

— Придите за ответом через неделю, — сказала мне дежурная медсестра диспансера, принимая от меня запрос военкомата.

— Нет еще ответа, придите через две недели, — сказали мне, когда я явился в указанное время.

Не было ответа и через две недели и мне было велено явиться через месяц. Сегодня как раз истекал этот месяц.

Дежурная медсестра, к которой я обратился, на этот раз не ответила мне ни «да», ни «нет», а послала к заведующей диспансером, пожилой, солидной женщине.

— Нет ответа из спецбольницы, где вы находились, — как-то загадочно произнесла солидная женщина, и вдруг добавила: — Если хотите, я сейчас же могу написать справку о том, что вы — здоровы психически и на учете в психдиспансере не числитесь.

«Ну, нет! — подумал я. — Не для того я страдал в псих-концлагере девять лет, не для того подписал им гнусную бумажонку, что признаю себя больным, чтобы сейчас меня погнали на военные сборы, как здорового!»

— Военкомат сделал вам запрос о том, вследствие какой болезни я находился в спецбольнице в течение девяти лет? Вот вы и дайте ответ по существу, — возразил я.

— Тогда ждите ответа из спецбольницы! — высокомерно ответила заведующая.

— Подожду, мне торопиться некуда.

— Раньше, чем через два месяца не приходите!

— Хорошо, — ответил я и решил вообще к ним больше не ходить.

Бланк незаконченной медицинской комиссии при военкомате валялся в углу моей комнаты, а военкомат почему-то меня больше не беспокоил. И я переключил все свои мысли на подготовку к побегу.

Постепенно в моей голове появился такой план. Я должен скопить деньги и как только придет лето, поехать на Черное море, сперва в Сочи. Там я пройду курс лечения сероводородными ваннами и буду интенсивно тренироваться в плавании. Когда я подлечу сердце и верну себе спортивную форму, то совершу побег через

Черное море в Турцию, чередуя длительные заплывы с отдыхом на надувном матраце.

Я рассчитывал, что когда я проплыву половину расстояния, отделяющего меня от Турции, то начнут дуть попутные ветры и тогда я смогу воспользоваться простейшим парусом. Надувной матрац легок и для него не требуется большого паруса. Самая сложная проблема— мачта, была решена мною еще в спецбольнице. Мачта должна была представлять собой своеобразные ножницы, только из бамбука. Она должна быть разборной. После сборки мачты ножницы раскрываются, а углы ее связываются тросиками. Затем на нее натягивается и крепится парус. Сама мачта привязывается к моему телу. Лежа на спине, я буду придерживать мачту руками и могу давать ей некоторый уклон. Вместо руля будет служить правая или левая нога, опущенная в воду. Мое питание будет состоять из шпига, самодельных кексов на масле и на меду, шоколада и грецких орехов. Пить я буду исключительно морскую воду.

Хотя и все предприятие было сложным и рискованным, но старт был наиболее трудным. Я намеревался вплоть до нейтральных вод (22 километра) плыть с не надутым матрацем и все вещи нести на себе— для большей конспирации. Для этой цели я еще в спецбольнице связал себе большую сетку с очень длинными ручками, которые я мог надеть себе на шею. В эту сетку я положу матрац, парус, одежду и продукты питания. Мачту в разобранном виде я тоже прикреплю у себя на животе. Шерстяную рубашку для согревания тела во время заплыва я решил использовать старую, ее надо было только заштопать и утеплить за счет шерстяных кальсон.

Путем экономии зарплаты и продажи пайков, которые мне давали в столовой на выходные дни, и прибавив к этому еще 69 рублей, которые, наконец, прислало мне Крымское УКГБ за мои вещи, я скопил к лету 1977 года около 200 рублей. Это не считая тех денег, которые ушли на покупку снаряжения. Я купил надувной матрац, маску, трубку, часы и чулки. Я сделал мачту и парус и сшил себе легкую одежду, которую намеревался взять с собой в заплыв. Я помнил, что если бы в 1963 году, в

Батуми,

у меня с собой была одежда, то никто бы меня не арестовал. Теперь я знал, что одежда пригодится мне в любом случае: достигну я турецких берегов или нет, ибо нигде никто меня не ждал. Моя одежда состояла из синих сатиновых брюк, тонкой батистовой рубашки и кедов. Я заштопал и утеплил свою шерстяную рубашку и я сшил вручную кепку с длинным козырьком от солнца. Плавки я тоже сшил сам и сделал на них специальные петли для крепления капроновых чулок. По моему эскизу в мастерской мне сделали герметичный корпус из оргстекла для моих часов, копию того корпуса, которым я пользовался до тюрьмы.

На этом техническая сторона подготовки к побегу была закончена и я ждал только лета, чтобы приступить к практическому его выполнению. В начале лета я уволился из столовой, сказав директору, что нашел работу по специальности. Перед отъездом на Черное море я купил дешевый билет и пошел на литературный концерт Эдуарда Белецкого и Владимира Ларионова. 10 лет назад никто в СССР не читал Есенина лучше Белецкого, а Блока — лучше Ларионова. Теперь их силы иссякли. «Как же постарел я сам, — думал я, глядя на своих любимых артистов,— если они оба не были в концлагере, а за 10 лет стали стариками!»

В концертном зале я встретил Лиду Филатову, которая внешне мало изменилась. В театре она была одна. Мы несколько раз проходили близко друг от друга, встречались глазами, но она так и не поздоровалась со мной.

Глава 53. Начало работы над книгой

Глава 53. Начало работы над книгой.

Мои надежды на то, что я жил в СССР временно, до ближайшего лета, не оправдались. Собранных за год денег хватило только на лечение в Сочи. Когда же я переехал из Сочи в Коктебель, чтобы там попытаться вернуть себе спортивную форму пловца, мой кошелек был уже пуст. Некоторое время я все же тренировался в плавании, живя за счет сбора на пляжах Кара-Дага и сдачи на приемные пункты стеклянных бутылок. Но скоро начались дожди, отдыхающие перестали ходить на дальние пля-

жи и мои заработки прекратились. Пришлось возвращаться в Ленинград. С отвращением, с тяжелым сердцем я возвратился туда, где не хотел жить: в коммунальную квартиру с очередями в туалет, к работе грузчиком.

« Что мне теперь делать?—думал я.— Чем заменить ту цель, которая только и поддерживала во мне моральные и физические силы, цель, благо даря которой я жил?» На мгновение мелькнула мысль: начать действовать, как народный мститель: поехать в Днепропетровск и уничтожить Бочковскую или ее сына. Но я сразу отказался от этого плана: слишком мелко для меня. Кроме того, об этом мало кто узнает, а узкому кругу коммунисты объяснят по-своему, мол «убийство на почве умопомрачения», и многие поверят.

Следующей мыслью была идея книги. Первоначально я собирался писать книгу на Западе, после осуществления своего побега. Я знал на опыте, что в условиях несвободы инстинкт самосохранения не позволит мне доверить бумаге все то, что было в моей голове. Но мысль о том, что в крайнем случае, если я сам не попаду на Запад, то хоть моя книга попадет туда, все же заставила меня приступить к ее написанию. Написать книгу—а там будет видно, что с ней делать: или возьму с собой в побег на следующее лето, или передам кому-нибудь для пересылки на Запад.

Я начал писать свою книгу, когда после короткого периода сбора грибов в лесу и продажи их на рынке, я снова поступил на работу грузчиком.

Я купил пачку тонкой бумаги и начал записывать свои мысли вразброд. Мысли и воспоминания возникали у меня по разным причинам, но чаще всего являлись реакцией на газетные материалы и повседневную жизнь. Позднее, когда я купил себе подержанный радиоприемник, у меня стали возникать разные воспоминания в связи с выступлениями радиокомментаторов Западных радиостанций. Иногда мысли возникали на ходу, в кино или в магазине, и если я их сразу же не записывал, то по возвращении домой слова терялись, смысл того, что я собирался записать, блёк. Когда пишешь по вдохнове-

нию, то проза—как поэзия. Всякую ценную появившуюся мысль надо фиксировать на бумагу в тот же миг, как она появилась, иначе она улетит или трансформируется под влиянием внешних факторов.

Впоследствии мой метод в том и состоял, что когда я вспоминал то один,

то другой случай из моей биографии или же в моей голове вдруг возникал стройный вывод или лаконичная формулировка, я тут же их записывал. Конечно, часто я садился за стол с ручкой и бумагой, что бы работать над своей книгой. Однако в большинстве случаев эта работа не заключалась в написании хронологического или логического повествования. Я спрашивал себя, что сегодня мне лучше описывать? И в зависимости от настроения, от темы бесед с другими людьми, предшествовавшими моей сегодняшней литературной работе, и ряда других мелких, почти неуловимых факторов, я принимался писать одну из глав моей будущей книги, иногда даже—начиная ее с середины. Когда большинство главных событий, которые я намеревался включить в свою книгу, таким образом оказывались записаны, я давал им подзаголовки, а под ними указывал краткое содержание отрывка.

Не мудрствуя: особенно, я решил составить свою книгу из частей соответствующих главным этапам моей жизни. Сюда входили две попытки побега, тюрьма и теперешнее мое житье—ни тюрьма, ни свобода, которую поэтому я назвал «Свобода общего режима». Мне показалось что для читателей будет интересна также моя биография. Для биографии пригодились все материалы о том, как я стал воинствующим антикоммунистом и она выделилась также в отдельную главу книги.

Что касается первой и второй попыток побега за границу, то о них я записывал лишь ограниченные воспоминания, часто даже умышленно искаженные.

За все время пребывания в тюрьме я не дал никаких показаний относительно методов и средств выполнения первой и второй попыток побега, и теперь я предусматривал ту вероятность, что внезапный обыск может привести к захвату моей рукописи. Я не хотел подвергать риску эту самую главную мою тайну. Я так и писал в

книге: « До поры до времени я не могу этих подробностей доверить даже бумаге».

Другие разделы книги ежедневно дополнялись.

Бывало, какой-то особенный ракурс видения из окна трамвая или неожиданно пахнувший аромат цветов вдруг поднимал из-под сознания целый пласт, как ранее казалось, навеки пропавших воспоминаний. Я быстро вытаскивал из кармана бумагу и где бы я ни был, чтобы ни делал, — прекращал делать — и сразу записывал. Такие

воспоминания — как сон. Сразу не запишешь, — через минуту уже не вспомнишь.

Также я делал и на работе. Правда, на работе я старался записывать без свидетелей, иначе подумают — записываю их махинации — для прокурора. Разве они могли когда-нибудь подумать, что я пишу книгу?

Дома я переписывал с клочков бумаги на небольшие листы, добавлял, редактировал... и непременно каждый отрывок снабжал заглавием, а под ним — кратким содержанием. Когда папка, содержащая главы моей будущей книги, достаточно распухла, я нарезал маленькие кусочки бумаги (как игральные карты) и переписал на них заглавия всех моих отрывков. На обороте каждой бумажки я вписал краткое содержание отрывка. Этот метод компоновки книги я придумал еще в спецбольнице. Я хотел еще большего: воспользоваться для компоновки книги компьютером. Но пока такой возможности у меня не было. Я просто выложил сделанные мною карточки на стол и начал составлять своеобразный пасьянс. При этом я заботился о том, чтобы книга получилась интересной и даже по возможности увлекательной, чтобы была соблюдена хронология событий и одно действие логически вытекало бы из другого. Мне также хотелось добиться того, чтобы некоторые моменты, которые я считал главными, не навязчиво повторялись бы в разных главах книги. Это должно было акцентировать внимание читателя.

Во время разложения «пасьянса» оказалось, что некоторые материалы логичнее изъять из одних частей книги и переложить в другие. А часть материалов, содержащих отвлеченные идеи или рассуждения, показались мне чужеродными для всех частей книги. Я включил их в одну

часть, под названием «Размышления советского политзаключенного», где эти материалы оказались на своем месте.

Разложив «пасьянс», я некоторое время присматривался к нему и совершенствовал его. А потом — утвердил.

Следующий этап моей работы над книгой можно назвать менее творческим. Пользуясь созданной схемой частей, я дописывал «соединительную ткань», т.е. делал плавные и приятные в литературном отношении переходы между отдельными отрывками, чтобы придать им вид единого целого. Поскольку при этом я уже не испытывал творческого вдохновения, то эта «соединительная ткань» нередко

получалась серой и скучной. В какой-то степени улучшить ее я намеревался впоследствии при редактировании.

Только переписав с исчерканных листков со множеством сносок на чистые листы, можно было охватить взглядом всю рукопись целиком. И вот тогда начиналась редакторская работа. Я, как лоцман, в знакомых, но опасных для плавания судов морях, расставлял и ярко зажигал маяки и створные знаки. Маяками я называю отступления, схемы, рисунки, заголовки отдельных глав и цитаты, которые подчеркивают, углубляют и разъясняют цель написания моей книги. Створные знаки — это повторения, которые служат тому же.

Но я не могу сказать, когда эта редакторская работа кончилась. Воспоминания возникали почти ежедневно. И я вносил изменения и дополнения тоже почти ежедневно.

Завадский якобы сидел за то, что у него дома нашли незаконченную рукопись. Если бы нашли у меня рукопись —сомнений насчет концлагеря не было никаких. Поэтому надо было не только прятать рукопись всякий раз, когда я выходил из комнаты (даже в туалет), но и вообще не давать повода для подозрений у других людей. Я вполне допускал, что кто-нибудь из моих многочисленных соседей имел задание КГБ следить за мной. Поэтому я всегда закрывался на ключ в своей комнате, а рядом с ключом втыкал ватку, чтобы никто не мог подглядеть в мою комнату, когда я писал. Я хотел, чтобы соседям даже в голову не пришло, что я — вообще грамотный, а не то

что писатель!

Я пришил к внутренней стороне матраца матерчатый карман и каждый раз, уходя на работу, прятал рукопись в этот карман. Я не исключал того, что в мое отсутствие в комнату могли войти и сделать поверхностный обыск.

При мне никто из соседей в комнату не заходил. Я их всех держал на расстоянии. Исключение составляла лишь маленькая 3-хлетняя девочка, которая иногда забегала ко мне. Да она еще не способна была анализировать мое поведение.

Глава 54. Теплоход «Карелия»

До 1961 года я работал простым инженером и жил впроголодь, от получки до получки, мысленно подгоняя время, подгоняя саму отмеренную и ограниченную мою жизнь, которую без денег и жизнью-то не назовешь. Теперь, работая уже не инженером, а грузчиком, я тем не менее был сыт и даже копил деньги. Таков уродливый советский образ жизни! Однако, я по прежнему жил урывками, но уже не от получки до получки, а от лета до лета. Даже свое 50-летие, в 1978 году я никак не отметил. Мои старые друзья знакомство с антисоветчиком прекратили, а новых я не завел. Даже с друзьями по концлагерю, когда я встречался с ними раз в год, я не делился своими планами на будущее. Тайна, которую знают два человека, — уже не тайна.

Ко мне из Донецка приезжал Петр Михайлович Муравьев. Он уже три года был на свободе» но до сих пор не получал никакой пенсии. Организации, устанавливающие пенсии по болезни, игнорировали тот факт, что институт имени Сербского в Москве признал Муравьева психическим больным и на этом основании его 16 лет содержали в спецбольницах. Эти организации теперь считали Муравьева совершенно здоровым человеком, как это 19 лет назад признала Украинская психиатрическая экспертиза, и отказались платить ему пенсию. Другие организации отказали Муравьеву в пенсии по старости из-за пропажи его трудовых документов. Однако, Муравьев на самом деле был уже болен. 16-тилетние пытки не прошли

для него даром. Он совершенно потерял память и у него появились другие умственные расстройства. Зарабатывать себе на жизнь этот 70-тилетний старик уже не мог. Что ему оставалось делать?

Какая-то сердобольная старушка приютила его у себя и помогала ему. Но ведь это не надолго! А что дальше? Мы вместе с ним ходили к юристу, но он ничего утешительного не сказал. Потом Муравьев посылал письма в Прокуратуру СССР и в Совет Ветеранов войны и они не дали положительных результатов.

Я так же виделся с Толиком Чинновым. Ему удалось поменять свою работу уборщиком на работу техником в топографической партии после того, как местные врачи заменили ему 2-ую группу инвалидности на 3 группу. Однако, о работе по специальности—инженером-химиком он не мог и мечтать.

Я часто думал о Саше Полежаеве, Василии Ивановиче Сером и других

политзаключенных, оставшихся в спецбольнице. Как им помочь? Может быть, им могло помочь опубликование моей книги. Но для этого надо было сперва доставить мою книгу на Запад!

Я снова получил сигнал о том, что ленинградские диссиденты хотят познакомиться со мной. Я отклонил это предложение. То, что представляли диссиденты Шостак, Попов, Завадский и полковник Матросов, и то, что я слышал о диссидентах из передач заграничных радиостанций, создало у меня мнение, что «диссидент—это кто угодно, но только не антимарксист». Поэтому я не ожидал найти в их среде себе единомышленников. Кроме того, я не хотел ставить под угрозу свой побег и свою книгу. В среде диссидентов могли отыскаться еще Якиры и Красины, которые утопили бы мои планы обрести свободу в море своего раскаяния.

И я продолжал свою подготовку к побегу в условиях строжайшей тайны. Я пришел к мысли кое-что изменить в первоначальных планах. В частности, я заменил надувной матрац на одноместную надувную лодку без уключин. В лодке я мог сохранить свою одежду сухой, что имело значение в прохладные ночи. Я изготовил плавучий якорь, а мачту и парус оставил прежние. Не найдя

нигде специального компаса, я купил обыкновенный туристский и наметил завернуть его в презерватив. Я сшил маскировочный чехол для лодки, достаточно вместительный для того, чтобы под этот чехол мог залезть и я сам. Лодка в маскировочном чехле при минимальном волнении моря должна была остаться незамеченной.

***

Настоящая жизнь начиналась для меня только с того дня, когда я увольнялся из очередной столовой и уезжал к Черному морю. Каждый такой отъезд я считал последним и возвращаться в Ленинград не собирался. Я уничтожал дома все письма и лишние документы, брал с собой очередное приспособление для плаванья и уезжал сперва в Сочи — лечить сердце, болезнь которого за зиму сильно обострялась.

Так я поступил и в 1978 году, уехав, из Ленинграда в последних числах мая. Рукопись книги я оставил в тайнике. Осторожность подсказывала мне, что брать рукопись книги с собой в заплыв не стоит. Во-первых, рукопись занимала много места и при заплыве могла мешать, а, во-вторых, в случае ареста лишила бы меня возможности как-нибудь отвертеться. Я много думал о том, как передать мою рукопись на Запад.

Я помнил адрес американского корреспондентского пункта в Москве, который дал мне Белов еще в 1968 году, но ехать туда следовало только в самом крайнем случае. После контакта с корреспондентом я был бы наверняка арестован.

В мае купаться в Черном море еще холодно. Поэтому курортников в этом месяце немного и мне удалось устроиться в гостиницу «Приморская» общежитие на 16 человек. Но меня предупредили, что если это место понадобиться кому-либо, боле достойному, чем я, то меня немедленно выселят. Такова практика во всех советских гостиницах, во всех городах.

Войдя в общежитие, я увидел сразу двух прошлогодних знакомых— пенсионеров. Один из них—бывший офицер, другой—крупный инженер. В прошлом году они жили вместе со мной в этом общежитии, играли в шахматы

и мы познакомились. Тоже по-своему убивают оставшиеся дни своей жизни: кочуют из гостиницы в гостиницу, из одного курортного города в другой. Своим детям они больше не нужны, даже — обуза. А отделиться, получить отдельную квартиру — невозможно. Поэтому — кочуют. И так — круглый год. Пенсия хоть и много больше моего оклада за работу, но все равно не разгонишься. Поэтому снимают только самые дешевые койки в многоместных номерах, едят только то, что подешевле и потихоньку кое-что готовят в номере, хотя это и запрещено.

— Здравствуйте, Борис Михайлович! — подошел я к инженеру.

— Очень рад, Юрий Александрович. Здравствуйте! Хорошо, что вы, наконец, приехали, а то не с кем в шахматы поиграть, да и порядок поддерживать в общежитии будет легче. Вы — некурящий, я — некурящий, Иван Ильич — тоже. Заставим курильщиков выходить в коридор курить. Я боялся, что не дадут вам отпуск летом. Вспоминали вас с Иваном Ильичем.

Для них всех я по-прежнему был инженером. Никто не знал здесь, что я уже два года вынужден работать грузчиком. В прошлом году мы вели профессиональные разговоры, споры и тогда я не знал, как мне судить о себе: толи я живу двойной жизнью, притворяюсь, выдаю себя за другого, то ли я на самом деле — другой. Ведь если бы я сказал откровенно, что я — грузчик, то никто бы не поверил. Ну какой я грузчик? Разве может быть действительно грузчиком человек, написавший несколько научных статей и брошюр и пишущий теперь

политическую книгу? Разве может быть грузчиком человек не пьющий, не курящий и не терпящий матерщины?

На другой день я пошел в Курортную поликлинику № 1 и купил курсовку на лечение. Лечение мацестинскими сероводородными ваннами очень популярно в Советском Союзе и не напрасно. После каждого курса лечения я чувствовал некоторое ослабление своей сердечной болезни. Кажется, и на мое общее состояние ванны тоже оказывали благотворное влияние. К сожалению, с каждым годом даже это дорогостоящее лечение становится все хуже и хуже. Появилась явная небрежность персонала при мы

тье ванн и их заливке в соответствии с назначением врача. И это не удивительно: были произведены сокращения штатов и теперь каждый десяток ванн обслуживался только одной женщиной. Она бегом бегала от одной ванны к другой и все равно не успевала. А очередь, нервничая, еще подгоняла ее... Принимая ванны, я полностью соблюдал режим: не загорал, не купался в день ванн и лежал 2 часа после каждой ванны. Вместе с вдыхаемым морским воздухом, вместе с солнечными лучами и вместе с пузырьками газа, теперь уже не очень часто появляющимся в мацестинских ваннах, в мой организм все же возвращались бодрость и силы. Можно было начинать окончательную подготовку к побегу.

Однако, в начале надо было узнать, что же все-таки нового создали техники КГБ в области защиты морских границ за те 10 лет, что я находился в тюрьме. Я подозревал применение теплопеленгаторов, приборов ночного видения, телевидения и т.п. Я знал, что КПСС не пожалеет никаких средств на развитие и внедрение подобных систем на границах. Доказательством проведенных технических усовершенствований явилось озадачившее меня исчезновение ранее столь распространенных прожекторов и более либеральный подход к разрешению прогулок вблизи моря в темное время суток. «Значит, пограничники уверены в себе. Значит, они что-то имеют» — размышлял я. С целью получить больше информации, я запланировал поездку на пароходе в Батуми.

Купленная мною в Платной поликлинике курсовка давала право посещать Лечебный пляж, который был меньше переполнен отдыхающими, чем другие пляжи. Кроме того, на Лечебном пляже иногда устраивались некоторые развлечения. Об одном из таких развлечений было объявлено вскоре после моего приезда. Это была пешеходная прогулка на гору Большой Ахун под руководством

инструктора альпинизма. В объявлении сообщалось, что лица, не имеющие спортивной обуви, могли взять ее напрокат на складе Административного корпуса. Я решил принять участие этой прогулке, несмотря на боли в сердце. Как и 12 лет назад, когда я регулярно взбирался на гору Кара-Даг, чтобы укрепить свое сердце,

так и теперь, я решил лечить его физической нагрузкой. «Клин клином выбивают!» — учит русская пословица.

В назначенный день я пришел в 9 часов утра к проходной Лечебного пляжа, показал дежурной свою санаторную книжку и, пройдя коридор, вышел наружу, где в двух плавательных бассейнах с морской водой с утра до вечера тренировалась советская олимпийская команда пловцов. Любуясь точными движениями спортсменов, я перешел маленький мостик, под которым находился канал, соединяющий бассейн с раздевалкой в Административный корпус, и по наружной лестнице поднялся на второй этаж. У дверей кладовой стояла женщина выше среднего роста с удивительно «домашним» лицом. На ее лице, как это бывает только дома, не было ничего искусственного: ни деланной улыбки, ни косметики. У женщины были ярко голубые глаза и коротко подстриженные, завитые волосы цвета спелой ржи. Слегка курносый нос придавал несколько насмешливое выражение ее выразительному лицу. Она была одета в легкое голубое, декольтированное платье, которое красиво облегало ее развитую фигуру.

Женщина мне сразу понравилась и я, радуясь, что мы оказались вдвоем, заговорил:

— Вы тоже пришли за кедами?

Она с готовностью ответила мне и в свою очередь о чем-то спросила. Через короткое время мы уже разговаривали как старые знакомые обо всем на свете, выбирая в то же время себе кеды. Мы оставили свою обувь в кладовой и в казенных кедах вышли на улицу, где туристов ожидал специальный автобус. В автобусе мы сели рядом и продолжали разговаривать. Потом, на горе Большой Ахун, любуясь прекрасными видами лесистых гор, мы тоже не отходили друг от друга. Я ведь очень истосковался по женщине за годы тюрьмы, а тут вдруг интеллигентная, красивая женщина проявила интерес ко мне. Когда мы спускались с горы, я упал и поцарапал себе колено. Валентина Николаевна, так звали женщину, тотчас подошла ко мне и заботливо перевязала его своим платком.

В ресторане «Кавказский Аул», в первый раз за 12 лет, я выпил пол стакана вина и немного опьянел. Во всяком

случае, когда туристы прямо на поляне устроили танцы под аккордеон, я не пропустил ни одного из них, танцуя все время с Валентиной Николаевной. Танцы кончились и инструктор собирался вести нас еще куда-то.

— Давайте убежим от них! — предложил я Валентине Николаевне.

— Здесь далеко бежать. Лучше — уедем! — насмешливо-рассудительно ответила она, указывая на рейсовый городской автобус.

Через пол часа мы были на другой горе, где в лесу стоял другой ресторан «Старая мельница», по форме напоминающий ветряную мельницу. Гостей еще никого не было. Мы сели за маленький столик в нише, висящей над пропастью, заказали вино и закуску и Валентина Николаевна начала рассказывать о себе.

— Я родилась в семье врача. Вы ведь знаете, что значит быть врачом в Советском Союзе! Нет никого в СССР, кто бы получал такой низкий оклад, как врач! Даже дворник, даже грузчик и те живут лучше врача: они могут хоть где-то подработать — там помогли мебель занести в квартиру, там—какую-то грязную работу сделали — глядишь, немного им и заплатят за это. А ведь врач не может этого — положение не позволяет! Даже если он и захочет делать черную работу — его не возьмут, не пригласят! Вот и получилось, что я все детство провела в беспросветной нужде, нищете: у меня даже куклы приличной не было. Бедная мама с трудом могла накормить нас с сестрой, а об одежде и игрушках и мечтать было нечего. Поэтому я и вышла замуж за номенклатур-щика, занимающего крупный партийный пост, чтобы только выбраться из опостылевшей нищеты. Только счастья я не нашла. Мужа своего я так и не полюбила, хоть и старалась, — чужой он мне: морально чужой, нравственно чужой. И я очень несчастна! Даже наш 15-ти-летний сын не связывает нас с мужем. И работа моя — такая же фальшь, как и вся моя жизнь. Я — инженер, а с детства люблю литературу.

Я чувствовал, что она рассказала мне о себе правду, но не мог ответить ей столь же правдивым рассказом о своей жизни: это было бы слишком рискованно. И я вы-

думал несуществующую жену, которая якобы ждет меня в Ленинграде, и несуществующую должность в одном из Вычислительных центров.

— Ваше лицо особенное, — задумчиво заметила Валентина Николаевна, — Я разу обратила на него внимание. У искателей курортных приключений таких лиц не бывает.

— А у вас лицо такое, как у ста тысяч других в России, — ответил я.

Валентина Николаевна вопросительно посмотрела на меня. И я продолжил:

— Ты такая ж простая, как все:

Как сто тысяч других в России.

Знаешь ты одинокий рассвет,

Знаешь холод осени синей...

По-смешному я сердцем влип,

Я по-странному мысли занял.

Твой иконный и строгий лик

По часовням висел в Рязанях.

— Есенин!—воскликнула она. — Есенин! О! Как я люблю Есенина!

Я стал читать еще. Незаметно спустился вечер. Пришел оркестр и заиграл танцевальные мелодии. Мне показалось, что я вновь стал молодым, что не было вовсе тех десяти лет, когда я испытывал равнодушие и к чужой и к собственной смерти, когда сама мысль — пойти с красивой женщиной в ресторан — была более невероятна, чем мысль о путешествии на Марс.

Я привлек Валентину Николаевну к себе и поцеловал. Она жарко ответила мне и прошептала: « Ми-лый... еще сегодня утром я не знала тебя!»

— Какое волшебное слово!

И луна хочет так

Чтобы каждый дрожал

От щемящего слова «милый»! —

процитировал я.

— Есенин — волшебник!

Я поцеловал ее еще и спросил тихо:

— Ты читала рассказ Бунина «Солнечный удар»?

— Читала! Это рассказ о том, как незнакомые до то-

го мужчина и женщина, плывшие на пароходе по реке Волге, внезапно воспылали страстью друг к другу и почти не сговариваясь сошли на ближайшей пристани, чтобы провести вместе ночь в гостинице?

— Да, он самый. Так вот, со мной тоже случился сегодня «солнечный удар».

— Я тебе верю... Потому что я чувствую то же самое, милый — ответила она просто. — Но это должно быть обставлено красиво. Я не пойду, Юра, ни в гостиницу, ни в такой дом, где любовники снимают комнату на одну ночь. Я не хочу, чтобы кто-либо шептался за моей спиной.

— Я предложу тебе другое, — ответил я, мысленно формулируя мгновенно созревший план: «Я все равно собираюсь поехать в Батуми на пароходе в своих целях. Не поехать ли нам вместе? Если за мной есть слежка, то поездка в Батуми вместе с женщиной казалась бы менее подозрительной».

Вслух я сказал:

— Валечка, а что ты думаешь насчет морской прогулки в Батуми? Мы бы купили билеты в отдельную каюту.

— Отличная идея! — воскликнула Валя. — Но мы пропустим наши лечебные процедуры — Мацестинские ванны!

— Только два дня! Мы доедем до Батуми за один день. Там пробудем весь день, а вечером на этом же пароходе отправимся обратно.

— Согласна! Поедем завтра!

На следующий день по расписанию в Батуми шел небольшой теплоход «Колхида». Билетов в отдельную каюту в кассе не оказалось и мы ехали в 4-х местной каюте, обмениваясь саркастическими улыбками с видом заговорщиков.

Батуми я не узнал. В городе понастроили много типовых зданий и местный национальный колорит заметно улетучился. Все вековые пальмы, которые раньше росли в Приморском парке вдоль берега

моря, исчезли. Исчезли также и кустарники и скамейки у моря. За счет этого были расширены пляжи. Теперь стало совершенно невозможно подойти к морю в ночное время и уплыть, как я

сделал это в 1963 году. Я обнаружил и другие изменения: поменяли текст мемориальной доски на доме, где в 1925 году жил Есенин, на менее эмоциональный, на месте бывших одноэтажных домиков построили Дельфинарий, где ежедневно давались представления. Но здание КГБ изменений не претерпело. Я провел Валю мимо него, сказав только, что это — КГБ, и мы направились в Дельфинарий на представление. Потом мы купались и гуляли в Приморском парке вплоть до вечера. В Батуми нам удалось купить билеты в отдельную каюту. Со специальным умыслом я купил их на полный рейс: от Батуми до Одессы. Моих денег на это не хватило и пришлось взять у Вали.

С того момента, как мы с бутылкой шампанского в руках вошли в нашу чистую, светлую, с большим иллюминатором каюту, и до конца путешествия Валя вела себя просто и сердечно, как будто мы были любящими супругами. От этой бессонной ночи осталось впечатление возвышенной красоты, которой я коснулся ненадолго и, может быть, не по праву. «Вот бы иметь Валю своей женой до конца жизни!—подумал я. — Приходить домой после работы и всегда находить там милую, умную и изящную женщину, которой ты и твои дела небезразличны. Это ли не счастье?» «Большая половина нашего земного счастья заключается в семье»,—говорил Достоевский. Но тут на меня нахлынули горькие мысли: «Увидела бы она в какой комнате я живу! Узнала бы она кем я теперь работаю! Посмотрела бы она как я продаю свои пайки пивной торговке!» И сразу пришло отрезвление. Никогда бы она не променяла свою сытую жизнь с номенклатурщиком на нищенскую жизнь со мной! Нечего и мечтать!

В Сочи я попросил Валю ехать в Пансионат одной, а сам решил реализовать замысел с билетами. Я купил билеты до Одессы неспроста: стоимость билета до Одессы лишь на немного превышала стоимость билета до Сочи. Я подошел к кассе Морского вокзала и с удовлетворением увидел очередь перед окошком, и табличку над ним «Билетов нет». Я выбрал молодую пару в очереди и, подойдя к ним вплотную сказал:

— Мы с женой решили не ехать в Одессу на этом теплоходе, а остаться в Сочи. Желаете купить наши билеты?

— Конечно! Какой класс?

— Первый.

— О, спасибо! Сколько они стоят? — и мужчина нетерпеливо схватил у меня билеты.

— Посмотрите по прейскуранту! Прейскурант висит на стене перед вами.

Они уплатили мне деньги и поблагодарив еще раз, побежали на посадку. А я был счастлив, что поездка из Батуми в Сочи обошлась нам почти даром. Вечером я отдал Вале половину вырученных денег, хотя она долго отказывалась их взять.

Итак, поездка в Батуми не помогла мне в выборе места побега. Не узнав, какие именно технические средства имеют теперь пограничники, а потому не имея возможности выработать методику их обхода или создания помех, я решил стартовать не с берега, а с борта судна, проходящего на большом расстоянии от берега. «На судне если и есть, — думал я, — какие-нибудь подобные устройства, то не в таком количестве и не такого качества, как береговые ».

Так, через много лет я вернулся к тому, с чего начал: к идее бежать вплавь, спрыгнув с теплохода. В соответствии с этим решением я стал ежедневно совершать прогулки в Морской порт и рассматривать заходившие в него пассажирские суда Черноморского пароходства. Однажды я обратил внимание на нелогичность и подошел ближе, чтобы выяснить, в чем дело. Нелогичность состояла в том, что у причала был ошвартован теплоход с иностранным флагом и иностранной эмблемой на трубе, а в то же время причал около него не был огорожен и не было дежурных пограничников. При ближайшем рассмотрении оказалось, что команда на теплоходе была советская. « Вот так можно обмануться в море!» — подумал я. — «Увидишь иностранный флаг и попросишь помощи, а тебя как раз и схватят!» И тут же я решил, что во время заплыва буду избегать любых судов, с любым флагом.

Рассматривая суда, я мысленно прикидывал, с какого

из них было бы удобнее спрыгнуть в море. Я искал такие суда, у которых корма была бы не очень высокой, ибо я собирался спрыгнуть именно с кормы. Тут же мне приходили мысли о том, что на корме постоянно находятся матросы, а вход туда пассажирам нередко бывает запрещен. Полуют (верхняя палуба на корме), отведенный специально для

пассажиров, почти на всех судах был очень высок. И была большая вероятность быть замеченным во время прыжка, даже ночью.

Еще я думал об иллюминаторах. Я хотел выпрыгнуть из иллюминатора подобно Мартину Идену. Но для этой цели иллюминатор должен был быть достаточно большим, а в каюте в момент прыжка не должно быть свидетелей. Я заметил, что на некоторых судах иллюминаторы вообще не открывались. Так было на «Одессе», на «Иване Франко». А вот на «Карелии» и «Казахстане» — новых и комфортабельных судах финской постройки, иллюминаторы не только открывались, но в каютах первого класса имели даже прямоугольную форму и размеры, явно позволяющие пролезть человеку и даже протащить небольшую надувную лодку. Я изучил расписание и оказалось, что большие суда не всегда заходят в Новороссийск. Иногда они делали переход из Сочи в Ялту или наоборот—напрямую. Сделав прокладку пути этих судов по карте, я увидел, что на траверзе Керченского пролива они удалялись от берега больше, чем на 100 километров. По расписанию некоторые суда проходили этот район ночью. Все это я запомнил.

Каждый вечер я приходил к Вале в ее красивый пансионат «Светлана», названный так еще в сталинские времена по имени его дочери и почему-то еще не переименованный.

Прежде чем впустить меня, дежурная отбирала у меня паспорт. Затем я шел в комнату, где Валя жила вместе с другой женщиной, тоже москвичкой. В комнате Валя не допускала никакой интимности.

— А вдруг войдет дежурная или моя соседка? Пойдем лучше гулять!

И мы шли в театр, или в цирк, или в ресторан. А поздним вечером всегда гуляли по набережной вдоль моря.

Мы спускались к морю, где-нибудь в районе Морского вокзала и, осмотрев вновь прибывшие суда, шли по набережной мимо нового красивого Концертного зала, свисающего над морем, мимо статуи Посейдона, выполненной из дерева, мимо многочисленных пляжей и киосков с винами и сластями. Темы для разговора у нас никогда не иссякали. Мы любили одинаковых писателей, нам нравилась музыка одних и тех же композиторов и мы одинаково ненавидели коммунизм. По мере того, как мы удалялись от Морского вокзала, гуляющих на набережной становилось все меньше, а электрическое освещение — все слабее. Где-то около парка имени Фрунзе фонари не горели совсем. Здесь мы останавливались, выбирали уединенную скамейку и долго

сидели на ней, обнявшись и любуясь прекрасной южной ночью.

— Смотри, Валя, вон там на юге, виднеется ярко-красная звезда. Это — Глаз Скорпиона!

— Ну и что, милый? Ты мне показываешь эту звезду уже третий раз. Забыл наверно? Чем она так нравится тебе? Почему ты показываешь именно эту звезду, а не какую-нибудь другую?

— Ох, Валечка, это — моя Звезда!

— Ты веришь в астрологию?

— Нет, дело не в астрологии.

— А в чем?

— С этой звездой у меня связаны кое-какие воспоминания. Я может быть расскажу тебе о них в наш последний день, в день твоего отъезда из Сочи.

За три недели я так привык к Вале, что когда этот день наступил, мне не верилось, что мы больше не увидимся. В этот день на Лечебном пляже опять появилось объявление. На этот раз курортники приглашались на концерт, составленный из песен на стихи Есенина. Валин поезд Сочи-Москва отправлялся в 11 часов. Мы прослушали половину концерта и с сожалением ушли с него, но настроение есенинских песен мы унесли с собой. Валя была грустной и больше молчала. Сперва она захотела пойти к морю, чтобы по обычаю бросить в воду монету, потом мы взяли ее вещи из пансионата и в городском автобусе подъехали к ярко освещенному железнодорожно-

му вокзалу, находящемуся в самом центре города. В залах ожидания и перед вокзалом обычного дневного оживления уже не было. Только в вокзальном ресторане, на втором этаже, громко играла музыка и сквозь белые занавески просвечивали тени людей. Мы поставили чемоданы на тротуар у входа в вокзал, взялись за руки и стали молча прохаживаться по безлюдному тротуару взад — вперед, не уходя далеко от чемоданов.

Меня всего переполняло жгучее чувство близкой и безвозвратной потери. Слов не было. Всякая обыденная болтовня казалась пошлой и ненужной, а важного сказать я не мог. Я был искренен, когда обещал рассказать ей о Глазе Скорпиона несколько дней тому назад. Но теперь я решил не делать этого: лирику и дело всей моей жизни нельзя мешать

друг с другом!» — думал я. И я был рад, что Валя не вспомнила об этом моем обещании, а может быть тоже решила, что это не нужно.

Когда по трансляции объявили посадку и мы молча подошли к ее вагону, Валя крепко пожала мне руку и вдруг протянула записку:

— Вот здесь записан мой рабочий телефон в НИИ химической промышленности, где я работаю начальником отдела. Позвони, пожалуйста, если соскучишься... Я найду способ приехать к тебе в Ленинград на несколько дней.

— Милая Валечка! — хриплым от волнения голосом ответил я, отстраняя ее записку. — Давай лучше вернемся к своим семьям и не будем уподобляться печальным героям из повести «Дама с собачкой». Этот сюжет уже разработан Чеховым полностью и нам добавить к нему будет нечего.

Валя ничего мне не ответила, только молча и печально посмотрела на меня. В тот момент, когда у нее начали навертываться на глаза слезы, она круто повернулась и вошла в вагон. Мне хотелось крикнуть ей вслед:

«Валечка! Милая! Я сказал тебе неправду! Мое сердце разрывается от разлуки с тобой!» Я бросился к окну и если бы она подошла к нему, то я бы крикнул ей это. Но она к окну не подошла...

Поезд без гудка медленно тронулся и вагон стал

удаляться от меня, увозя ее навсегда из моей жизни. Когда огни последнего вагона поезда скрылись за поворотом, я подумал с глубокой грустью и почти физической болью в душе: «Я поступил правильно. Для моей цели — это все лишнее!»

***

Вскоре после того, как я закончил свое лечение мацес-тинскими ваннами, подошел месячный срок (то есть предельный срок) моего проживания в гостинице «Приморская». Тогда я решил переехать в Коктебель. Борис Михайлович увязался за мной.

— Мне скучно одному. Возьмите меня с собой, — попросил он.

Поехали вместе, но в Коктебеле случайно попали на квартиру к той самой хозяйке, у которой я жил несколько дней перед своим побегом в 1967 году. Она почему-то переехала в другой дом, на другую улицу и по странному стечению обстоятельств я попал именно к ней. Оставаться

было нельзя. Она или уже узнала меня, или должна была узнать, как только возьмет у меня паспорт на прописку. Узнав, она могла пойти в милицию и заявить. Переехать на другую квартиру тоже не имело смысла — найдут и там, учинят в мое отсутствие обыск и обнаружат лодку, парус, продукты и документы в презервативах. Для ареста — достаточно. Мне пришлось разыграть сердечный приступ, объяснить его Борису Михайловичу переменой климата и срочно уехать из Коктебеля.

Так внезапно, против своей воли, в разгар лета, я вернулся в Ленинград. Летом в Ленинграде особенно противно. Если зимой часть нагретых выхлопных газов машин сразу уходит вверх, в атмосферу, то летом все эти газы остаются внизу и трудно дышать.

Грибов в лесах еще не было. Пару раз я съездил за ягодами, но не оправдал даже дороги. Однако, лес, речка, милая сердцу русская природа благотворно подействовали на ход моих мыслей и подсказали мне новую идею. Я решил отказаться от сравнительно большой польской лодки и искать маленькую шелковую лодку, которая ис-

пользуется летчиками. Понравившийся мне теплоход «Карелия» не выходил у меня из головы. Мне пришла идея: купить билет на этот теплоход из Сочи в Ялту и спрыгнуть с него в море, когда он будет проходить на расстоянии 100 километров от берега. «Если я спрыгну в этом месте, — мысленно рассуждал я, — то, во-первых, сразу окажусь в нейтральных водах, а, во-вторых, — на 100 километров ближе к Турции, чем если бы стартовал с берега. Сразу же после прыжка, который я сделаю в 2 или 3 часа ночи, я проплыву на юг максимально возможное для меня расстояние, допустим, 50 километров. После этого я надую свою миниатюрную авиационную лодку, брошу плавучий якорь и высплюсь в ней. Проснувшись, я вероятно окажусь посредине между советским и турецким берегом. Еще заплыв или два, и меня подхватят господствующие вблизи турецких берегов северные ветры и попутное течение. Чем ближе я буду продвигаться к турецким берегам, тем больше будет вероятности встретить турецкий корабль. Оставался вопрос питания и вопрос скрытности. Надо иметь какую-то сумочку, в которой вместе с лодкой, плавучим якорем, шерстяной рубашкой, приборами и документами лежало бы необходимое питание.

Эта сумочка должна быть маленькой и незаметной, чтобы никому не показалось подозрительным, что я всюду таскаю ее с собой, а не оставляю в каюте или же в камере хранения.

Во исполнение своего замысла я пошел в комиссионный магазин спортивных товаров, отозвал в сторону продавца и пообещал ему бутылку коньяка, если он оставит мне авиационную надувную лодку. Продавец не подвел. Через несколько дней я пришел к нему и он сказал, что лодка есть. Конечно, квитанцию он мне не показал и кроме подарочного коньяка я ему переплатил еще и в цене. Ну, да тут ничего не поделаешь! Купив лодку, которая весила 1,5 кг. вместе с чехлом, и убедившись, что она не дырявая, я пошел в Городскую железнодорожную кассу и отстояв ночь в очереди, купил билет в Сочи. Уж теперь я был уверен, что в Ленинград больше не вернусь.

***

Городская касса продавала билеты за 6 дней. Оставшееся у меня время я посвятил подготовке. Поскольку в советских магазинах шпиг не найти, то я купил на базаре свежее сало и сам засолил его. Затем я сделал тесто на масле, яйцах, меду, сахаре и изюме и испек маленькие кексы. Эти кексы я упаковал в презервативы. В другие презервативы я упаковал купленные на базаре курагу и изюм.

Упакованный шоколад у меня был. Таким образом, белки, жиры и углеводы я имел в шпиге, в кексах и в шоколаде. Витамины—в кураге и в изюме. Я заготовил питание в расчете на 10 дней.

Затем я сшил из яркого синтетического материала сетку. Для того, чтобы она походила на «последний свист моды» я пришил к ней ручки из толстых веревок. В эту сумку помещалось все: и лодка, и продукты питания. Сверху сумка стягивалась шнуром, чтобы ничего не выпало. Я не сомневался, что презервативы придадут сумке положительную плывучесть и я буду ее буксировать за буксирный конец, привязанный к ней с этой целью. Спасательная лодка для летчиков была оранжевого цвета. Это сделано для того, чтобы ее легче обнаружить поисковым партиям. Мне нужно было другое—чтобы никто ее не мог обнаружить. Пришлось купить тонкого шелка с сине-зелеными цветами, незаметного в морской воде, и сшить для лодки маскировочный чехол. Днищем этого чехла я сделал тюль, отрезав его от занавесок на окнах своей комнаты.

Когда я приехал в Сочи, там был разгар сезона. Ни в какой гостинице никакую койку было не достать. В квартирном бюро надменные «посредницы» заявили: «вам одному у нас ничего нет. Мы имеем комнату для семьи не меньше пяти человек».

— Ну, а если я один буду платить за все 5 коек?

— Платите.

— А где эта комната находится? Ее адрес? Оказалось, у черта на куличках. Платить 10 рублей в

день (2 рубля за каждую койку) и жить в 25 минутах езды на переполненном автобусе от моря! Маленькое удовольствие! Около железнодорожного вокзала была толкучка. На этой толкучке самоуверенные квартиросдатчики выбирали себе квартиросъёмщиков. Я понравился двум квартиросдатчицам.

— Пять рублей в день. Отдельная комната. Пятнадцать минут пешком до моря. Ходит и автобус.

— Согласен. Пошли.

Имея ночлег, я мог теперь думать о приобретении билета на «Карелию». Предварительная продажа билетов на «Карелию» начиналась за 6 дней до отхода из Сочи. Я пришел на морской вокзал накануне вечером. Там был уже список. Я записался тоже и дежурил до закрытия вокзала в 12 ч. ночи, а затем пришел к его открытию в 5 ч. утра. В 10 ч. утра открылась касса и кассирша вывесила объявление: «На «Карелию» билетов в каюты нет, есть только 15 палубных билетов». Я по списку был третьим и в любом случае билетов мне должно было хватить. Однако не успела подойти моя очередь, как поступило новое распоряжение: в первую очередь билеты продавать владельцам легковых машин. Многие сзади меня стоящие оказались «владельцами». Я оставался без билета несмотря ни на что. Тогда я попросил впереди стоящего гражданина—владельца машины—взять билет на меня, как на члена своей семьи. Так я оказался с билетом на теплоход, на который так трудно попасть.

В день отправления теплохода, 31 июля 1978 года, я много лежал. Потом пошел в ресторан, где съел дорогой обед, а после обеда вернулся опять домой и заставил себя заснуть. У меня были заготовлены две памятные записки: «сделать за неделю» и «сделать в день отъезда», в которых наряду с прочим были и нежелательные для разглашения пункты. Когда все было готово, я разорвал обе эти записки, и боясь бросить их в мусорницу, где их могли бы найти и восстановить, временно положил в чемодан, откуда хотел выбросить по дороге. Оделся я так, чтобы подготовка к прыжку за борт заняла минимум времени. На мне были плавки, чулки, в карманах шерстяной рубашки уложены все

необходимые предме

ты, включая даже упакованный в презервативы паспорт. Я был совершенно уверен, что этот побег наверняка состоится. Я оставил на себе минимум одежды: только белую рубашку да брюки. Лодка и припасы находились в сумке. Все остальное я сложил в чемодан, а чемодан отнес в вокзальную автоматическую камеру хранения, где и запер в шкафчик. Разорванные в клочки две памятные записки так и остались в чемодане. Я забыл их выбросить.

***

Вечером после посадки на теплоход я занял одно из кресел в трюме, отведенных для палубных пассажиров, и пошел осматривать теплоход. Теплоход оказался комфортабельным лайнером, предназначенным для увеселений советского привилегированного слоя. Цены на билеты были умопомрачительные: одно место в двухместной каюте 1-го класса «А» — 465 рублей за 7-дневный круиз, место в 3-хместной каюте — от 350 до 265 рублей. Я тщательно изучил все кормовые помещения. Ниже всех помещений был ют, где находились шпили, бухты тросов и разное боцманское оборудование. Выше его, на полуюте располагались круглый плавательный бассейн и солярий. Еще выше — прогулочная палуба с креслами, шезлонгами, столиками. На юте все время крутились матросы и поэтому для старта я избрал полуют, где был бассейн. Тем более, было удобно переодеться в туалете, находящемся рядом с бассейном. Наметив все это, я пошел ужинать, а после ужина в компании с семьей купившего мне билет человека, направился в концертный зал. В этот вечер выбирали «Мисс Круиз». Культмассовик сыпал остротами и как мог развлекал пассажиров. Мне надо было как-то убить время минимум до 2-х часов ночи, когда теплоход по моим расчетам пройдет траверз входа в Керченский пролив и будет находиться на максимальном удалении от берега. И надо было дожидаться этого времени так, чтобы не показаться никому подозрительным. Поэтому я присоединился к этой семье, угощал их прохладительными напит-

ками, занял места в концертном зале, а теперь слушал разглагольствования массовика. После того, как была избрана «Мисс Круиз», начались танцы. После танцев показывали кино. Кино, конечно, было самое отвратительное. Но я высидел полностью. Когда кино кончилось, был 1 час ночи.

— Пойдемте в ночной бар? — предложил я своему знакомому.

Он проводил жену и дочь в трюм спать, а потом вернулся ко мне и мы пошли.

— Мне что-нибудь прохладительное без всякого алкоголя, — сказал я официанту, — а моему товарищу — шампанское и конфеты.

— Нет у нас ничего не алкогольного, — нагло ответил официант.

— Я же вижу, бармен делает коктейль и льет в него сок. Налейте мне одного сока.

— Не могу.

— Налейте одного сока, а получите плату, как за шампанское.

— Это другое дело. Это я сделаю.

— Почему вы так не хотите ничего алкогольного? — поинтересовался знакомый.

— Сердце больное.

— Тогда правильно поступаете.

В 2 часа 30 минут ночной бар закрылся. Мой знакомый попрощавшись пошел к жене, а я остался на палубе. Мое время пришло еще 30 минут назад. Однако на всех палубах десятки людей ходили, сидели, стояли у поручней и не было никакой возможности у них на виду прыгнуть за борт—сразу же поднимут тревогу. Я тревожно поглядывал на часы, на небо, на море и мысленно гнал их всех спать. Наконец, в 3 часа ночи гуляющие стали расходиться. Остались только два человека, которые придвинули столик с бутылками на нем к самым поручням у кормы и беседовали между собой, то и дело поглядывая за борт, где вода была освещена судовыми огнями. «Черт бы их побрал! — думал я. — Нарочно они там сидят или случайно? Во всяком случае мой прыжок от них не укроется и они сразу поднимут тревогу».

Я лег на шезлонг и стал ждать, когда эти двое уйдут. В 4 часа утра предутренние блики побежали по воде. В начале пятого стало светать. Тогда эти двое встали и спокойно удалились. Очевидно, они сидели на корме не случайно.

А мой шанс был упущен. Еще одна попытка, к которой я готовился так долго и на которую так надеялся, не состоялась.

В подавленном состоянии я стал размышлять, мысленно задавая вопрос о том, не была ли моя осторожность обыкновенной трусостью? Может быть коммунистам удалось сделать из меня раба? Может быть им удалось меня запугать и прошедшей ночью я попросту испугался прыгнуть за борт? До тех пор, пока я не докажу обратное, я не смогу вернуть к себе уважение. А если у меня не будет самоуважения, то меня не станут уважать и другие. Тогда и книга моя не будет убедительной и вся моя цель — борьба с коммунизмом, превратится в сплошной фарс!

Подробно проанализировав свое поведение в течение минувшей ночи, я все же пришел к выводу о том, что поступил правильно, не прыгнув за борт. На этот раз у меня не было никаких шансов на успех. «Неужели все дороги для меня закрыты?» — пришла новая и горькая мысль. А на смену ей явилось твердое решение: надо искать эти дороги, искать настойчиво, терпеливо, не унывая от неудач и не отступая перед оправданным риском. На карту поставлена моя жизнь и моя честь. Я буду рожден вторично для новой жизни после успешного завершения этого испытания! Пусть еще одна попытка окончилась неудачей! Я начну все сначала и буду делать одну попытку за другой, пока не погибну или не добьюсь победы!

В Ялте я сошел с теплохода, уже строя в голове новые планы. Приехав в Ленинград, я написал письмо заведующему камерой хранения Сочинского вокзала. Я просил его переслать мне чемодан, который, «опаздывая на поезд, я не успел взять». После длительной переписки и высылки значительной суммы денег, чемодан мне вернули.

Обрывки памятных записок, о которых я больше всего беспокоился, оказались на месте.

Глава 55. Как я заработал деньги на круиз

Глава 55. Как я заработал деньги на круиз.

В Олешно кроме меня никто не вышел. Дверцы автобуса захлопнулись за мной и он поехал дальше, в Сабицы. Скоро шум его замер за Белой Горкой. Я вошел под навес будки для пассажиров и осветил внутренность фонариком. Ничто не изменилось со вчерашнего дня: та же сломанная скамейка, те же надписи на стенах. Я подкатил свою тележку (большую корзину на колесах) поближе к скамейке, положил на скамейку рюкзак и уселся сам на одну, еще оставшуюся не поломанной

дощечку. Прислушался...

Где-то плачет ночная, зловещая птица, Деревянные всадники сыплют копытливый стук... Кроме характерных ночных звуков — больше ничего. Грунтовое шоссе справа и слева от меня терялось в темноте. Сзади — темный, жуткий ночной лес. Прямо передо мной — далекое озеро, а над озером — ущербная луна, ныряющая в облаках. От тусклого света луны стало не по себе. Слева от меня, там, где начиналась дорога к Липовым Горам, вспыхивали какие-то огоньки. «Что это: светлячки или волчьи глаза?» Все чаще приходилось слышать о нападении волков на людей. В Лужских лесах волков развелось очень много. Вот в прошлый раз мне рассказали, что недалеко отсюда волк напал на женщину направлявшуюся в хлев. Женщина оказалась бедовая: засунула в пасть волку свою левую руку, а правой схватила лопату и убила его. Правда, сама попала в больницу. « Вот нападут на меня волки, а у меня даже лопаты нет!» Я засветил фонарик, помахал им в сторону «волков», но свет фонарика растворился в нескольких шагах от меня. Посмотрел на часы — половина пятого. Автобус сегодня некстати подали к Лужскому автовокзалу точно в три двадцать и мчался он все 60 километров до Олешно — как на пожар! И вот теперь сиди до рассвета здесь, прислушивайся к «волкам»! И холодно к тому же!

Я встал и начал ходить под навесом взад-вперед. На «страх волкам» запел:

« Сильва, ты меня не любишь! Сильва, ты меня погубишь!»

Кончил «Сильву», запел «Тачанку», за «Тачанкой» — «Мою родную Индонезию» (хотя я никак не предполагал тогда, что она станет мне действительно родной). Откуда-то справа, должно быть из совхоза Волошово, промчался грузовик. На миг он осветил своими фарами меня, будку, «волков» и снова стало темно, только вдали еще слышался его грохот. Скоро и грохот замер. Я долго ходил, пел, а потом свистел. Луна потонула в тучах, собравшихся перед утром, листья затрепетали от проснувшегося ветерка. Слева на дороге стал еле-еле просматриваться верстовой столб. Наконец, начало медленно светать.

Чтобы не терять зря времени я стал завтракать. Достал из телеги банку со сметаной, булку, ложку и стал есть. Хорошо это я придумал — брать с собой сметану: сытно и не в сухомятку все же! Когда половина была съедена, я отложил другую половину на обед. Пока я ел, еще немного рассвело. Стало видно другую сторону дороги и группу елочек на

обочине. Я снял с себя ватник, завернул его в целофан, и вместе с бутылкой с чаем отнес под елочки и замаскировал ветками. Часы уже показывали шесть. «Ну, пора идти», — подумал я и привязав рюкзак к телеге, повез телегу за веревку. Несмазанные колеса заскрипели и наполнили шумом утренний лес. Я шел по дороге на Липовые Горы. В лесу было еще темно. Я освещал дорогу фонариком, пока не прошел первый глухой лес и не вышел на поляну. Там меня обогнали две легковушки с корзинами на крышах. «Вот черт! Не спится им!» — подумал я, но все же стало веселее: «Там, впереди, спугнут зверей-то!»

Дорога знакома до мелочей. После поляны — перелесок, слева от дорог: в перелеске часто вырастают лисички. «Сейчас еще темновато, но по обратной дороге надо сюда завернуть, посмотреть...» Дальше — спуск под горку. За спуском направо — темный болотистый лес, а налево — поле. Потом за ручьем есть небольшое место в

лесу, где я раньше находил красные. Сегодня еще с дороги я увидел один. Забежал в лес, выдернул его и оглянулся по сторонам — нет ли еще? Мокрый от росы папоротник стегал по моим брюкам, вставленным в короткие резиновые сапоги, и они намокли. Спрятавшись среди папоротника стояли еще два красных: толстых-пре-толстых, и крепких. В этом году почему-то все красные были хорошие, а все белые — червивые. Поэтому я даже не стал проверять их, а прямо положил в корзину. Потеплело. Я снял с себя плащ и свитер и убрал их в корзину. Полоска на востоке, свободная от туч, начала алеть. Птицы пробовали голоса после сна: раз, другой, третий. А после пробы — длинные трели, сливающиеся, вплетающиеся одна в другую.

Одна птичка пела специально для меня. Я заметил это. Она сидела на нижней ветке дерева в 5-6 метрах от меня и глядя на меня пела чистым, серебристым голосом. Когда я со своей телегой осторожно проезжал мимо, она перелетала на другое дерево, опять впереди меня, и снова пела, повернув головку ко мне. Но мне надо было торопиться. Я должен был набрать больше грибов, чтобы на рынке получить за них больше денег. Скоро начнут продавать путевки на круиз «Из зимы в лето», о котором я стал думать после неудачной попытки побега на Черном море, — а денег для приобретения ее у меня еще не было.

«Спасибо тебе, птичка, за твое пение!» — поблагодарил я певунью, ускорил шаг и скрип моей телеги покрыл все другие лесные звуки. Стало совсем светло. Там, где мою дорогу пересекала дорога в село Олешно, я заглянул в кустарник. Здесь я тоже иногда находил красные,

только не очень красивые. Я нашел два гриба и на этот раз и положил их в корзину. «Вряд ли кто купит эти тоненькие хилые грибки!» — подумал я.

Вот и стога сена, где я ночевал недавно. Затем опять лес. В этом лесу росли маховики. Но маховики — в последнюю очередь, если не будет красных. Самые лучшие, самые мелкие маховики идут на рынке по 2 рубля за килограмм, а красные, если хорошие, — по 3,5 или по 4 рубля. На выходе из леса около озера — могила солдат из продотряда, грабивших крестьян по приказу партии и убитых

крестьянами села Олешно. Грубая деревянная ограда, грубый памятник со звездой. На памятнике надпись сделана химическим карандашом. Кто-то из проходивших здесь показал свое отношение к чекистам — бросил отходы на их могилу.

Солдатское озеро все парило, как будто под ним находился гигантский кипятильник. Сейчас в тумане был самый лучший клёв. Сколько раз у меня возникало желание половить здесь рыбу. Но нет, нельзя. Мне нужны позарез деньги, а я их мог получить только за грибы. За озером — пашня. В прошлом году здесь была посажена картошка, а в этом году посадили кукурузу. Кукуруза у нас на севере не дает початков и ее сажают только на силос. А за пашней начиналась вторая половина моего пути, следующие пять километров. Здесь притаилось маленькое заболоченное озерцо, за которым торчали пни вырубленного леса. Еще год назад на том месте рос сосновый бор. А вот теперь вырубили квадратный участок леса со стороной, равной 0,5 километра. Какую-то часть этого леса вывезли, остальное оставили, сучья — тоже. И больше никто на участке не появлялся. Здесь проходили две дороги: одна на Липовые Горы, другая — вдоль озерца куда-то в сторону Волошово. Кто-то из Имеющих Право решил вырубить лес у самой дороги, чтобы меньше труда затратить. Вырубили на глазок, на много больше требуемого. Сколько надо было — увезли, остальное оставили гнить. Зачем жалеть? Ведь лес «не мой, а — государственный!» Советские люди живут так, как будто точно знают, что завтра — конец света. Они привыкли к тому, что им лично ничего не принадлежит, а все принадлежит государству, то есть коммунистам. Поэтому у людей выработалось наплевательское отношение ко всему, в том числе и к окружающей природе. Они всюду сорят, оставляют не затушенные костры, рубят и ломают деревья, вырывают с корнем грибы, губят ягодник, собирая ягоды «комбайном». Местные жители с горечью

говорят о том, что весь лес от шоссе вплоть до Липовых гор и на горах тоже — обречен. В Волошово построили большой совхоз по выращиванию крупного рогатого скота. Когда уже построили, то ока-

залось, что имеющихся лугов недостаточно для питания того поголовья, на которое он расчитан. Теперь якобы есть решение вырубать леса и на их месте создавать луга для скота. Лозунги коммунистов «Нам нечего ждать милостей от природы!» и «Переделаем природу!» очень скоро лишат Ленинград самых урожайных грибных и ягодных лесов во всей области. Скоро грибы станут такой же редкостью в меню ленинградцев, как уже стала рыба.

Лес здесь хмурый, темный, заросший папоротником. В этом папоротнике недалеко от дороги летом бывает земляника. Вот и сейчас неподалеку ярко засветилась красная ягода. Я сорвал ее и положил себе в рот. Нет ничего вкуснее земляники! Не даром земляника на базаре — 2 рубля стакан! Вот поворот дороги и упавшее дерево сбоку. На этом дереве я нередко обедал, когда возвращался с грибами. За другим поворотом — болотистый участок дороги. Здесь мою телегу пришлось переносить на руках. А дальше — подъем в гору. По обе "стороны от дороги начали попадаться волнушки, подберезовики, лисички и маховики. Лес становился все лучше и лучше. Папоротника было уже мало, а в основном лес был выстлан белым и желтым мхом, какой любят белые грибы. Но в этом году белых грибов почти совсем нет. На этих местах теперь вырастали красные. Я прошел первую дорогу направо. Вторая дорога направо — моя. Но прежде, чем повернуть на свою дорогу, я прошел еще немного вперед, чтобы посмотреть, не выросли ли красные грибы еще на одном месте в буреломе. Было уже совсем светло. Солнце позолотило сосновый бор и вместе с ночным холодом и ночным мраком испарялись и ночные страхи. Я начал сильнее ощущать ни с чем не сравнимый запах хвои и грибов. «Хорошо в такое солнечное утро пройтись с любимой женщиной по Лужским сосновым лесам!» Но любимой женщины не было и я все свое внимание отдавал грибам. В буреломе искать грибы трудно. Я прошел по одному и тому же месту три раза, прежде чем обнаружил семейство красных грибов, крепких и здоровых, как дети на даче.

Следующее мое место—уже на боковой дороге,

которую я только что прошел. Возвратясь к ней, я некоторое время шел по этой узкой и неровной дороге. Я знал, что она кончится через 3-4

километра тупиком между двух горушек, поросших сосняком. На этой дороге не было видно ни свежих следов людей, ни свежих следов машин. «Значит, обогнавшие меня грибники проехали прямо на Липовые Горы. Это — хорошо!»

Справа в кустах раздался какой-то шорох. Я повернул голову туда и увидел большого красивого зайца. Заяц не торопясь бежал рядом с дорогой и с любопытством поглядывал на меня. Немного пробежав, он остановился и замер под кустом на задних лапах. Я подошел ближе — заяц смотрел на меня и не двигался. Тогда мне пришло в голову погладить его. Я не дотянул руки каких-нибудь пол метра, когда заяц отпрыгнул в сторону и встал под другим кустом. У меня не было времени играть с зайцем. Я помахал ему рукой и двинулся дальше.

Лес, в который я теперь углубился, имел довольно мрачный вид из-за обилия елей. Кроме того, множество оврагов, лощин между горушками и обилие бурелома делало эти места пригодными для звериных берлог. Зверей развелось в Лужских лесах много: ружья теперь без разрешения не продаются, да и охота почти что совсем запрещена. Вот звери и развелись.

Вот он и первый зверь! Своим чиханием я спугнул лося совсем близко от себя. Испуганное большое животное с шумом и треском побежало прочь, ломая по пути кустарник. Лось — почти безобидное животное. Но этого нельзя сказать ни про волка, ни про медведя, ни про кабана, ни про рысь. Поэтому, чтобы больше не было неожиданных встреч, когда животное с испугу могло броситься на меня, я начал петь. Когда петь надоело, я перешел на свист. Снова на моем пути появился участок лесоразработок. В отличие от недавно пройденного участка здесь срубленные сучья сжигались на кострах. Но здесь было другое: гусеничные тракторы, таская волоком срубленные деревья, изрыли, искромсали грунтовую дорогу и сделали ее не только не проезжей, но даже — непроходимой.

Я свернул вправо от дороги, где лес еще не был выруб-

лен, и, косясь на застывшие в разных позах тракторы и бульдозеры, поспешил скорее пройти этот участок. Наконец, я дошел до того места, где обычно оставлял свою телегу. В этом месте узенькая тропинка вела в лес. Я довез свою телегу до самого края большого оврага, где тропинка исчезала, а дальше на руках спустил ее в овраг и замаскировал в зарослях папоротника. Из рюкзака я вынул корзину поменьше и взял в руки, а рюкзак одел себе за спину. (Если телегу

найдут и украдут, то останется рюкзак с теплыми вещами). Затем спустился на дно оврага. Внизу было хмуро и сумрачно. Большие ели раскинули свои ветви до самой земли. Здесь росли красные. Я подлезал под нижние ветви елей, иногда поднимал их и грибы один за другим попадали в мою корзину. Это очень приятно — собирать грибы! Также, как я научился плавать в раннем детстве на реке Луге, я научился искать грибы тоже очень рано и тоже — в Лужских лесах. И вот когда коммунисты перекрыли для меня все другие источники заработков, я воспользовался теми навыками, которые не получают ни в школе, ни в институте, а только в семье, — и стал собирать грибы для продажи на рынке. В первое лето после освобождения из тюрьмы у меня и корзинки не было и денег на ее покупку тоже не было. Я поехал за грибами с картонной коробкой, вложив ее для удобства в сетку. Поехал, конечно, в Большие Крупели, туда где сливаются река Луга и река Оредеж и где в детстве я жил на даче. Но там оказалось очень много дачников и мало грибов. Однажды, встретив в электричке грибников с полными корзинами, я разговорился с ними и узнал, что они ездили в Лугу, а дальше на автобусе — за Серебрянку. На следующий день я тоже поехал в Лугу, благо ехать пришлось всего на 5 минут больше. Поехал на ночной электричке 0.30. В 2:40 ночи я был в Луге и стал спрашивать на автобусной остановке про Серебрянку. Двое мужчин с огромными корзинками обменялись между собой репликой:

— Возьмем его с собой?

— А почему нет! Что нам леса что ли жалко!

Потом один из них обратился ко мне:

— На Серебрянке вам грибов не найти. Там надо места

знать! Если хотите, поезжайте с нами на Липовые Горы. Это далеко отсюда: 60 километров на автобусе и 12 пешком. Но наберете одних белых, полную корзину!

Я с радостью согласился и вот уже третье лето ездил в эти места, хотя до Липовых Гор теперь не доходил. Жаль, что эти хорошие люди, которые тоже собирали грибы на продажу, больше сюда не ездят. Один из них умер от сердечной болезни зимой 1980 года, а второй— пропал без вести. Очевидно виновата водка, которую он очень любил.

Но вернусь к своим грибам. Поездка только тогда оправдана, когда удавалось продать грибы хотя бы на 30 или 40 рублей. Иначе не было

смысла, слишком большие расходы: электричка — 3 рубля 30 копеек, автобус-2 рубля, да надо потратиться на еду. Хорошо еще, что мне не надо было брать с собой водки, как другим грибникам, которые без нее и собирать-то не могли. Для того, чтобы выручить на рынке 30 рублей, надо было собрать по крайней мере 120 штук красных хорошего качества и средней величины. Очень крупные грибы шли на базаре по более низкой цене, а мелких — надо было очень большое количество. Вот я и считал каждый гриб и предпринимал все усилия, чтобы набрать их побольше.

Пройдя вдоль всего первого оврага, я вышел на пригорок и, с трудом протискиваясь через густые заросли елей, направился к другому оврагу. В густом лесу могут расти только грузди и волнушки, красных и белых не бывает. За вторым оврагом я осмотрел третий, потом — склоны оврагов и пригорки. Попалось несколько червивых белых. Их я взял для себя. Себе приготовлю суп. Когда корзина наполнилась до верха, я по компасу вернулся к своей телеге и пересыпал в нее грибы. В мою телегу вмещались четыре меньших корзины. Сегодня я обошел все свои места, дошел до тупика, где кончалась дорога — там, на горушке, среди часто посаженных, но частично засохших елей тоже иногда вырастали красные — и набрал только две корзины, всего около 70 штук. Времени до автобуса оставалось мало. Было 12 часов, а автобус шел в 4 часа. Автобус — всего один. По расписанию, второй автобус должен был приходить вечером, в

20 часов, но его, как правило, не бывало. Кто не успевал на 4-х часовой автобус, оставался в Олешно до следующего дня. Поэтому грибников здесь было мало, а грибов — сравнительно много. За оставшиеся 4 часа я должен был, во-первых, дойти до остановки автобуса, а во-вторых, набрать еще две корзины каких-нибудь грибов, чтобы заработать хотя бы минимум — 30 рублей.

Теперь, когда я обошел все свои места и не набрал нужное число красных, я начал собирать все грибы подряд: белые, красные, подберезовики, лисички, волнушки, грузди, маслята, маховики. Когда и второсортные грибы были собраны, я отправился в обратный путь. Почти полную телегу нести вверх по склону было тяжело и я разделся до рубашки. Наверху я поставил телегу на тропинку, сверху на специальные досточки поставил рюкзак и меньшую корзину и повез все это за веревку. Везти было тяжело, но без этой телеги (моего изобретения) мне вообще бы было не унести такое большое количество

грибов. Я вез телегу сначала по тропинке, затем — по узкой дороге, и, наконец, по главной дороге. Я все время смотрел по сторонам и едва замечал какой-нибудь гриб, бросал свою постромку и бежал к нему. Потом делал большой круг в поисках родственников и всех их клал в целофановый мешочек, который потом высыпал в корзину. Завершающим участком был перелесок рядом с поляной, который я прошел мимо этим утром, пообещав самому себе заглянуть сюда по обратной дороге. Здесь, как всегда, я нашел лисичек. Лисички, хоть и недорогие (2 рубля за килограмм), но имели хороший спрос. «Еврейские грибы» — говорили про них грибники, потому что основными покупателями лисичек были евреи. Может быть из-за того, что лисички никогда не бывают червивыми.

По дороге домой я вновь вспомнил бесхозяйственную рубку леса и слухи о том, что весь этот грибной лес скоро перестанет существовать. Проходя мимо разграбленной и полуразрушенной, но все еще красивой церкви на Белой Горке, а потом — вдоль берега озера, почти сплошь заросшего травой, я невольно думал: «Когда прекратится это разграбление, запустение и зарастание

сорной травой моей Родины?» А когда меня обгоняли легковые машины с самодовольными советскими буржуями внутри, с удивлением поглядывавшими на меня и на мою телегу, я думал другое: « Как мудро Господь создал мир! В нем никогда не бывает абсолютных потерь! Пусть я устал и едва тащу свою нелепую телегу. Пусть они не устали и едут с комфортом. А мне, может быть, придется еще в автобусе и в электричке стоять на ногах... пусть! Ценой этой усталости я приобрел себе здоровье, ибо большая физическая нагрузка в сосновом лесу — полезна для здоровья. У них есть автомобиль, а у меня — здоровье. Что лучше?»

Если бы всегда так смотреть на жизнь, никому не завидуя и всем довольствуясь! Есенин лучше других понимал эту божественную философию. Недаром он написал:

«Хорошо бы на стог улыбаясь,

Мордой месяца сено жевать!

Где ты? Где моя тихая радость:

Все любя, ничего не желать?»

Наконец, мокрый от пота, усталый, но довольный успешным походом, я

подошел к автобусной остановке на шоссе. Мой ватник и бутылка с чаем, никем не найденные, дожидались меня в кустах. Становилось прохладно. Я снял мокрую от пота рубашку и надел на себя свитер, ватник и плащ. Затем пообедал. Хорошо поесть на свежем воздухе с сознанием умело проделанной работы! Я быстро съел сметану с хлебом, а потом еще и бутерброд с чаем.

Автобус пришел вовремя. К моему удовольствию в нем оказалось свободное место. Я сел, рюкзак бросил под ноги, а корзину поставил на колени и так дремал до самой Луги. Потом спал в электричке. В метро и на ленинградских улицах люди с любопытством смотрели на мою тележку. В 9 часов вечера я был дома. Несмотря на усталость надо было сразу же перебрать грибы и положить их на подоконник открытого окна, чтобы не зачервили бы до утра. Из червивых грибов, которые не годились для продажи на рынке, я сварил себе суп. Только после этого, поев и попив чаю и поставив будильник на 5 часов утра, я лег спать.

Рано утром я повез грибы на Московский рынок. Если приехать туда позднее 7 ч. утра, на прилавках не будет свободных мест. А дальше — как повезет. Иной раз мне удавалось продать свои грибы до 1 часу дня и я имел время поспать, а другой раз было не продать и до самого вечера. Обязательно находились пьяные покупатели, которые обзывали меня «спекулянтом» и заявляли, что я продавал грибы по цене «даже дороже мяса»! Всем им я отвечал одинаково: «Водка, которую вы пьете, — тоже дороже мяса!»

В любом случае по дороге домой я заходил в магазин и покупал продукты в лес, затем немного спал дома, а в половине двенадцатого ночи снова спешил на Варшавский вокзал, откуда ночная электричка везла меня опять в Лугу.

Для того, чтобы заработать 580 рублей, необходимых для покупки путевки «Из зимы в лето», которая открыла мне дорогу на Свободу, мне пришлось съездить таким образом более 30 раз, да еще несколько раз на болото — за клюквой.

Часть 6. НИКАКИХ ЭМОЦИЙ!

Глава 56. Ленинградское Бюро Путешествий

«Просите, и дано будет вам,

Ищите, и найдете,

Стучите, и отворят вам».

(от Матфея, Глава 7,Стих 7).

Глава 56. Ленинградское Бюро Путешествий.

Весь день 20 октября 1979 года я занимался своей кни-

гой, переписывая ее последние страницы на тонкую папиросную бумагу, и только вечером решил еще раз сходить в Ленинградское Городское Бюро Путешествий и Экскурсий. Я спрятал в специальный карман, пришитый под матрацем, мою рукопись, убрал со стола все черновики, затем закрыл дверь моей комнаты на замок и вышел из квартиры. На улице было прохладно и шел мелкий осенний дождь.

Автобус привез меня на угол улицы Желябова и Невского проспекта. В густой толпе народа я прошел по улице Желябова мимо досок объявлений, на которых были помещены частные объявления о продаже «совсем новых» кожаных пальто и меховых жакетов (по астрономическим ценам!), мимо закусочной, и вошел в знакомое старинное здание, где на первом этаже продавались билеты на экскурсии по городу, а на втором — путевки на путешествия по стране. По лестнице я поднялся на второй этаж и вошел в узкое длинное помещение. Направо от входа начинался ряд окошек, в которых оформлялись путевки.

Слева от входа находилась специальная доска объявлений для водных маршрутов, к которой я и подошел. Я всего-навсего «отбывал номер», так как прошло только два дня с тех пор, как я заглядывал сюда в последний раз, и ничего нового не ожидалось. И вдруг на этой доске рядом с четкими объявлениями о маршрутах по реке Волге и по Черному морю, я увидел написанную от руки на клочке бумаги записку о том, что в продажу поступили путевки на путешествие «Из Зимы в Лето». Волнение охватило меня. Я подошел к окну с надписью «Продажа путевок на водные маршруты» и волнуясь спросил:

— Путевки «Из Зимы в Лето» есть?

— Пока есть, но осталось всего несколько штук. «Ничего себе! Еще только начали продавать, а уже «осталось только несколько штук!» — подумал я, но как мог вежливо стал расспрашивать девицу. Оказалось, что путевки опять подорожали. Новая цена путевки была 580 рублей. Я же имел только 550 рублей и 12 килограмм клюквы, которую собрал на болоте за последние дни. «Нужно во что бы то ни стало продать эту клюкву

за 30 рублей! — начал я прикидывать в уме, — ибо нигде больше денег я не достану: грибов в лесу уже нет, а из вещей продать мне нечего».

Мне дали прочитать «проспект». Проспектом назывался листок газетной бумаги, на котором неразборчиво было напечатано следующее: «Туристский маршрут «Из Зимы в Лето» проходит на теплоходе «Ильич» из города Владивостока вдоль Японских и Филиппинских островов до экватора и обратно. Заходов на острова и в порты теплоход «Ильич» не делает. До Владивостока туристы летят в составе группы на самолете. Во Владивостоке для туристов будут организованы экскурсии по городу. Дата вылета самолета из Ленинграда — 27 ноября, дата возвращения в Ленинград — 20 декабря 1979 года. За 10 дней до отъезда туристы должны получить и зарегистрировать в Бюро Путешествий пропуск для въезда в погрангород Владивосток. Для получения пропуска по адресу улица Каляева 10, туристы должны взять направление из Бюро Путешествий. Регистрация туристов на 1 этаже за 10 дней до отъезда».

Было 5 часов вечера. Бюро скоро закрывалось. «Завтра — воскресенье, — подумал я. — Бюро будет закрыто. Послезавтра я должен придти сюда первым! Но где взять недостающие 30 рублей? В воскресенье клюкву дорого не продать, так как в этот день бывает большой завоз. Придется подождать до понедельника!»

Я пришел домой, собрал все имевшиеся у меня стеклянные банки и снес их на приемный пункт. Мне дали за них 1,5 рубля. Перебрав буквально все вещи в своей комнате, я нашел, что еще могу продать кулек сушеных грибов и сделанную мною вручную из импортной мешковины провизионную сумку.

В понедельник я поехал на Андреевский Колхозный рынок в 6 часов утра, где сумел продать свою клюкву только за 28 рублей. Провизионная сумка пошла за 1 рубль. Сухие грибы у меня украли из-

под носа.

Я поспешил в Бюро Путешествий и поспел как раз к его открытию. Кассирша с удивлением уставилась на мои деньги, ибо часть моих денег составляла мелочь, в том числе даже медь. С путевкой в кармане и 50 копей-

ками оставшихся денег я вернулся домой. Мой мозг лихорадочно работал: «Теперь срочно устроиться на работу! Только после оформления на работу можно идти в Бюро пропусков МВД и пытаться получить пропуск во Владивосток. Да и есть нечего: на 50 копеек нельзя поесть даже один раз!»

В тот же день я устроился работать грузчиком — в ресторан «Волхов», где меня хорошо знали и сразу же приняли. Еще бы: я был единственным непьющим грузчиком на весь Ленинград. Когда меня оформили на постоянную работу, я пошел в Бюро Пропусков. Бюро Пропусков в пограничные и запретные районы СССР теперь помещалось в одном из зданий на улице Каляева, принадлежащем к огромному комплексу Большого дома.

На этой улице подряд, без всяких просветов, шли казенные серые здания, которые не имели ни названий, ни объявлений. Это были корпуса политической тюрьмы КГБ, кабинеты следователей и камеры пыток, в которых были расстреляны или замучены тысячи людей.

На улице не видно было детей, а редкие прохожие старались скорее миновать это зловещее место. Об этой улице можно было сказать словами из песни Булата Окуджавы:

« Там птицы не поют,

Деревья—не растут!»

Здание Бюро пропусков было одноэтажное и напоминало приемную тюрьмы, тем более, что у входа стоял охранник. Входившие туда люди невольно начинали говорить шепотом и внутренне съеживались. Внутри бюро представляло собой комнату с несколькими канцелярскими столами и стульями и несколькими окошками в очень толстой перегородке, за которыми сидели «сотрудники». На столах лежали инструкции, в которых объяснялось, как надо заполнять анкеты.

За одним из этих столов я тоже заполнил свою анкету, однако без упоминания о пребывании в тюрьме и о выходе из партии. Потом я написал заявление на пропуск. Приложив к этим документам свой

паспорт, путевку и направление из Бюро Путешествий, я подал все это в окно. Женщина в окне сверила мои документы и, ос-

тавив себе заявление, анкету и направление, остальные вернула мне.

— Придете за ответом 13-го ноября с 16 до 18 часов, — лаконично сказала она.

Я совсем не верил в возможность получения пропуска. Мне рисовались картины одна хуже другой. То я представлял, что теперь в моей комнате сделают обыск. Другой раз мне думалось, что 13 ноября, когда я приду за ответом, меня поведут на допрос и будут требовать чтобы я сознался в намерении бежать с теплохода. Во всяком случае я решил до 13 ноября никаких мер по подготовке к отъезду не предпринимать. Я ходил на работу в ресторан «Волхов», где разгружал машины с продуктами, укладывал продукты в складские помещения и по мере надобности подавал эти продукты на кухню ресторана. Меня кормили на кухне, на выходные дни давали «паек» и я обходился без денег. Поскольку рабочий день у грузчиков не регламентирован, то работать приходилось с 8 утра допоздна. Иной день я возвращался домой только в 9 часов вечера сильно утомленный. Сразу же ложился спать. Конечно такая работа, да еще за мизерную плату — 85 рублей в месяц мало кого устраивала и грузчиков всегда не хватало. Вот почему они приняли меня с такой радостью. Грузчиками в СССР работали только горькие пьяницы, да «деклассированные элементы» вроде меня.

13 ноября вопреки ожиданиям я получил пропуск во Владивосток. Что это было: ошибка МВД («и на старуху бывает проруха!») или же — провокация КГБ — я до сих пор не знаю. Подумав, я решил, что это — провокация и стал соответственно готовиться. Поскольку провокация могла иметь целью поймать меня с поличным при попытке побега, то прежде всего у меня в вещах не должно было быть никаких улик, указывающих на подготовку к побегу. Я сразу же решил отказаться и от компаса и от герметического футляра для часов, который брал с собой и в 1966 году и во время других попыток побега. Я также не взял с собой адресов друзей, чтобы не подвести их в случае моего ареста. Я решил не брать с собой никаких документов, которые были бы неоправданны надоб-

ностями путешествия «Из зимы в лето». Кроме паспорта я взял только военный билет и фотокарточку моих родителей. И то я не завернул их в

резину в Ленинграде, оставив это дело на день побега. Кроме того, я приготовил маленький перочинный ножик и леску с крючком и искусственной мушкой. Удочка должна была снабжать меня пищей, ибо сначала я собирался бежать на лодке. Маленькую надувную лодку из прорезиненного шелка весом всего 1,5 кг. я зашил в тонкий материал, купленный специально для этой цели еще летом, таким образом, что его можно было обернуть вокруг пояса на подобие бандажа. На шелковую материю я пришил пуговицы и сделал петли. Сверху я приспособил специальный ремень из того же материала. Одетый таким образом «бандаж» создавал впечатление, что у меня есть небольшой «животик», что в моем возрасте не должно было казаться странным. На всякий случай я решил не снимать в самолете свое массивное зимнее пальто, прошедшее со мной все тюрьмы и все еще великоватое мне.

Я ожидал, что в аэропорту в моих вещах под видом обычного досмотра будет произведен обыск. Именно поэтому лодку я и не положил в чемодан, а приспособил на себе. Свою специальную сшитую для заплывов рубашку я тоже не взял. Рубашка была синего цвета. А для обитателей тех морей, куда я направлялся теперь, цвет одежды играл немаловажное значение. Из литературы я знал, что акул эффективно отпугивают открытым под водой разноцветным (преимущественно красным) зонтиком. Плыть с раскрытым зонтиком я не мог. Но зато я мог одеть пеструю, преимущественно красную ковбойку. Ее я и взял с собой. Я также знал, что акул провоцирует к нападению голое тело пловца. Поэтому я взял с собой женские длинные чулки, чтобы у меня не было голых участков тела. Чулки и рубашка должны были предохранять одновременно и от солнечного ожога и от ожога медуз-физалий. На голову я взял зеленую резиновую шапочку. Здесь превалирующим фактором являлось стремление не быть обнаруженным с корабля. Поэтому — под цвет морской волны.

Другой моей заботой была рукопись книги. Ее я закле-

ил в резину. Получился довольно объемистый пакет. Несколько дней я молил Бога надоумить меня и наконец решение пришло: я надставил боковой карман зимнего пальто так, что рукопись глубоко провалилась в него. Все было готово к отъезду.

Теперь главная задача состояла в том, чтобы не подвела психика, как в 1966 году около Манилы. Главное не струсить, когда придет время прыгнуть в море. Пожалуй, психологическая готовность — самое главное в таком предприятии. На всю жизнь я запомнил противную

дрожь во всем теле — следствие страха, испытанного мною в 1966 году. И теперь я придавал самое большое значение психологической подготовке, чтобы не было повторения этого. К числу психологических мероприятий относились: строжайший режим дня перед побегом, полный запрет на алкогольные напитки, а также на всякие лакомства, запрет смотреть на встречающихся в море морских змей и акул, запрет ходить на лекции о змеях и акулах, запрет на женщин. Я придумал лозунг, который должен был психологически обеспечить выполнение операции. Этот лозунг: «Никаких эмоций!» В соответствии с этим лозунгом, чтобы «морально не размягчаться» я решил сходить в церковь только один раз, сразу после получения пропуска во Владивосток, и больше не ходить вплоть до самого побега. Я был опять во Владимирском соборе, куда ходил еще в детстве, вместе с матерью, и поставив свечку перед иконой Казанской Божьей Матери, молился о том, чтобы Господь укрепил меня морально, не дал бы поддаться страху, и в конечном счете — помог мне благополучно совершить побег.

Приближалось время отъезда, но оставалась нерешенной последняя проблема: как уехать во Владивосток, не поссорившись с директором ресторана? Я понимал, что если уеду, ничего не сказав в ресторане, или же уволюсь со скандалом, — это будет очень подозрительно и КГБ может перехватить меня на моем пути к цели.

Я долго не мог придумать предлог, который был бы приемлем для директора. Ведь я работал всего один месяц — и вдруг ни с того, ни с сего — увольнение. Так я дотянул до 26 ноября. Дальше откладывать уже было нель-

зя. Я подошел к директору, когда он был один, и сказал, что случайно купил путевку в санаторий, и теперь у меня нет хода назад, ибо деньги мне уже не вернут — поздно. Я должен или взять отпуск за свой счет или уволиться. Естественно, директор очень удивился, особенно когда узнал, что путевка с завтрашнего дня. Однако он повиди-мому уважал меня и попросил время подумать. В конце дня директор сообщил мне, что дать отпуск за свой счет у него нет возможности.

— Тогда вот мое заявление об увольнении, — ответил я. Он взял заявление и задумчиво произнес:

— Похоже на то, что вы предъявили мне ультиматум. Я, как мог, попытался смягчить впечатление и добавил, что расчет брать не буду и документы тоже оставлю в ресторане. Если после санатория будет нужда во мне — я с радостью продолжу работу в ресторане «Волхов»,

если же нет — пусть берут другого грузчика.

Это, кажется, подействовало, и директор без злости сказал:

— Где же нам найти грузчика на временную работу, всего на 24 дня?

Во всяком случае, мы с директором расстались без ссоры и это очень обрадовало меня. Кладовщик и старший бухгалтер — те без всякой дипломатии заявили: «Конечно поезжайте! Не пропадать же путевке! Поезжайте! А когда вернетесь — будете работать на старом месте. Другого такого грузчика мы не найдем».

Морально я был очень утомлен. Чтобы снять утомление и по русскому обычаю отметить свой отъезд, я купил бутылку сухого вина. Однако вино мне не пошло. Я выпил лишь немного, бутылку с остальным вином поставил за окно.

Утром 27 ноября я уложил чемодан, взяв кроме туристских вещей еще 2 пары белья и свитер на тот случай, если попаду в тюрьму. Примерив еще раз лодку-бандаж и вложив в карман пальто пакет с рукописью книги, я нашел, что карман оттопыривался. Кроме того, мне пришла мысль, что книга будет помехой при плавании и очень сильно разъярит чекистов, если я буду арестован. Сразу пришло решение уничтожить книгу. «Восстановлю по памяти, если побег удастся», — подумал я. Я положил рукопись в ведро и залил сверху крутым кипятком. Тонкая папиросная бумага, на которой была написана книга, превратилась в кашу. Эту кашу я отнес на помойку.

Глава 57. Теплоход «Ильич»

Глава 57. Теплоход «Ильич».

Присев на минуту по русскому обычаю перед дорогой, я с чемоданом в одной руке и матерчатой сумкой—в другой, тронулся в путь. Никто меня не провожал и я никому не сообщил о своем отъезде. На улице шел мокрый снег и всюду были лужи. Чтобы не промочить ноги пришлось взять такси. В аэропорту, как всегда было много народа. В 12 часов дня, как было условленно, работник Бюро Путешествий начал регистрировать туристов в зале ожидания, около киоска «Союзпечать». Нас набралось 40 человек. За исключением меня, все ос-

тальные туристы были хорошо одеты и видимо принадлежали к советской элите. Моя старая и ветхая одежда конечно вызывала недоумение и была подозрительной. Но тут уж я ничего сделать не мог. Денег на лучшую одежду у меня не было. Женщина в дорогом меховом манто сделалась руководительницей группы. С места в карьер она стала бойко командовать. По ее команде мы все сперва сдали свои вещи у стойки, а затем получили посадочные талоны. Билетов у нас не было и мы прошли на посадку по списку, находившемуся все у той же женщины в манто. У меня замерло сердце, когда перед посадкой в самолет нас пропускали через электромагнит с целью проверить, нет ли у кого при себе оружия.

«Что, если агент КГБ умышленно зажжет красную лампочку и под этим предлогом сделает мне личный обыск и найдет лодку!» Однако, красная лампочка не загорелась и я вздохнул с облегчением. Самолет должен был сделать две посадки: в Челябинске и в Братске. Но в Челябинске не оказалось горючего и на заправку самолет полетел в Свердловск, а после Братска самолет приземлился в Хабаровске, так как Владивосток не принимал. Все четыре аэропорта оказались заполненными пассажирами. Несмотря на зимнее время было душно и я очень утомился. Наконец, вечером 28 ноября мы прилетели во Владивосток. Нас ожидали два автобуса из местного Бюро Путешествий. От аэропорта до города довольно далеко и я, смотря в окно, имел время вспоминать 6 лет своей юности, проведенные здесь. Хотя я постарел, но о далекой юности не жалел. Для меня главное было еще впереди. Я даже решил не ходить и не смотреть на тот дом, где когда-то жил с женой.

Автобусы привезли нас к Морскому вокзалу. Там нас тоже ждали. В одном зале расположились работники КГБ, в другом — дирекция круиза и помощники капитана корабля. Работники КГБ проверили наши документы и поставили штамп «проверено», помощники капитана — проверили путевки, и тоже поставили штамп «проверено», а дирекция круиза распределила по группам и по каютам. Всего на теплоходе организовали 12 групп во главе со штатными групповодами.

Выходя из зала после проверки я увидел висевший на стене « Распорядок дня». В числе прочих мероприятий перед самым отходом судна был указан «таможенный досмотр». Я и раньше слышал об этом, но теперь я как-то особенно отчетливо почувствовал, как сильно я

рисковал, имея при себе надувную лодку, относящуюся к числу предметов, которые было запрещено брать с собой в круиз.

« Если найдут лодку — вероятно меня сразу же арестуют! — подумал я. — А если разобраться, так ли нужна мне лодка? Я могу и без лодки проплыть 60 километров. Если теплоход где-либо приблизится ночью на такое расстояние к берегу, я могу бежать без лодки. А если лодку у меня найдут — я вовсе потеряю такой шанс!»

И я сдал лодку в камеру хранения Морского вокзала. Сдав лодку, которую с таким трудом вез из Ленинграда, привязав к животу, я почувствовал грусть и одновременно — облегчение. Теперь мне было нечего опасаться. Теперь я мог с уверенностью сказать себе, что с корабля меня не ссадят, что я дойду до экватора, и быть может — буду иметь шанс к побегу.

Туристы все прибывали и теплоход постепенно заполнялся людьми. Теплоход «Ильич» был довоенной немецкой постройки и оказался двойником теплохода «Русь», на котором я плавал на экватор в 1966 году. 29 ноября для нас, 500 туристов, съехавшихся со всех концов Советского Союза, местное Бюро Путешествий устроило автобусную экскурсию по городу. Я с трудом узнавал когда-то знакомые районы города. За 26 лет, прошедшие с тех пор, как я служил здесь офицером флота, город сильно расстроился и вырос. Еще бы! Главная военно-морская база Тихоокеанского флота! Теперь, как сказал экскурсовод, во Владивостоке проживало 500000 жителей. Я подумал о том, что в случае войны Владивосток, конечно, будет прифронтовым городом. Потом я пошел в кино. Демонстрировался новый французский фильм и мне хотелось развлечься. Пока я купил билет с рук (в кассе билетов, как всегда, не было) то сильно промерз. Не досмотрев фильм до конца, я поспешил на таможенный досмотр, после начала которого вход на судно прекра-

щался.

В море вышли вечером. Из-за свежей погоды или чего-то другого в проливе Босфор-Восточный нам приказали встать на якорь. Я посмотрел на такую знакомую мне панораму ночного Владивостока, на корабли в проливе Босфор-Восточный, на Русский остров и мысленно представил себе бухту Новик около него, где так часто стоял мой корабль.

« Но ничто души не потревожит

и ничто ее не бросит в дрожь...»

Правильно сказал Буковский, что человек, испытавший советский концлагерь, — это уже другой человек, как бы вернувшийся с того света. Я холодно посмотрел на все это и пошел в свою каюту спать.

Когда я проснулся утром, наш теплоход уже шел. Слева по борту виднелся мыс Поворотный, по которому в далеком прошлом я сделал сотни обсерваций. Впереди было серое, покрытое белыми барашками, безбрежное море. Потянулись довольно однообразные дни. Молодежь развлекалась танцами и флиртом, а люди пожилые начинали ворчать: зря поехали. Действительно, развлечений было мало: один раз в день кино — какой-нибудь примитивный нравоучительный советский фильм. Вечером — танцы. Я с трудом нашел партнера играть в шахматы. Мой сосед по каюте толстобрюхий Бабкин, хотя и кандидат наук, в шахматы играть не умел. Некоторых туристов занимали шитьем костюмов к празднику Нептуна. Желающие взвешивались.

3-го декабря мы вошли в тропические широты и настало время купаться. Два малюсеньких бассейна не могли обеспечить всех желающих. К тому же сверх 500 туристов еще 300 человек руководителей круиза и команды тоже старались попасть в бассейн. Я как мог тренировался, чтобы войти в форму. Для этого я вставал утром очень рано и сразу шел в бассейн плавать. Однако, в любое время суток в бассейнах все же были другие люди кроме меня.

Я принял участие в экскурсии по теплоходу, проводимой старшим штурманом. Меня особенно интересовало радиолокационное оборудование корабля. То, что я

узнал, было неутешительно: на судне оказалось три радиолокационные станции. Вопрос состоял в том, способны ли они обнаружить в море пловца или нет? На этот вопрос ответа я не получил. На всякий случай я решил создать помеху операторам. Я решил выпрыгнуть в спасательном жилете, а потом снять и выбросить его в море. Утешением для меня явилось отсутствие на судне хорошего прожектора. Порадовала меня и каюта. Мне досталась каюта № 163 по правому борту в районе мидль-шпангоута. Иллюминатор в каюте был большой и я легко высовывал наружу плечи. До воды было не очень высоко—метров 8, так что я решил, когда придет время, вылезти через иллюминатор.

В соответствии с лозунгом «Никаких эмоций!» я не пошел на лекцию об акулах, проводимую администрацией круиза очевидно не без умысла. Не без умысла тоже была пущена в ход версия о том, что в прошлом

году один турист якобы хотел бежать вплавь, но захлебнулся, и его труп выловили японцы, позднее передавшие его советским властям.

5-го декабря мы вышли на траверз северной оконечности филиппинского острова Лусон. Остров был так далеко, что еле виднелся на горизонте. Тем не менее, я приготовился прыгнуть в море, если теплоход приблизится. С этой целью я завернул в презервативы военный билет с оставшимися у меня 25 рублями и фотокарточкой родителей. Остров Лусон мы прошли на большом расстоянии и так, что он остался у нас с правого борта. Теперь не оставалось сомнений в том, что теплоход не пойдет мимо Сингапура и архипелага Тамбелан, как в прошлый раз, а выйдет к экватору в районе Молуккского моря. В коридоре стали вывешивать морскую карту и на ней с опозданием на пол суток показывали курс и место судна. Я много времени посвятил изучению этой карты и наметил для себя возможные пункты побега. Мы шли вдоль Филиппинских островов два дня и одну ночь и благоприятного для побега случая так и не представилось. Во-первых, мы шли очень далеко от берега, и во-вторых, море все время штормило и на небе была сплошная облачность. Плыть без компаса и не видя звезд бы-

ло невозможно. К сожалению, лекция о Филиппинах состоялась когда острова уже остались позади. А лектор сказал интересную вещь: пассаты, дующие на широтах 10-12°, круглый год постоянны и всегда имеют направление с востока на запад. Течение направлено в ту же сторону. Исходя из этого, можно было прыгнуть в море и в беззвездную ночь. Течение все равно донесло бы меня до острова. Весь вопрос был в том, как долго пришлось бы плыть по течению, и не мог ли я проплыть между островами ночью, не заметив их.

6-го декабря ветер переменился на обратный. Задул западный муссон. Я знал, что впереди по курсу находился архипелаг Талауд, но не знал, с какой стороны от него пройдет наш теплоход: с наветренной или с подветренной? Если с наветренной — можно прыгать, если с подветренной — нельзя. Чтобы ввести в заблуждение потенциальных беглецов, на карте курс был показан с подветренной стороны. Однако, я не поверил этому и устроился спать на раскладушке на левом борту судна, чтобы иметь возможность ночью наблюдать и, в случае благоприятных обстоятельств, спрыгнуть в удобный момент. Как я и ожидал, курс на карте был проложен неверно. Судно прошло архипелаг Талауд с наветренной стороны, однако на большом от него расстоянии

и я не спрыгнул. После прохода архипелага Талауд карта из коридора исчезла.

7-го декабря утром мы прошли вблизи маленького индонезийского острова Маджу, а вечером пересекли экватор. Капитан, застопорив машины, приказал лечь в дрейф. Туристам было объявлено, что судно будет дрейфовать двое суток. Половина пути была пройдена для меня безрезультатно. Оставалась надежда только на побег в Молуккском море. «Если это не удастся, — думал я, —тогда — всё, ибо обратно теплоход пойдет в невидимости берегов вплоть до Японских островов Рюкю, где в это время года еще прохладно, а потому бежать вплавь нельзя. А дальше уже и Владивосток.

Остальные туристы тоже чувствовали, что наше путешествие дошло до своей кульминации и скоро все кончится. Поэтому бассейны, бары, кинотеатр и танцеваль-

ные вечера усиленно посещались. По-видимому никто кроме меня рано не ложился спать. Бассейн работал всю ночь без перерыва. Шум голосов доносился с палубы в любое время ночи, когда бы я ни проснулся. К числу развлечений туристов добавилось еще одно: наблюдение за акулами и китами. Как только вахтенный помощник капитана на мостике обнаруживал скопление акул или китов в пределах видимости, он по судовой трансляции сообщал об этом всем туристам. Такие сообщения большей частью бывали утром. Туристы подходили к указанному борту и с любопытством, а некоторые со страхом наблюдали за тем, как киты пускали фонтанчики воды или как охотились акулы и касатки. Построившись полукругом, подобно неводу, и напоминая подводных охотников с масками, наблюдающих с поверхности воды за глубиной, акулы медленно проплывали мимо нашего судна. По спинным плавникам акул можно было судить о том, как часто они хватали добычу. Плавники то и дело исчезали под водой и потом появлялись снова в том же самом месте, не нарушая общего строя. Акул было множество: многие десятки, а может быть — сотни. По распоряжению капитана матросы сделали из корабельных тросов акульи удочки и наживив их кусками мяса, забросили за борт. Однако ни одна акула не польстилась на это мясо.

Меня на этот раз акулы особенно не волновали. Я был хорошо подготовлен к встрече с ними как с точки зрения практической, так — и эмоциональной. Я внимательно осмотрел в Зоологическом музее все выставленные там экспонаты акул, перечитал все книги об акулах,

которые только смог найти в систематическом каталоге Публичной библиотеки, а также систематизировал все эти сведения и усвоил их как «Отче наш». Три книги из числа мною прочитанных наряду с практическими сведениями несли в себе солидный заряд оптимизма. Это книга об акулах американского ученого, фамилию которого я забыл, «Боевые пловцы» Беста и книга ФРГ «Приключения в Красном море». Авторы всех трех книг утверждали, что акулы не являются столь опасными для человека, как это принято считать у обывателей. В доказательство

немецкие пловцы катались верхом на китовой акуле и плавали, уцепившись за акулий хвост. То обстоятельство, что ни одна из акул, обитающих в Молуккском море, не съела приманки, брошенной на крючке за борт, еще больше укрепило мою уверенность в том, что акулы не едят все подряд, а соблюдают определенную диету. Уж конечно я к числу диетических продуктов не принадлежал!

Утром 8-го декабря наш теплоход дрейфовал в видимости индонезийских островов. Нам не сообщили ни названий островов, на расстояния до них. Однако на глаз расстояние не превышало 30 километров. Я решил, что лучшего случая у меня не будет и начал последние приготовления. Они включали определение направления ветра, азимута ближайшего острова, а вечером — нахождение характерных звезд и созвездий, по которым можно ориентироваться ночью.

Утром 9-го декабря острова оказались на большем расстоянии от нас, чем накануне. Или наш теплоход снесло ветром и течением, или капитан ночью давал ход для того, чтобы отойти подальше от территориальных вод Индонезии. Больше ждать было нельзя. Этот день, 9-го декабря 1979 года был последним днем, когда наше судно находилось на экваторе. Вечером теплоход должен был отправиться в обратный рейс. Девятое декабря 1979 года я назначил днем своего побега.

Глава 58. День Побега

Глава 58. День Побега.

Насмотревшись вдоволь на «большое стадо акул и касаток» с левого борта, как было объявлено по трансляции «всем пассажирам и команде», я стал слоняться в раздумье по палубам теплохода. Мысленно я еще раз проверял все пункты моего плана, как говорится, «пробовал их на зуб». Окончательная подготовка и само осуществление побега рисовались в моем мозгу довольно отчетливо. Я почти физически представлял себя то в море, то на незнакомом тропическом острове. Однако что-то еще тревожило меня, что-то шептало мне, что в последний момент я еще могу отставить исполнение задуманно-

го плана, могу струсить... На первый взгляд все исполнимо: после ужина, когда мой сосед по каюте толстобрюхий Бабкин как всегда уйдет в ресторан с такой же толстопузой любовницей, я останусь в каюте один и на всякий случай притворюсь спящим. Предварительно я надену плавки, вложу в карман плавок военный билет, платок и нож, а также натяну и привяжу к плавкам длинные женские чулки. Случайно я услышал от помощника капитана, что теплоход уходит в обратный рейс поздно вечером. Я буду ждать, когда матросы поднимут три спущенных для прогулок шлюпки и закрепят их по-походному. Тогда опасность со стороны шлюпок будет ликвидирована, ибо для спуска шлюпок на воду требуется так много времени, что я успею уплыть из их поля зрения. Когда судно даст ход, я окончательно оденусь, вылезу через иллюминатор и прыгну в море. Запасной вариант состоял в том, что в случае раннего возвращения Бабкина в каюту, я выйду на палубу и прыгну за борт, на глазах у всех. Но этот вариант мне не нравился тем, что меня могли схватить раньше, чем я прыгну за борт, и мне пришлось бы прыгать без спасательного жилета. Дальше все зависело от направления ветра, от течения и от облачности на небе. Кроме того, исполнить мой план мне могли помешать акулы, медузы-физалии и мало ли еще кто, не считая капитана, который сделает все возможное, чтобы поймать меня.

Таким образом получалось, что только при условии, что все объективные обстоятельства окажутся благоприятными, мой план мог быть осуществлен. Если хотя бы одно обстоятельство будет неблагоприятным, меня ожидала неудача. Вывод нельзя было назвать утешительным.

Вспоминая теперь тот период, я могу четко сформулировать то, что я мысленно искал, хотя и не умея еще выразить в словах. Я искал какое-то утешение, какую-то альтернативу бескомпромиссному слову «неудача»

в случае неблагоприятных обстоятельств.

Если кому-либо на теплоходе был интересен этот седой и немолодой человек, то он наверняка обратил внимание на то, как я ходил по палубам, погруженный в размышления, ничего и никого не замечая вокруг себя.

Но вдруг нечто извне вывело меня из этого состояния. Это нечто была музыка, точнее песня Высоцкого. На носу теплохода, куда я случайно забрел, на шезлонгах удобно устроились два туриста. Перед ними стояла бутылка вина и магнитофон. Вот из него-то и раздавался хриплый голос уголовного барда. Я никогда не любил Высоцкого. Его полублатные песенки, приспособленные ко вкусу уголовников, вызывали у меня отвращение. Но сейчас слова незнакомой песенки явились для меня каким-то откровением:

Я иду без страховки

Вправо шагнешь — упадешь!

Влево шагнешь — пропадешь!

А я все иду без страховки...

пел Высоцкий о каком-то циркаче-канатоходце.

« Но ведь песня-то про меня! — сразу подумал я. — Это я сегодня пойду без страховки. Это я пропаду, если оступлюсь!» Эта песня была ответом на все мои сегодняшние размышления. «Нелепо искать альтернативу бескомпромиссному слову «неудача» — ее нет. «Влево шагнешь— пропадешь!»— все тут! Люди ходят без страховки и я тоже сегодня пойду без страховки! Эта песня вдруг оказалось той точкой над «i», тем последним штрихом, который завершил разработку плана побега.

Теперь я был готов к побегу не только технически, но и психологически. Теперь я знал необходимость риска и я знал степень риска. Если до этого момента я еще колебался, взвешивая все «за» и «против», то теперь я знал точно: «сегодня ночью я совершу побег и страха не будет».

Мне стало совсем легко. Я отошел от туристов с их магнитофоном и пошел в библиотеку, где сыграл две турнирных партии в шахматы. То обстоятельство, что обе партии я выиграл, показало мне, что мой дух окреп, я спокоен и мобилизован. Остаток дня я провел в праздной лени: читал роман Писемского, наблюдал издали Праздник Нептуна. Хотя я был далеко от самой «сцены», но случайно забредший «черт» из свиты

Нептуна вымазал меня красной и зеленой краской. Не сердясь и не обижаясь я пошел в бассейн и старательно смыл с себя краску. Потом был «банный день». На всем судне дали

без ограничений холодную и горячую воду. Я не пошел в душ, а вымылся с ног до головы прямо в каюте («Как перед боем», — подумалось мне).

После ужина, где я умышленно отказался от десерта, я вышел снова на палубу. Смеркалось. За день северо-западный ветер снова подогнал судно ближе к острову и теперь остров находился километрах в 25 от нас.

Появившиеся с наступлением темноты звезды весьма порадовали меня. Все было так, как и накануне, то есть «все звезды по своим местам». «М»-образное созвездие Кассиопеи — мой первый ориентир. От него 90° вправо две низко висящие звезды. Одна — очень яркая, другая под ней — слабая. Вот на эти две звезды я должен плыть. Под ними остров. Заметив все это, я ушел к себе в каюту. Бабкин уже был там и переодевался. Мой сосед по каюте был ярким представителем так называемой «советской» интеллигенции, которая отличается от обычной интеллигенции тем, что в ущерб своей основной специальности, очень хорошо знает марксистско-ленинскую теорию.

Кандидат наук, каких в СССР много, Бабкин работал в одном из совхозов в пригороде Ленинграда. С самого начала он произвел на меня впечатление недалекого, малообразованного, не умеющего самостоятельно мыслить человека. Да и внешность его была несимпатична: огромное брюхо выдавало пьяницу и чревоугодника. Сразу после первого знакомства, когда я отказался пить с ним спирт, что в СССР само по себе уже подозрительно, так как встречается исключительно редко, он заговорил о политике. Сначала я отмалчивался, отделывался односложными «да» и «нет», но наконец его пьяные пропагандистские дифирамбы надоели мне.

— Вы все говорите цитатами из передовиц газеты «Правда», — заметил я ему. — На это способен даже компьютер. А есть ли у вас что-нибудь свое, что вы придумали сами?

Бабкин обиделся и заявил:

— Я вижу, что вам не нравится газета «Правда». В другой раз сосед заговорил об убежавших недавно из СССР фигуристах Протопопове и Белоусовой и стал

ругать их.

— Как это глупо! — опять не выдержал я. — Вы не знаете людей, не знаете причин их эмиграции и слепо поносите их. Между прочим, все люди — разные. Причины эмиграции — тоже разные, а советская пропаганда обвиняет всех эмигрантов в одних и тех же грехах. Этого даже теоретически быть не может. Следовательно, все обвинения — наверняка клевета.

Вот тогда он и заподозрил меня. Я сразу это понял, когда он спросил:

— Вы так здорово плаваете в бассейне, не обращая ни на кого внимания! А где вы учились плавать?

А потом еще:

— Вы и с аквалангом могли бы плыть?

Это уже был явный намек. Все советские дилетанты почему-то считают, что акваланг — нечто вроде подводной лодки. Это якобы какой-то двигательный аппарат, который может помочь бежать с корабля даже не умеющему плавать. Помню в связи с этим разговор двух девиц из ленинградского бюро путешествий. Одна девица говорила с апломбом другой:

— Таможенный досмотр во Владивостоке делается для того, чтобы выявить, не собрался ли кто из туристов бежать с корабля. Не будь досмотра — возьмет такой беглец с собой акваланг — и уплывет в Японию или на Филиппины. Кстати, даже смешно сказать: свободная продажа аквалангов в СССР запрещена. Для покупки акваланга надо иметь специальное разрешение КГБ. После разговора с Бабкиным я понял, что с ним надо быть осторожнее и в ответ на его дальнейшие попытки завязать беседу со мной на подобные темы, я просто отмалчивался. В этот вечер Бабкину было некогда и сказав только, что он — в ресторане, толстопузик захлопнул за собой дверь. Я достал плавки, вложил в карманчик военный билет, фотокарточку родителей, маленький перочинный нож, деньги и носовой платок, который должен был служить для защиты головы от солнца на тропическом острове. Едва только я надел чулки и плавки и лег на койку, закрывшись простыней, как в дверь заглянула любовница Бабкина, та самая бойкая женщина в до-

рогом манто, которая командовала нами по дороге:

— А вы все спите? Виталий Максимович где?

— Вас ищет. В ресторан пошел.

— Ну, спасибо. Счастливо вам! Приятных сновидений!

Сновидений не было. Но все же я немного подремал. Подойдя через некоторое время к иллюминатору, я увидел, что матросы поднимали шлюпки на борт судна. Слова команды и шум лебедок доносились ко мне в каюту, и я, лежа в койке, долгое время слышал их, пока снова не задремал. Когда я снова проснулся, то по-прежнему увидел над своим иллюминатором яркий свет фонаря, который зажигали на стоянке. Однако судно уже шло. Фонарь еще не успели погасить. Соседа дома не было.

Мой час настал.

Я взял со стола ключ, запер дверь каюты и оставил его в замочной скважине. После этого надел две пары носков поверх чулок (вместо обуви на острове), красную клетчатую рубашку и подвязался в поясе шнурком. Резиновую шапочку я тоже привязал под подбородком шнурком.

Затем надел спасательный жилет и, встав на стул, просунул в иллюминатор правую ногу. Потом взялся руками за броняшку иллюминатора, подтянулся на руках и просунул в иллюминатор левую ногу. Спасательный жилет задержал меня в иллюминаторе. Тогда я немного пошевелился и тут же оказался за бортом. Я висел на руках, держась за край иллюминатора. Не медля ни секунды, я уперся ногами в борт судна и, сильно оттолкнувшись руками и ногами, полетел вниз. Раздался всплеск, я почувствовал сильный удар о воду, но благодаря спасательному жилету с головой под воду не ушел. Перед моими глазами быстро проплыла и удалилась ярко освещенная корма судна. Итак, свершилось!

Задумав в 1961 году, подобно Мартину Идену, спрыгнуть через иллюминатор в море с идущего судна, я осуществил это в 1979 году. Джек Лондон научил меня как надо действовать. Я повторил буквально. Исключение составил только жилет. «Будет ли и дальше идти совпадение моей биографии и биография Мартина Идена?» — я отогнал эту мысль при-

вычной уже командой «Никаких эмоций!».

Капитан видимо заметил мой прыжок, ибо на судне застопорили машины. Не теряя времени, я снял с себя спасательный жилет и отбросил его в сторону. «Пусть операторы радиолокаторов примут мой жилет за меня самого, а я тем временем уплыву подальше», — подумал я и, форсируя скорость, поплыл в сторону, противоположную той, куда шел теплоход. Первое время я часто оглядывался, опасаясь, что капитан погонится за мной на теплоходе вместо того, чтобы спускать шлюпки. Но теплоход стоял ко мне лагом так, как развернул его северный ветер и не двигался с места. Если бы это было не Молуккское море, а Черное, то сейчас вдогонку за мной были бы посланы самолеты, вертолеты, катера, корабли и подводные лодки! «Схватить! Схватить живым или мертвым!»—звучал бы приказ им всем.

Но что мог сделать капитан сейчас? Только застопорить машины, прильнуть к экрану радиолокатора в попытке обнаружить меня, и ждать утра. Видимо, всё. Отплыв на порядочное расстояние от теплохода, я отыскал на небе две свои звезды и поплыл прямо на них. Время от времени я прислушивался: нет ли признаков погони на мотоботе? Но все было тихо, и тогда я подумал, что капитан, вероятно, нашел мой спасательный жилет и довольствуется им. Я специально надел его без лампочки, чтобы затруднить поиски ночью и тем самым протянуть время. Найти такой жилет с помощью радиолокации трудно и тем больше капитан должен быть доволен, когда найдет его. Час или больше я плыл форсированной скоростью. Ветер был бакштаг левого борта и не особенно мешал мне плыть. Довольно крупные волны тоже почти не мешали мне, так как были того же направления, что и ветер. Об акулах я не думал. «Ночью — все кошки серы!» Ночью любую волну можно принять за акулу и наоборот. Ко мне вернулось спокойствие, рассудительность и даже любознательность. «Почему здесь вода не фосфоресцирует, как в Черном море?» — подумал я. Внезапно из-за горизонта, прямо по курсу, выплыла полная луна. На море стало почти светло. Но что важнее всего: под луной, на горизонте, стали видны очертания остро-

ва! Боясь поверить в такое везение, я стал молиться: «Господи! Сделай так, чтобы это был не мираж, чтобы это было не облако, а — реальный остров!»

Но облако не рассеивалось и не уплывало в сторону, мираж не испарялся. Прошло время, и уже можно было различить резкие очертания острова справа и расплывчатые — слева. « У облака так не

бывает!» — подумал я. Еще прошло время, я еще приблизился к острову, и последние сомнения исчезли. Передо мной очень далеко, но все же в пределах досягаемости лежал реальный индонезийский остров. На этом острове я обрету свободу, которой незаконно был лишен всю свою жизнь.

Надо только доплыть до него и больше ничего. Только доплыть. По сравнению с тем, что уже сделано, осталось сделать не так много: только доплыть! Сил на это у меня хватит, я знал. Я плавал на более длинную дистанцию. Правда, тогда я был моложе, но зато теперь — опытнее. Помешать мне могут только акулы. «Интересно, что я буду чувствовать, когда акула откусит у меня руку или ногу?» — промелькнула мысль, и тут же я отогнал ее: «Этого не может быть!»

Незадолго до моего отъезда из Ленинграда на информационном стенде у здания Американского Консульства появилось сообщение о том, что 30-тилет-няя американская пловчиха Диана Наяд из Нью-Йорка за 27 часов проплыла в море 143 километра. Я вспомнил об этом, плывя в Молуккском море. «Я — старый, я — злой и мясо мое невкусно. Другое дело — тридцатилетняя американская пловчиха, лакомый кусочек не только для акул! Если даже ее не съели акулы, то почему они должны съесть меня?»

Кроме этих моральных аргументов в свою защиту, я имел и некоторые материальные. Во-первых, на мне практически не было открытых участков тела. Во-вторых, моя одежда имела отпугивающую акул расцветку (красная клетчатая рубашка) или нейтральную (чулки цвета какао и голубая шапочка). В-третьих, на моем теле не было никаких царапин. И, наконец, всю дорогу я плыл на груди, равномерно и прямолинейно, делая громкие

вдохи и не менее бурные выдохи в воду, что должно было имитировать морское млекопитающее (дельфина, кита), до которых акулы тоже не охотники. Так же, как речные хищники — щуки, или лесные разбойники — волки, акулы преимущественно нападают на слабых и больных, выполняя роль своеобразных морских санитаров. Поэтому всякая неуверенность в движениях пловца или произвольное (не стильное плавание) могли быть поняты как признак болезни или слабости и явиться сигналом к нападению. Это я помнил и старался не быть похожим на слабого или больного.

Глава 59. В Молуккском море.

«Будь я на месте капитана, то я конечно догадался бы, что беглец поплывет напрямик к ближайшему острову. Ночью, в темноте искать пловца в неспокойном море — почти бесполезно. Но утром, с рассветом, я бы или направил корабль наперерез курса беглеца возможно ближе к острову или бы послал туда мотобот. Конечно при этом произошло бы нарушение территориальных вод иностранного государства, но операцию поимки беглеца можно осуществить так быстро, что факт нарушения границы никто не успеет зафиксировать. Насколько я знаю, в таких вопросах советское правительство не особенно щепетильно и полностью оправдало бы действия капитана».

Так размышлял я, когда все мои усилия достичь берега до рассвета оказались тщетными. Сначала по воде побежали блики, а потом как-то внезапно наступил рассвет. Остров, желанный остров, предстал передо мною на расстоянии нескольких километров. Теперь темнота больше не укрывала меня. «Пустится или нет капитан в погоню за мной? Теперь моя надежда на спасение зиждется на двух не очень крупных китах, — думал я. — Это, во-первых, боязнь капитана войти в территориальные воды иностранного государства и, во-вторых, его уверенность в том, что я уже утонул, так как он наверняка нашел мой спасательный жилет».

С рассветом для меня увеличилась также опасность

нападения акул. В книгах об этом я ничего не нашел, однако по аналогии с речными хищниками — щуками, повадки которых я хорошо изучил, утром, на рассвете, активность их должна увеличиваться. В подтверждение этой теории я дважды наблюдал (рано утром 8 декабря и рано утром 9 декабря), как большие стада акул и касаток охотились вблизи нашего судна. Днем или вечером таких картин не было. Поэтому я решил снова плыть форсированной скоростью к желанному берегу. Берег явно приближался. Я уже различал нечто вроде дороги или какого-то карьера, который коричневой лентой делил сверху вниз гористый, поросший джунглями остров, или его «фасад», как я стал мысленно называть видимую теперь проекцию острова, на две примерно равные части.

Кое-где я стал различать отдельные деревья. «Неужели я еще могу

погибнуть, когда цель так близко?» — подумал я и отогнал все сомнения: «Никаких эмоций!»

Еще одна проблема беспокоила меня. Я опасался, что около берега будет сильный прибой. Если берег окажется каменистым и скалистым, то волны могут с размаху ударить меня об эти скалы. Я умел бороться с прибоем и специально тренировался в Батуми, но я никогда не пробовал делать это после такого длительного заплыва. Возможно, — думал я, — усталость не позволит мне быстро и энергично реагировать на удары и толчки волн со всех сторон, которые становятся хаотичными вблизи береговых скал. И еще более вероятно, что у меня не хватит сил преодолеть накатную волну в тот момент, когда она, лизнув берег, с грохотом откатывается назад. Поэтому, приближаясь к берегу, я искал глазами белые буруны, которые неизбежно возникают около скал, и белую пену вдоль береговой черты.

Отдельных бурунов я не увидел, а белая пена от прибоя виднелась вдоль всего берега. «Это менее опасно, чем если бы берег был скалистый, да еще с рифами»,— решил я с удовлетворением.

Появившиеся следы присутствия акул не вызвали во мне казалось бы неизбежного страха. Я полностью выполнил все, что было в моих силах и что было запланировано для уменьшения вероятности нападения акул. Те-

перь все зависело от Господа. Я всегда был уверен, что рожден не для того, чтобы стать пищей для акул. Я не знаю, какой путь предначертал мне Господь, но знаю, что этот назначенный путь я прошел не до конца. Я не могу с уверенностью сказать, каких именно животных я встречал на своем пути и какие животные плавали вокруг меня, плескались и показывали мне свои плавники и спины. Высовывая голову из воды (я плыл все время брассом) лишь настолько, чтобы ртом вдохнуть воздух, я имел слишком острый угол зрения и не мог хорошо видеть вблизи. Однако, это были не дельфины, которых я бы отличил по характерным прыжкам. Когда я в первый раз увидел какое-то животное близко от себя и точно по курсу, то оплыл его довольно далеко. Впоследствии же я лишь слегка уклонялся вправо или влево и мы расходились правыми или левыми бортами — как в море корабли.

На всплески сзади себя или же на траверзе я не реагировал вовсе.

Время шло и появились новые проблемы. Одной из них оказалась боль в глазах. Морская вода разъела мне глаза и теперь боль стала

невыносимой. Я вынужден был закрыть глаза и плыл некоторое время с закрытыми глазами. И тут появилась новая и очень тревожная проблема, заставившая на время даже забыть глазную боль! Открыв глаза, я не увидел перед собой острова! Я посмотрел по сторонам: остров теперь был справа от меня. Я плаваю весьма прямолинейно и обвинить за изменение курса руку или ногу, сделавшую неодинаковый по сравнению с другой рукой или ногой гребок, я не могу. Однако, я несколько раз повторил опыт и результат всякий раз был один и тот же: как только я закрывал глаза и переставал направлять свой курс к острову — мой курс сразу изменялся и остров оставался справа. Сомнений больше не было: самый страшный враг пловца-марафонца, победивший меня в 1963 году, ожил в Молуккском море и действовал против меня. Этот враг — течение. Чем ближе я подплывал к острову, тем сильнее становилось течение. Оно шло справа налево вдоль берега острова и, постепенно отдаляясь от берега, дальше имело направление на Запад. Оно уже снесло меня влево, на

северо-запад и коричневая полоса на острове, которую я недавно видел издали, закрылась деревьями.

Но недаром мудрая русская пословица гласит: «За одного битого двух небитых дают!» В 1963 году течение в Черном море победило меня — это верно. Но оно и научило меня. Теперь уже я не пытался плыть прямо против течения. Я знал, что это бесполезно. Я искал обходных путей. Прежде всего я перестал плыть форсированной скоростью. Наоборот, я уменьшил скорость до минимума и направился на юго-восток, назад от острова. Пристально наблюдая за поверхностью моря своими воспаленными глазами, я, наконец, с радостью увидел то, что хотел увидеть — водораздел. Я доплыл до того места, где морские волны сталкивались хаотически одна с другой, образуя границу двух течений: одного течения, идущего справа налево вдоль берега острова, и другого — противотечения, которое шло в обратном направлении, но значительно мористее первого. Еще несколько гребков — и, подхваченный противотечением, я стал заметно перемещаться вправо, то есть к своей исходной позиции. Через некоторое время я снова находился на траверзе острова, снова увидел коричневую полосу сверху вниз делящую остров на две части. Оптимизм и надежда на скорое спасение наполнили меня.

«Как только нога моя коснется берега — прочитаю благодарственную молитву Господу», — решил я. План мой был такой: на значительном

удалении от острова при содействии противотечения доплыть до его юго-восточной границы, а затем форсированной скоростью направиться к берегу. Береговое течение будет сносить меня влево (на северо-запад), я буду плыть на северо-восток. Равнодействующая двух этих сил пройдет так, что я окажусь у берега где-то у северо-западной оконечности острова. До сих пор погода благоприятствовала мне. Ветер по-прежнему был бакштаг. Солнца не было. Его закрывали не очень густые облака. Тепловой удар от перегрева солнцем тоже не был исключен среди прочих моих опасностей и отсутствие солнца я воспринял как еще одно проявление помощи Провидения. Было уже позднее утро или же начало дня, когда я выплыл на траверз юго-вос-

точной оконечности острова. Точнее говоря, оконечности, как таковой не оказалось. Видимый мне вначале фасад острова плавно переходил в его южную часть.

Здесь течения, сообразуясь с изменением направления береговой черты, тоже изменяли свое направление и начиналась полная неразбериха. За поворотом береговой черты я отметил целых три течения: одно слева направо, а два других — справа налево по обеим его сторонам. Заметив, что в этой сумятице я уже не могу плыть с прежней скоростью, я ринулся перпендикулярно к берегу. Скоро береговое течение подхватило меня и понесло влево. Вкладывая все силы, я на одном вдохе делал по два гребка руками и ногами, но течение неумолимо относило меня влево и мористее от берега. Свою отчаянную борьбу за жизнь (ибо без стеснения — ее можно назвать так) я прекратил только тогда, когда северо-западная (левая) оконечность острова осталась справа от меня. Так вторая моя попытка достичь берега потерпела фиаско. Знакомым уже маневром я нащупал противотечение и стал медленно возвращаться к исходной позиции. На этот раз я плыл очень долго или мне так показалось. Солнце вышло из-за туч и показывало что-то около полудня, когда третья моя попытка, точно так же как и первые две, окончилась неудачей.

Глава 60. Экзотический остров

Глава 60. Экзотический остров.

После моего заплыва в Молуккском море я могу утверждать, что акул

оклеветали. Правда, я — не первый человек, который делает подобное заявление. Среди многих книг об акулах, прочитанных мною в порядке подготовки к марафонскому заплыву, была одна, названия которой я, к сожалению, не помню. Автор книги, американец, с чисто американской деловитостью заявлял, что в мире не было ни одного случая, который бы математически точно подтверждал, что акула напала на человека.

И дальше он пояснял, что все страшные рассказы об агрессивности и кровожадности акул по отношению к

человеку были основаны на недостоверных показаниях третьих лиц и никогда не шли от первого лица и необходимого числа по-настоящему достоверных свидетелей. Я полностью с ним согласен. Хочу только добавить, что эта клевета родилась не сама по себе, а — в угоду любителям острых ощущений. Вспомним по этому случаю аналогию. С какой радостью любители ужасов, любители острых ощущений, подхватили клевету на осьминогов, которую так живописно начал Виктор Гюго в своей книге «Труженики моря». А ведь только Кусто удалось развеять эту клевету, протанцевав вальс с осьминогом под водой и показав всему миру об этом фильм («В мире безмолвия»).

Акула, как и осьминог, страшна и неприятна на вид. Значит она должна иметь такой же характер! — еще одно доказательство ее вины. Как очевидно, и это «доказательство» не имеет математической убедительности.

И, наконец, оклеветать акул — выгодно кремлевским заправилам. Ежегодно десятки советских людей предпринимают попытки бежать из советского «рая» морским путем. Страх перед акулами может остановить некоторых из них.

Теперь вернусь к своему повествованию. Потерпев неудачу в своей третьей попытке преодолеть береговое течение и достичь берега, я во второй половине дня, пользуясь помощью противотечения, медленно плыл под обжигающими лучами солнца к своей исходной точке. Силы во мне заметно убавились. Кроме острой боли в глазах я уже давно ощущал сильную жажду. Я мысленно представлял себе завтрак на судне, когда на закрепленном за мною месте в ресторане, кроме всего прочего стоит стакан сока. Я мог бы выпить этот сок, если бы находился на судне. А потом еще горячий чай! Затем я представил себе обед. И прежде всего компот, который также стоит на столе и дожидается меня. А в каюте у меня осталась бутылка лимонада. Почему я не выпил его

прежде, чем прыгнуть в море!

Ален Бомбар в своей книге уверяет, что пить морскую воду можно. И я сделал несколько глотков. Жажда нисколько не уменьшилась.

«Если я останусь жив — кожа будет сходить с правой стороны лица», — отметил я про себя, так как солнце было справа и обжигало правую часть лица.

«Если я достигну берега и найду реку или водоем с пресной водой, то не следует забывать о том, что в ней могут быть крокодилы» — промелькнула другая мысль.

Видимо от переутомления мысли мои скакали с одного предмета на другой. Вдруг я подумал, что мой военный билет и фотокарточка, вложенные в презервативы, непременно должны промокнуть.

Я и раньше замечал, что медленный темп марафонского заплыва как-то синхронно воздействует на работу мозга. Мысли во время заплыва текут тоже медленно и как-то вяло. Видимо для дилетанта такая фраза звучит если не кощунственно, то весьма необычно: прислушиваясь к равномерному темпу своего неторопливого брасса — я захотел спать. В таком полусонном состоянии я чуть не столкнулся с очередным встреченным мною животным. В самый последний момент сильным гребком я увернулся от столкновения. А ведь если бы я толкнул животное, то оно могло бы дать сдачи! И было бы право по всем законам: и по рыбьим и по человечьим!

Приплыв в исходную точку (читатель наверное помнит, что моя исходная точка находилась на траверзе юго-западной оконечности острова) я не стал повторять в четвертый раз попытку пристать к берегу со стороны фасада острова. Теперь я решил заплыть как можно дальше на восток вдоль южной стороны острова и попробовать пристать к южному берегу острова. Находясь теперь довольно далеко от берега (в струе противотечения) я видел большой кусок южного берега, который по своему ландшафту отличался от западного берега или «фасада». Здесь берег состоял как бы из двух холмов и участка плоскогорья. Между холмами было вроде бы ущелье, и там я предполагал найти воду.

Людей же я предполагал встретить не в джунглях, которыми поросли холмы, а только на плоскогорье. На бухту перед ущельем я возлагал особые надежды. Я рассчитывал, что конфигурация бухточки создаст нечто вроде водоворотов в самом течении и течение временно по-

теряет силу в этих водоворотах, ниже которых (западнее) я смогу пристать к берегу. Однако первая попытка в новом месте оказалась неудачной. Я слишком ослаб и хотя течение было действительно не очень сильное — я не смог преодолеть его. Меня вынесло в район «исходной точки» на траверз юго-западной оконечности острова. Что было делать? Солнце опустилось уже довольно низко. Я оценил время как 15 или 16 часов. Хотя температура воды была 30° С. у меня начинался озноб. Глаза болели так, как будто представляли собой сплошную рану. Жажда мучила невыносимо. Начала болеть правая рука. «Могу ли я проплавать в море еще одну ночь?» — поставил я перед собой вопрос и хотя ответ был готов: «Если придется — буду плавать еще одну ночь!» — мне очень не хотелось этого.

«Тогда я должен нарушить слово, которое дал сам себе перед заплывом, — решил я. — Иного выхода нет». Я знал что изменение стиля плавания почти наверняка вызовет, во-первых, судороги (как уже было со мной на тренировках в Черном море), а во-вторых, может спровоцировать нападение акул. Но я умел плавать быстро только на спине и только на спине я мог бы преодолеть течение.

Это было самое рискованное решение за все время моего заплыва. И я был немедленно наказан. Когда с огромным трудом я снова углубился на восток вдоль южного берега острова и на траверзе бухточки, что находилась под ущельем, перевернувшись на спину, быстро поплыл к берегу, то произошло то, что и должно было произойти — судорога свела мою правую ногу. Икра вздулась и образовалось твердое, прямоугольное утолщение. От боли и от неспособности двигаться вперед я завертелся на одном месте как подстреленная утка. Какую отличную приманку я представлял тогда для акул! Лежа на спине и делая судорожные движения левой ногой, я обеими руками массировал икру правой ноги. Ведь знал же наверняка, что после почти суточного заплыва брассом на груди изменить стиль плавания — наверняка вызвать судороги! Знал и рискнул! Это была самая большая моя ошибка. Поистине терпение у Господа неистощимо! Господь и на этот раз помог мне. Минут через пять мышца

стала размягчаться и вот уже, повернувшись на грудь, я снова медленно поплыл.

Опять все сначала! Больше ни за что на спину не перевернусь! Буду пытаться преодолеть течение на груди. Буду делать одну попытку за

другой — вплоть до темноты. А с наступлением ночи поплыву вдоль берега на восток (по звездам) — туда, где вдали виднелся другой берег. Если все будет нормально — к утру доплыву до того далекого берега и там возобновлю свои попытки причалить. Таким был тогда мой план. Плывя вдоль берега на восток, чтобы занять исходное положение для очередной попытки причалить, я сперва заметил среди сплошь заросшего джунглями берега два очень небольших пляжа с желтеющим на них не то песочком, не то — кораллами. Мне эти пляжи очень понравились. Еще бы! На пляжах не было видно крупных камней, которыми изобиловал весь остальной берег. Это обстоятельство исключало вероятность того, что я в момент причаливания не смогу справиться с накатом и какая-нибудь волна с размаху ударит меня о камни. Оставалась только одна опасность, что обратная, то есть уже идущая обратно с берега накатная волна опрокинет меня навзничь и я захлебнусь в водовороте. Но у меня был опыт в борьбе с обратными волнами и я не очень боялся их.

Я стал выбирать место для старта и на расстоянии 25-30 метров от правого пляжа заметил на самой стремнине течения как бы самодельный буек. Этот самодельный буек, казалось, стоял на якоре и возможно какой-нибудь веревкой был соединен с берегом. «Наверно, — подумал я, — это местные жители установили буек и привязали его к берегу для того, чтобы они могли купаться, держась за веревку, и течение не унесло бы их». Такие буйки установлены на некоторых санаторных пляжах в Сочи. Сказав мысленно: «Господи, помоги!» я ринулся к этому буйку. Делая по два гребка на каждый вдох, я заметно приблизился к берегу, но течение тоже делало свое дело. Когда я был на расстоянии 30-35 метров от берега, буек уже находился далеко от меня справа. Течением меня снесло влево. Но передо мной теперь появился второй пляж, левый, и я поплыл к нему, стараясь подныривать как

можно глубже и по прежнему делая по 2 гребка на каждый вдох. И вдруг, поднырнув очередной раз, я увидел дно! Дно было выложено не кораллами, как я ожидал, а обыкновенными камнями. И на камнях играли солнечные блики! Силы мои прибавились и через какие-то мгновения глубина была мне уже по пояс, затем—по колено. Я хотел встать на ноги, но ноги не держали меня. Тогда я встал на четвереньки и так на четвереньках выполз на берег. Накатная волна ударила в меня, когда я был уже на берегу.

« И вышел он на брег крутой

Стихии бурной победитель...»

Если бы меня кто-нибудь увидел тогда, то меньше всего посчитал бы за победителя. От острой боли в глазах, от чрезмерной усталости я громко стонал и полз на четвереньках по острым береговым камням. Но тем не менее я действительно был победителем. За 18 или 20 часов я проплыл среди течений, акул и медуз 40-45 километров. (Расчет простой: моя средняя скорость 2,2-2,5 км/час). Некоторые скажут: « Он победил течение, акул и физалий». Это будет слишком. Победить можно того, кто воевал с тобой. Но ни акулы, ни физалии и не пытались бороться со мной. Зачем же клеветать на них, присваивать себе неодержанную победу? Я скажу так: я победил морское пространство и течение, я победил страх. И я победил чекистов, которые все сделали для того, чтобы я не мог бежать. Но я бежал. И этого достаточно для того, чтобы возгордиться. Но мне тогда было не до гордости. От слабости я не мог даже вознести молитву Господу.

Я переполз на четвереньках через неширокий и очень замусоренный камнями и палками пляж, ища и не находя хоть сколько-нибудь ровного местечка, чтобы лечь. Наконец, вблизи начинающихся джунглей, под ветвями какого-то большого дерева я увидел среди прочих больших и острых камней один камень более-менее плоский. Камень был очень небольшой, но я лег на него. Острые соседние камни вонзились мне в бока. Я лежал и терпел. Я столько потерял сил, что экваториальное солнце не в

состоянии было согреть меня. Мне было холодно. «Очевидно будет лучше, если я разденусь»,—подумал я. Не сдерживая громких стонов, я приподнялся и сел на камне. Глаза нестерпимо болели, все тело ломило, а когда я стал стягивать с себя рубашку, то оказалось, что я не могу поднять правую руку. Пришлось левой рукой вытаскивать из рукава правую руку, как палку. Затем я отвязал и снял с себя чулки и носки. Всю одежду я положил на соседний камень. Я вынул из кармана плавок носовой платок, завязал на его углах узлы и надел платок на голову, как чепчик от солнца. Затем снова лег на камень и стал прислушиваться к тому, как в моем организме шли целебные, восстановительные процессы.

На море раздался приглушенный шум. Я посмотрел туда и увидел длинную и узкую моторную лодку с людьми. Люди в лодке смотрели в мою сторону. В этот момент все мои стремления сводились к одному —

лежать. Я не мог даже крикнуть или жестом привлечь их внимание к себе. И я лежал совершенно голый. Если бы я сообразил тогда, какой шанс на спасение я терял, и если бы знал, что джунгли полны зверей, сила воли вероятно дала бы импульс еще для одного усилия. Но я весь расслабился, ни о чем не думал и молчал. Лодка постояла немного и исчезла из вида. Я снова опустил голову на камень. Экваториальное солнце, наконец, согрело меня и стало жарко. Тогда я переполз на другое место, где была тень. Потом на короткое время солнце скрылось и пошел дождь. После дождя опять вышло солнце. « Ведь я мог набрать в резиновую шапочку дождевой воды!» — подумал я. Однако шевелиться не хотелось, но и заснуть я тоже не мог. Через какое-то время я приподнялся, оделся, поднял валявшуюся неподалеку бамбуковую палку и, опираясь на нее, встал на ноги. Ноги мои дрожали и еле держали меня, очень болела правая рука, но видя, что солнце уже заходит, я двинулся в поисках воды вдоль берега на восток, в сторону предполагаемого ущелья. Я знал, что в темноте воду мне будет не найти. Лодок на море больше не было видно и я уже начинал жалеть о том, что не окликнул островитян. Надо сказать, что остров оказался совсем не таким, каким я ожидал

его увидеть. Я ожидал увидеть райский остров с мелким коралловым песком и зарослями банановых деревьев у самого моря — копию острова Понтики-Бесар или же того острова, на котором Тур Хейердал проводил свой медовый месяц. Ничего подобного не было. Не было тоже и манговых деревьев, как на острове Понтики-Бесар. Правда, было много кокосовых пальм. Я знал, что сок кокосовых орехов — традиционный тропический напиток. Но как и чем расколоть орех? Орехи валялись на земле. За ними не надо было даже лазить на деревья. Но мой маленький перочинный ножичек гнулся, но не мог разрезать прочную кожуру ореха. Когда я пытался разбить орех камнем, то он только пружинил. Потеряв напрасно время, я двинулся дальше. Проходя мимо «буйка», к которому я так стремился, когда видел его со стороны моря, я обнаружил, что за буек я принимал всего-навсего затопленную ветку дерева, каким-то образом зацепившуюся за дно и трепетавшую на течении.

Теперь мне пришлось шагать по острым камням и по острым коралловым рифам. Крабы врассыпную бросались от меня, но я не обращал на них внимания. Мои носки вскоре превратились в лохмотья. Что бы не идти по острым кораллам, я пошел через джунгли. Там я увидел зверя величиной побольше волка, но поменьше медведя, с

длинной серой шерстью. Зверь неподвижно сидел ко мне спиной, как раз на моем пути. Плохо видя своими воспаленными глазами, а в джунглях к тому же было сумрачно, я не сразу оценил опасность и опрометчиво ударил палкой по дереву, чтобы убедиться: живое существо сидело передо мной или нет. В ответ зверь неторопливо повернул ко мне свою морду. Забыв о том, что я босиком, я бегом бросился назад, к морю. Я был готов в какой-то степени к встрече с акулами, физалиями и с морскими течениями. Но встреча с дикими животными в джунглях! Об этом всерьез я никогда не думал. И это обстоятельство поставило меня в тупик. «Ну, найду я воду, — думал я. — К тому времени станет темно, и звери сойдутся на водопой. Что, я рядом с ними буду лакать воду?

Когда позднее, в итальянском цирке «Медрано», я

впервые в жизни увидел серого орангутанга, то у меня сразу всплыло в памяти то животное, которое я повстречал в джунглях. Оба животных очень походили друг на друга.

Вспоминая теперь тот день, я осознаю, что тогда мне представлялась уникальная возможность познакомиться с растительным и животным миром одного из немногих островов на нашей планете, который не пострадал особенно от цивилизации. Вряд ли какой-нибудь турист, да и специалист тоже, может похвастаться, что он был на острове Бацан, имеющем редких птиц, таких например, как попугаи Нури или Какаду, и животных, в том числе сумчатых, которые могут еще встретиться только на Новой Гвинее или в Австралии. Однако, мне было не до них. Я был предельно переутомлен, хотел пить и спать, мои глаза нестерпимо болели. Идти без обуви, в одних только носках, по острым кораллам, было очень больно. Я вскрикивал от боли каждый раз, когда неудачно становился на очередной коралловый выступ, и шипы врезались в мои подошвы. Сначала я шел по узкой береговой полосе, которая хотя и была засыпана кусками кораллов, но все же была проходима. Но скоро идти стало еще хуже. Береговая полоса кончилась, и джунгли подступили к самому срезу воды. Переплетенные лианами, густо растущие деревья создали для меня непроходимую преграду. Пришлось спуститься в море и идти вдоль скал по пояс в воде. Море было очень неспокойно и брызги от волн, разбивающихся о прибрежные скалы, скоро вновь намочили всю мою одежду, которая подсохла, когда я лежал на солнце. Иногда мои ноги проваливались в разные расщелины на морском дне, и была реальная опасность, что я

или сломаю себе ноги или же за мою ногу ухватится какое-нибудь морское животное, вроде мурены, морской змеи или захлопывающейся огромной раковины.

Так я шел довольно долго, когда услышал в джунглях голоса.

— Эй! Эй! Идите сюда! — закричал я изо всех сил. Никто мне не отозвался. Я закричал еще раз. Опять никто не откликнулся. А голоса, вернее крики, продолжались.

Тогда я понял, что это были крики обезьян. «Бабуины, кажется, любят кричать», — вспомнил я, но сознание того, что я попал в давно желанный мир экзотики, не воодушевило меня: слишком у меня болели глаза, и слишком я хотел пить.

В принципе, напиться можно было из кокосового ореха, но я не смог расколоть его. Воду все равно надо было искать, хотя бы для того, чтобы промыть глаза. Без питья, я знал, человек может прожить три дня. В моем случае прошли лишь одни сутки. Даже принимая во внимание исключительные обстоятельства, еще сутки я мог прожить без воды. Но если не промыть глаза — завтра я ничего не буду видеть.

Удалившись от неожиданно встреченного зверя на порядочное расстояние, снова стал заглядывать в джунгли. Волны и брызги от волн не давали моей одежде подсохнуть. Ночевать на камнях в мокрой одежде — такой представлялась мне ближайшая перспектива. Да еще звери подойдут и будут обнюхивать спящего... Хорошо еще, если только обнюхивать!

Смеркалось. Я шел и шел вдоль берега, а ущелья или ручья все не было. Наконец, я понял, что ущелья вообще не существовало. Ущелье рисовалось со стороны моря вследствие контраста цветов двух зон растительности, почему-то резко граничащих одна с другой. Бухта, правда, была и теперь я находился в ней. Надо было искать место для ночлега. Я посмотрел вглубь джунглей, которые круто поднимались вверх по горе, начинающейся от самого берега моря, и увидел шалаш. Шалаш был как две капли воды похож на русский шалаш, какой делают рыболовы или охотники у нас, в России. «Вот в этом шалаше я и переночую, если только в нем уже кто-нибудь не расположился», — подумал я. До шалаша было метров двадцать пять. «Не притаился ли где-нибудь удав или королевская кобра?» — появилась тревожная мысль. Я хорошо помню, что я подумал именно о Королевской кобре. На встречу с другой коброй я был не согласен.

Подъем в гору оказался таким же, как в ущелье Мономаха, в Коктебеле: весь грунт состоял из острых мелких камней, осыпающихся под ногами. Хватаясь руками за

лианы и стволы деревьев (хорошо еще, что на закате солнца все змеи уползают в свои норы, а то я, пожалуй, мог в темноте ухватиться вместо ветки за змеиный хвост!) — я, наконец, поднялся до уровня шалаша. И снова — разочарование, как и с буйком, как и с ущельем! Это оказался не шалаш, а — корень вывернутого с землей дерева.

Пришлось возвращаться назад, опять идти по воде и искать в джунглях подходящую площадку. Джунгли были так засорены, что мне пришлось идти довольно долго пока я высмотрел что-то похожее на площадку. Я сделал несколько шагов вглубь джунглей, в сторону площадки, и снова увидел какое-то животное. Приглядевшись, я узнал обезьяну. Обезьяна руками и ногами обхватила ствол дерева, а голову с огромными кругами вокруг глаз повернула ко мне и замерла в таком положении.

«Ну, нет! Лучше ночевать с рыбами, чем с обезьянами!» Я вернулся к самой воде и стал искать какой-нибудь большой плоский камень, чтобы лечь на него. Вдали что-то затрещало. Шум приближался. В последних бликах уходящего дня я различил моторную лодку, которая быстро шла вдоль берега в мою сторону. Я забежал в воду по пояс и начал махать своей длинной бамбуковой палкой. Одновременно я кричал:

- SOS! SHIP! SOS! SHIP!

Несмотря на мои крики, лодка вначале прошла мимо, но потом вернулась, немного помедлила в стороне, и, наконец, подошла ко мне. В лодке, длинной и узкой, с тентом на корме, сидело четверо опрятно одетых молодых людей. Я влез в лодку, а затем, обратившись к ближайшему молодому человеку, подал ему свои ручные часы и сказал:

— This is my present. I am a Russian from ship. Let us go to policeman!

Оказалось, что никто из молодых людей не знал английского языка, но слово «policeman» они поняли, часы тоже взяли. Лодка быстро пошла. Один из молодых людей накинул мне на плечи свою куртку. Мы стали объясняться так, как обычно объясняются в подобных случаях: знаками, улыбками, нелепо искаженными словами. Они поняли, что я хотел пить. Когда лодка прошла мимо вто-

рого холма, отделенного от первого мнимым ущельем, и когда началось

плоскогорье, они причалили лодку к берегу. На берегу стоял домик на сваях. Один из молодых людей дал мне свои босоножки и знаком пригласил следовать за собой. В доме хозяйка без лишних слов подала мне огромную кружку с теплой кипяченой водой. Воду я выпил почти всю, а потом промыл глаза. Сразу же меня пригласили есть. В тарелке были вареные бананы в очень вкусном соусе с какими-то еще плодами, напоминающими наш зеленый горошек. Есть я не хотел и насиловать себя не стал. Проглотив несколько ложек, я поблагодарил хозяйку так, как видел в индийских кинофильмах, и двинулся к лодке. Было уже совсем темно. Мы плыли довольно долго. Чем ближе мы подплывали к селению, тем чаще нам встречались лодки, очевидно, рыбацкие. Наконец, показался слабо освещенный причал с небольшим маяком.

Глава 61. В Индонезии

Глава 61. В Индонезии.

Селение начиналось от самой воды. Освещения было мало, но я все же заметил, что дом, куда меня привел хозяин лодки, был не на сваях и имел оригинальную конструкцию: жилые помещения и приусадебные пристройки составляли как бы единое целое, потому что были накрыты одной крышей. Мы вошли во дворик и молодой человек пригласил меня в пристройку. Там я увидел полку с туалетными принадлежностями и понял, что это — умывальник. Сразу мне принесли таз с горячей водой и мой проводник жестами показал мне, что я мог помыться сам и прополоскать свои вещи. Мне не хотелось заниматься этим, но отказаться было неудобно и я через силу проделал это. Когда я кончил, молодой человек принес мне полотенце, рубашку, плавки, тапочки и кусок материи на юбку. Я обмотал материю вокруг своих бедер и привязал на поясе тем шнурком, которым раньше стягивалась моя рубашка. После этого мы пошли в гостиную, где нас уже ждало много народу, в том числе несколько мужчин, одетых в такие же как у меня, юбки. Гостиная напоминала веранду на большой даче, так как с

трех сторон была остеклена. На той стороне, где не было окон, висело большое распятие и горели маленькие разноцветные лампочки. Там же стоял комод, на котором находился радиопередатчик и лежала форменная фуражка с кокардой. Гостиная без дверей переходила в

коридор, который вел в спальни и на кухню. Посредине гостиной стояли низенький полированный столик и удобные плетеные кресла вокруг него. Мой спутник подвел меня к невысокому человеку грозного вида с очень длинными усами, одетому в белую рубашку и брюки, и произнес: «Полисмен».

Я слегка поклонился полисмену и сказал по-английски: «гуд ивнинг».

В ответ полисмен подал мне свою руку и жестом пригласил сесть в плетеное кресло, но сам не сел, а куда-то вышел. Очень скоро он появился опять, но уже в полной военной форме и в сопровождении человека в штатском. Оба они сели в кресла напротив меня и мужчина в штатском заговорил:

— Я — здешний бизнесмен. Полисмен не знает английского языка и я буду переводить ваш разговор.

Однако, не дожидаясь полисмена, переводчик сам задал мне вопрос, который больше всего интересовал присутствующих:

— Откуда вы появились на нашем острове?

— Я приплыл на остров с советского теплохода.

— А почему вас не съели акулы?

— Потому что мне помог Господь, — ответил я и перекрестился.

— Конечно, Господь! — воскликнул переводчик убежденно и тоже перекрестился, но не тремя пальцами, как я, а только одним.

— Так вы — тоже христианин, тоже католик? — опять спросил меня переводчик после того, как перевел на индонезийский язык мой ответ, вызвавший одобрительные реплики присутствующих.

— Да, — ответил я, сознавая, что моего знания английского языка недостаточно для объяснения разницы между Православием и Католицизмом.

— Мы все в этой деревне — католики, — сообщил мне

переводчик. — А деревня наша называется Вайова, остров — Бацан, а мыс, на который вы приплыли, мы называем Акулий мыс (Тариунг маригоранго), потому что около него всегда самое большое скопление акул.

После этого он стал переводить мне вопросы полисмена, на которые я

отвечал в меру моего скудного знания английского языка.

Однако, главное я ему сказал и он меня понял. Я сказал, что бежал вплавь с советского теплохода с целью попасть в Соединенные Штаты Америки, и что я прошу Правительство и Президента Индонезии оказать мне в этом содействие.

Пока мы разговаривали, в гостиную приходили все новые и новые люди. Скоро их стало так много, что уже негде было и стоять. Среди них было много детей, причем старшие дети держали на руках своих младших братишек и сестренок. И все с любопытством рассматривали меня, а встретив мой взгляд — дружелюбно улыбались. Появились еще люди, говорящие по-английски. Первого переводчика сменяли другие и все они старались задать мне побольше вопросов. Несмотря на сильную усталость мне хотелось с ними говорить. Я ощущал их искреннее расположение ко мне, чувствовал их гостеприимство. Вокруг не было ни одного угрюмого или неприязненного взгляда. Все лица светились дружественными улыбками.

Однако, полисмен прервал нашу беседу. Он сказал, что я очень устал и нуждаюсь в отдыхе, и попросил всех выйти из гостиной.

После этого его жена с приятной улыбкой принесла мне огромную эмалированную кружку какао с молоком и очень белых сдобных булочек. Когда я выпил все, она налила мне вторую кружку — «если я захочу попить какао ночью» и указала мне мою комнату, которая оказалась без окон, но с многочисленными щелями для воздуха. Широкая кровать была застелена простыней, сверху которой лежала циновка. «Очевидно, чтобы было не так жарко», — подумал я и только положил голову на подушку — сразу заснул.

Когда я проснулся утром, то не мог открыть глаза. Мои веки слиплись от гноя. Так я и вышел в гостиную с

закрытыми глазами и протянутой рукой. Тотчас кто-то сунул мне в руку кружку с теплой водой. Я промыл ей один глаз—и он вдруг открылся. Раздался веселый смех. Я промыл второй глаз—и он тоже открылся. Смех превратился в хохот. Я увидел хозяйку дома и каких-то еще женщин, которые от души смеялись над инцидентом.

После завтрака ко мне пришел портной. Он пригласил меня в свой дом, где снял с меня мерку и сделал мне подарок — макет лодки в бутылке. После полудня он принес мне две пары брюк отличного качества. Портного звали Ачмад Майза. Потом меня приглашали в гости другие

жители Вайовы и местные бизнесмены и все что-нибудь дарили. К концу дня у меня оказалась большая целофановая сумка, полная одежды. Я снял с себя юбку и переоделся в более привычные для меня брюки.

Утром 13-го декабря полисмен перевез меня в административный центр острова — Лабуху, где в течение двух дней я жил в бывшем дворце эмира. После Лабухи меня перевели в столицу Северной Молукки — город Тернате и посадили там в тюрьму.

— Эта тюрьма — совершенно новая! — с гордостью сообщил мне начальник полиции. — В ней не сидел еще ни один человек. Вы будете первым!

Какое ни есть, но все же — утешение!

В тюрьме, одноэтажной и очень небольшой, меня провели в дальнюю камеру, где уже были приготовлены для меня спальные принадлежности.

Начальник полиции вставил ключ в замок моей камеры и демонстративно оставил его там. Потом он пожелал мне спокойной ночи и удалился. Когда полицейские ушли, я вышел из своей камеры и стал осматривать тюрьму. Прежде всего мне было интересно знать, закрыта или нет входная дверь. Я подошел и дернул ее. Дверь не поддалась. Однако никакого часового около тюрьмы не было видно. Возможно, ключ, который оставил мне начальник, подходил также и к входной двери. Однако, я не стал испытывать, чтобы не подумали, что я хочу совершить побег.

Утром я проснулся от шума и гвалта ребятишек. Поскольку тюремное здание в буквальном смысле слова бы-

ло ажурное, то есть имело множество щелей для доступа воздуха, то меня можно было видеть с улицы, если залезть на одно из деревьев, со всех сторон окружавших тюрьму. И вот утром все эти деревья оказались усеянными ребятишками. Все они улыбались мне, махали руками и что-то кричали по-своему. Я сперва тоже махал ребятишкам в ответ, улыбался и они были очень довольны. Вдруг на одно из деревьев забралась вполне взрослая девушка. Как и подавляющее число индонезийских девушек, она была настоящая красавица. Девушка сперва смотрела на меня и улыбалась, а потом вдруг крикнула «Ай лав ю!» и от смущения выпустила из рук ветку дерева, за которую

держалась, а потому кубарем полетела вниз. В гаме и хохоте я так и не понял, пострадала она от падения с дерева или нет.

Утром мне в камеру принесли завтрак, состоящий из чая и торта, и подарок начальника полиции — полицейские ботинки. Еще через день я был уже в столице всей Молукки, городе Амбоне. Меня встречали два офицера, каждый в собственном автомобиле. Старший из них, полковник Абас пригласил меня в свою машину. Полковник был человеком средних лет, высокого роста, худощавый и подтянутый. На его мундире был прикреплен орден. Заметив, что я слабо знал английский язык, он терпеливо повторял и перефразировал свои высказывания до тех пор, пока я не улавливал их смысл. От аэропорта до города было довольно далеко, кажется 35 километров, и у меня было достаточно времени, чтобы не только беседовать с полковником, но и смотреть на экзотические картины, которые открывались передо мной из машины. Мы ехали по хорошему шоссе, обсаженному тропическими деревьями, которое обегало вокруг Амбон-ской бухты. В этой бухте находились торговый порт и главная Военно-Морская база Индонезии. Полковник рассказал мне о себе. Он занимал должность заместителя начальника полиции провинции Молукка. Жил он на окраине города в казенном доме, а в центре города, в офицерской гостинице, имел комнату, которую временно предоставлял мне.

Постепенно буйная растительность и редкие коттеджи сменились городскими улицами. Мы въехали в Амбон. Тропическая жара заставила людей открыть все двери. У магазинов двери были настежь, у жилых домов — все двери были настежь. Даже на электростанции все внутренние помещения были открыты для постороннего взора. Почти все дома в Амбоне оказались одноэтажными. Исключение составляли лишь некоторые кинотеатры.

Я немного удивился тому, что полковник не повез меня в свой офис, а сразу — в гостиницу. Гостиница была одноэтажная с верандой и садом. После беседы, смахивающей на светскую, и обеда мне показали мою комнату. В Амбоне меня, наконец, осмотрел врач, доктор Бамбанг, немного говорящий по-русски. Мои глаза все еще болели, хотя их уже лечили студентки-медички в Лабухе. Доктор принес мне лекарство для глаз и сделал общий осмотр. Мне также измерили рост и вес. Оказалось, что я весил всего 72 килограмма. Очень жаль, что я уклонился от взвешивания на теплоходе перед побегом. Теперь я мог говорить о потере веса во время заплыва лишь приблизительно: от 8 до

10 килограмм. После медицинского осмотра у меня взяли отпечатки пальцев.

Пользуясь свободным временем, я решил начать восстанавливать свою книгу. С этой целью я попросил у полковника бумагу и ручку. Все это он мне принес и в свою очередь спросил меня:

— Мистер Юра, не хотели бы вы покупаться?

— Вы хотите посмотреть, как я плаваю? — догадался я.

— Да, мы хотели бы, чтобы вы показали нам, как вы плаваете на дальние дистанции.

— Пожалуйста, я покажу.

— До аэропорта доплывете, ладно?

— Вы говорили мне, что до аэропорта 35 километров?

— Да.

— Доплыву, только мне понадобятся мои принадлежности, которые у меня отобрали в Тернате.

— Завтра утром я принесу их вам, — пообещал полковник и ушел.

На мгновение мне стало не по себе: думал — всё, а теперь — снова плыть! И глаза еще не совсем прошли, и без

подготовки! Но отказываться было нельзя.

На следующее утро полковник появился вместе с прокурором — тем вторым офицером, который встречал меня на аэродроме, и с каким-то штатским. Вместо моих плавательных принадлежностей он принес одни только новые красивые плавки. Мы все сели в машину полковника и поехали в порт, где нас уже ждал быстроходный военный катер. Этот катер отвез меня на песчаный пляж около яхт-клуба и высадил там. Все остальные остались на катере. Полковник объяснил мне, что я мог раздеться на пляже, а потом указал мне направление заплыва — противоположный берег бухты. Я поплыл, а катер пошел рядом и штатский, оказавшийся фотографом, начал делать снимки моего заплыва. Вода в бухте была почти горячей и я не на шутку боялся свариться в ней. Когда я переплыл бухту и снова взглянул на полковника на катере, то он показал мне рукой в сторону пляжа, с которого я стартовал. Около пляжа мне сказали: «достаточно!».

Офицеры сошли с катера и повели меня в ближайший мотель, где я принял ванну. Потом мы пошли в очень красивый ресторан обедать. Остаток дня прошел в непринужденной беседе.

После ресторана полковник сказал мне:

— Вы больше не поедете в гостиницу. Мы решили перевести вас в отдельный дом, который в точности такой же, как мой дом, и стоит рядом с ним, но пока что — пустой. Там вам будет удобнее и вы сможете без помех восстанавливать свою книгу.

Следующую ночь и еще двадцать ночей я провел в новом доме, в котором было пять комнат, большая гостиная и веранда, с которой открывался сказочный вид на бухту. Мой дом отличался от дома полковника только садом: у полковника сад был ухожен, а у меня — нет. Супруга полковника Абас взяла на себя заботу о моем питании и через каждые два часа кто-нибудь из ее работников приносил мне серебряный поднос с едой или фруктами. Меня охраняли два полисмена. С ними я играл в шахматы и смотрел телевизор. Хорошая, спокойная обстановка, великолепный вид на бухту и деревья с гроздьями

бананов под моим окном разбудили во мне вдохновение и я стал быстро восстанавливать главы моей уничтоженной книги. По мере написания я давал их читать доктору Бамбанту и он переводил их полковнику. Тогда же специальный кинооператор, присланный из Джакарты, снял на пленку мое интервью с доктором, проходившее на русском языке.

Наконец, МИД Индонезии распорядился привезти меня в столицу. С этой целью из Джакарты прилетели два офицера. Вместе со мной в столицу был притащен и полковник Абас. Последний раз я ехал в машине по Амбону и меня специально провезли мимо недостроенного Кремлем и брошенного в таком виде здания Университета. Потом мы сели в комфортабельный реактивный лайнер компании «Гаруда» и полетели с востока на запад через всю Индонезию. Я увидел сверху много интересного: и горы, и вулканы, и джунгли, и, наконец, рисовые поля на острове Ява — житнице всей Индонезии. Подлетая к Джакарте, самолет снизился и долго летел над самым городом. Из иллюминатора я видел многие кварталы одноэтажных домов и сверхсовременные высотные здания в центре города. Когда мы приземлились, прямо у трапа встала машина. Меня пригласили сесть в нее. Машина на

большой скорости выехала с аэродрома и подъехала к полицейскому участку около аэропорта. Там стояли две других машины. Меня пригласили пересесть в одну из них и они обе сразу тронулись. С виду это были обыкновенные легковые машины. Однако, внутри сидели офицеры полиции с радиопередатчиками, по которым они все время с кем-то поддерживали связь. Мы мчались на большой скорости по улицам Джакарты и я с большим интересом наблюдал жизнь этого огромного тропического города. Меня поразило огромное число магазинов и уличных торговцев. Транспорта на улицах было так много, что для пешеходов были построены специальные виадуки. Мы проехали несколько эмоциональных памятников борцам за независимость Индонезии. Был канун Нового года, но на улицах это никак не ощущалось, и полицейские тоже не спешили по домам. Сперва меня завезли в Департамент Полиции, где со мной же-

лал познакомиться какой-то начальник. Начальник угостил меня прохладительными напитками и задал два-три вопроса. Потом он объявил:

— Сейчас вас свезут на квартиру к одному нашему офицеру, где вы будете жить. Завтра — Новый Год, выходной день. После выходного мы пригласим вас к себе.

Удивительно, что все официальные лица в Индонезии свободно говорили по-английски и еще более удивительно, что я — понимал их, хотя иногда и переспрашивал по несколько раз. На квартире меня приветливо встретил мистер Райчоа, немного полноватый, спокойный и уравновешенный офицер полиции, и его жена, учительница, приятная интеллигентная женщина. Тут же были четверо их детей. Новый год они не встречали и после первого знакомства мы все разошлись по своим спальням.

На следующее утро я проснулся оттого, что вдруг почувствовал себя в джунглях. Я открыл глаза и вместо джунглей увидел свою комнату с телевизором на столе, а откуда-то из-за двери доносился сильнейший птичий

хор. Я оделся и вышел. Весь внутренний двор оказался заставленным клетками с птицами, которые пели на разные голоса. Мистер Райчоа вместе с младшей дочкой Ритой, 11-тилетней серьезной девочкой, по очереди чистили все клетки. Я поздоровался и подошел ближе.

— Разведение и продажа птиц — это мой приработок, — объяснил мне мистер Райчоа. — У нас никто не живет без приработков и это не порицается.

— Дочка, не ставь рядом клетки с этими птицами! — обратился он к Рите, — ибо они — враги. Смотри: одна из них уже успела выщипать перья из хвоста другой!

По мере того, как клетки вычищались, их подвешивали, а птицам давали еду и питье. Попугаев Рита кормила из рук. У нее была маленькая ложечка, в которую она наливала молоко, после чего осторожно протягивала ложечку в клетку. Попугай открывал широкий клюв и Рита выливала молоко в него, ни капли не пролив. Наевшись и напившись, птицы начинали прыгать с жердочки на жердочку и петь на разные голоса. Если какая-нибудь птица не пела, мистер Райчоа подходил к ней и подсвис-

тывал. Если птица была здорова, то в ответ она непременно запевала. Для больных птиц у него имелись лекарства, которые он им давал с маленькой ложечки.

Во дворе была одна очень большая стационарная клетка с голубями, в которой птицы постоянно ели, пили, занимались любовью и разводились. Вечером к хозяевам пришли гости и в том числе веселый и жизнерадостный капитан Декок, который, глядя на голубей в клетке, сказал мне:

— Мы, индонезийцы, никогда не пьем ВОДКА, как это делаете вы, русские. Но мы очень любим женщин и подобно вот этим голубям эвери дэй; кво!..кво!..кво!..— и он помахал руками, как крыльями- эвери дей!

Капитан оглянулся на свою жену за подтверждением. Она кивнула и рассмеялась.

Потом мне принесли издающуюся на английском языке индонезийскую газету. Одна из тем, которую я прочитал там, поразила меня необыкновенно. Президент Сухарто объявил амнистию всем участникам коммунистического путча 1966 года. Освобожденным из тюрем коммунистам предоставлялось право вернуться к прежней специальности, включая право быть журналистом, как особенно подчеркивалось. Для тех, кто не имел твердой специальности, были организованы специальные курсы и государство им выделяло землю. Воспитанный в стране Ненависти, я не верил своим глазам, что

возможно такое великодушие.

С властями я встретился сразу после выходного дня. Меня привезли в красивый дом старой голландской постройки, на что тотчас же и обратили мое внимание. Дом находился в самом центре Джакарты, и из его окон были видны современные здания, окружающие его.

После непременного угощения прохладительными напитками меня пригласили в круглую комнату, всю в окнах. Напротив входа и слева стояли письменные столы и за ними сидели какие-то люди в штатском, а справа находился чайный интерьер, обычный для всех индонезийских присутственных мест: низкий лакированный столик и удобные кресла вокруг него.

Там уже сидели женщина и двое мужчин. Они по-

очереди встали, представились и пожали мне руку. Я запомнил только имя женщины — миссис Рамадан.

Она заговорила со мной на совершенно правильном русском языке:

— Мы все трое говорим по-русски. Мы — сотрудники МИД Индонезии, но в то же время — ваши друзья. Мы знаем о вашем желании поехать в США, и всеми силами будем способствовать этому. Сегодня мы хотели бы задать вам несколько вопросов и если вы не возражаете, запишем их на магнитофон, потому что мы не очень хорошо понимаем по-русски и возможно придется прокрутить ленту не один раз, пока мы уловим смысл.

— Пожалуйста, я не возражаю.

Женщина мило улыбнулась и включила маленький-магнитофон. Я увидел, что она очень хороша. Это был тот не очень частый случай, когда на лице женщины кроме природной красоты светился ум. Хотя она была не первой молодости, но все еще имела стройную и изящную фигуру. Простое скромное платье, со вкусом сшитое, очень ей шло. У нее было только одно украшение: что-то вроде медальона, который на длинной золотой

цепочке спускался с ее шеи. При дальнейшем рассмотрении медальон оказался увеличительным стеклом. «Как это пикантно, — невольно подумал я: красавица и детектив — в одном лице!»

— Как вы встретили Новый Год? — поинтересовалась миссис Рамадан.

— Я не встречал его. Я лег рано спать.

— Как жаль! Если бы я узнала вовремя о том, что вы прилетели 31-го декабря, я бы непременно пригласила вас встречать Новый Год в нашей компании!

Покончив с первым знакомством, миссис Рамадан стала задавать мне вопросы из биографии, а также — подробно расспрашивать о том, как я бежал с теплохода. Когда она попросила меня показать по географической карте маршрут моего заплыва, я предусмотрительно отказался это сделать и объяснил, что для этой цели нужна морская карта.

Беседы-допросы продолжались несколько дней. Ко мне относились доброжелательно и я чувствовал себя свободно и не утомлялся. Поездки на автомобиле проходили в целях моей безопасности каждый раз по новому маршруту и я увидел из окна почти все главные улицы столицы, а также — посольство США, которое уже считал своим, и огромное здание Советского посольства.

Однажды миссис Рамадан, мило улыбнувшись, спросила меня:

— Юрий Александрович, может быть, вы приплыли к нам на подводной лодке?

В ответ я только развел руками.

— Это я пошутила, — сказала милая женщина. — Но вот что серьезно: некоторые жители острова Бацан утверждали, что они слышали шум винтов подводной лодки. Вот вы были морским офицером — вы должны знать, может ли человек, находящийся на берегу, слышать шум винтов подводной лодки?

— Нет, конечно, не может, — ответил я и тоже улыбнулся.

После ее вопроса о «подводной лодке» я решил не рассказывать о моем путешествии на экватор в 1966 году. Представляю, как бы разыгралось ее воображение после

моего рассказа!

В одной из комнат, где я иногда отдыхал, висела большая карта Индонезии. Я нашел на ней остров Бацан и был удивлен тем, что в том месте, где я спрыгнул с теплохода, имелись еще и другие острова, причем некоторые из них находились ближе к месту моего старта, чем

остров Бацан. Тогда я подумал, что та карта была нарисована неверно и я правильно сделал, что отказался показывать по ней свой маршрут. Позднее то же самое заметили и миссис Рамадан и ее сотрудники, среди которых постоянно находился и мистер Абас. Они спрашивали меня, почему я поплыл к острову Бацан, а не к другим, более близким островам? Я отвечал им, что смогу дать объяснение только после того, как посмотрю морскую карту.

Через несколько дней в офис доставили морскую карту. С первого взгляда на нее я понял, в чем было дело.

— Я поплыл к острову Бацан потому, что других островов я не видел,— разъяснил я обступившим карту сот-

рудникам МИД и департамента полиции. — Остров Ба-цан-гористый, как вы видите на карте, а остальные — низменные. Земля ведь — круглая! Поэтому низменные острова оказались за горизонтом и были мне не видны.

Это было так убедительно, что никто не задал мне больше ни одного вопроса, а официальный фотограф сделал несколько снимков этого эпизода и потом преподнес мне фотокарточки.

Однако, вполне убедить миссис Рамадан, что я именно тот, за кого я себя выдавал, было не так-то легко. Во время следующей встречи она спросила меня, какие у меня причины ненавидеть коммунистов. Я ответил ей довольно подробно и дополнительно к этому предложил прочитать главы из моей книги.

— А о чем ваша книга? — спросила она меня.

— О ГУЛАГ-е и о побеге.

— Но о ГУЛАГ-е уже написано так много! Вы думаете, что сможете сказать на эту тему что-нибудь новое?

— В отличие от других книг о ГУЛАГ-е в моей книге будет отдельная глава под названием «Рассуждения со-

ветского политзаключенного».

— Очевидно, эта глава будет главной в вашей книге, — заметила она.

Миссис Рамадан попросила разрешения почитать написанные уже главы, а прочитав, перевела их на индонезийский язык. Фотограф

запечатлел и этот эпизод и тоже подарил фотографию мне.

Перед тем, как свести меня с представителем Американского посольства у нас состоялся еще один примечательный разговор:

— Юрий Александрович, вот вы стремитесь попасть в Соединенные Штаты, — начала миссис Рамадан, — а подумали вы, на что вы будете жить там? Английский язык вы знаете еще слабо и пройдет порядочно времени, пока вы выучите его и сможете там работать. Есть у вас в США какие-нибудь родственники или знакомые, которые будут помогать вам хотя бы первое время?

— Я надеюсь, мне поможет Солженицын.

— Вы знакомы с Солженицыным?

— Нет, мы не знакомы, однако, мы оба — русские и оба бывшие политзаключенные, антикоммунисты. Не может быть, чтобы он не помог бывшему ЗЭК-у, тем более, что он и фонд специальный создал для этой цели.

— Ну, это другое дело. Мы здесь читали в газетах, что Солженицын купил себе большой участок земли. Он, конечно, сможет помочь вам.

— Юрий Александрович, а что вы будете делать, если американцы не примут вас? — вдруг спросила миссис Рамадан.

— Этого не может быть! — ответил я. — Я — бывший политзаключенный.

— А если Америке будет выгодно и она выдаст вас коммунистам?

— Я об этом даже думать не хочу! Разве можно подозревать в такой низости страну, у которой собираешься просить политическое убежище?

— А все-таки? — настаивала миссис Рамадан, и мне показалось, что она очень прозрачно намекала на ту «выгоду», согласно которой американцы вместе с англичанами выдали Сталину на расправу два миллиона русских анти-

коммунистов после окончания 2-й мировой войны.

«Что вы наделали, мистер Рузвельт и мистер Черчиль? — подумал я. — Теперь даже в далекой Индонезии узнали о вашем тайном сговоре со Сталиным и больше не доверяют вашим странам!»

Но вслух мне хотелось возразить ей, и я сказал:

— Америка борется за права человека во всем мире. Одно из этих прав — свободно выбирать страну проживания.

Наконец, состоялась моя встреча с американским консулом мистером Дэвидом Ворфом и его помощником. Консул, к которому индонезийцы проявили большое уважение, приветствуя его вставанием, оказался худощавым сдержанным человеком, радушно приветствовавшим меня. Его помощник сначала заговорил по-английски, а потом вдруг предложил мне:

— Давайте лучше говорить по-русски!

Дальше беседа пошла в самом непринужденном виде. Я заполнил необходимые иммиграционные документы, а консул пообещал мне, что о дальнейших событиях мне сообщат индонезийцы. Поскольку из разговора выяснилось, что помощник американского консула хорошо осведомлен о внутреннем положении в СССР и знаком с именами некоторых диссидентов, сидевших вместе со мной, то я и рассказал ему то, что не говорил индонезийцам, — о моем заключении в психтюрьме.

На следующий же день индонезийцы устроили мне психиатрическую экспертизу. Молодая врач-психиатр проверила меня по тестам. Тесты оказались настолько тяжелые, что я разгадывал их больше часа, но на вопросы ответил правильно, и все остались довольны.

Следующее испытание, которому меня подвергли индонезийцы, был детектор лжи. Впервые в жизни я увидел этот прибор, о котором много слышал всерьез, а еще больше — в разных комедиях и фельетонах. Объявив мне, что и с детектором тоже все ол райт, миссис Рамадан от имени правительства Индонезии попросила меня в заключение согласиться на встречу с представителем Советского посольства. Эта встреча произошла в здании Департамента Полиции.

* * *

...В двенадцатом часу дня 21-го января 1980 года, в приемный зал Департамента Полиции республики Индонезии вошел 3-ий секретарь Советского посольства Виктор А. Ткаченко. Никто из присутствующих не встал при его появлении. Мгновение он задержался в дверях, а затем сел в предложенное кресло, как раз против меня. Секондмен, как его называли индонезийцы, оказался моложавым стройным человеком с черными усиками и такими же черными, колючими глазками. Несколько минут длилось общее молчание. Он не смотрел на меня

прямо, а временами «стрелял» искоса и тотчас опять отводил глаза в сторону. Наконец, Ткаченко тихо заговорил, тщательно выбирая слова. Магнитофоны, поставленные на всех столах, стали записывать.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, — ответил я.

— Вы ведь Ветохин Юрий Александрович?

— Совершенно верно.

— Нам стало известно, что на советском теплоходе «Ильич» пропал человек. Индонезийское правительство любезно сообщило нам о вас... о том... что... (он замялся) вы около двух недель назад как-то очутились на индонезийской территории. Может быть, это — случайность? Может быть, вы упали с корабля и каким-то образом оказались в Индонезии?

Он замолчал, ожидая ответа.

— Нет, это не случайность. Я умышленно бежал с советского теплохода «Ильич» в Индонезию для того, чтобы в конечном счете получить убежище в Соединенных Штатах Америки.

— Но какая причина тому?

— Последние три года я работал чернорабочим, грузчиком. Никакой другой работы получить в Советском Союзе я не мог. Однако, я имею высшее образование и работать грузчиком не хочу.

— Прошу прощения за некоторое углубление в вашу биографию. Скажите, пожалуйста, что вы окончили?

— Я — инженер, специалист по электронным вычислительным машинам. Я занимал руководящие должности в вычислительных центрах Ленинграда, преподавал в Инженерно-Экономическом институте. Однако, после того, как в 1964 году я вышел из партии добровольно, я потерял возможность работать по специальности. А после тюрьмы, в которой находился с 1967 по 1976 год, я вовсе не мог получить никакой работы, кроме работы грузчика.

— А за что вы попали в тюрьму?

— В тюрьму я попал за попытку побега за границу.

— Тут что-то неясно...— возразил Секондмен, не глядя на меня, а обращаясь к представителям Министерства Иностранных Дел

Индонезии.

— Не может быть, чтобы в нашей стране человек за попытку побега за границу находился в тюрьме 9 лет!

Я решил не вступать с ним в полемику и, поняв это, Секондмен перешел на другое:

— Так или иначе, но вы подумайте о своем будущем. Сейчас вас кормят. Но пройдет время и вам придется самим думать о себе. Специальность свою вы наверно забыли, ведь прошло много лет. Что вы будете делать? Да и не известно еще, захочет ли правительство США разрешить вам въезд в свою страну. В Индонезии же вас не ожидали, и очевидно не будут знать, что с вами делать. Было много случаев, когда люди, подобные вам, просили разрешения вернуться обратно в СССР через год или два, но это уже труднее. Сейчас же вернуться назад вам можно. Вам ничего не будет. Никаких последствий за ваш побег с теплохода вас не ожидает. Конечно, я приглашаю вас вернуться назад, если правительство Индонезии не будет возражать. Подумайте, а через два дня мы встретимся снова.

— Мое решение окончательное. И через два дня и через два года оно будет тем же самым.

— В таком случае я не буду больше говорить о вашем возвращении, и никто не будет принуждать вас к этому. Другой вопрос: может быть вам нужна какая-нибудь помощь со стороны Советского посольства?

— Нет, никакой помощи от Советского посольства

мне не надо.

Наступило тягостное молчание. Через несколько минут Секондмен заговорил снова:

— Ну, тогда эта наша встреча последняя. Больше мы встречаться не будем. Мы все выяснили.

— Да, все ясно, — ответил я.

Секондмен о чем-то поговорил со своим соседом, сотрудником МИД Индонезии, затем встал и направился к выходу. К нему подошла миссис Рамадан и еще 2-3 человека. Затем миссис Рамадан, ее коллеги и офицеры полиции направились ко мне. Они: пожимали мне руку и поздравляли меня, а миссис Рамадан сказала, что я вел себя «как джентльмен». В то же время, она чисто по-женски заметила:

— А этот русский — симпатичный!

— Да! «Симпатичный!» — возразил я. — Говорит одно, а думает другое. Змей он, а не человек! Так бы и прыснул в меня ядом, если б только мог!

— Змей! мистер Змей! — подхватил, смеясь капитан Декок. — Вам надо было так и ответить на его приветствие: «Здравствуйте, мол, мистер Змей!»

* * *

Проводить меня на аэродром приехали консул США мистер Дэвид Ворф и представитель МИД Индонезии миссис Рамадан, а также мои индонезийские друзья супруги Райчоа с младшей дочкой Ритой.

— Поедем со мной в Америку! — предложил я Рите. В ответ девочка прижалась к своей маме. Прощание было самое трогательное. Миссис Райчоа и Рита поцеловали меня, а с остальными я попрощался за руку. Когда я прощался с миссис Рамадан, она сказала мне:

— Я бывала во многих европейских столицах, но ни одну из них не люблю так, как Афины, куда вы сегодня летите. Я бы с удовольствием побывала там еще раз!

Эскорт машин подъехал к огромному самолету ДС-10 с надписью «Гаруда» на фюзеляже. Там со мной попрощалась охрана и я поднялся по трапу в сопровождении полковника Абаса.

— Большое вам спасибо за все, — обратился я к полков-

нику в самолете. — Я всегда буду помнить гостеприимство, которое вы и ваша жена оказали мне в Амбоне, и я очень благодарен вам за мою безопасность.

Умное и волевое лицо полковника засветилось улыбкой. Медленно и четко выговаривая английские слова, чтобы я понял, он ответил:

— Мистер Юра, мы сделали для вас все, что могли. Желаю вам счастья в Америке! Напишите оттуда.

Потом он пожал мою руку и добавил с особенным ударением:

— А провожаем мы вас— по ВИП!

* * *

Через 45 минут наш самолет подлетал к Сингапуру. Сквозь

иллюминатор в вечерних сумерках светилось множество якорных огней стоящих на рейде судов. Сингапур! Всю жизнь этот город стоял для меня в одном ряду со всем сказочным и экзотическим!

« В бананово-лимонном Сингапуре

В бурю,

Запястьями и кольцами звеня,

Вы грезите всю ночь на львиной шкуре

Под крики обезьян...»

— вспомнились мне слова из песенки Александра Вертинского. И вот теперь я подлетал к Сингапуру. Рядом, сосем рядом с самолетом кипела, бурлила, клокотала незнакомая, загадочная, совсем другая жизнь...

Через несколько часов я выйду из самолета в Афинах и для меня тоже начнется новая жизнь. Но как долог был путь из старой жизни в жизнь новую! Потребовалось целых двадцать лет, чтобы пройти его! Подумать только: двадцать лет все мои помыслы, все стремления, все действия были направлены для достижения этой цели. Двадцать лет были заполнены непрерывной и интенсивной подготовкой и дерзкими попытками. Надежда временно гасла после очередной неудачи и вновь ярко разгоралась, когда я начинал готовиться опять. И все это происходило в условиях строгой конспирации, когда я боялся проговориться о своих планах даже во сне.

Теперь я приближался к своей цели. Но не будет ли она похожа на «буек» вблизи острова Бацан? Я не позволил этой мысли завладеть мной. «Никаких эмоций!» — снова, и теперь уже в последний раз, скомандовал я сам себе.

Это было время — сделать передышку. Заслуженную передышку. Я откинулся на спинку удобного кресла, закрыл глаза, и вся моя жизнь прошла перед моим мысленным взором.

Часть 7. РАЗМЫШЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННОГО

Глава 62. О Боге

Глава 62. О Боге.

Все люди на земле рождаются разными. Они отличаются друг от друга и национальностью и материальным достатком, и состоянием здоровья. Но Бог наделяет всех одинаково душой, совестью и каким-нибудь преимуществом. Это преимущество создает каждому человеку индивидуальность и дает ему возможность достигнуть в чем-то успеха. Виды этих преимуществ очень разнообразны. Это может быть ум, сила, ловкость, выносливость, внешняя красота, внутренняя красота, святость, долготерпение, какой-нибудь талант и т.д. Мне, например, Бог дал способность плавать, как рыба, Муравьеву—доброту, а Фетишеву—необыкновенную стойкость и несгибаемость в тяжелых испытаниях.

Тот человек, который не может найти в себе никакого подарка от Бога или считает этот подарок ничтожным, а себя—обделенным,— по-моему просто атеист.

В наше время непонимание или отрицание Бога встречается очень часто. Атеизм распространяется по земному шару пропорционально распространению коммунизма и является его троянским конем, ибо имеет подрывной характер. Его цель: моральное разложение народов и подготовка почвы для беспорядков и последующего захвата власти марксистами.

Атеизм—это главный инструмент для порабощения народов и для превращения их в рабочий скот, потому что он отрицает божественную неповторимую индивидуальность каждой личности. Иногда атеизм появляется на свет как продукт размышлений определенной части доб-

росовестной интеллигенции, которая просто не научилась мыслить абстрактно. Это случается вследствие примитивизма и однобокости их образования, а также вследствие ошибочной уверенности в абсолютной силе образования. Однако, образование еще не все. Несмотря ни на какое образование никто из смертных не может быть универсальным непогрешимым гением, потому что Жизнь (или Истина), выражаясь фигурально,—это объемная фигура. Любой смертный, сколько бы он ни учился, может видеть только одну или несколько граней этой фигуры, которые открыты его взору, но никак не все грани. Только об увиденных гранях смертный может судить. Человек не видит и даже иногда не подозревает о наличии скрытых граней объемной

фигуры Истины. В то же время представление о всей объемной фигуре, без учета всех ее граней, получается неполное, а часто просто неверное.

Всю объемную фигуру видит один только Бог. Поэтому Он знает все причины и все следствия. Человек же взамен точного знания может веровать. Вера человека, основанная на сверхъестественной подсказке его религиозной совести, может приблизить его к пониманию всей объемной фигуры Истины. В то же время неверующий человек становится легкой добычей всякого рода философов, которые строят свои теории, основываясь на одних только видимых ими гранях объемной фигуры. От них можно услышать, что якобы наука противоречит религии. Я думаю, что просто не пришло еще время, когда науке станут доступными все ранее невидимые грани объемной фигуры, в результате чего кажущиеся противоречия исчезнут.

Моя вера в Бога постоянно подкрепляется абстрактными рассуждениями. Среди них есть такие: Бог потому есть, что жизнь без Бога потеряла бы всякий смысл.

Бог потому есть, что я ощущаю в себе нечто нематериальное, необъяснимое, но вместе с тем — высшее. Это — совесть. Откуда она взялась? Кто заложил в душу человека тяготение к добрым делам и отвращение к злым? Почему человек получает удовлетворение от люб-

ви и сострадания? Почему человек так любит Справедливость, Истину, Гармонию и стремится к ним?

« Помирись лишь в сердце со врагом —

И тебя блаженством ошафранит!»

воскликнул Есенин, познав на опыте своей жизни эту божественную мудрость.

Все мы знаем, что есть много людей, и особенно марксистов, которые тем не менее стремятся к злу и постоянно делают зло. Не является ли это опровержением всему сказанному? Нет! Они стремятся к злу потому, что, по словам Достоевского, «Добро и Зло живут в душах людей вместе, рядом. Берега сходятся». Отличить Добро от Зла может только религиозная совесть. Радость, которую испытывают эти люди от своих злых дел, является лишь эрзацем радости, вроде радости от опьянения марихуаной. Поэтому они никогда не бывают счастливыми. Мы знаем много примеров того, что люди, достигшие всех земных ценностей (власть, слава, богатство) путем совершения многих злых дел,

оказывались настолько несчастными, что кончали жизнь самоубийством. Классический пример этому — самоубийство Николая Ставрогина в «Бесах» Достоевского.

Вся коммунистическая пропаганда рассчитана на привлекательность Зла и на тот эрзац радости, которую испытывает злая половина человеческих душ после совершения злых дел.

В тех странах, где коммунисты у власти, они не ограничиваются одной только пропагандой, но используют также всевозможные административные меры для подавления доброй половины человеческих душ и для стимулирования злой половины. Когда Зло во всеоружии его земной силы кричит людям: «Смиритесь! Ведь все вы — насекомые! Что захотим то и сделаем с вами!» — тогда становится невыносимо смотреть, как многие люди смиряются и пресмыкаются перед Злом, начиная называть его Добром.

Видя и слыша все это и не имея возможности сказать: «Люди! Ведь король-то — голый!» я невольно начинаю сознавать, что так не может быть, чтобы Никто бы не знал и не помнил, что же такое Истина на самом деле, а не по приказу. Этого не может быть, чтобы не было Ко-

го-то, Кто бы потом судил людей: одних за то, что они производили Зло, других за то, что они пресмыкались перед Злом. Не может быть, чтобы те, кто не пресмыкался перед Злом, впоследствии не были награждены за это. Невозможно себе представить, чтобы что-нибудь на земле навсегда осталось тайной. Следовательно, есть Бог, который все видит, все слышит, все помнит!

Многие факты моей жизни подтверждают первостепенную роль Духа, а не материи. Я много раз убеждался в том, что никакая материальность не может быть Злом или Добром сама по себе. Все зависит от того, кто эту материальность сделал и кто ею пользуется. Например, оружие в руках агрессоров — это Зло. То же самое оружие, попавшее в руки народа, борющегося за свое освобождение, — уже Добро.

В случае наших эмоций присутствие Бога имеет еще большее значение. Я часто замечал, что погода или пейзаж один раз кажутся нам прекрасными и волнуют нашу душу, а в другой раз — скучными и даже производят удручающее впечатление. Даже некрасивый пейзаж или некрасивый человек могут при определенных обстоятельствах показаться нам прекрасными. Все зависит от того, есть ли в нас Бог в данный момент и ощущаем ли мы в сердце своем божественную

любовь. Отчего в СССР за все годы советской власти ни в официальной литературе, ни в живописи, ни в музыке не создано ни одного шедевра? Ответ тот же: виновен атеизм. Всякая книга, написанная без помощи Бога — это обыкновенная макулатура. То же самое можно сказать о живописи и о музыке. В настоящем искусстве, как в живом человеке, имеется душа от Бога. Если автор атеист, то его произведение искусства получается бездушным. А что такое человек без души? Это — труп. Также как труп, будучи внешне похожим на человека, все же человеком не является, также атеистическое произведение искусства, будучи похожим на искусство, искусством не является. Это же правило действует и в жизни человеческой: она становится прекрасной, если человек принял Бога, и она же превращается в обузу если человек отринул Его.

Добру нельзя обучиться. Осознать Добро можно только приняв Бога в свое сердце. Это хорошо описано Лео-

нидом Андреевым в его рассказе «Уроки добра». Молодой черт, которому надоело делать пакости людям, решил обучиться Добру и стал брать уроки у священника. Каждый новый урок черт заучивал и выполнял буквально, но это всякий раз приводило к новому злу.

Перейдя от аллегории к жизни, мы можем вспомнить немало таких «обученных чертей», утверждающих, что они выполняют все моральные законы буквально, и сеющих Зло направо и налево. Недаром в России, в пору ее расцвета, «ученые» безбожники не допускались к воспитанию подрастающего поколения и к другим профессиям, которые требуют использования человеческой совести.

Достойно удивления и полно божественного смысла еще одно обстоятельство в нашей жизни: люди лишены возможности умнеть и набираться житейской информации из поколения в поколение. Мы без конца констатируем тот факт, что никакой человек не способен учиться на чужом примере или на уроках истории. Каждый человек повторяет ошибки других и учится только на собственном опыте. Человек 20-го века внутренне нисколько не отличается от человека из Древней Греции, Рима или Са-марии. Этот факт опровергает атеистическую теорию происхождения человека путем эволюции.

Существование Бога подтверждает также та логика вещей, та гармония, которую мы наблюдаем в природе. Гармония существует и в жизни каждого человека.

Эта гармония давно подмечена русским народом и на свет появилась поговорка: «Нет худа без добра!» Всякое зло в жизни человека уравнивается добром. Другое дело, что некоторые люди чрезвычайно требовательны, привередливы, завистливы и не умеют ценить то добро, которое дано им в жизни от Бога.

В жизни некоторых людей случаются события, которые не только абстрактно, но и материально подтверждают существование Бога. У меня в жизни было несколько таких случаев.

Во время блокады Ленинграда я не погиб потому, что был вовремя вывезен из города моим дядей, который воевал на Ленинградском фронте.

В 1956 году я попал под трамвай. Трамвай прошел надо мной, не причинив мне никаких повреждений.

Я не умер от голода и пыток в Днепропетровском концлагере, хотя пробыл там 9 лет.

В 1979 году я двадцать часов плыл в море рядом с акулами. Я видел их, но не был атакован ими.

Из всего этого я делаю вывод, что Богу было угодно сохранить мою жизнь, чтобы я поделился своим опытом с другими людьми. Поскольку и абстрактные размышления и материальные доказательства говорят о существовании Бога, то следовательно, существует и загробная жизнь. Тогда наша земная жизнь является лишь небольшой частью вечной жизни, а ее смысл и цели предопределены Богом. По-моему смысл нашей земной жизни заключается в постоянном нравственном усовершенствовании перед тем, как перейти в жизнь вечную. Земная человеческая жизнь — это непрерывный экзамен. Он может быть прерван в любой миг и то, что человек успел сделать до этого мига и пойдет ему в зачет перед Богом.

По-моему, цель жизни заключается в осознании своего назначения на земле и стремлении выполнить это назначение наилучшим образом. Я думаю, что Фетишев правильно понял свое назначение на земле. Очевидно ему было предназначено сперва трудное испытание, а потом смерть в концлагере. Он мог бы оттянуть эту смерть, если бы отказался от своих принципов и сдался на милость палачей, но Фетишев этого не сделал. Поэтому я уверен, что он наилучшим образом выполнил свое земное предназначение и стал примером для других политзаключенных, чья вера была поколеблена пытками и многими

лишениями. Но цель жизни может быть и не столь героическая. Куприн однажды написал, что смысл жизни может заключаться даже в том, чтобы дать счастье одной женщине.

Я думаю, что уклонение от поисков своего назначения на земле — большой грех перед Богом. Достоевский устами старца Зосимы направил Алешу Карамазова в «мир». Это адресовано также всем нам. Те, кто не по воле Божьей, а по своей собственной воле уходят из мира, пусть да

же в монастырь, в жизнь духовную, по-моему, — грешат. Бог создал людей для того, чтобы они жили земной жизнью и не прятались от жизни.

Я много думал о молитвах Богу. Молиться можно всюду, но в церкви это происходит по-особому. Слушая священника, певчих, глядя на изображение Иисуса Христа на иконах, глядя на добрый лик Девы Марии, глядя на людей в церкви, обоняя запах церковных благовоний и присоединяя свою молитву к общей молитве, я незаметно преображаюсь. Куда-то уходят злость и раздражение, неудовлетворенность и сиюминутные нервные заботы. Я успокаиваюсь, мысли мои проясняются и я начинаю видеть свои проблемы в несколько другом свете, не таком мрачном, как до церкви. В такие моменты я могу лучше слышать голос совести, который является источником связи человека с Богом.

Вместе с тем я не думаю, что молитва — главное в нашей жизни. Я считаю молитву вспомогательной, а дела —главными. Я убедился в течение своей жизни в правильности русской пословицы: «На Бога надейся — да сам не плошай!» Одних молитв мало для того, чтобы должным образом выполнить свое предназначение на земле. Бог ждет от нас дел, которые только и могут доказать наше Ему послушание и могут быть зачтены Им, как сдача нами жизненного экзамена. Молиться нетрудно. Это может каждый, также, как и обращаться с призывами к другим. Например, много людей молится за свержение безбожной коммунистической власти в России и многие из них призывают к борьбе, но сами остаются в стороне от этой борьбы. Тут надо внести полную ясность: те люди, которые фактически сражаются с коммунизмом, в будущем будут именоваться самыми главными и самыми заслуженными, а вовсе не те, кто их к этому только призывал. Иначе мы скатимся в болото коммунистической идеологии.

В заключение этой главы я хочу подчеркнуть, что всякий раз, как только я начинал действовать, Бог всегда помогал мне. Поможет Он и патриотам России, когда они начнут реальную борьбу за свободу. Они не должны ждать, пока Бог освободит Россию от коммунизма, а

должны освободиться сами — силой оружия. Неправильно было бы считать, что Бог — пацифист в людском понимании. Недаром православные имеют даже святых покровителей ратных подвигов — Архангела Михаила и Святого Александра Невского. Борьба с оружием в руках за правду — богоугодное дело. Сам Бог наш Иисус Христос советовал нам купить меч. Он сказал:

«...продай одежду свою и купи меч».

(От Луки—22-36)

Подробнее об этом — в следующей главе.

Глава 63. Альтернативный принцип ведения войны

Глава 63. Альтернативный принцип ведения войны.

Редкий год проходит без того, чтобы Москва с помощью военной силы не оккупировала то или другое государство.

Спрашивается, надолго ли хватит оставшихся в мире свободных стран и что будут делать «голуби», которые сегодня любой ценой пытаются уйти от реальности, когда настанет черед их страны?

Руководители КПСС сознательно и планомерно подводят мир к Третьей мировой войне. Основная их цель: насильственное внедрение коммунистического режима во всем мире не может быть достигнута без войны. Поэтому надо прямо взглянуть фактам в лицо, отбросить всякие иллюзии о возможном «мире во всем мире» и серьезно начать интенсивную подготовку к отражению зарвавшихся завоевателей. Существующие и существовавшие на Западе планы отражения советской агрессии не выдерживают критики:

Стратегия гибкого реагирования. Эта стратегия может быть иллюстрирована русской пословицей «Око — за око, зуб — за зуб!»

Москва имеет больше зубов и потому эта стратегия не может защитить Запад.

Стратегия массированного возмездия. Но против кого «возмездие »? На этот счет есть другая русская пословица: «Бей своих — чтоб чужие боялись!» Советские солдаты идут воевать в другие страны не потому, что ненавидят народы этих стран, а — подчиняясь военной дисциплине. Конечно, часть советских солдат с детских лет ог-

луплена лживой советской пропагандой и одурманена водкой. Но другая часть солдат, и не малая, которая в силу крепких семейных или религиозных традиций не поддалась советской пропаганде, не может выразить своего протеста, ибо в армии и на флоте на этот случай имеются комиссары (теперь они называются «замполиты»), офицеры Особого отдела и нелегальные осведомители КГБ, в задачу которых входит все знать, все подслушивать и любое непослушание давить в зачатке. На тот случай, если им самим будет не справиться, имеются специальные воинские подразделения.

Западу не достать до истинных виновников всех мировых провокаций — до руководителей КПСС, а российские народы, на головы которых упадет американское «массированное возмездие» — это скорее друг американского народа, чем враг. Ни к какому другому народу в мире российские народы не испытывают большей симпатии, чем к американскому народу.

«Массированное возмездие» убьет не только много людей, но оно убьет и эти дружеские чувства, что будет только на руку руководителям КПСС, как в 1942 году блокадный голод и смерть сотен тысяч ленинградцев были выгодны Кремлю, так как принесли ему моральный капитал.

Если в результате боевых действий будет уничтожена вся Красная армия, то руководство КПСС создаст Ополчение — ту же армию: из стариков, инвалидов , женщин и детей. Подобно международным террористам, прикрывающимся от пуль полиции телами своих заложников, кремлевские, террористы превратили в заложников весь 260-миллионный народ России и прежде, чем погибнуть самим, сперва погубят всех без исключения своих подданных.

Победу над Кремлем ценой уничтожения целого народа никогда не оправдают не только те немногие русские, что уцелеют после бойни, но и богобоязненные люди во всем мире. Конечно, это безумие началось не сегодня. С давних пор случалось, что народы воевали друг с другом

за чужие интересы. Но сегодня настал момент, когда этому безумию (прежним методам войны) должен быть

положен конец, ибо масштабы войны так расширились, а оружие стало таким сокрушительным, что само существование народов мира поставлено под вопрос.

Картина, нарисованная мною, может иметь место, если война начнется сегодня. Если же завтра — то даже полное пренебрежение законами гуманизма уже не принесет Западу спасения. Дело в том, что темпы, которыми идет вооружение Красной армии и армий Запада— несоизмеримы. Руководство КПСС, ни перед кем не обязанное отчитываться, все материальные ресурсы государства направляет почти исключительно на подготовку к войне.

Пример для иллюстрации. Попробуйте хоть в каком-нибудь магазине Ленинграда купить хлопчатобумажную материю или изделие из нее — вы не найдете. А между тем хлопка в СССР выращивается много и газеты сообщают, что каждый год производство хлопка увеличивается по сравнению с предыдущим годом. Куда же идет это огромное количество хлопка? Ответ предельно ясен — на изготовление пороха.

Другой пример. Если завтра в магазинах Запада вместо нескольких десятков сортов колбасы окажется только один сорт, то левые элементы организуют митинги, демонстрации и забастовки, которые полностью парализуют страны. А в большинстве городов и сел СССР давно нет НИКАКОЙ колбасы и все молчат.

Неужели на этом примере не очевидно, что никакое «соревнование» в военной области с СССР невозможно? Запад никогда не сможет тратить на вооружение столько же, сколько тратит СССР и никакие международные соглашения тоже не могут сделать наращивание вооружений одинаковыми, ибо коммунисты никогда не выполняют взятых обязательств, а контроль со спутников не является абсолютным.

Кроме вооружения армии новым оружием, руководство КПСС вооружает солдат новой военной идеологией. Советские солдаты и матросы, офицеры и генералы готовятся воевать как камикадзэ. Недаром советский шпион в Японии полковник Козлов, разоблаченный в 1980 г. так интересовался организацией подготовки камикадзэ. Советским воинам внушается мысль, что они должны

во чтобы то ни стало выполнить поставленную боевую задачу, ибо в любом случае они погибнут. Но в случае выполнения боевой задачи их имя будет покрыто славой, а семья получит привилегии, а в случае невыполнения — кара ожидает не только их самих, но и семью.

В результате всего этого через несколько лет Кремль будет иметь преимущество в вооружениях, включая конечно и стратегическое оружие, и преимущество в живой силе. Западу останется одно из двух: либо капитулировать, либо быть уничтоженным.

Отсюда вывод: традиционная военная стратегия, которая имела целью победу над врагом путем физического уничтожения армии противника, его военных баз и крупных промышленных центров, во-первых, — безумна и аморальна, а во-вторых, не дает преимущества Западу перед Кремлем. Единственным выходом для Запада я считаю полный отказ от старой стратегии, от старой психологии ведения войны и переход к альтернативному принципу ведения войны.

Альтернативный принцип ведения войны базируется на той посылке, что Красная Армия, Российский народ и Верховная хунта в Кремле больше не считаются единым целым, не принимаются за монолит. Из всех этих образований выделяются коммунисты, составляющие 6 % от всего населения России, и впредь они считаются террористами, а все остальные 94 % населения — их заложниками. Поэтому и методы борьбы следует использовать такие, какие применяются против террористов.

В соответствии с этим новым психологическим подходом к проблеме, новыми стратегическими целями, поражение которых решит исход войны, являются персонально названные руководители КПСС, а также не названные персонально члены КПСС. Все эти цели могут быть условно градуированы как «уровни».

Первый уровень — члены Политбюро ЦК КПСС.

Второй уровень — члены ЦК КПСС.

Третий уровень — Работники КГБ, военное руководство, комиссары, секретари райкомов партии.

Четвертый уровень — все члены КПСС. Оружие, которое будет способно идентифицировать

живую цель и поразить ее, может быть названо идентифицированное оружие, или сокращенно ИО.

Несомненно, что поразив все четыре уровня. Запад не только устоит против агрессии Кремля, но и поможет народам России сбросить с себя иго коммунизма. Однако, вполне вероятно, что даже поражение трех уровней уже приведет к тому, что солдаты Красной Армии смогут не боясь повернуть оружие против своих командиров. Я убежден в том, что идентификация и поражение коммунистов машинным способом возможна при современном уровне развития кибернетики, хотя исследовательские работы потребуют огромных усилий.

Глава 64. О диссидентах

Глава 64. О диссидентах.

В конце 60-х, начале 70-х годов в Советском Союзе начал употребляться новый термин — диссидент. Диссидентами стали называть таких инакомыслящих, которые используя исключительно легальные методы борьбы, ставили себе такие цели, которые формально не противоречили существующей в стране советской конституции.

Известно, что конституция любой коммунистической страны — это фикция и записанные в ней права граждан, не будучи подкреплены никакими гарантиями, служат исключительно целям пропаганды. Диссиденты пытались заставить коммунистическое правительство фактически руководствоваться этими пропагандистскими статьями конституции. Однако, требования диссидентов относительно соблюдения гражданских прав нередко были персонализированы, то есть относились к одному человеку или же к очень маленькой группе людей, каким-то образом близким этим диссидентам. В таком случае коммунистическое руководство, если даже оно вынуждено было уступить в данном конкретном случае, вовсе не считало себя обязанным уступать и впредь в аналогичных ситуациях и диссиденты на этом не настаивали. Часть диссидентов свои претензии адресовало не коммунистическому правительству, а — русскому народу, русской нации, игнорируя тот факт, что правительство в СССР сейчас не русское, а коммунистическое, интернациональ-

ное.

Хотя коммунистические правители противились требованиям

диссидентов и иногда сажали их в тюрьмы или сумасшедшие дома (на льготные условия) тем не менее эти требования диссидентов не представляли серьезной угрозы коммунистическому режиму. В конце концов, конституцию сочинили сами коммунисты и даже в целях пропаганды они не включили в нее ни одного пункта, угрожающего их безраздельной власти в стране. Поэтому требования диссидентов можно сравнить с требованием сделать лишь некоторый «make-up» существующей системе, не касаясь ее сущности,—и ничего более. Однако, широкое паблисити диссидентам в западной прессе создает у народов преувеличенное впечатление об их значении, отвлекает народы от более радикальной борьбы с коммунизмом и вселяет в людей неоправданные надежды.

Имеется и еще одна отрицательная сторона деятельности диссидентов. Она заключается в том, что сам факт существования диссидентов и широкое освещение их правозащитной деятельности в западной печати в конечном счете укрепляют авторитет самозванных коммунистических правительств. Обращения диссидентов к коммунистическим вождям с жалобами и петициями возводят этих вождей в ранг законных народных правителей, а наличие легальной оппозиции в коммунистических странах (диссидентов) и их требования лишь легких реформ как бы подтверждают то, что коммунизм стал вполне презентабелен и может занимать достойное и равное положение в среде других общественных формаций мира.

Большое внимание, которое западная пресса уделяет диссидентам, не в последнюю очередь является следствием той сенсации, что диссидентами нередко становятся бывшие коммунистические вельможи. В самом деле, многие известные диссиденты вышли из рядов привилегированного в СССР класса, из коммунистической элиты. Одни из них в прошлом были верными советскими генералами, академиками, высокопоставленными чиновниками, членами Союзов Писателей или Композиторов, а другие — детьми партийных боссов самого высокого ранга. Они якобы по «врожденной глупости» не видели в

коммунизме никакого зла и потому всю жизнь верой и правдой служили этому самому коммунизму. Внеся свой вклад в дело укрепления коммунистической власти и получив за это высокие чины, награды, должности и привилегии, они вдруг на старости лет «прозрели» и «поумнели». Возникает законный вопрос: почему? Почему

они променяли привилегированное положение советского вельможи на положение оппозиционера? Они сами объясняют это их несогласием с попранием прав человека в СССР. В таком случае остается неясным, почему так поздно они это поняли? А как же быть с тем «вкладом», который они внесли в «дело коммунизма»? У одних из них этот «вклад» заключался в разработанной ими для использования в агрессивных коммунистических целях водородной бомбы, у других — в виде военных заслуг в борьбе за коммунистические цели, у третьих — это были книги или музыкальные произведения, восхваляющие коммунизм и оскорбляющие идеалы честных людей. Им бы теперь землю целовать, да прощения просить у людей до конца их жизни, а они — в героях ходят, да других учат, как надо жить. Западная пресса охотно предоставила диссидентам свои страницы для изложения их взглядов и деклараций.

Но то, что пишут диссиденты на этих страницах, не всегда дает правильное представление о внутреннем положении в СССР. Нередко являясь представителями элиты, диссиденты делают свои сообщения и выводы с позиции этой самой элиты. А элита в СССР живет в привилегированном положении, которое резко отличается от положения простого народа. Элита имеет свои отдельные магазины, куда вход простым людям воспрещен, свои больницы и поликлиники, которые как небо от земли отличаются от обыкновенных, отдельные санатории и дома отдыха (или творчества), отдельные жилые дома в городах и персональные дачи — в сельской местности, и многие, многие привилегии.

Для любых ходатайств по любым вопросам они пользуются отдельными входами в государственные офисы и специальными номерами телефонов. Даже попав в тюрьму, диссиденты нередко оказываются на привилегиро-

ванном положении.

Элита составляет всего 5 или 6 проц. от всего населения СССР, но они всюду называют себя представителями всего советского народа. Познакомившись с трудами этих «представителей» читатели подумают, что и весь советский народ живет так же неплохо, как и авторы этих трудов. В самом деле, некоторые диссиденты описывают свои походы в рестораны, которые совершенно недоступны рядовым советским гражданам из-за их дороговизны, и даже назвали свой неофициальный литературный журнал именем одного из московских ресторанов—

«Метрополь», где они постоянно собирались. Но они никогда не пишут о коммунальных квартирах и о нищете в СССР, ибо большинство из них никогда не жили в коммунальных квартирах и никогда не нуждались. И вообще получается крайне странная ситуация: когда эти диссиденты были еще на своих высоких постах в советской иерархии, они принимали участие в формировании советской политики и поучали простой народ как ему надо жить. Теперь, когда они перешли в оппозицию, они опять принимают участие в формировании политики, но уже — антисоветской и опять поучают этот же народ как ему надо жить. Какие же из этих поучений следует считать искренними: высказанные, когда они были вельможами в коммунистической иерархии или когда они стали оппозиционерами? И есть ли гарантия того, что они снова не сомкнутся с коммунистами, как это уже сделали диссиденты Якир и Красин, когда в России начнется революция? Этот вопрос еще более основателен в связи с тем, что некоторые диссиденты, даже выехав на Запад, продолжают называть себя «марксистами» и хвастаются своим атеизмом. И наконец, если то, что они были коммунистическими вельможами, — хорошо и их прошлое теперь открывает им все двери на Западе, то возникает вопрос: существует ли еще на свете понятие о Добре и Зле?

Глава 65. О будущем устройстве Свободной России

Глава 65. О будущем устройстве Свободной России.

Смена власти в СССР произойдет либо в результате поражения в войне, либо в результате вынужденного прекращения функционирования коммунистической государственной машины. Это прекращение функционирования может явиться следствием всеобъемлющего террора одиночек — антикоммунистов, вооруженных сверхсовременным оружием. Второй способ предпочтительнее, так как в первом случае победители будут диктовать свою волю.

Сразу встанет вопрос о новом государственном устройстве России. Исходя из того, что все, что сделали коммунисты за время их правления, — плохо на 100 проц., я предвижу ликвидацию всех коммунистических институтов и всех коммунистических отношений.

Поскольку Россия и народ российский были погублены лишь после

того, как врагам удалось физически уничтожить духовенство и церкви, а саму веру в Бога поставить вне закона, то возрождение России может произойти только на основе возрождения Православия. Только Православие, которое возникло на Руси 1000 лет назад и создало русскую культуру и Русское государство, способно теперь вернуть спившийся и изуверившийся под властью коммунистов русский народ в лоно Любви, Добра и Справедливости. Это не значит, что другие религии будут запрещены в Свободной России. Наоборот, должны быть разрешены все другие, не аморальные, религии, и между собой они должны быть равноправны. Но государственной религией должно быть Православие.

Другой ценностью, которую требуется восстановить сразу после революции, является охраняемая законом частная собственность, включая, конечно, частную собственность на землю. Свобода религии и частная собственность обеспечивают свободу человека. Там, где нет свободы религии или права частной собственности — там в руках правительства сосредотачивается чрезмерная власть, всегда ведущая к диктатуре. В особой поддержке государства нуждаются крестьяне, которым должна

быть оказана материальная помощь и даны всевозможные льготы.

Будущее устройство России должно основываться на принципе: «Никто не забыт и ничто не забыто!» Это значит, что люди, пострадавшие от коммунизма и не сотрудничавшие с ним впоследствии, или их наследники, если они тоже не сотрудничали с коммунистами, должны получить государственную помощь и поддержку. Особенно это касается бывших политических заключенных, которые должны получить компенсацию и пенсию. Нельзя допустить, чтобы люди, потерявшие здоровье в борьбе с коммунизмом, влачили бы жалкое существование из-за недостатка средств. Средства на все эти цели можно получить за счет конфискации имущества у коммунистов и за счет неоплачиваемой принудительной работы коммунистических преступников.

Главные коммунистические преступники или их кровные родственники, если эти кровные родственники пользовались при коммунизме особыми льготами, должны понести более суровое наказание. Никто из коммунистических преступников не должен избежать наказания. Мы должны брать пример с евреев. Несмотря на то, что прошло уже почти 40 лет со времени войны, евреи до сих пор не только не ослабляют, но даже усиливают поиски своих врагов военных

лет — во всех странах мира, и никто в мире даже не заикается о «сроке давности» или амнистии для этих оставшихся еще не выловленными людей. Мы тоже должны искать своих врагов во всех странах мира, потом привозить их в Россию и казнить публично — и тоже без всякого срока давности. Наша задача очень похожа на задачу, которую поставили перед собой евреи.

Россия с первых дней своего освобождения должна заявить о своей силе, чтобы никаким западным либералам и недобитым коммунистам не пришла мысль помешать русскому народу совершить правосудие. Эта сила должна быть и военной и политической. С точки зрения военной силы — сохранение армии и воинской повинности, с точки зрения политической — русский народ на первых порах добровольно передаст своему народному пра-

вительству часть своих гражданских прав — с целью усилить это правительство на мировой арене.

Поддержание порядка в стране и безопасности граждан сразу после революции не могут быть решены средствами демократии. Российская эмиграция, разделенная не без участия КГБ на враждебные друг другу группы не только по национальностям или вероисповеданию, но даже по принадлежности к тому или иному церковному приходу, представляет собой миниатюрную копию того, что произойдет с Россией сразу после революции, если не будет во главе ее стоять авторитарного руководства. В угоду моде и подстрекаемые властолюбивыми людьми из своей среды, все 100 национальностей, населяющих Советский Союз, захотят образовать самостоятельные государства. Во что это выльется в дальнейшем, мало кто будет задумываться, точно так же, как не думает о будущем все более дробящаяся сегодняшняя российская эмиграция. А будет большое несчастье для народов этих новых государств, ибо во главе их могут оказаться в одних случаях Хомейни, а в других — Сталины. Уже сейчас, если присмотреться, можно увидеть среди наиболее активных националистических диссидентов людей, не имеющих постоянных политических убеждений (сегодня он — марксист, завтра — антикоммунист, послезавтра — как ему будет выгоднее...) Они и являются наиболее вероятными будущими руководителями новых государств. Они считают возможным заменить постоянные политические убеждения одним лишь национализмом. Но этого, конечно, мало. Что приносит народу такой сорт национализма, мы видим сегодня на примерах Ирана и Ливии.

* * *

Цель революции я вижу в возвращении стране и народу вечных христианских и национальных ценностей. Этому должен быть подчинен государственный строй будущей России и его конституция. Будущая Россия не должна стремиться к демократии ради демократии и к ничем не ограниченной свободе. Я предвижу, что в России не будет свободы для марксистов, экстремистов, блатных

уголовников, для воинствующих атеистов, порнографис-тов и гомосексуалистов. Возможно, для России демократия вообще не подойдет, как способ осуществления государственности. Но можно утверждать наверняка, что на первых порах демократия в России даже не приемлема вообще. Сейчас в СССР найдется немало аполитичных и опустившихся людей, которые готовы голосовать за кого угодно, лишь бы он пообещал им бесплатную выпивку. Если выборы устроить сразу после революции, то к власти могут придти лгуны, демагоги и краснобаи, и жизнь народов России при их правлении не улучшится, а революция будет погублена. Необходим срок от 3 до 5 лет, в течение которого под руководством людей, возглавивших революцию, народ будет приобщен к основным религиозным и политическим ценностям, а также —познакомится с нефальсифицированной историей Российского государства. Только после этого можно будет разрешить деятельность политических партий, которые не связаны с марксизмом или атеизмом и не проповедуют свободу секса и половых извращений. За этим могут последовать выборы в Учредительное Собрание, которое в свою очередь предложит форму государственного правления.

Не должно быть кривотолков в вопросе прав национальностей, населяющих Россию, и их обязанностей по отношению ко всей стране. Эти вопросы, я надеюсь, будут обсуждаться заблаговременно. Все крупные национальности должны получить гарантии автономии. Я думаю, что Россия в целом только выиграет оттого, что входящие в ее состав национальности будут естественно развиваться на базе своего языка, своей религии и своей национальной культуры. На общегосударственном уровне, однако, нельзя обойтись без единого для всей страны языка — русского и без Православия, как государственной религии. Россия — это не Америка или Австралия в период их колонизации, а — страна с 1000-летними традициями Православия. Реально мыслящие представители других вероисповеданий должны понять, что нелепо было бы требовать от православных отказа от этих

традиций. Долг русских патриотов указать другим националь-

ностям на те достижения, которых они добились в составе Российской империи до 1917 года и которые забыты или умышленно извращены после прихода коммунистов к власти, а также — на те преимущества, которыми эти национальности пользовались, будучи под защитой Российской Короны.

Сейчас национализм в рядах эмиграции поощряется Кремлем. Этот национализм разъединяет борцов против коммунизма и потому на руку коммунистам, действующим по принципу «Разделяй и властвуй!» Это поощрение видно хотя бы из того факта, что советское правительство часто предоставляет выездные визы на Запад видным националистам, но совсем не предоставляет таких виз — русским антикоммунистам. Я думаю, что вопрос отделения все же будут решать сами народы, а не эмигранты. В том случае, если какая-либо национальность выскажет путем всенародного опроса такое желание — по-моему, не следует этому противиться. Я часто думал о том, что рядовой гражданин не только потерявших свои колонии Англии и Франции, но даже крошечного государства Монте-Карло, как правило, живет во всех отношениях лучше, чем рядовой гражданин самого большого государства в мире-СССР. Значит, дело не в величине государства. Поэтому я не вижу причин, почему простые люди должны цепляться за лозунг «единой неделимой России» и воспринимать отделение какой-нибудь республики как трагедию. Если этот лозунг основан на единственно ценном для простых людей чувстве — любви к Родине, то это чувство уступит место горечи и разочарованию, как только сторонники единой России во имя сохранения этого единства пойдут на слишком большой компромисс с другими национальностями или даже — с левым движением в среде этих национальностей.

Мудрая политика — это не всегда умение всем угодить, а нередко — умение сделать правильный выбор. Для меня нет сомнения: если выбирать между компромиссом с левыми силами и отделением, то лучше лишиться нескольких республик и сохранить национальное православное лицо России, чем потерять его во имя видимого единства государства и превратиться в новую Америку в период ее колонизации.

Глава 66. О вымирании населения города Ленинграда от голода

Глава 66. О вымирании населения города Ленинграда от голода.

Летом 1941 года я жил на даче в селе Большие Крупели Лужского района, в 131 км. от Ленинграда. Первые две недели после начала войны с Германией дачники ничего не слышали о боях. Странно читать теперь роман Чаковского «Блокада», где описываются длительные и тяжелые бои на Лужском плацдарме. Я жил тогда всего в 4 километрах от того места, где теперь установлен памятный мемориал, и ни разу не слышал никаких выстрелов. И вдруг, однажды на исходе дня, в первых числах июля месяца, в село прискакал командир на усталой лошади. Остановившись в центре села, он стал отрывисто отдавать приказания:

— Весь скот! Весь без исключения скот сейчас же зарезать! Чтобы немцам не достался! Скорей! Немцы сейчас войдут в село! Всем дачникам без вещей... сейчас же идти пешком к Ленинградскому шоссе! Там вас кто-нибудь подберет.

И началась невообразимая паника. Стали резать скот, резать, не дорезая. Раненые, но не убитые коровы, лошади, овцы и свиньи подняли такой рёв, стон и вой, что эти ужасные звуки запомнились мне на всю жизнь. Заходящее солнце, казалось, было красным от крови. Дачники, с искаженными от страха лицами, беспорядочной толпой устремились к шоссе.

И вот мы попали в Ленинград. В Ленинграде шла эвакуация. Однако, многие простые люди эвакуироваться не могли из-за отсутствия денег на дорогу. Зарплата в СССР в среднем в 10 раз ниже, чем зарплата за тот же труд на Западе и если человек не получаёт никаких льгот от партии, то он никогда не имеет свободных денег, с трудом перебиваясь от получки до получки. Срываться с места без денег, и ехать неизвестно куда, где нет никого знакомых, — было немыслимо.

Оставшиеся жители осажденного города сожгли на

всякий случай школьные и служебные почетные грамоты, у кого они были, и так приготовились к возможному приходу немцев. Чтобы уменьшить вероятность гибели от бомб, ленинградцы перенесли в дровяные подвалы свои кровати или раскладушки и стали спать в этих подвалах. Однако, главная опасность оказалась непредвиденной. В городе начался голод.

Как и во всей стране, в Ленинграде была введена карточная система на продукты питания с самого начала войны. Карточки были нескольких категорий: рабочие, иждивенческие, детские и для служащих. Больше всего продуктов питания было указано на детских карточках и на карточках для рабочих, однако, на деле продукты распределялись иначе. Не во всяком магазине можно было отоварить свои карточки. Их требовалось прикреплять к определенным магазинам. Порядок прикрепления карточек к магазинам определялся не только местожительством, но и социальной принадлежностью. Власти отвели сотни специальных магазинов для коммунистической элиты и ближайших коммунистических сотрудников. Были отведены отдельные магазины для партийных и хозяйственных работников, для работников НКВД, для писателей, для композиторов, для артистов, ученых, для семей высших офицеров, для специалистов военной промышленности и для разного рода номенклатурщиков. В то время, как в магазинах для народа продуктов для отоваривания карточек не хватало, в магазинах для привилегированных лиц, куда вход регулировался строго по пропускам, имелось достаточно разнообразных продуктов высокого качества. Карточки выдавались каждый месяц и за исключением хлебных не имели на своих талонах указаний на числа месяца, в которые продукты можно было бы отоварить в магазине. Поэтому каждую декаду месяца власти объявляли населению, какие продукты и в каком количестве, из числа указанных на их карточках, они могут купить.

Это и было фактическим распределением продуктов среди населения. Такой порядок позволял по одинаковым карточкам выдавать продукты коммунистической элите в большем количестве и лучшего качества, чем прос-

тым людям. В то время, как большинство талонов на продукты у простого народа ежемесячно оставались неиспользованными из-за отсутствия распоряжения властей об их отоварке, коммунистическая элита, согласно секретным распоряжениям тех же властей, отоваривала свои карточки целиком, да сверх того получала продукты питания даже на непродуктовые талоны, на которых было написано «керосин», «спички», «соль» или просто стояла цифра или буква.

То же самое было в столовых и ресторанах. Представители коммунистической элиты оказались прикрепленными к таким столовым и ресторанам, где они получали обильную и

высококачественную пищу, в то время, как простые люди в обычных столовых за те же самые талоны, вырезаемые из их карточек, получали тарелку бурды, в которой плавало несколько крупинок и ничего больше.

Острый недостаток питания стал ощущаться через 2-3 месяца после введения карточек. Уже в сентябре месяце множество горожан направлялось на колхозные поля, находящиеся в непосредственной близости от города, где они собирали зеленые капустные листья и много раз вновь и вновь перекапывали картофельные участки в надежде найти оставшиеся картофелины.

Конина уже считалась таким же деликатесом, как сейчас черная икра. Люди стали потреблять в пищу новый продукт — так называемую дуранду, т.е. подсолнечные жмыхи, оставшиеся после выжимки из них масла. Дуранду пропускали сперва через мясорубку, а потом пекли из нее лепешки. Появились случаи, когда в магазинах голодные люди вырывали хлеб у слабых и больных и тут же съедали, не обращая внимания на крики и побои. Я видел однажды на Введенской улице, как старуха уронила бутылку с подсолнечным маслом, которое она только что получила по карточкам. Тотчас же какой-то мужчина лег на землю и, не обращая внимания на осколки стекол, языком вылизал все масло, вместе с пылью и грязью. Работницы хлебозаводов стали воровать тесто и выносить его через проходную, где их обыскивали вахтеры, в самых интимных частях тела.

Поздней осенью 1941 года в результате немецкой бомбардировки, но не исключено, что и в результате умышленного поджога самими коммунистами, подобно поджогу Рейхстага, сгорели Бадаевские склады —ряд деревянных сараев, где хранились почти все запасы продуктов питания для Ленинграда. Земля, на которой стояли сараи, пропиталась расплавившимися маслом и сахаром. Люди собирали эту землю и употребляли в пищу.

К тому времени немцы подошли вплотную к городу. Подвоз продуктов по железной дороге прекратился и в Ленинграде начался жестокий голод. В обычных магазинах практически исчезли все продукты и карточки перестали отоваривать.

Были съедены все кошки и собаки. Несколько дней обезумевшие от голода люди вылавливали последних голубей и воробьев. После этого мертвая тишина пала на город.

Подвоз всех видов продуктов и сырья теперь осуществлялся только по

льду Ладожского озера на грузовиках, которых в ту пору было мало, также как мало было и продуктов на другом берегу озера. Трамваи и автобусы встали прямо на улицах из-за отсутствия энергии. Поскольку ходить на работу пешком голодные люди не могли, власти ввели для всех работающих казарменное положение.

Погас свет в домах, перестали работать водопровод и канализация, а также отопление. Люди стали ходить на Неву за водой с ведрами или просто с кастрюлями—иногда за несколько километров.

Единственное, на что не повлиял голод, и что действовало безотказно в блокадном Ленинграде, это были законы военного времени. За одно только слово о сдаче города немцам человека расстреливали на месте.

В декабре 1941 года была установлена ежедневная норма хлеба 125 грамм. Эта норма распространялась на служащих (т.е. экономистов, бухгалтеров, счетоводов, плановиков, секретарей и т.п.), а также на иждивенцев и на детей. Рабочие у станков получали 250 грамм хлеба в день. Жиры и сахар перестали отоваривать совсем. Кру

пы выдавали 100 грамм на 10 дней. Люди стали есть клей, кожаную обувь, появились случаи людоедства.

У голодного населения появились вши. Эти насекомые удивительно чувствовали приближение смерти человека и наглядно демонстрировали это. У еще живого человека, но уже обреченного на близкую смерть, вши выползали из всех укромных мест на его лицо и висели на каждой волосинке, приготовившись сразу после наступления смерти покинуть труп...

Для отопления комнат в 25-30-градусные морозы, которыми отличалась эта зима, ленинградцы поставили «буржуйки», а в качестве топлива стали использовать мебель и книги. Однако не у всех были силы, чтобы превратить мебель в дрова. Многие не имели сил даже на то, чтобы отвезти на детских саночках труп умершего от голода родственника в морг, и все улицы, дворы и лестницы домов покрылись множеством трупов. Трупы лежали также и в квартирах. Гробов не было. Некоторые трупы были завернуты в простыни и одеяла и завязаны веревками наподобие кукол, другие валялись не прикрытые ничем. Люди умирали прямо на ходу. Идет —идет человек... Вдруг упал и ему уже не встать... Никто его не поднимал. Никто к нему не подходил. Другие редкие прохожие просто перешагивали через упавшего (может быть еще живого) и шли дальше своей дорогой, пока не падали и не умирали

сами.

Иногда можно было видеть трупы с отрезанными частями, которые кто-то использовал как пищу. Морги, стихийно возникшие во всех садах и парках города, представляли собой штабеля трупов, уложенных прямо на открытом воздухе. Иногда очень редкие машины забирали трупы из этих моргов и увозили их в неизвестном направлении, но мне кажется очень маловероятным, чтобы их хоронили в землю, и, тем более, хоронили именно в том месте, где сейчас находится Пескаревское Мемориальное кладбище, ибо землеройных машин не было, а голодные люди копать мерзлую землю не могли.

Абсолютно никакой медицинской помощи не существовало. Свидетельство о смерти выписывала регистратор ближайшей поликлиники просто со слов пришедшего

к ней еще оставшегося в живых родственника. Хотя военные заводы, выпускающие военное снаряжение, работали круглосуточно, не останавливаясь ни на час, хлебозаводы, начиная с 1-го февраля 1942 года на несколько дней перестали работать совсем и простые люди перестали получать даже свои 125 грамм хлеба в день.

В начале февраля 1942 года в Ленинграде умирало от голода ежедневно по 25000 человек. Это были старики и женщины — в основном коренные петербуржцы, и дети.

Коммунисты всегда отличались бесхозяйственностью. И сегодня продуктовые склады в Ленинграде больше похожи на помойки. Поэтому, было бы неудивительно, если бы эта бесхозяйственность привела к голоду в условиях войны.

Удивительно другое: не все люди в Ленинграде голодали. Теперь мы узнаём из той же коммунистической печати, что в Ленинграде в то время жили композиторы, которые писали коммунистические симфонии, что там жили музыканты, которые исполняли эти симфонии. Мы узнаём, что там же жили коммунистические писатели, которые «творили» произведения «социалистического реализма». А из окон правительственного дворца на Каменном острове по вечерам можно было слышать звуки танцевальной музыки и пьяные выкрики...

Мой знакомый, Алексей Хмиров, бывший номенкла-турщик Адмиралтейского завода, признался мне, что он сам и другие номенклатурщики получали во время голода такие хорошие спецпайки, что вовсе не голодали.

Другой мой знакомый, слесарь, в разгар голода был приглашен для небольшого ремонта на кухню Смольного. В качестве платы за сделанную работу повар небрежно отрезал ему... килограммовый кусок масла.

Какие-то люди продавали и выменивали на золото и драгоценности хлеб и другие продукты питания. Не всех в Ленинграде касалась карточная система!

В конце февраля 1942 года, после смерти от голода моих родителей, мой дядя воевавший на Ленинградском фронте, вывез меня из города по льду Ладожского озера, на своей фронтовой машине. Я очутился по другую сторону кольца блокады, на станции Войбоколово. В Вой-

боколове формировались эвако-поезда. Здесь же был продпункт. Каждый эвакуированный из Ленинграда житель получал здесь паек: какое-то количество черных, твердых как камень, сухарей. Обезумевшие от голода люди сразу съедали эти сухари и, конечно, умирали. Желудок, отвыкший от переваривания любой пищи, не мог справиться с такой нагрузкой. У людей начинался понос, который скоро переходил в энтероколит. Мужчины и женщины, нисколько не стесняясь друг друга, беспрерывно оправлялись где придется, садясь рядом друг с другом. И тут же некоторые из них умирали. Другие умирали уже в теплушке эвако-поезда, и живые сразу же выбрасывали их из теплушки на ходу поезда, как падаль.

Отчетливо помню, что тут же, в Войбоколово, стоял длинный товарный состав, на каждом вагоне которого по-английски и по-русски было написано: «продукты героическому Ленинграду». Но никто не посмел вскрыть хотя бы один вагон и вместо смертельных для дистрофиков черных сухарей выдать им что-нибудь действительно съедобное, тем более, что продукты достались коммунистам от союзников бесплатно, в порядке гуманной помощи. «Но зачем? — рассудили коммунисты. — В России народу хватит. Пусть эти умирают. Продукты мы отдадим тем, кто нам сейчас нужен».

И действительно нужные коммунистам люди в Ленинграде не голодали.

Факты говорят за то, что НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ К КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЕ, ОТ ГОЛОДА В ЛЕНИНГРАДЕ НЕ УМЕР.

«Никто не забыт и ничто не забыто!» — любят восклицать коммунисты, пытаясь внушить народам, что достаточно поставить каменного

истукана на произвольно выбранном месте, назвать это место Мемориальным Кладбищем — и память погибших будет достойно почтена. А «кто повинен в их гибели, кроме немцев?» — это запрещенный в СССР вопрос. Коммунисты всю вину сваливают на одних только немцев, но при этом не объясняют, какого рода стратегическим планам Германии была выгодна эта смерть стариков и детей, большинство которых, к тому же, были настроены к немцам не

враждебно. Все согласны с тем, что по отношению к ленинградцам совершено преступление. Пытаясь раскрыть любое преступление, следователь прежде всего задается вопросом: «Кому это выгодно?» Все факты говорят за то, что гибель ленинградцев от голода была выгодна одним только коммунистам.

Как теперь стало известно и на Западе после опубликования в Англии секретных документов МИД, народы России, потери которых от коммунистического террора достигли к началу войны 20 проц. их общей численности, восприняли приход немецких армий, как приход освободителей от коммунизма. Жители большинства советских городов и деревень встречали немецкие войска с хлебом -солью, а солдаты и офицеры не хотели воевать против немцев и сдавались в плен целыми армиями. Приближался час, когда Кремлевским кровопийцам должен был наступить конец. В поисках спасения Сталин, Молотов, Жданов, Жуков и их приспешники создали так называемые «заградительные отряды НКВД», которые стреляли в своих солдат, если те отступали перед немцами. Наряду с этими отрядами коммунистические руководители несомненно искали способы и строили планы, осуществление которых изменило бы настроение в армии и вызвало бы у советских солдат ненависть к немцам. Очевидно, что идея создания голода в окруженном немцами Ленинграде, население которого к тому же имело репутацию ненадежного и нелояльного к коммунистам, была в этом плане для коммунистов весьма соблазнительной. Для того, чтобы никто из нужных им людей не пострадал от этого голода, коммунисты тщательно продумали сложную и запутанную систему распределения продуктов питания таким образом, чтобы при всей видимости справедливого распределения, элита получала все, что нужно, а простые люди — ничего.

Поскольку только очень немногие свидетели блокады, не принадлежащие к элите, остались в живых после голода, то не только Запад, но даже советские люди до сих пор не знают правды о блокаде

Ленинграда. Гибель сотен тысяч ленинградцев от голода при одновременном сохранении жизней коммунистической элиты и всех ком

мунистических номенклатурщиков очень похожа на хорошо спланированную и хладнокровно выполненную операцию, автором которой могло бы быть Политбюро ЦК ВКП(б) во главе со Сталиным. Эта операция могла бы иметь такие цели:—добиться перелома в войне с немцами в свою пользу путем выжигания из душ советских солдат дружественных чувств к немцам, как к освободителям от коммунизма, и внедрения в их души вместо этого ненависти к немцам, якобы как к виновникам гибели невинных ленинградцев; — получение моральных дивидендов у союзников, и — физическое уничтожение молчаливой оппозиции, состоящей из старых петербуржцев.

После опубликования на Западе секретных документов, касающихся выдачи Западными союзниками для расправы в СССР сотен тысяч российских антикоммунистов в соответствии с соглашением в Ялте, подробности и документы, связанные с возможным планированием и осуществлением коммунистами операции «Блокада» в Ленинграде остались последней большой тайной времен 2-ой мировой войны.

Когда я задумываюсь о том, при каких обстоятельствах начнется 3-ья мировая война, то чаще всего я представляю это так: война начнется после нанесения коммунистами ядерного удара по одному из собственных городов: по тому же Ленинграду, Киеву или Минску. Они свалят вину за это на американцев и народы этому поверят. Моя цель — подготовить общественное мнение к такой провокации, ибо поджог Рейхстага и смерть от голода непокорных старых петербуржцев во время блокады Ленинграда — звенья той же цепи.

Глава 67. «Женский вопрос» в Советском Союзе

Глава 67. «Женский вопрос» в Советском Союзе.

«Весь их женский вопрос—это один только недостаток оригинальности. Женский этот вопрос выдумали им мужчины, сдуру, сами на свою шею».

(Достоевский «Бесы»)

«Цель партии состояла в том, чтобы просто помешать мужчинам и женщинам связывать себя узами взаимной верности, трудно поддающейся контролю. По отношению к женщинам ее усилия в большинстве случаев были более успешными, чем в отношении мужчин».

(Орвелл «1984»)

Так называемый «женский вопрос» порожден извечной тактикой властолюбов: «разделяй и властвуй» Коммунисты, больше всех других стремившиеся к абсолютной власти, сперва придумали искусственное разделение общества на бедных и богатых, потом — на рабочий класс и буржуазию и наконец, — на мужчин и женщин. Всех их коммунисты с дьявольской настойчивостью пытались натравить друг на друга. В Советском Союзе, где якобы больше нет буржуазии, коммунисты направили особые усилия на разжигание антагонизма между мужчинами и женщинами.

«Мой дом — моя крепость» — говорят англичане и американцы о своей семье. Такое положение ни в какой степени не устраивает коммунистов, ибо крепкая семья может устоять перед волчьей коммунистической моралью и воспитать своих детей в традиционном религиозном духе. Для того, чтобы расшатать семью, и, в конечном счете, разрушить ее, коммунисты нашли слабое звено и по этому слабому звену начали бить из всех тяжелых орудий своей монополизированной пропаганды. Этим слабым звеном в семье является женщина, которая испокон веков была более искусной, чем мужчина, в решении практических вопросов, и за некоторыми исключениями — менее способной к пониманию абстрактных проблем. Поэтому и поговорка соответствующая ходит в России: «Длинен волос — да ум короток!»

Вследствие чрезвычайно низкого жизненного уровня в СССР СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА ВЫНУЖДЕНА РАБОТАТЬ НАРЯДУ С МУЖЕМ. Кроме того, после работы она вынуждена заниматься домашним хозяйством, ибо даже две зарплаты (ее и мужа) в СССР недостаточны для того, чтобы отказаться от домашнего приготовления пищи и от стирки. Ежедневное переутомление

женщин и невозможность почувствовать себя хозяйкой даже дома в связи с вынужденным проживанием в коммунальных квартирах, естественно выливается в раздражение. И вот тут пропаганда

осторожно намекает женщине, на кого должно быть направлено это раздражение, кто является виновником всех ее несчастий. Это, конечно, муж. Это он, — муж, придя с работы, «садится в кресло с газетой в руках вместо того, чтобы помочь жене по хозяйству или с детьми».

Пропагандисты, конечно, не говорят, что это — нормально, и объясняется физиологическими отличиями мужчины от женщины, а также тем, что мужчина в детстве не играл с куклами, не учился готовить пищу, и поэтому вступив в брак, не может помочь жене в таких вопросах. Вместо этого пропаганда не без задней мысли внушает недалеким женщинам мысль о том, что их любовь к своим детям является чем-то исключительным, что якобы неизмеримо возвышает их над мужчинами. Вместо того, чтобы объяснить эту любовь самым простым инстинктом (ведь волчица тоже любит своего волчонка!) и напомнить, что ребенок когда-то был частью ее тела, а потому любить его — почти то же самое, что любить свою руку или ногу, — коммунисты сочиняют всякие гимны в честь материнской любви. Однако, пропаганда никогда не говорит о том, что истинная и действительно возвышенная любовь — это любовь к чужому ребенку, к чужому человеку. Одновременно с этим по заказу партии советские литераторы выдумывают «положительных» мужей в своих лакированных романах и сценариях к кинофильмам, противопоставляя их реальным мужьям, вроде бы никчемным людям и дуракам.

Так советская женщина, если она не умеет мыслить самостоятельно, подводится коммунистами к стандартному в СССР выводу: «Муж — дурак, ребенок — гений, сосед — пример для мужа!»

Однако коммунисты ни в коем случае не имеют целью побудить женщину к более тщательному воспитанию ее детей. Наоборот, они ограничиваются чисто декларативными заявлениями о материнской любви, в то же са-

мое время настойчиво рекомендуя ей не заниматься их воспитанием, а предоставить это школе, пионерской и комсомольской организациям. Советская пропаганда внушает женщине мысль о том, что заниматься домашним хозяйством и воспитанием детей — зазорно для нее, особенно — для образованной женщины. Да и сами условия жизни, когда женщина вынуждена работать, толкают ее к тому, чтобы отдать своих детей сперва в детские ясли, потом — в детский сад, потом — в школу с продленным днем. Если же ей это не удается — тогда дети целыми днями находятся на улице без присмотра. Так достигается еще

одна цель Партии: дети остаются без родительского воспитания и государственные учреждения могут воспитывать из них каких угодно головорезов, не ведающих ни ласки, ни доброго слова, ни жалости, ни прощения — т.е. всего того, что могли бы им дать одни только родители. Наоборот, воспитатели способствуют отчуждению детей от их родителей, прививая им мысль о том, что интересы Партии — выше отца с матерью. С самых ранних пор, как только дети учатся говорить и понимать, воспитатели внушают им, что подросток Павлик Морозов, предавший своего отца — кулака на смерть — лучший образец для их подражания.

* * *

Недалекие женщины, раздраженные нищенским образом жизни и неспособные увидеть основную причину этого в коммунистическом режиме, с готовностью проглатывают наживку коммунистической пропаганды и оказываются у нее на крючке. Они сами додумывают обвинения против мужа в соответствии с замыслами пропаганды: «Раз муж мало внимания уделяет детям, значит, он — не любит детей. Раз он не стирает и не готовит пищу — значит он не любит жену. Раз он зарабатывает мало денег — значит он плохой работник и никчемный человек», Для того, чтобы еще больше противопоставить мужа и жену, коммунисты придумали так называемый «праздник» — «Международный женский день», а недавно даже сделали этот день — 8 марта — общевыходным. В этот

день, также как и задолго до него, пропаганда трубит о «равенстве женщин и мужчин в Советском Союзе» и о том, что «при капитализме, напротив, женщина лишена всех прав». Пропагандистам нет дела до фактов, которые показывают, что дела обстоят наоборот. Это при капитализме женщины имеют все права и нередко даже занимают высшие партийные и государственные должности (Маргарет Тэтчэр, Голда Майер, Индира Ганди, Бондаранаике и много других), тогда как в СССР нет ни одной женщины в правительстве или руководстве партией, зато много женщин-грузчиков. Но эта явная ложь необходима коммунистам, чтобы подвести женщину к следующему выводу: «Раз она равноправна с мужчиной, то муж больше не может считаться главой семьи».

Всем известно, что двоевластие разрушает все: будь то государство, отряд или же семья. Семья перестает быть «крепостью» если в ней нет единовластия. Очень часто эта ситуация приводит к семейному

конфликту. Если мужчина не согласен на двоевластие в семье и если он не хочет или не умеет взять на себя половину трудов по домашнему хозяйству, то женщина, опять таки по подсказке пропагандистов, «чтобы сохранить свою женскую гордость» и остаться «равноправной» — идет жаловаться на мужа в общественные организации — в партком или в завком. Там ее жалобу облекают в стандартную форму и она сама удивляется, как она раньше не замечала того, что «муж ее — «политически отсталый» и живет «пережитками капитализма». Секретарь парткома, если женщина пришла жаловаться к нему, участливо интересуется каковы политические убеждения мужа и не верует ли он, чего доброго, в Бога? Жена обо всем рассказывает, парторг ее подбадривает в этом. Дальше — больше. Мужа начинают вызывать на допросы. Хорошо еще если не в КГБ, а только в партком. А бывает, что после жалобы жены мужа увольняют с работы и даже арестовывают. Доверие между супругами исчезает. Не только «крепости», но и простой семьи больше нет. Вскоре дело доходит до развода.

Оставшись без мужа, женщина становится больше не-

нужной ни парткому, ни завкому, и никому другому «кому». Дело сделано. Цель достигнута. Ее просто бросают, как выпитую бутыль. Полученная ею свобода ведет ее, как правило, к пьянству и распущенности. Часто она становится проституткой, иногда — политической проституткой. Своими детьми она перестает заниматься совсем, и ее детей коммунисты с легкостью воспитывают в духе звериного коммунизма.

Озлобившись на весь свет, разведенная женщина, изрыгая каждую минуту потоки мата, готова доносить на любого и каждого. Если у нее есть хотя какая-то память, коммунисты вербуют ее в осведомители и она за вечные Иудины медяки старательно подслушивает, подглядывает и доносит своим хозяевам. Другие разведенные женщины находят выход своей неистощимой злобе, работая тюремными надзирателями, палачами спецпсихтюрем и даже исполнителями. Будучи в тюрьмах, я часто слышал от ЗЭК-ов, что исполнители смертных приговоров в СССР — всегда женщины. В этом убеждены все ЗЭК-и, ибо среди разведенных отчаявшихся женщин можно найти таких садисток, каких никогда не бывает среди мужчин.

* * *

Этот горький опыт показывает, что разведенная или на коммунистическом жаргоне «раскрепощенная» женщина, не только несчастна, но она — моральная калека, не способная уже ни воспитывать детей, ни быть полезным членом общества. Это недаром в дореволюционной России, в период ее процветания, существовали строгие законы против необоснованных разводов и против неосторожного вмешательства общественности во внутренние дела семьи. Это недаром законы были направлены на укрепление прав главы семьи и на повышение его ответственности за воспитание детей.

Глава 68. Ставрогин—прототип Ленина

Глава 68. Ставрогин—прототип Ленина.

Роман «Бесы»-это удивительное пророчество о захвате власти коммунистами. Эта книга настолько мудрая, что чем больше ее изучаешь, тем больше обнаруживаешь ранее скрытых фактов, которые перекликаются с современностью,— и так без конца! Поэтому я могу сравнить эту книгу только с Библией, а Достоевского — назвать не иначе, как Пророком.

Достоевский, как Пророк, предугадал наперед не только события, но и появление дьявольских личностей, которые встанут во главе этих событий. Таков Николай Всеволодович Ставрогин, прототип Владимира Ильича Ульянова, у которого наряду с псевдонимом Ленин был второй псевдоним — «Николай».

Судите сами, насколько похожи друг на друга эти два беса:

СТАВРОГИН

ЛЕНИН

Родился в семье генерала

Родился в семье цивильного генерала

Не веровал в Бога

Не веровал в Бога

Презирал все русское

Презирал все русское

Большую часть жизни прожил за границей

Большую часть жизни прожил за границей

В том числе больше всего жил в Швейцарии

В том числе больше всего жил в Швейцарии (уж не в том ли самом кантоне Ури?)

Имел дьявольское само- обладание и силу внушения

Имел дьявольское самообладание и силу внушения

Были чужды обыкновенные человеческие чувства:

Были чужды обыкновенные человеческие чувства:

страх, любовь, сострадание, уважение и удовлетворенность

Нигде никогда не работал

Нигде никогда не работал

Не имел детей

Не имел детей

Петр Верховенский предлагал пустить слух, что Ставрогин якобы «скрывается»

Был пущен слух, что Ленин якобы «скрывался» в шалаше на станции Разлив

Ставрогин учил своих сообщников: «...чиновничество и сентиментальность—все это клейстер хороший, но есть одна штука еще получше: подговорите четырех членов кружка укокошить пятого, под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитой кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать».

Ленин, Сталин и др. последователи Ставрогина хорошо усвоили этот урок. Они укокошили многих членов своего «кружка» под названием «Политбюро» и добились слепого повиновения от остальных

Глава 69. О могилах, памятниках, вечных огнях и мемуарах чекистов

Глава 69. О могилах, памятниках, вечных огнях и мемуарах чекистов

Если любое слово в защиту фашизма обидно для жертв фашизма, то не менее оскорбительно для жертв коммунизма, когда на могилах комиссаров, чекистов и прочих палачей русского народа, расстрелянных немцами, теперь зажигают вечные огни и из разряда преступников их переводят в разряд мучеников.

На Западе почему-то не принято делать никакого различия между невинными жертвами фашизма и подобны-

ми палачами, уничтожившими перед своей насильственной смертью 60 млн. человек в России, русскую культуру и Православную Церковь.

Можно предполагать, что если восставший народ расправится без суда с Лунцем, Пруссом, Бочковской, Березовской и Рыбкиным, то Запад и их тоже объявит «мучениками».

Уцелевшие и попавшие неведомыми путями в США чекисты теперь открыто выступают в печати со своими мемуарами и никому еще не пришло в голову привлечь их к ответственности или хотя бы лишить американского гражданства. А ну-ка, попробуйте написать мемуары о вашей службе не в НКВД, а в Гестапо! Что тогда с вами будет!

Глава 70. О цивилизации

Глава 70. О цивилизации

Цивилизация — это не дома и музеи. Цивилизация — это то, что находится внутри нас, внутри нации. Немцы и японцы имели это нечто внутри себя и поэтому несмотря на полное физическое уничтожение их стран, восстановили все видимые атрибуты цивилизации.

Но если коммунистам удастся захватить весь мир, даже без единого выстрела и не разрушив при этом ни одного музея, — цивилизация все равно погибнет!

База данных «Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы», 1997-2024

Если вы нашли ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите одновременно клавиши Ctrl + Enter